ВОСХОД

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ
МОЛОДЫХ ПИСАТЕЛЕЙ
РЕСПУБЛИК
СРЕДНЕЙ АЗИИ
И КАЗАХСТАНА

Восход (повести и рассказы молодых писателей Средней Азии и Казахстана)

Шаршеналы Абдылбаев, Кенеш Джусупов, Анвар Ишанов, Учкун Назаров, Нигмат Аминов, Марат Кабанбаев, Калдарбек Найманбаев, Оралхан Бокеев, Магзом Сундетов, Дукенбай Досжанов, Роллан Сейсенбаев, Джума Одинаев, Саттор Турсун(Турсунов), Облокул Хамроев, Маруф Бободжанов, Курбан Али, Бахром Фируз, Мухиддин Ходжаев, Агагельды Алланазар, Атагельды Караев, Тура Курбанова, Шадурды Чарыев

Аннотация
ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА
КИРГИЗИЯ
ШАРШЕНАЛЫ АБДЫЛДАЕВ
ТРИДЦАТАЯ ВЕСНА. Повесть

КЕНЕШ ДЖУСУПОВ
ЛЕСОРУБЫ. Повесть
УЗБЕКИСТАН
АНВАР ИШАНОВ
ДАЛЕКИЕ МОГИЛЫ. Рассказ
УЧКУН НАЗАРОВ
ЛИСТОПАД. Рассказ
НИГМАТ АМИНОВ
ЗНАКОМЫЙ. Рассказ
КАЗАХСТАН
МАРАТ КАБАНБАЕВ
ЭХО. Рассказ
КАЛДАРБЕК НАЙМАНБАЕВ
С УТРА ДО ПОЛУДНЯ. Рассказ
ОРАЛХАН БОКЕЕВ
СЛЕД МОЛНИИ. Рассказ
МАГЗОМ СУНДЕТОВ
ПЛЕМЯННИК. Рассказ
ДУКЕНБАЙ ДОСЖАНОВ
ПРОВОДЫ. Рассказ
РОЛЛАН СЕЙСЕНБАЕВ
ПАРИК. Рассказ
ТАДЖИКИСТАН
ДЖУМА ОДИНАЕВ
РЫЖИЙ. Рассказ
САТТОР ТУРСУН (ТУРСУНОВ)

ОТЕЦ. Рассказ
СОРБОН (ХАМРОЕВ ОБАОКУЛ)
БРАЧНАЯ НОЧЬ. Рассказ
СОН. Рассказ
МАРУФ БОБОДЖАНОВ
ПОЛУШАЛОК ДЛЯ МАТЕРИ. Рассказ
КТО-ТО ЗВОНИТ. Рассказ
КУРБАН АЛИ
НА ПЕРЕВАЛЕ. Рассказ
ЕДИНСТВЕННЫЙ СЫН. Рассказ
БАХРОМ ФИРУЗ
ПО ДОРОГЕ В КИШЛАК. Рассказ
МУХИДДИН ХОДЖАЕВ
НЕ ТЕРЯЙ ЗВЕЗДУ. Рассказ
ТУРКМЕНИЯ
АГАГЕЛЬДЫ АЛЛАНАЗАР
СЕМЬ ЗЕРЕН. (маленькая повесть)
ОРАЗГУЛЫ АННАЕВ
В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. Рассказ
АГАГЕЛЬДЫ КАРАЕВ
КРАСОТА. Повесть
ТУРА КУРБАНОВА
СОВА. Рассказ-легенда
ШАДУРДЫ ЧАРЫЕВ
СКАЖИ, КТО ТВОЙ ДРУГ. Повесть

Аннотация

В сборнике представлены рассказы и повести молодых писателей республик Средней Азии и Казахстана. Взгляд писателей сосредоточен на глубоких социальных переменах, произошедних за годы Советской власти в жизни киргизов, узбеков, казахов, таджиков и туркменов, на формировании нового человека.

Составитель К. Рысалиев
Редактор А. И. Иванов
Редактор издательства Н. А. Пустынников
Худож. редактор Г. В. Половникова
Художник И. Ф. Бульба
Техн. редактор А. Я. Шевченко
Корректор А. М. Шейко
ИБ N2 879

Сдано в набор 23/VII 1978 г. Подписано к печати 15/X 1978 г. Д—03882. Бумага типографская № 3, формат 84X108732. Высокая печать. Гарнитура «Обыкновенно-новая». 12,63 фнзнч. печ. А., 21,21 условн. печ. л., 22,07 учет. — изд. л. Тираж 50.000. Заказ № 327. Цена 1 р. 50 к.

Издательство «Кыргызстан» 720737, ГСП, г. Фрунзе, ул. Советская, 170, издательство «Кыргызстан»

720461, ГСП, Фрунзе, 5, ул. Жигулевская, 102. Киргиз-полиграфкомбинат им. 50-летия Киргизской ССР Госкомиздата Киргизской ССР.

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Вчитайтесь в книгу, и вы увидите, что герои почти всех рассказов и повестей — молодые люди. Жизнь их наполнена серьезными раздумьями о прошлом и настоящем своего народа, о новом и старом отношении к жизни, о своей личной судьбе и судьбах окружающих людей. В напряженной внутренней работе над собой, в борьбе с пережитками прошлого, с людьми, цепляющимися за отжившую мораль, в постоянном определении своего места, твердых принципов происходит восхождение героев к высотам коммунистической нравственности.

В постановлении ЦК КПСС «О подготовке к 50-летию образования Союза Советских Социалистических Республик» отмечено, что в наши дни «закономерными стали расцвет, сближение и взаимообогащение культур социалистических наций и народностей».

Думается, подтверждением этого может служить и настоящий, пока первый сборник повестей и рассказов молодых писателей республик Средней Азии и Казахстана, публикуемый по

инициативе Госкомиздата Киргизской ССР.

Издательство «Кыргызстан» выражает благодарность республиканским издательствам Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Туркмении за оказанную помощь в составлении сборника.

КИРГИЗИЯ

ШАРШЕНАЛЫ АБДЫЛДАЕВ

Шаршеналы Абдылдаев приобрел известность среди читателей не только как прозаик, автор повестей и рассказов, но и как переводчик. Им переведены на киргизский язык роман Г. Маркова «Сибирь», повести и рассказы А. Упита, пьесы и стихи зарубежных и советских мастеров слова.

Ш. Абдылдаев — член СП СССР.

ТРИДЦАТАЯ ВЕСНА
Повесть

Другу Аману посвящаю

I

«Чтобы называться отцом, надо иметь детей. Если сын не окликнет тебя „Отец!“, кто другой назовет тебя так?» — думал Сапар, кутаясь в воротник пальто.

Декабрь выдался необычно холодным. Никто не помнит, чтобы первый месяц зимы был таким. От мороза даже камни домов, казалось, съежились и побелели. Ветер зло мчался по улицам,

обшаривая переулки, подворотни и, находя редкого прохожего, швырял в лицо снежные иглы, лез за шиворот, леденил. Дух спирало… Люди короткими перебежками продвигались от дома до угла, от угла к остановке, спешили спрятаться в промерзших автобусах, чтобы согреться дыханием друг друга.

Поздно вечером, вчера, Сапар вернулся из командировки. Он знал, что Айганыш все еще на гастролях, но спешил домой, надеясь отогреться и отдохнуть. Однако надежды не оправдались: мать завела старый разговор, требуя от сына ясного решения. Разговор затянулся за полночь, да и потом Сапар еще долго ворочался в постели. «Если ребенок не окликнет тебя „Отец!“, кто другой назовет тебя так? Никто!».

Утром, еще затемно, он вышел из дома и отправился в редакцию.

На востоке занималась заря, высветляя вершины гор, небо и улицы. Поблек свет в окнах домов.

Прежде, до минувшего лета, если мать заводила разговор о внуке, Сапар отшучивался: «Погоди, мать, некогда». Старуха умолкала, ждала. Но потом снова и снова заводила разговор, пока не узнала, что Айганыш не может родить. Вот тогда-то и начались бесконечные жалобы, вздохи,

упреки. Сапар стал отмалчиваться, поглубже пряча горечь. И разговор затухал, как затухает костер, в который не подбрасывают хворост. Потом появилась Насин, которую Сапар не мог назвать женой, но и считать посторонней сейчас тоже не мог.

Теперь от Айганыш он скрывал две вещи: свою связь с Насип и разговоры матери. В словах апаке [1] он стал находить оправдание своему поведению, но сознаться себе в этом не решался и продолжал раздражаться, когда мать требовала ответа. Минувшей ночью мать была особенно настойчива.

— Если ты еще считаешь меня своей матерью, — говорила она, — выслушай… Ты уходишь на работу, Айганыш уходит на работу — я остаюсь совсем одна. Я за это возьмусь, за другое возьмусь — ничего в руках не держится, ни к чему душа не лежит. Хожу, как слепая в чужом доме, натыкаюсь на углы, путаю двери… Соседи и те заметили: «Что с вами, апаке? Не заболели, апаке?..» Да, заболела. Но кому я могу сказать о своей боли? Только тебе, сынок. Если бы рядом был твой сын, мой внук… Он цеплялся бы за подол, хватал меня

---

[1] Примечания: 1
Апаке — матушка.

за пальцы и звал меня энеке![2] Я прижимала бы его к груди, как когда-то прижимала тебя, я вдыхала бы его молочный запах… Я опять была бы сильной и счастливой. Твой отец, прежде чем умереть, оставил мне тебя, Сапар. Кого оставишь ты? Судьба безжалостна ко мне…

Упрек — что удар: обжег, оставил в сердце щемящую боль, которая и сейчас, на морозе, жгуче таилась в груди.

Мать продолжала говорить спокойно:

— Невестка сама это чувствует, переживает, разве легко женщине, на которую каждый может показать пальцем: у нее никогда не было и никогда не будет детей…

…Последнее время подобные раздумья мучили Сапара все чаще. Они подстерегали дома, на улице, в автобусе; они приходили внезапно по утрам, вечерам, будили по ночам; они безжалостно вносили в его душу хаос и смятение; они мешали ему. Он чувствовал себя одиноким и беспомощным. В одном, бесспорно, права мать: должен быть какой-то конец.

Так думал Сапар минувшей ночью, слушая слова матери: «Если жена не может родить,

---

[2] Примечания: 2
Энеке — то же, что и апаке.

найди другую жену». Над письменным столом его висела фотография Айганыш — счастливое, улыбающееся лицо. Она сфотографировалась по окончании балетного училища и получилась на фото удивительно трогательной: вытянутая шейка, чуть приподнятый подбородочек. Она, видимо, хотела казаться фотографу недосягаемой звездой балета, но в последний миг не выдержала, засмеялась, и такой осталась теперь навсегда: счастливые глаза, ни от кого не таящие счастья. «Бедняжка моя, бедняжка». Всякий раз теперь вздрагивал Сапар, глядя на этот портрет…

— Много лет я ждала, — говорила мать. — На прошлой неделе, когда ты и Айганыш разъехались по делам, я все обдумала и решила: тебе надо жениться снова, сыпок. Не мучай старую мать, не лишай ее надежды. Мне совсем немного осталось прожить… Вернется Айганыш, ты скажи ей об этом. Она женщина. Она поймет мое горе. В каждой женщине, сынок, есть материнское чувство. Не осмелишься, я сама скажу.

«Но я люблю ее», — хотел сказать Сапар. Однако промолчал.

Он знал мать как женщину спокойную, рассудительную, добрую, никогда и никого не обижавшую резким словом, суровым попреком.

Когда отец погиб на фронте, она стала для Сапара единственной опорой. После армии и университета Сапар приехал в город, женился и перевез сюда мать. Глядя на милую невестку и на возмужавшего сына, она не могла нарадоваться: «Жизнь моя, Сапаш мой, жеребеночек маленький! Ты единственная моя радость и надежда в жизни! Продолжение отца…»

Теперь же Сапар увидел ее но-иному. Мать, оказывается, может быть требовательной, настойчивой, упрямой. «Впрочем, — думал Сапар, — она же заботится обо мне».

Выглянул из-за гор бледно-желтый край морозного солнца. На заиндевелых окнах, на белых камнях засверкали искорки. Стало еще холоднее, и Сапар спрятался поглубже в воротник.

«Все так, все так, — думал он. — Надо порвать с прошлым ради вечного обновления, ради вечного продолжения. И, может быть, тот, кто появится на свет спустя много лет, кому будет дана жизнь праправнуком моего сына, отблагодарит меня, мучающегося теперь. Отблагодарит, радуясь жизни, вспомнит, глядя на пожелтевшие фотографии семейного альбома. Чтобы это произошло, надо только развестись с Айганыш и жениться на другой. А если и другая не сможет рожать — найти

третью… И никто за это не плюнет тебе в лицо: предки дали тебе свою кровь на время, и ты не в праве распоряжаться ею, не думая о потомках. Все так, все так», — думал Сапар, стараясь вернуть себе былую уверенность правого человека и душевный покой честно исполняющего свой долг.

Но что-то не складывалось, что-то мешало ему безоговорочно принять требование матери выполнить долг по «закону вечного продолжения». Поэтому он сначала отшучивался, теперь отмалчивался. Но развязка близится. Сегодня-завтра возвращается Айганыш. И мать молчать при ней не станет. Минувшей ночью Сапар убедился в этом. И чем ближе становилась развязка, тем тревожнее делалось у него на душе.

Вдруг, уже перед самой редакцией, большое урюковое дерево показалось ему в серебристо-розовом цветении… Страстно захотелось весны, тепла. И возникло чувство: словно краешек весны коснулся души… И забылось оно…

В редакции он появился первым. В комнате было тепло, едва заметно пахло вчерашним табаком. Сапар прошёл к своему столу, увидел щербатинку на его углу, давнюю щербатинку, и почувствовал, как соскучился по этой комнате, но этому столу, но ребятам за те несколько дней,

что был в командировке. Вот сейчас они придут, и жизнь снова войдет в колею. Скорей бы.

Пришел Ильяс, заведующий отделом писем. Он кивнул Сапару, спросил: «Какие новости?», Так спросил, как будто бы Сапар не в горы ездил к чабанам, а покурить выходил.

— Спасибо, все нормально. — Сапара немного обидела столь будничная реакция на его появление. В другие дни подобная мелочь едва ли обратила бы на себя внимание, но теперь, после бессонной ночи и мучительных размышлений, слишком многое раздражало Сапара. Он чувствовал за собой вину, пока еще не до конца осознанную, но все крепче холодящую сердце.

А ведь все иначе было, кажется, совсем недавно. И в то же время давно. В прошлом. И это прошлое оставило, как завещание, теплые ладони, пахнущие горными цветами. И ты окунаешься в эти ладони и дышишь, дышишь их теплом и ароматом… Было это в прошлом, а идет ностоянно впереди и манит. Ощущение такое, будто ушел далеко-далеко табор веселых и умных людей, а ты отстал. Знаешь, что где-то рядом есть тропинка, но найти ее не можешь. И боишься, что не найдешь. Потому что может случиться так: когда придет время, рассеется туман, то ясно увидишь,

что заблудился. Но догонять и возвращаться будет поздно — ведь не всегда и не куда угодно мощно вернуться. Сделается тело тяжелым, взгляд — стеклянным, улыбка — неживой.

От этих мыслей отвлекли Сапара те, кто пришли после Ильяса. Они заполнили комнату, поздравляли с благополучным возвращением, предлагали сигареты, подносили зажженные спички. Говорили, что один материал, переданный Сапаром по телефону, уже идет в сегодняшнем номере, другой — лежит на столе Омуровой. Рассказывали о Кантае, который прилично поднабрался на какой-то пирушке, не вышел на работу и получил нагоняй.

— Как съездил? — спросил Мукаш, один из тех, с кем Сапар начинал работать в этой газете. — Чего молчишь, рассказывай!

— Нормально съездил! — отвечал Сапар. — Снегу навалило, дорог нет, машины не ходят. Просил помощи у пограничников, подбросили на вертолете. Веселые ребята… А чабанам сейчас не позавидуешь — снег мешает овцам доставать траву. Один чабан прямо в юрте лису поймал: голод загнал ее.

— И ты похудел, — сказал Мукаш.

Все засмеялись.

Ожил телефон — зазвонил. Спрашивали Сапара.

Он взял трубку:

— Я… Спасибо, старик, спасибо… Вам? Нет, старик, лишнего материала нет. Жена? Жена в Риге… гастроли. Завтра-послезавтра возвращается. Спасибо. Ладно, подробности при встрече. Пока.

— Предлагают на радио продать? — догадался Мукаш.

— Предлагают.

— А ты?

— Не мой профиль.

— А зря. Мог бы подзаработать. — И не поймешь его: то ли серьезно говорит, то ли подначивает.

— На трудах неправедных не заведешь палат каменных, — сердито сказал Сапар.

— Не заводись.

— Не буду.

И опять телефонный звонок. Мукаш взял трубку.

— Здравствуйте. Есть. Сейчас. — Положил трубку, сказал Сапару: — Тебя… Омурова. Голос сдержанный, радостных эмоций — ноль. Готовься к обороне, старик.

Сапар не сразу встал и не сразу вышел. Ощущение надвигающейся беды не покидало его в

последнее время. Минувшей ночью это смутное ощущение почувствовалось особенно остро. И самым противным было ощущение собственной беспомощности: он не знал, — защищаться ли, а быть может, бросить поводья и пусть несет? А если защищаться, то как? Что можно противопоставить матери столь же весомое, столь же значительное? Да и то, что произошло между ним и Насин, лишало его права быть последовательным, неумолимым. Одна слабость порождает другую… «Готовься к обороне», — сказал Мукаш. Значит, Смуровой не понравился его материал. Ну что ж, — это маленькое звено в большой цепи. Сапар размял новую сигарету, отложил ее в сторону, рядом положил коробок спичек и только тогда поднялся и вышел из комнаты.

В своем кабинете Ракия Омуровна — замредактора — была одна. Когда вошел Сапар, она только мельком взглянула на него, коротко кивнула головой, отвечая на его приветствие, и продолжала сосредоточенно что-то читать.

Сапар сел напротив, посмотрел на потолок, в окно. Заметил на подоконнике муху и стал глядеть, как она, одурманенная холодами, сонно ползла по подоконнику к краю. Доползла и свалилась на пол, не в силах лететь. Медленно добралась до

Сапара, поползла по штанине. Он щелчком сбил ее. Больше она не шевелилась.

Проследив еще за тем, как муха покойно лежала на полу, Сапар поднял глаза на Омурову и смутился, — Ракия Омуровна давно, видимо, наблюдала за ним.

— Вот этот материал, — начала говорить она сухо, — похож на кусок сырого теста… Причем, к тому же, — пресного теста. Если добавить соли, то можно из него сделать хлеб, можно — лапшу, можно — пирожки с мясом.

Кому чего захочется. А что хотели сделать вы? Мысль ваша мечется, как заяц от погони… Я не поняла вашей мысли.

Сапар отмалчивался. Омурова ждала ответа, но так и не дождалась.

— Ладно, — продолжала она. — Тогда такой вопрос: в чем, но-вашему, смысл жизни? Не вообще, а конкретной категории людей, в данном случае — чабанов. Что волнует именно их?

Вопрос был конкретен, и отмалчиваться дальше было бессмысленно.

— Мне казалось — я написал об этом в очерке, — ответил Сапар.

— О чем «об этом»?

— Ну, о смысле… о каком вы спрашиваете.

— А что же, все-таки, волнует чабанов? — не унималась Омурова.

— Сейчас зима, — заговорил Сапар, пожимая плечами, — и чабан мечтает о весне. Он ждет весну. Он хочет сохранить овец до весны. А весной появится свежая, сочная трава. Овцы начнут жиреть, шерсть их станет нежной, как шелк. И потому чабан не спускается с гор, ходит за овцами, как за малыми детьми, и ждет весну. Это его волнует.

— Это не его, это вас волнует, — сказала Омурова. — А чабан — человек практики. Прежде всего его волнует практическая сторона дела. Практическая. Он борется за весну, и тем самым приближает ее. Иначе труд его жизни не будет иметь смысла. Я удивлена тем, что приходится говорить эти прописные истины вам, Сапар. Вы не новичок в газете. Кроме авторских эмоций, в газетном материале должны быть факты. Факты, связь фактов и осмысление этой связи. Вот тут-то и рождаются эмоции, — она говорила, глядя в глаза Сапару.

Сапару казалось, что она была требовательна к нему, как никогда прежде, а следовательно, думал он, разговор этот о чабане лишь повод для другого, более серьезного разговора. И вдруг

догадка: «Она знает о моей беде!»

Открылась дверь, вошел ответственный секретарь и сказал:

— Макет готов. Не хватает только материала о ходе зимовки скота.

Омурова опять посмотрела на Сапара:

— Созвонитесь с районом, раздобудьте недостающие факты. Но это — компромисс. Вы, надеюсь, понимаете? — она протянула ому материал. — Если успеете выправить до обеда, статья пойдет в завтрашний номер.

Сапар взял рукопись, кивнул в знак согласия и молча вышел из кабинета. В коридоре он сунул рукопись в карман и пошел к окну. Хотел тут же закурить, достал сигарету, но, пошарив в карманах, не нашел спичек. «Тьфу, — разозлился окончательно, — все шиворот-навыворот ношло».

Этот материал он делал добросовестно, более того, внес в него настроение. Ожидание весны было главным мотивом этого очерка, мотивом вечного обновления, продолжения, которого ждут все, в том числе и чабаны в горах. А Омурова — бац-бац и готово! Хоть бы поинтересовалась, с каким трудом пришлось ему высаживаться из вертолета высоко в горах и как потом ждал

летчиков: прилетят за ним или забудут? Это ее не интересовало. Интересовала практическая сторона дела. Поработаешь тут, как же! «Ну, да бог с ним, с очерком, — решил Сапар, возвращаясь к себе в комнату. — Меняем жанры: очерк — в корзину, мастерим расширенную информацию». Сел за стол, закурил и стал звонить в район.

После разговора с районом Сапар положил перед собой на столе рукопись и размашисто, крест-накрест перечеркнул первую страницу, где говорилось об ожидании весны. Он писал ее в юрте чабана, поджидая вертолет и, беспокоясь, что о нем забыли. И потому тема ожидания прозвучала здесь особенно явственно, полновесно: суровость зимы, сомнения в ее конечности, желание ускорить приход тепла, — все уместилось на этой странице. А диван, цвета спелой черешни, и уютный свет торшера, и кроткая Насин, — это осталось между строк… Чабаны не мешали ему работать, не появлялись в юрте, и лишь однажды кто-то из них приподнял полог, заглянул и сказал: «Летит»… Сапар забрался в кабину, и вертолет тут же взлетел. Внизу, на снегу остались три черные юрты, потом и они скрылись за вершинами гор… Все это Сапар теперь выкинул росчерком карандаша.

По телефону сообщили ему цифры, назвали фамилии чабанов, которых он никогда не видел. На обед Сапар не пошел — переписывал материал. В половине третьего был готов новый вариант, и он понес его на машинку.

В машбюро навстречу поднялась Бурул, как будто ждала появления Сапара.

— Давай, — потянулась она за рукописью.

Ни одна машинистка не могла соперничать с Бурул в скорости, аккуратности и грамотности. Отдать печатать Бурул значило, что потом, не вычитывая, можно отдавать по инстанции. Сапар отдал ей рукопись и тут же вышел: разговаривать с этой женщиной у него не было желания. Но Бурул нагнала его, попросила сигарету.

— Зуб разболелся, — соврала она.

— Глупости, — коротко бросил Сапар, собираясь уйти.

— Подожди, Сапаш, — улыбнулась она. — Хочу сказать тебе по секрету одну приятную вещь.

— Ну?

Бурул мельком глянула по сторонам, — коридор был пуст — и, откровенно кокетничая, заговорила:

— Тебя ждали все эти дни. Показался бы на глаза, сделал бы Насин приятное. А то приехал и

скрываешься. Недоступный такой, прямо — утес.

Сапар молчал.

— Айдаркул в командировке, — продолжала Бурул. — Мы одни с Насин. Так что — приходи вечером… угостим чем-нибудь.

Сапар повернулся и пошел, а она крикнула вдогонку:

— Обязательно приходи, не то обидимся.

— За что обидитесь? — остановился Сапар, сдерживая раздражение. Он знал, что эта кривляка имеет право разговаривать с ним таким образом. Он не хотел этого, но ничего уже поделать не мог — коготок увяз.

— Ты совсем не умеешь быть дипломатом, — Бурул подошла и принялась что-то стряхивать с рукава его пиджака. — Если хочешь расстаться с женщиной, ни в коем случае не груби ей. Не груби! Она может обидеться, ножалеет потраченное на тебя время и напишет анонимку на работу и жене. Жизнь будет испорчена.

— Меня ждут, — Сапар снова хотел уйти.

— Не перебивай, — улыбнулась Бурул. — Ты должен брать ее на жалость. Мы, женщины, любим жалеть. Ты должен говорить, что продолжаешь любить, но вынужден прекратить роман, потому что продолжать его — выше твоих

сил. И плачь! И обещай встречи, не скупись на обещания. Им цена — грош, а женщине приятно. В женщине нельзя разрушать возведенный ею самой замок, пусть он построен на песке. Нельзя будить ее, пусть этот сон — обман от начала до конца. Ты все понял? Мы ждем.

И она ушла.

«Я еще сам не решил, от кого уходить — от Наспи пли от Айганыш, а эта ужо за меня все видит», — горько усмехнулся Сапар.

— Тебе нездоровится? — спросил Мукаш, когда он вошел в комнату.

— С чего ты взял?

— Выглядишь плохо.

— От холода, наверное, — Сапар бесцельно перекладывал на столе какие-то бумаги. — Никак не можем натопить дом. Топим, топим, а все равно холодно. И уголь кончается. Пропади она пропадом, эта сараюшка. Надо подыскать что-то капитальное.

— Дом для артистов достраивают. Твоей жене дадут квартиру наверняка.

— Осенью, — сказал Сапар и включил репродуктор. — Осенью дадут.

«В заключение концерта послушайте на-де-де...» — объявил диктор. Мукаш недовольно

хмыкнул:

— Да выключи ты, ради бога! Эта классика давит на меня своей основательностью.

Сапар выключил репродуктор.

Уезжая в командировку, Сапар сказал себе: «С Насин все кончено. Все должно быть копчено раз и навсегда». Эта молодая ласковая женщина стала частью той большой беды, что накатывалась на него. И он предполагал: если скажет себе «нет», и отойдет в сторону, отведет хотя бы часть этой беды. Но отойти — не получалось. Только что Бурул с жесткой откровенностью сказала ему об этом. Мать откровенна — и откровенность ее жестока: в их доме нет места для Айганыш. Бурул откровенна — и откровенность ее жестока: не имеешь права бросать женщину. Да почему? Да кто это сказал? Если одна не родит мне сына, будет другая, если и другая не родит — будет третья… И никто не плюнет мне в лицо. Кровь предков дается нам на время, и мы не имеем права пользоваться ею, не думая о потомстве. «Разве я виноват? Разве виноват я, Айганыш?»

Прошлая осень сложной оказалась и для Айганыш, и для Сапара. Был спектакль на выпуске, и Айганыш возвращалась домой поздно. А кроме этого — очередные спектакли, шефские концерты

в городе и районах. Приходила усталая.

Сапар уже лежал в кровати и притворялся спящим. Краем глаза он подсматривал, как Айганыш садилась к столу и подолгу неподвижно сидела, сложив у подбородка ладони, как медленно, без охоты пила чай и так же медленно, без охоты, казалось ему, раздевалась, чтобы лечь рядом и тут же заснуть. Оеа засыпала, а он поднимался, курил у окна. Ему казалось — ее нет рядом. От нее остался только портрет над письменным столом и попреки матери, что до сих пор нет внука и никто ее — старую — не теребит за юбку, не хватает за пальцы и не называет опеке.

Странно: когда он смотрел на портрет, он вспоминал далекую, юную Айганыш, и любовь к ней переполняла его; но вот когда она, настоящая, была рядом с ним, то в нем оставалась только привычка к этой женщине. Или ему так казалось?

Утром Сапар уходил на работу. Айганыш еще спала. Репетиции начинаются в одиннадцать, и она утренним сном восполняла те силы, что отдавала вчера на сцене.

Прошлым летом Сапар. встретил Насин. Бурул уходила в отпуск и решила отметить это событие: пригласила сослуживцев, и Сапара позвала. Там, в гостях, он и встретил Насин — сестру мужа

Бурул. Заметил ее как раз потому, что она старалась быть незамеченной. Он подумал тогда, что в этом желании остаться незамеченной есть что-то ущербное. Красивые девушки так себя не ведут. Красивые девушки знают, что нравятся, и любят чтобы за ними ухаживали. А Насин избегает этого.

А через несколько дней они случайно встретились на улице. И обрадовались встрече, как старые знакомые. «Разрешите проводить вас?» — предложил Сапар. «Благодарю. Не привыкла ждать помощи от нынешних джигитов, уж как-нибудь сама дойду», — ответила Насин. «Она одинока, — подумал тогда Сапар. — Она знает цену одиночеству и трудно переживает его. Что-то случилось в ее жизни, кто-то напугал эту девочку, и она боится новых знакомств».

— В таком случае… — и Сапар взял ее под руку.

Если бы тогда он мог предположить, чем закончится эта встреча, он проводил бы Насин до дому, а по дороге попытался бы приободрить ее, уверить в том, что бояться ничего не нужно, необходимо жить открыто, убежденно, и тогда счастье само придет в твой дом. И ушел бы… Если бы он мог знать… Или хотя бы успел осознать глубину прошлого чувства и появившегося только

что, когда локоток Насип прижал его руку, и рука отчетливо ощутила биение ее сердца. Если бы!..

Они оказались в парке и ходили по аллеям, призрачно освещенным светом фонарей.

— Не боитесь? — спрашивала Насин.

— Кого?

— Супруги.

— Когда вы рядом, мне ничего не страшно, — улыбнулся он.

— А что вы скажете дома?

— У меня не требуют отчета дома — каждый своим трудом занят.

Пройдя парк, они снова вышли на улицы города. Был поздний час, движение на улицах замирало: редкие прохожие, редкие автобусы. В полумраке призывно светилась яркая реклама нового мебельного магазина. И на этот свет потянулась Насип.

За огромными стеклами был выставлен мебельный гарнитур цвета спелой черешни. Мягкий диван, мягкие кресла, стенка, открытый бар, внутренность которого светилась, и в зеркале отражались бутылки с яркими наклейками. За стеклами серванта торжественно поблескивали гранями хрустальные бокалы. В кресле лежал небрежно брошенный иллюстрированный жур-

нал, а позади кресла на топкой изящной ножке стоял торшер с глубокой зеленоватой «шляпой». Мягкий свет его заливал созданную художником-оформителем «жилую комнату».

— Хорошо, правда? — сказала Насин, разглядывая все это.

— Уютно, — согласился Сапар.

— Чего бы вам сейчас хотелось? — спросила она.

— Лечь вон на тот диван и уснуть, — ответил Сапар.

— А цвет какой приятный, правда? — говорила Насин, сдерживая восхищение. — Вам нравится цвет спелой черешни?

Это было в самом конце августа. Их прогулка закончилась тем, что Сапар проводил Насин до ее дома, а нотом остался там до самого утра, в комнате, которую освободила им все понявшая Бурул…

И вот теперь конец декабря, первый месяц зимы. И никто не предполагал, что он будет таким холодным.

Из редакции уходить не хотелось.

II

А в Риге декабрь был мокрым. На тротуарах — раскисший снег, с крыш — течет. Люди ходят в

зимних пальто, в шубах и под зонтиками.

Последний гастрольный спектакль был дневным, ноэтому у Айганыш оставался свободным целый вечер. Целый вечер она могла заниматься чем хотела. А хотела она многое: успеть съездить на взморье и посмотреть зимнее море, посмотреть дюны под снегом, хотела пройти узкими улочками старой Риги, чтобы окунуться в средневековье; хотела послушать орган в Домском соборе; хотела забежать в универмаг на улице Вальню, чтобы купить подарки свекрови и Сапару; хотела отправить телеграмму домой — сообщить о возвращении.

Но, прибежав в гостиницу и обдумав планы, поняла, что одного вечера на все это, конечно, не хватит. Пришлось выбирать. И она выбрала: отказаться от поездки на взморье, отказаться от прогулки по старой Риге. От органной музыки отказаться не могла. Значит, оставалось у нее три главных дела на сегодняшний вечер: Домский собор, универмаг, телеграф.

Начала она с телеграфа. Прибежала и попросила поскорее отправить телеграмму. «Прилетаю завтра девятнадцать тридцать. Целую. Айганыш». В этих шести словах должно было вместиться ее нетерпение вернуться домой, обнять Сапара,

должна была вместиться тоска, которая забывалась только во время спектаклей, и радость успеха, что сопутствовал ей молодой балерине — на сцене этого города. Она, думалось ей, три вечера подряд будет сидеть дома и рассказывать, рассказывать Сапару об этой поездке, о тоске по дому, о своем успехе, которому завидует, очень завидует Икрамова, и не дает ей проходу со своими колкостями. А колкости ее всегда одного характера: «Девочка, — говорит она участливо, — у тебя нет детей! Твой Сапар болен? Брось его, найди другого мужа. При твоем успехе это ведь очень просто, девочка». Икрамова знает, как я люблю его, и потому всегда бьет по уязвимому месту. «Или ты сама больна? — говорит она. — Тогда он тебя бросит, бросит. Зачем ты ему нужна — знаменитая, но бездетная!»

После телеграфа Айганыш пошла в Домский собор. «Хоральная фантазия си-минор», Бах. В программе сказано: исполняет Сиполниекс. Собор — готика, устремле-ние в высь. Свод — высоко-высоко! И дыхание органа, величие композитора, мощь инструмента. Поражает масштаб. Сколько бы ни прошло времени, сколько бы ни умерло и ни народилось поколении — это не уменьшится, не умрет. И если из всех сочинений этого ком-

позитора останется одна страничка, исписанная потами, то и по этой страничке те, будущие, поймут — гениально. Нельзя сравнить, но рядом с этим мое порхание на сцене кажется до обидного временным…

Что заставляет нас искать, мучиться, создавать? Расчет? Тщеславие? Деньги? Нет, они не способны поднять, их дыхание коротко, рожденное ими воодушевление ничего общего не имеет с вдохновением… Тогда — тщеславие? Уж оно-то тянет нас за волосы, оно погоняет. Да здравствует тщеславие! Но и будь проклято оно же! Вокруг тщеславного все живое мертвеет. Тщеславный жаден, завистлив, ревнив. Не тронь его, обегай стороной, как заяц волка. Тщеславный, встретив на своем пути человека, видит в нем прежде всего соперника, а узнав поближе, ведет себя двояко: если слаб человек — ругает его почем зря, наотмашь бьет при всех; если же сильного встретил — настораживается, взгляд становится каменным, речь негромкая, но удары хлесткие — прямо под сердце. Жутко становится и чувствуешь себя девчонкой, поставленной в угол. Будь проклято тщеславие! В чем я слаба — сама догадаюсь. Но помогите мне узнать мою силу. «Нет! — говорит тщеславный. — Не надейся»…

Но не только этим страшно тщеславие — последствиями опасно. Допустим, когда я, обессиленная, приползу к нему, и оно — могущественное — решается, наконец, поднять меня, то я плачу ему черной неблагодарностью, не забыв унижения. И когда я становлюсь признанной, то едва ли стану замечать его в толпе, а в разговорах, как бы случайно, стану говорить о нем гадости. Будь проклято тщеславие!.. Так что же, если не деньги и не тщеславие, заставляет нас искать, мучиться, созидать? А то, от чего плачет душа и смеются губы, что никого не оттолкнет и ни у кого не отнимет, — это талант. А талант — это сплав любви и мужества…

Мощные раскаты хоральной фантазии внезапно оборвались, под сводами еще потрепетал, пожил последний аккорд и растворился. Айганыш вышла из оцепенения. А когда на смену растаявшему звуку пришел другой, высокий и щемящий, она вдруг вспомнила, что вечер кончается. Она пробралась среди людей, потихоньку вышла из собора и побежала на улицу Вальню, чтобы успеть в универмаг до закрытия.

В универмаге она долго, тщательно выбирала рубашки и галстуки для Сапара.

III

Из редакции Сапар ушел поздно вечером. Прячась от злого ветра, он, казалось ему, шел домой. Но когда свернул в переулок, где дуло не так сильно, понял, что идет к Бурул. Идет, чтобы снова увидеться с Насин.

«Ну, что же, — думал он, подходя к знакомому дому, — теперь поздно поворачивать. И, если честно признаться, лучшей жены не найти… после Айганыш. Может быть, это судьба? Человек обязан нести свой крест. Пока есть силы. А там… В общем, будь что будет».

Бурул искренне обрадовалась:

— О-о! Мой Сапаш пожаловал! Кызыке[3], приберись.

Из глубины квартиры показалась Насин. Сапар сделал вид, что не заметил ее, и сказал Бурул:

— Прошу прощения за опоздание.

— Дорогому гостю все простительно, — улыбалась Бурул, поджидая, пока Сапар снимет пальто. — Да и вечер у нас не официальный, так сказать. Позвала тебя, чтобы хоть поел но-человечески. Холостяком живешь… А мать стара, за

---

[3] Примечания: 3

Кызыке — ласкательное обращение к младшей женщине.

ней самой надо присматривать, как за ребенком.

Подошла Насин, поздоровалась и остановилась, прислонившись к стене, одетая в легкое летнее платье, она была похожа на весеннего мотылька. Бурул заметила взгляд, каким Сапар оглядел Насин и, кокетливо прижавшись к его плечу, пригласила:

— Проходи в комнату, Сапаш. Садись к столу.

За столом, накладывая Сапару закуски, она говорила: «Нынешние джигиты стали похожи на едкий дым: ни огня, ни тепла нет, одни слезы. Вот в наше время… Когда, бывало, с настоящим джигитом встретишься — огонь вспыхивал. Все горело. А сейчас твердят: „служба, служба“. Будто и раньше не служили. Служили, но и для сердечных дел время оставляли».

— Тебя послушать, джене[4],— вставила Насин, — и подумаешь, что ты всю жизнь тиранила моего бедного брата.

— Ну, что ты, кызыке, — рассмеялась Бурул. — Разве я посмею обидеть его. Твой братец, бедняжка, все о торговле печется. А когда приходит домой — смотрит: стол на месте? Сервант на месте? Жена на месте? Стулья на месте? — Она

---

[4] Примечания: 4
Джене — тетушка.

подняла свою рюмку. — Давай, Сапаш, за огонь души выпьем. Надо уметь жить в молодости. Молодость — один выстрел в жизни. Смотри, Сапаш, не промахнись!

Насин только пригубила вино.

Сапар выпил, закусил кусочком хлеба и откинулся на спинку стула. На улице лютует мороз, метет пурга, злой ветер обжигает лица. А здесь тепло, уютно. Мебель нодобрана со вкусом, ковры на стенах. И пианино есть, жаль никто играть не умеет. Хорошо здесь, как в той витрине, которую они видели вместе с Насин летом.

Выпили еще и еще. Исчезли неловкость и напряженность первых минут. Разговор стал оживленнее. Сапар рассказал, как однажды был с товарищем на охоте, как жарили зайца на костре и чувствовали себя при этом настоящими джигитами. Потом рассказывал о командировках, об ожидании вертолета в горах, о хлопотной и интересной профессии журналиста, о тех радостях и тех мучениях, с которыми связан каждый материал: «Видишь много, а в материалах умещается сотая часть увиденного».

— Хорошая профессия, — искренне позавидовала Насин, — постоянный поиск истины и защита этой истины. Ваша работа чем-то похожа

на работу юриста.

— Все работы хороши, — возразил ей Сапар. — А вот работники могут быть и плохие, и хорошие. Чем ваша работа хуже моей?

— С утра до ночи с больными, — вздохнула Насин. — Лечим. Больной человек все равно что ребенок: принеси, подай, выслушай, успокой, расскажи — и так каждый день. Слов не хватает.

— Великое дело, — назидательно сказал захмелевший Сапар. — Забота о чьем-то здоровье, о чьей-то жизни — великое дело.

— Я как-то не думала об этом.

— Будешь хорошо работать, кызыке, Сапаш о тебе статью напишет, — тоже захмелевшая Бурул откинулась на подушку дивана и тихо запела песню о неразделенной любви.

…Оставшись с малых лет без родителей, Насин росла в доме старшего брата Айдаркула. Человек он предприимчивый, оборотистый, как и положено быть работнику торговли, но в доме — не хозяин. Здесь распоряжалась Бурул, которая, случалось, и в служебные дела мужа вмешивалась. Естественно, Насин тоже попала под ее влияние.

Окончив десятилетку, Насин подала документы в университет, на юридический факультет. Мечтала карать лжецов, воров и подлецов, утвер-

ждать справедливость. Но мечте этой не суждено было сбыться.

Бурул и Айдаркул собирались провести отпуск на Иссык-Куле. После выпускного вечера в школе Насин они и уехали, забрав с собою девушку. Бурул говорила, что до экзаменов в университете еще достаточно времени, а оставлять в квартире одну девушку, «без присмотра», она не намерена. Так Насин поехала на Иссык-Куль вместе с ними.

Соседом по палате Айдаркула оказался бухгалтер районной потребительской кооперации Урбай. Он пристроился к их компании как-то естественно и просто, и оказался человеком вежливым, щедрым и веселым. Каждый день он приходил к ним и каждый раз — с подарком для Пасин.

Бурул посчитала, что лучшей пары для кызыке не найти и, дабы не упустить такой шанс, стала внимательнее и ласковее к девушке, старалась во всем угодить ей, А при каждом удобном случае нашептывала: «Я институтов не кончала, а как живу! Редко встретится такой джигит, как Урбай! При деньгах, значит. Повезло тебе, Насип. Смотри, девочка, не упусти счастье, держи покрепче».

Насин поддалась уговорам джене и ухаживаниям Урбая. Ей показалась, что с этим человеком

начнется для нее своя, самостоятельная жизнь, она сможет уйти из дома Бурул в свой дом.

Поначалу так все и было: она переехала в дом мужа, начала самостоятельную жизнь и не жаловалась на судьбу. По прошло меньше года, как отношения с мужем резко изменились: Урбай стал грубым, заносчивым, обращался с ней так, будто она долита весь век благодарить ого за то, что он взял ее в жены. Сначала Насин переживала, потом стала злиться и когда дело дошло до скандалов, она не вытерпела и ушла от Урбая. И вернулась в дом старшего брата.

После развода Насип относилась к мужчинам с предубеждением, избегала знакомств с ними. Но потом одиночество и постоянная мелочная опека брата и его жены Бурул изменили ее представление о месте женщины, о ее предназначении. Да и время, проведенное с денежным бухгалтером Урбаем, сказалось. И в мужчинах, встречавшихся потом ей, она видела прежде всего людей, которые могли бы принести с собой покой и благополучне…

Но но-настоящему интересным, способным избавить ее от одиночества, показался ей только Сапар. Наверное, она впервые полюбила… К тому же он, кажется, находил на тот идеал, что

виделся ей.

Сегодня, верила Насин, он пришел сюда только ради нее. И ничего, что он редко смотрит ей в глаза, и ничего, что, разговаривая, он чаще обращается к Бурул… Стоит самой положить руки на его крепкие плечи, стоит самой заглянуть ему в глаза — и убедишься в его серьезном чувстве к ней, Насин. Только бы не слишком выставлять напоказ свою радость, только бы не оказаться назойливой. Мужчин почему-то отпугивает это.

А Сапар поглядывал на Насин, угадывал ее смущенность и предчувствовал, и знал, что может произойти и что произойдет очень скоро. Та, первая летняя ночь, основанная на одном только чувстве, теперь должна закрепиться осмысленным желанием. II чем дальше думал об этом, тем больше верил, что это вполне естественно и даже необходимо. В конце концов кровь дана предками на время, и мы не можем распоряжаться ею, не заботясь о потомках. Он, Сапар, обязан выполнить свой долг по закону вечного продолжения рода.

Он все больше и больше верил в это. По эта вера не вселяла в него ни особого подъема, ни особой радости.

— Как же ты пойдешь домой? — спросила На-

син, когда они вышли из подъезда.

Сапар поежился, а она заботливо стала поправлять шарф на его шее.

— Замерзнешь?

Сапар переминался с ноги на ногу и ощущал странную неловкость.

Насин вдохнула полной грудью морозный воздух — получилось так, будто она ждет чего-то. Сапар смотрел на небо и, чтобы нарушить затянувшееся молчание, сказал:

— Вон та яркая звезда всегда на одном месте. Сколько помню себя, столько там ее вижу, — он чиркнул спичкой, намереваясь прикурить, и увидел в слабом трепещущем свете разрумянившееся лицо Насип, глаза, преданно смотрящие на него. Они, глаза эти, искрение сообщали ему о самом сокровенном и требовали ответной искренности. Спичка погасла, опять тьма отгородила его от нее.

— Алтын-Казык[5], — прошептала Насип.

— Говорят, это звезда влюбленных. Правда?

— Правда.

— А у тебя есть своя звезда?

— Есть, — прошептала Насин. — Алтып-Казык.

---

[5] Примечания: 5

Алтын-Казык — полярная звезда.

Сары-Джылдыз[6] восходит раньше других звезд, но и раньше исчезает с неба. Она красива, но я люблю Алтын-Казык. Ведь звезды — как люди.

Сапар усмехнулся.

— Ты не веришь? — все так же, глядя в глаза Сапару, удивилась Насин и, не дожидаясь ответа, продолжала: — Моя мама знала много сказок о звездах и рассказывала мне. Я маленькая была, но до сих пор помню.

— Расскажи, — из вежливости попросил Сапар.

— Когда-то все звезды были ожерельем солнца, — начала Насин, опустив глаза. — А Солнце было красивой девушкой. В нее влюбился Месяц-джигит. Однажды он пришел к ней и признался в любви. Солнце решило испытать Месяц: сняло ожерелье и рассыпало звезды по небу. «Когда соберешь все до единой, тогда я стану твоей женой». «Но днем их совсем не видно», — сказал Месяц. «Ты увидишь их вечером и ночью». И до сих пор каждый вечер выходит Месяц собирать звезды. Всю ночь собирает, но безуспешно.

— Интересная история, — сказал Сапар.

— Но Солнце тоже полюбило Месяц. А тот больше и не приходил к Солнцу — старался исполнить

---

[6] Примечания: 6
Сары-Джылдыз — желтая звезда.

желание своей возлюбленной… Грустная история, правда?

— Жалко Месяца, — сказал Сапар.

— И Солнце тоже, — улыбнулась Насин. — Тебе пора?

Сапар взял Насин за руки и притянул к себе. Она доверчиво прижалась к его груди.

Бурул, похоже, не услышала, как они вернулись, как на цыпочках прошли в комнату, плотно закрыли за собой дверь. Все было так же, как и той августовской ночью.

Только уже не было того стеснения, и Насин не выключила торшер, и Сапар любовался ее телом.

Вращалась земля, приближая утро. На рассвете двое попрощались и разошлись в разные стороны.

«А она, кажется, серьезно», — подумал Сапар по дороге домой. Он чувствовал себя совершенно опустошенным.

Сапар проснулся поздно. В доме было холодно. После выпитого и выкуренного вчера во рту стояла горечь, нестерпимо болела, голова. Хотелось пить. Сапар вышел в переднюю и увидел мать. Она собиралась затопить печь.

— Проснулся, — испытующе посмотрела на него она. — Разве можно столько пить? И где

тебя носит?

Сапар промолчал. Зачерпнул из ведра полный ковш воды, жадно выпил. Вернувшись в комнату, снова лёг в постель. Следом вошла мать и протянула телеграмму.

— Вчера принесли.

Вчитываясь в телеграмму, Сапар чувствовал, как растет в нем тревога. Да, сегодня все решится. Он должен сказать ей о том, что решил жениться на другой. Так говорит ему мать. Если у человека нет продолжения, зачем жить ему тогда, — так говорит мать. Разве не права она? Но как сказать об этом Айганыш?

Сапар попытался представить, как отреагирует на его слова Айганыш: станет удерживать его, упрашивать, умолять оставить все как было? И не смог представить. Еще раз глянул в телеграмму и тяжело вздохнул.

— Плохие вести, сынок? — с участием спросила мать, глядя на изменившееся лицо сына.

— Айганыш прилетает. Сегодня.

Мать ничего не сказала. Она поправила на голове платок и вышла из комнаты, давая понять, что решение, принятое ею накануне, достаточно твердое, и сегодня она выскажет невестке свою думу', давно не дающую покоя старой женщине.

IV

...Сойдя по трапу самолета, Айганыш заспешила к толпе встречающих, издали стремясь разглядеть лицо мужа. Она была уверена, что Сапар встретит ее. Он, конечно же, где-то здесь. Надо только разглядеть его в толпе встречающих, только бы не разминуться.

Она скучала по мужу. В последние дни поездки желание увидеть Сапара стало особенно сильным.

Вокзал аэропорта почти опустел. Сапара не было. Чтобы заглушить беспокойство, Айганыш убедила себя, что у Сапара или неотложные дела в редакции, или он вообще в командировке.

Взяв чемодан, она прошла на стоянку такси. Снег надал редкими, невесомыми хлопьями. Вечерело, и мороз ощущался все явственнее. Сев в машину, потирая озябшие руки, назвала адрес.

— Теперь все мерзнут, — сочувственно сказал шофер.

Айганыш не ответила, и до самого дома они ехали молча.

Дома было тепло. Айганыш повеселела.

Свекровь сидела в комнате, в углу. Когда вошла Айганыш, она только чуть повернула к ней лицо

и сдержанно поздоровалась, хотя обычно быстро шла навстречу невестке, брала пиалу с водой и кружила ее над головой Айганыш, совершая обряд предков, выражающий радость от благополучного возвращения издалека. Сегодня она будто забыла этот обряд.

Айганыш насторожилась.

— Случилось что-нибудь, апа? А Сапар где?

— На работе, где же еще, — буркнула свекровь.

— А как вы себя чувствуете? У вас вид такой…

— Болезни не мучают пока мое тело… но…

— Что «но», апа? У Сапара какие-нибудь неприятности на работе?

— Ничего не случилось. Раздевайся, светик мой. Озябла, наверное, — она вздохнула, поднялась, поцеловала Айганыш в лоб, снова вздохнула. — Ни на что я не жалуюсь, ни на что не сетую. Солнышко мое, ай, надежда моя! — и только теперь взяла пиалу, покружила, пробормотала пожелания благополучия семье, сыну, выплеснула воду за дверь и перевернула пиалу у порога. — Хорошо доехала?

Айганыш немного успокоилась и, чтобы окончательно избавиться от ощущения неясной тревоги, стала рассказывать о том, как танцевала в Рижском театре, что публика принимала на бис,

а в газетах даже портреты ее печатали. В общем, поездка оказалась успешной. Она не замечала, что свекровь, занятая своими мыслями, почти не слушала ее. Открыв чемодан, Айганыш стала доставать привезенные подарки.

— Сапару купила рубашку, — показала она покупку, приложив к плечам, — у нас таких не найдешь. И к ней галстук. На лето туфли вот эти взяла… А это купила для вас, — Айганыш подошла к свекрови. — Бархат. Пять метров. И на чепкен[7] хватит и на кемсел[8]. — Она накинула отрез на плечи свекрови, обняла ее, прижалась щекой к ее щеке. — Апакебай[9], отдам шить хорошему мастеру, потом поведу вас в театр и сосватаю за молодого джигита! — Айганыш рассмеялась.

А свекрови не до шуток было. Она-то знала, какой предстоит разговор. И сейчас, глядя на радостную от того, что привезла подарки, Айганыш, сердце ее сжималось, на глаза наворачивались слезы. Добрая, веселая и ласковая Айганыш нравилась ей. И тем больнее будет предстоящий

---

[7] Примечания: 7
Чепкен — верхняя одежда.

[8] Примечания: 8
Кемсел — национальный киргизский жилет.

[9] Примечания: 9
Апакебай — матушка.

разговор. «Где еще встретить такую благодарную душу? У нее характер под стать внешности. И разве виновата она, что бог не дает ей ребенка… Драгоценная моя невестушка. Как мне жаль тебя! Просто ты под несчастной звездой родилась».

— А это нам всем, — к чаю, — Айганыш высыпала на стол конфеты.

В этот момент распахнулась дверь, и вместе с клубами морозного пара вошел Сапар. Он остановился в прихожей, облокотившись о косяк двери, мутно глядя на жену.

— Сапар! — обрадовалась Айганыш, бросилась ему навстречу.

— Уйди!.. Вон с моих глаз!.. — он оттолкнул жену и, не разуваясь, нетвердым шагом прошел к дивану, тяжело сел.

— Сынок, что с тобой? — испуганно спросила мать.

— Что со мной? Ничего! Я пьяный. И хочу спать, — с трудом пробормотал Сапар, засыпая.

Айганыш склонилась над мужем, чтобы раздеть. Приподняла голову и почувствовала терпкий запах незнакомых духов. Больно закусила губу.

— Не расстраивайся, дитя мое, — сказала свекровь. — Видимо, он чем-то обижен.

— А я-то причем тут? — с обидой в голосе отозвалась Айганыш.

Свекровь отошла в сторону. Буркнула:

— Причем, причем… Что ему остается делать, если одиночество мучает?.. Если детского голосочка не слышит…

Айганыш замерла. Словно сердце остановилось. Она предчувствовала, что когда-нибудь ее упрекнут, и противилась этому чувству, гнала его, и ненавидела себя за то, что не всегда могла справиться с ним. Она любила этих людей — и Сапара, и его мать. Разве они могут сделать ей больно? Наверное, она не расслышала, перепутала что-то, не так поняла… Или это сон, просто очень дурной сои?

По старуха стояла все в той же позе, не поворачиваясь к Айганыш, чтобы не встретиться с лей взглядом, и говорила:

— Что поделаешь, дитя мое. Видно, судьба так наметила. Давай лучше посоветуемся… Ведь не зря говорят: палец, отрезанный по всеобщему совету, не болит.

Сапар повернулся во сне на другой бок и захрапел.

Старуха продолжала говорить.

Но Айганыш не слышала ее. Горячая волна

обиды и унижения окатила ее. Нет, не сон все это. Они давно все решили. И не говорили раньше потому лишь, что Сапар не нашел себе женщины. А теперь нашел… Теперь можно сказать.

— Не надо, ничего не говорите, — попросила Айганыш свекровь. — Я все равно ничего не понимаю. Дайте прийти в себя…

На улице было тихо. Словно и ветер сковало морозом. Всю ночь Айганыш не спала, молча глядела на тусклое, покрытое льдом окно. Слезы лились по её щекам. Она вытирала их, но они текли, не переставая.

Айганыш пыталась представить себе, как станет жить одна, без Сапара. И не могла. Мысли, точно ночные бабочки, лихорадочно метались в потемках, каждый раз нопадая в тупик, и снова шарахались, в другую сторону, и снова — тупик. Так человек, сбившийся в метель с дороги, бредет наугад и возвращается на свои следы, и кружит так до изнеможения.

V

«Что же произошло вчера?» Сапар некоторое время лежал с закрытыми глазами, силясь вспомнить вчерашний вечер. Но последнее, что он помнил, это — его провожала Насин. Как он

добрался домой, как встретился с Айганыш, что потом произошло в доме? Смутно возникло и памяти бледное лицо Айганыш — то ли удивленное, ТО ли испуганное. Что же он натворил вчера?

Сапар скосил глаза на спящую жену, увидел ее покрасневшие от слез глаза, плотно стиснутые губы. Понял: мать все сказала ей. Хотя разговор, видимо, не окончен, и ему придется сегодня сказать свое слово.

Он лежал, стараясь не шевелиться, готовился к предстоящему разговору. «Что же сказать? С чего начать? Что ей вчера сказала мать? Или попробовать оправдаться, мол, пьяный был, прости, мол, пьяного дурака… Нет, глупо. Ведь мать сказала главное. Ему теперь надо толькотвердо, но-мужски подтвердить…»

В это время пошевелилась Айгапыш, открыла глаза. Сапар, неожиданно для себя, хрипло спросил:

— Приехала?

Айганыш хотела что-то сказать, но помешал подступивший к горлу комок, и она только утвердительно кивнула головой.

— Ты не заболела? — спросил Сапар, хотя и понимал прекрасно никчемность этого вопроса. Ему просто хотелось, чтобы Айгапыш, потребовав

объяснений, сама напросилась на разговор.

— Устала с дороги, — тихо ответила она. Айганыш посмотрела на Сапара, надеясь по глазам прочесть его мысли. Скажи он сейчас, что по-прежнему любит ее, скажи хоть одно ласковое слово — и она расплакалась бы у него на груди.

Сапар смотрел в потолок. «Мать есть мать, — думал он. — Разве легко мне видеть ее слезы и слушать ежедневные жалобы… Я вечный ее должник — она кормила меня своим молоком. Как она захочет, так и сделаю».

— Тьфу, черт, совсем забыл, мне же в редакцию нораньше надо, — сказал Сапар. Он быстро встал, наскоро умылся и ушел.

«И надо же было всему так случиться, — думал по дороге Сапар. — Не будь вчерашнего, все осталось бы так, как было: он обнял бы Айганыш, поцеловал ее, сказал бы, что любит ее больше всего на свете, что очень скучал без нее… Но теперь этого не будет. Теперь все пойдет но-другому. И разве ты доволен? Тебе нравится то, что имеешь теперь? А каково Айганыш?»

Одно из окон редакции уже светилось — кто-то пришел раньше Сапара. Войдя в кабинет, Сапар, как и предполагал, увидел Мукаша. Тот внимательно посмотрел на него, и Сапару на мгновение

показалось, что Мукаш знает обо всем. Вот он нехотя поднимается из-за стола и улыбается так, будто хочет сказать: «Что же ты натворил, старик?»

— Кажется, ты перебрал вчера? — засмеялся Мукаш, протягивая руку Сапару.

При всем желании Сапар не мог скрыть вчерашнюю попойку. Куда денешь мешки под глазами и опухшее лицо?

— А ты завидуешь? — Сапар кисло улыбнулся. — Пу, было, было. Не скрываю. Айганыш прилетела вчера, вот и…

— А с друзьями обмывать подарки не собираешься?

— Да нет, отчего, — замялся Сапар, — не с утра же…

Мукаш весело рассмеялся. В это время зашел заведующий отделом литературы Каим Сагынов — высокий худощавый мужчина, лет сорока, но с гладким, без морщин лицом. Вообще, выглядел он лет на тридцать, не больше, чем при случае любил щегольнуть: мол, не пью, не курю, с организмом бережно обращаюсь, потому и выгляжу молодо. Настроение у него всегда было ровным, никто не помнит, чтобы он когда-нибудь «срывался».

— Смех — зарядка для души, — сказал он, входя в кабинет. — Значит, с работой все в порядке. А дома как?

«А ты откуда знаешь?», — вздрогнув, подумал Сапар. Но в следующее мгновение успокоился, усмехнулся: «И все-то на свой счет принимаю».

— Очень нужно, — продолжал завотделом, — чтобы кто-то из вас поехал в командировку. Срочно. В Ош. Желающих нет? Придется тебе, Мукаш, наверное, ведь Сапар только что вернулся. Материал для фельетона. Редактор приказал дельного человека послать, серьезного.

— Когда ехать? — спросил Сапар.

— Крайний срок — завтра.

«Хоть на неделю уехать, избавиться от объяснений. Очень кстати эта командировка. Пока вернусь, они сами обо всем договорятся. В конце концов мать заварила всю эту кашу с разводом, пусть сама и устраивает все дела», — думал Сапар.

Он вызвался поехать в командировку. Сагынов не возражал.

— Прости меня, — виновато сказал Сапар Мукашу, когда Сагыпов ушел. — Я, кажется, помешал тебе. Не обижайся, мне необходимо поехать.

— Командировка в такой мороз — мучение

одно. Летом — другое дело. Летом я, может, и обиделся бы. — Мукаш засмеялся: — Жена твоя только вчера вернулась, завтра уезжаешь ты… Кто от кого убегает? А?

— Пойду к Сагынову, узнаю суть дела, — ушел от отпета Сапар.

— В колхозе потерялась земля, — топом матерого фельетониста произнес Сагыпов. — Либо человек спрятал ее, либо волки съели. А может, еще что, — неизвестно. Двадцать гектаров! Была — и нету.

— Что же, мне искать ее?

— Именно. Тебе предстоит стать Колумбом, найти эту землю. Вот письмо, здесь все подробно описано. По должен предупредить: дело запутанное. Так что будь объективен и осторожен. Председатель этого колхоза любит жаловаться. Малейшей неточности или ошибки не простит. К тому же, колхоз прибыльный… Смотри, чтобы потом не краснеть за тебя.

VI

После отъезда Сапара свекровь о ребенке больше не заговаривала. И хотя Айганыш пыталась успокоить себя тем, что упрек, возможно, всего лишь каприз старухи, чувствовала она себя

скверно: будто камень в душу бросили. Разум подсказывал: «Уйди, не мешай его счастью, не разрушай его надежды, тем более, что они уже все решили». Но что-то удерживало ее… Хотелось поговорить с Сапаром, но тот уехал в командировку, ничего не сказав. «Подожду, — решила Айганыш, — вот если он скажет, тогда…» Что будет тогда, Айганыш и сама не представляла. С надеждой и страхом жила она в эти дни.

Свекровь, искушенная в житейских делах, хотя и не знала, что творится в душе невестки, однако догадывалась. «Что поделаешь, — думала она, — все равно от тебя, как от женщины, толку никакого. Зачем же Сапара счастья лишать? Лучше миром разойтись».

Каждый день для Айганыш годом казался. Она осунулась, побледнела. Напряженные каждодневные репетиции, вечерние спектакли, после которых с трудом добираешься до дому, — ничто так не угнетало, как один скорбный вздох свекрови. А вздохи эти Айганыш слышала каждое утро, каждый вечер.

Минуты успокоения приносили теперь ей только воспоминания о счастливых былых днях. Но тут же их отравляла мысль, что хорошее может не повториться.

…Весной каждое воскресенье они выезжали в горы. Ах, как прекрасны запахи ранней весны в горах! Набухает земля, все вокруг оживает, сил набираясь. И ярко-зеленые иголки только что проклюнувшейся травы, и упругие почки на ветках… Айганыш физически ощущала это пробуждение земли, и ей начинало казаться, что весна, Сапар и она — единственное, что реально во всем мире, что ничего нет кроме. И это единственное — вечно. Боже, как счастлива она была, как рдела от счастья! И музыка жила в сердце. Разве утаишь такое чувство? И надо ли утаивать? Она смотрела на Сапара и видела, что он тоже пьян от весны и счастья.

«Почему горы не говорят?»

«Горы полны музыки. Но чтобы услышать ее, нужно распахнуть свое сердце настежь».

«Почему жаворонок такой невзрачный?»

«Потому что с него достаточно красивой песни».

«Отчего небо такое ясное?»

«Чтобы земля смотрелась в него и прихорашивалась».

«Скажи мне, почему ты такая красивая?»

«Потому что ты глядишь на меня»…

Как давно это было? Десять, сто лет назад?

Можно ли мечтать о прошлом? Можно, если сегодняшний день тяготит, а завтрашний не сулит утешения.

Айганыш смахнула набежавшую слезу.

Она была на сцене. Вокруг — подруги, партнеры.

— Ну, девочки, начали! — позвал балетмейстер. — Начали. Музыка!

Айганыш почувствовала, что нисколько не отдохнула за время перерыва.

Тело Айганыш подчинялось мелодии, но мысли были далеко отсюда. Пьяная выходка Сапара… И слова свекрови: «Если детского голосочка не слышит…» И недавняя, случайная для нее встреча… Кажется, ее зовут Бурул, и работает она, но ее словам, в одной редакции с Сапаром. Сколько поддельного сочувствия было в ее словах: «Вы, кажется, не ладите с мужем? Он иногда бывает у нас и каждый раз жалуется… Кажется, у него увлечение… Я огорчила вас?»

— Девочки, не вижу старания, — толпе откуда-то издали доносился голос балетмейстера. — Теми… темп! Улыбку покажите, улыбку!

Все: и сцена, и пустой, будто пропасть, зрительный зал, — все в тумане…

Уже обессиленная, Айганыш слишком резко

начала исполнять заключительное фуэте, и ошиблась. Сцепа ушла из-под ног, провалилась, как палуба корабля, летящего с крутой волны.

«Что с тобой? Что с тобой?» — услышала Айганыш раздраженный, а затем встревоженный голос балетмейстера.

…Очнулась она в больнице. Увидев доктора, вопросительно посмотрела на него.

— Перелом ключицы, — сказал он, — вывих ноги. Вывих, к счастью, незначительный, а вот ключица…

Но Айгапыш не слышала его: тошно было на душе и она совсем не обрадовалась, что «вывих незначительный». Жалела, что пришла в себя, очнулась. Хотелось одного: снова забыться.

VII

В Оше Сапар первым делом пошел в обком партии, рассказал о цели своей поездки. Затем поспешил в район, где успел побывать на совещании механизаторов. И только после этого поехал в колхоз, указанный в письме.

По сравнению с Чуйской долиной — местом его предыдущей командировки — в Ошской области было гораздо теплее. Снег растаял, и только огромные лужи напоминали о нем.

В переполненном автобусе Сапар пожалел, что оделся так тепло. Сняв шапку и расстегнув пальто, он поудобнее устроился у окна.

Да, нелегкая у него задача. А ответ должен быть ясным и, самое главное, доказательным. Сагынов не зря предупреждал его. С чего же начать? Прийти к председателю колхоза и, выложив письмо, попросить прокомментировать факты? Или для начала поговорить с парторгом? Нет, лучше найти автора письма и узнать все подробности. Нужно вникнуть в тонкости происходящего, а лучше, чем автор, никто не поможет ему в этом. Заодно ясно будет, что за человек письмо написал… Решено.

Автобус медленно тащился по гравийной дороге, расплескивая по кюветам лужи. Сапар задремал. Очнулся от громкого смеха: кто-то из пассажиров тоже задремал и чуть было свою остановку не проехал. Теперь это шумно обсуждалось…

Сапар вспомнил дом. Как мать? Айганыш? Живут ли под одной крышей? Наверное, мать выложила все: настроена была решительно…

Когда он представил, что Айганыш, быть может, не живет в его доме, то едва не застонал от нахлынувшей вдруг тоски, ясно поняв, что Айга-

ныш — самый нужный ему человек на земле. И не потому, что привык к ней за годы, прожитые вместе. Просто была между ними какая-то неуловимая удивительная связь, невидимая нить, соединявшая их всегда, как бы далеко они не были друг от друга. Что бы с ним не происходило, он знал, что есть она, что через день, два, десять они встретятся… Препятствий этому нет. Не было… Да, не было. Теперь — есть. И он сам создал это препятствие, один. А преодолеть его можно только вдвоем, вместе о Айганыш.

Вдруг вспомнилась Насин. Сапар зримо увидел, как его руки тянутся к ней, прижимают ее к себе, как его пальцы перебирают маленькие пуговки, застегивающие кофточку сзади. Он увидел себя как бы со стороны и ощутил омерзение к себе. Машинально вытер о колени вспотевшие ладони.

Впереди заплакал ребенок, и его долго успокаивали. На Сапара нахлынула беспричинная злость, и он с трудом удержался, чтобы не нагрубить молодой мамаше. Резко повернувшись к соседу, спросил:

— Когда будем в колхозе?

Старик, перегнувшись через Сапара, прильнул к окну, долго разглядывал местность — и заключил:

— Бог даст, скоро будем, сынок.

Сапар усмехнулся такому ответу. — Разглядывая бесконечную степь, разлинованную проводами, поделенную черными штрихами столбов, подумал: «Будто столбами степь засеяли. Сколько же тонн хлопка не выращено, сколько земли вокруг столбов не тронуто плугом! Потерянная земля. Жалко. Где тот человек, который найдет выход из этого положения? Ходит среди нас или еще только родился?»

Подъезжая к колхозной усадьбе, автобус спустился в глубокую ложбину и, надсадно ревя, пошел на подъем.

«А что, если засыпать эту ложбину, — подумал Сапар. Техники в колхозе достаточно. Почему же не экономят землю, на которой можно выращивать белое золото? Десять — пятнадцать гектаров пропадает… Неплохая тема, кажется, — обязательно напишу. Странно: кто-то космос изучает, до антимиров добирается. А кто-то живет, чтобы кусок пожирнее ухватить. Локтями всех распихивает, теплое местечко себе урвать мечтает. Зачем? Ведь две жизни не проживешь. Думай: что детям своим оставишь?»

Автора письма Сапар нашел быстро.

— Тойчу, — представился Сапару пожилой вы-

сокий человек с жидкими, скучно повисшими усами. Рука, протянутая для приветствия, оказалась твердой.

Сапару он показался уставшим; будто, написав письмо в редакцию, взвалил на плечи непосильную ношу, и теперь был бы рад скинуть ее. «Осторожничает», — решил вначале Сапар, но вскоре убедился в другом. Тойчу, рассказывая о происшедшем, вновь сопоставлял факты, стремясь, чтобы каждая оценка, которую он давал, была объективной и точной. Довольно часто он повторял: «Это правда», — словно уверял Сапара, что не сегодня, так завтра правда победит. Сапару нравились его глаза: спокойные, в них не было ни трусливости *лжеца*, ни суетливости подхалима. Для себя он решил: «Тойчу написал правду и не откажется от своих слов». Однако для страховки спросил: «Вы не побоитесь подтвердить свои слова?»

— Нет, не побоюсь, — Тойчу не обиделся, он знал, что еще предстоит Сапару. — У меня есть дом, хозяйство. Я был бригадиром, а тот человек, — так он называл председателя, — уволил меня. Слава богу, дети подросли, жена работает. В общем, на достаток не жалуюсь. Но человеку этого мало, сынок. Надо честь беречь, она чистой

должна быть. Чтобы людям в глаза не боязно смотреть было. А честь людская — в труде.

— А смотри, что получается, — продолжал спокойно Тойчу. — Халмат, Таши и я поделили землю поровну. По тридцать гектаров на бригаду. Но так было только на бумаге, когда социалистические обязательства принимали. На самом же деле оказалось, что у меня тридцать гектаров, а у них — но сорок. Но урожай они сдают как с тридцати. Премии получают, слова хорошие выслушивают… За труд обидно. Не меня они обманывают, — землю и государство. Поэтому и написал вам.

Тойчу внимательно посмотрел на Сапара, как бы спрашивая: «Сумеешь ли разобраться во всем, сынок, ведь молод еще?»

В контору, к председателю, Сапар пришел на следующий: день. Назармат-ака, несмотря на возраст, был но-юношески бодр и энергичен. Сапара встретил радушно, как давнего знакомого.

— Здравствуй, друг, здравствуй! Добро пожаловать! Журналистов я давно люблю! Какими судьбами в наши края? Хорошо сделал, что к нам приехал, у нас есть о чем писать, каждый второй — передовик, хоть сейчас медаль вручай.

Сапар, выслушивая это, рассматривал кабинет председателя. Кабинет был роскошный: ковры на

стенах и на полу, большой полированный стол, на котором внушительно стояли четыре телефона («Зачем ему четыре? — подумал Сапар. — Один — связь с районом, один — для колхоза, — хватит»).

После взаимных расспросов о благополучии и здоровьи Сапар подробно рассказал о цели своего приезда и показал председателю письмо.

Назармат-ака[10] читал долго, перечитывая по нескольку раз отдельные строчки. Пока он читал, Сапар опять разглядывал кабинет. На большом бордовом ковре на левой стене красовалась карта колхоза. На другом ковре симметрично располагался добрый десяток почетных грамот и благодарностей. И все-таки Сапара не покидало ощущение фальши, которое, казалось, было во всем, что находилось в кабинете.

Председатель, наконец, дочитал письмо, отложил сторону. На лице Назармат-ака, до этого выражавшем любезность и радушие, появились тени, не предвещавшие виновнику, или виновникам, ничего хорошего.

— Что вы скажете об этом? — глядя на председателя, спросил Сапар.

Назармат-ака молча, неторопливо поднялся

---

[10] Примечания: 10

Ака (ага) — брат, но не только но крови, а как старший, уважаемый человек.

со своего кресла, вынул из кармана увесистую связку ключей, стал отпирать сейф. Достал папку, вернулся на место, надел очки и протянул папку Сапару.

— Возьми. Прочти это, дорогой. — Лицо председателя было нахмуренным.

Сапар взял папку, открыл и, взглянув на верхний листок, сразу узнал почерк Тойчу Тойчиева. Содержание письма было то же самое. Письмо адресовалось партийной организации.

— Переверните лист, — сказал председатель.

Сапар перевернул страницу и прочел решение собрания колхозного актива: факты не подтвердились, в связи с этим автора письма освободить от бригадирства за клевету. Затем еще страничка: решение специальной комиссии. Комиссия не подтвердила фактов Тойчу Тойчиева.

— Надеюсь, этого достаточно? — спросил председатель. — Или есть вопросы?

— Есть, — спокойно сказал Сапар. — Вот один: заявление написано в партийную организацию, почему же рассматривалось на собрании колхозного актива?

— Разве это важно? — спросил Пазармат-ака, пряча усмешку. — К тому же, у нас и в колхозном активе немало коммунистов…

— Но есть определенный порядок, — не сдался Сапар. — И разве была необходимость нарушать его?

— Ну что же… Не было парторга, а вопрос, на мой взгляд, требовал немедленного рассмотрения. Потому что важный вопрос. Или я не прав?

— Вы правы, Назармат-ака. А где парторг был? И разве нельзя без него собрать коммунистов на собрание?

— Можно, все можно, дорогой. Но, во-первых, отложи вопрос до выхода на работу парторга, так тот же Топчиев начнет на всех углах кричать, что к его сигналам не прислушиваются и на них не реагируют. А собери собрание без парторга, он же будет говорить, что оно недействительно.

— Неужели все так мрачно, Назармат-ака?

— Слушайте, — не выдержал председатель, — что вы ко мне придираетесь? Я защищал интересы колхоза и не вижу тут никакого нарушения. Главное записано черным по белому: заявление ложное, клеветническое. А если вы не верите собранию колхозного актива, то вот вам документы. Изучайте. Сами увидите, у кого сколько гектаров. Если и этого мало будет, идите и шагами меряйте колхозные поля.

— Хорошо, — сказал Сапар, — оставим в покое

выводы комиссии. Вы правы, нужны факты. Давайте посмотрим, у кого их больше…

— Вы хотите оправдать клеветника? — перебил его председатель.

— Поймите меня правильно, Иазармат-ака, спокойно произнес Сапар. — Вы же не против того, чтобы разобраться в заявлении на основании установленных фактов, так? По если в ходе разбирательства были допущены неточности и появилось сомнение в верности выводов комиссии, значит, надо еще раз все проверить. Ведь если Тойчиев клеветник, то нельзя давать ему повода для новых писем…

Последние слова понравились председателю. Он снова заговорил спокойно и размеренно:

— Дорогой мой, я не сомневаюсь, что вы напрасно потеряете время. От кошки рождается кошка, и, хоть сто раз проверяй, суть от этого не изменится. — Он помолчал немного. — Я думаю, вам не следует идти тем путем, которым мы прошли совсем недавно. Здесь вы найдете лишь то, что нашли мы, и ничего больше. Попробуйте отыскать иной путь проверки…

Зазвонил телефон. Председатель, слушая далекий голос, не без удовольствия повторял: «Да… да… завтра в десять… совещание в обкоме… буду,

обязательно буду...»

Назармат-ака положил трубку и, улыбаясь, спросил у Сапара:

— У вас в городе рабочий день, наверное, давно уже закончился, а?

...Только на третий день Сапару удалось встретиться с Аманом Кошоевым, секретарем партийной организации колхоза. До встречи же с ним он зарылся в бумаги, пытаясь отыскать концы «потерянной земли». Однако на бумаге все было гладко.

Кошоев, двадцативосьмилетний парень, сразу понравился Сапару. Хотя, узнав, что тот лишь полгода работает в этом колхозе, засомневался в его помощи.

— Ничего, разберемся, — уверил его Кошоев. — Надо разобраться. А председатель прав: нельзя было откладывать рассмотрение этого дела до моего возвращения. Я ведь после отпуска сразу в больницу попал, месяц провалялся. Хотя, конечно, и без меня можно было партсобрание провести. В общем, разберемся.

— Я, видимо, буду писать об этом, — осторожно сказал Сапар.

— Если факты подтвердятся.

— Естественно.

— Что ж, хоть и неприятно попадать в газету... — Кошоев развел руками. — Но истина дороже, как говорится. Сейчас главное — разобраться, найти эту самую истину.

Сапар вместе с Кошоевым вновь проверил все донументы, выявил все гектары, выделенные бригадам. И — выяснилось: Тойчиев прав! Двум бригадам дали лишние гектары.

Десять дней кропотливой работы целиком захватили Сапара. Непогода, задержала его в Оше еще на сутки, за которые он успел написать фельетон. И лишь сидя в самолете, он снова вернулся к мыслям о доме, об Айганыш.

Самолет легко пробежал по бетонной полосе, подкатил к аэровокзалу. Еще несколько минут ревели моторы, нотом успокоились. Стюардесса открыла люк.

Морозный ветер гнал поземку. Сапар, подняв воротник пальто, быстро прошел в здание аэровокзала. Остановился, подумав: «Как же он заявится домой? Ведь мать уже все, наверное, сказала Айганыш. Все. Как они живут теперь в одном доме? Как разговаривают друг с другом?»

Сапар прошел к свободному креслу, сел, положив на колени портфель. Прикрыл глаза в тяжелом раздумье. Вспомнился парторг Кошоев.

Молодец парень! Особенно он понравился, когда Сапар сказал, что обо всем придется писать в газету, и Кощоев согласился. Как это он сказал: главное — найти истину? Он прав. Он тысячу раз врав, парторг Кошоев. Надо искать истину. И если истина покажет, что ты не прав, что ты ошибся, соберись с силами, сумей сказать: «Я виноват. Судите меня, люди». А может быть, ты себя правым считаешь, дорогой Сапар? Ну, тогда представь на месте своей жены не Айганыш, а Насин. Вот она готовит тебе завтрак. Вот она лежит с тобой. в постели. Вот вместе смотрите телевизор. Вот идете к друзьям, и ты говоришь: «Моя жена Насин»... Вот едете в горы и любуетесь цветами. Представил? Не можешь? Только Айганыш видишь? Зачем же тогда весь этот огород городишь? В чем сомневаешься тогда?

«Но ведь может человек двумя цветками любоваться?» «Может. Только Айганыш и Насин — не полевые цветочки, и они вряд ли мечтают о том, чтобы ты собрал их в один букет».

«Но ведь может человек двоих любить?»

«Нет, не может. Любовь, как и правда, — одна. Вторая — обман, ложь. И потом — не об этом ведь речь. Ты же не потому оставляешь Айганыш, что разлюбил ее?»

«Я люблю Айганыш и Насин…»

«Ты любишь Насин?»

«Мне нравится быть с ней».

«Извини, это еще не любовь. Ты сможешь прожить без Насин?»

«Смогу. Если… не уйдет Айганыш».

«Вот видишь, — если…»

Сапар вздрогнул, неожиданно ощутив на плече чью-то руку.

Оглянулся, — Мукаш стоит, улыбается. В руке — билет.

— Один раз Сапар меня от командировки спас, а второй раз некому было, — сказал он. Потом спросил: — А ты что, домой не собираешься? Или опять вместо меня полетишь? Только теперь в Нарын…

— Да нет, спасибо, — усмехнулся Сапар.

— Так что ты здесь делаешь? — Мукаш присел рядом.

— Сижу.

— Я и сам вижу, что сидишь, не слепой. Почему домой не едешь? Или действительно с Айганыш поссорился?

— Почему — действительно? — не понял Сапар.

— Да я догадываюсь — у вас что-то не так…

Сапар только вздохнул. После минутного молчания спросил:

— А ты жениться не собираешься?

Мукаш рассмеялся.

— Мне девочек хватает…

— Не устал?

— В каком смысле?

— Ну, сегодня одна, а завтра — другая. Все равно ведь одно и то же… К оседлости не тянет?

— Это серьезный разговор, друг мой Сапар, а на серьезный разговор времени нет, через десять минут посадку объявят. Так что до следующего раза.

— Ладно, я и так понял, что ты можешь ответить.

— Гляди, какой догадливый… Ну, до встречи. — Мукаш встал и направился к двери, ведущей на летное поле.

VIII

Подходя к дому, Сапар уже знал, что скажет жене. Прежде всего, конечно, извинится за свою пьяную выходку. И скажет, что любит одну только ее, Айганыш, что никто ему больше не нужен, что не мыслит жизни без нее. И здесь он не покривит душой, не солжет, ибо теперь почувствовал

и увидел все отчетливо… А потом он попросит прощения. Только бы она простила его, только не затаила бы смертельную обиду. Все будет хорошо, только бы Айганыш простила его.

Дома была одна мать. Она встретила Сапара радостно, устав от одиночества. Накрывая обеденный стол, она между делом сообщила, что Айганыш положили в больницу. На встревоженный взгляд сына коротко обронила: «Не знаю, что уж там случилось». И Сапар понял, что расспрашивать ее бесполезно. Видимо, разговор у нее с Айганыш все-таки состоялся.

— Апаке, — после некоторого молчания сдавленно произнес Сапар. — Апаке… я хотел сказать вам… Нам надо поговорить, апаке.

Мать вопросительно посмотрела на него.

— Апаке, если вы любите меня, то нашу жизнь с Айганыш…

Сапар не договорил, увидев, как вздрогнула, как растерянно посмотрела на него мать: она считала дело решенным.

— Не надо, сынок, — произнесла она. — Если ты уважаешь мать, то не надо об этом. Выслушай меня…

— Апаке!

— Дай договорить мне, сынок. Десять лет я жила

одной только надеждой. Только надеждой… — вздохнула она. — Но я устала уже, устала ждать. Да и некогда мне теперь ждать, годы уходят, и никто не знает, какой из них окажется последним. И для меня нет горше мысли, чем думать, что уйду, так и не увидев своего внука, не узнав, будет ли продолжаться наш род или угаснет. Каково мне будет там, куда я, может быть, скоро уйду, думать, что наш род погас, как упавшая звезда… Ты обижаешься на меня, я вижу. Но пойми, не о себе думаю, сын мой, — о продолжении нашего рода.

Много раз приходилось Сапару слышать подобные слова от матери. Но если раньше они порождали в нем тягостные сомнения, то сейчас он выслушивал их спокойно.

— Я все понимаю, апаке…

— Тогда о чем же говоришь ты?

— Мое горе тяжелее, мама. Пожалейте меня, дайте возможность самому решать свою судьбу. Свою и Айганыш, — поправился он. — Вы дали мне крылья, так позвольте летать, хватит держать меня под своим крылом.

Сапар видел, что мать не понимает его. Мать — она носила его под сердцем, она кормила его своей грудью. Она огорчалась, если кто-то обижал его. Она оберегала его от дурного взгляда. Она

всегда желала ему добра.

Впрочем, она и теперь ему добра желает. Но теперь ее добро оборачивается для сына злом. И едва ли она поймет это.

...Сапар надел белый халат, быстро прошел по коридору. Но перед дверью в палату остановился в нерешительности. Осторожно приоткрыл дверь. Вошел.

Айганыш открыла глаза и несколько минут молча смотрела на мужа. Лицо ее оставалось неподвижным, и только глаза наполнялись слезами.

— О боже, это ты? — прошептала она. — Зачем ты пришел?

Сапар собирался так много рассказать жене: и о том, что передумал за эти дни, и о трудной командировке, и о не получившемся разговоре с матерью, и о том, что он все равно переубедит ее... Но он только смотрел на Айганыш, на ее волосы, разметавшиеся по белой подушке, и, оглушенный вопросом, молчал.

— Не приходи больше! — вдруг выкрикнула Айганыш. — Не хочу тебя видеть. Ненавижу! Убирайся к своей любовнице! Не подходи ко мне!

Дверь быстро открылась, и в палату вошла сестра. Она подошла к рыдавшей Айганыш, начала

успокаивать ее, знаками показав Сапару, чтобы он уходил.

— Бессовестный! Бессовестный! — продолжала выкрикивать сквозь рыдания Айганыш, хотя Сапар уже ушел. — Я не хочу больше видеть ваши лица!..

«Теперь все кончено, — думал он, бродя по городу. — Хорошо жилось, да плохо завершилось... Неужели теперь никогда не быть вместе? Неужели это невозможно? Так спокойно все было. Было... И винить некого. Кроме себя, конечно. Крепким казался дворец, но стоило выпасть одному кирпичу, и здание накренилось, вот-вот рухнет... А может, и рухнуло уже...»

IX

Потянулись дни, похожие друг на друга. Единственно, что заботило теперь Сапара на работе, это не выказать своего состояния, сохранить в тайне все, что происходило в его личной жизни?

Но, как говорится, пришла беда — жди другую...

Вчера зашел Сагыпов и сказал:

Готовься, Сапар. Пришло опровержение на твой фельетон. Я тебя предупреждал: Назармат-ака шутить не любит. Поймает за палец — и руку от-

хватит. Сейчас проверка идет, и если твои факты не подтвердятся на все сто процентов, то я тебе не позавидую. В общем, готовься.

Вначале Сапар возмутился: «Что он, мальчик, чтобы его проверяли? Ведь не первый год в газете работает, и ни разу пока не ошибался». Потом забеспокоился: «А вдруг председатель обхитрит проверяющих? Я с парторгом целую неделю бумаги ворошил, а у комиссии терпения может и не хватить. Да и Назармат — фигура авторитетная не только в районе, но и в области…»

Прервал невеселые размышления Мукаш.

— Не волнуйся, — хлопнув Сапара по плечу, сказал он. — Естественная проверка. Ведь после такого фельетона, если все в нем правильно, председателя в три шеи гнать будут. А вдруг ты ошибся? Вдруг сгустил краски? Ведь судьба человека решается. Здесь не один, здесь семь раз проверить надо, прежде чем рубить. Да мне ли тебе объяснять. Ты же сам все прекрасно знаешь…

— Ты прав, Мукаш, все это я знаю, только неуверенность во всем какая-то… Не пойму, откуда?

— Дома, что ли, неприятности?

— Да, нет…

— Кстати, а копии документов ты взял?

— С основных. И еще объяснительные у меня

есть, колхозников и парторга.

— Они расписались?

— Да, я попросил.

— Так ты как за каменной стеной, — рассмеялся Мукаш, — тебя никакой кляузник не возьмет.

«Ты прав, мой дорогой Мукаш. Здесь я, как за каменной стеной. И рад этому. А вот как разрушить каменную стену между мной и Айганыш? Какими объяснительными записками, какими копиями?» — грустно улыбнулся Сапар.

— Ну, чудак, разве можно переживать из-за пустяков? — по-своему понял состояние Сапара Мукаш.

Сапар уткнулся в газету. Но читать не мог. Мысли были заняты одним: «Как переубедить мать? Как вернуть Айганыш?» Он чувствовал, что каждый новый день все дальше отделяет его от нее.

Вошла Бурул, села напротив Сапара. Но тот, занятый своими мыслями, не видел ее. И лишь когда она переставила на столе пепельницу и закурила, пустив ему в лицо струю дыма, он очнулся, вздрогнул от неожиданности и закашлялся от дыма.

— И кто же это поперек горла встал Сапару, что он так закашлялся? — засмеялась Бурул.

«Кто же, кроме тебя», — подумал Сапар, но

промолчал.

— Мальчики, а как вы такой случай расцениваете, — продолжала Бурул. — Человек потерялся…

— Сам себя не найдет, что ли? — сострил Мукаш.

— Ищет ли себя тот человек, я не знаю, а вот родственники уже с ног сбились.

— Вообще-то это по части Сапара, — сказал Мукаш, — он пропавшую землю нашел, а человека подавно отыщет. Но если этот потерянный человек женщина, и формы ее приличны, — он обозначил в воздухе женскую фигуру, — то могу и я подключиться к поискам.

— Я, между прочим, не шучу, — обиделась Бурул. — Сестра моего мужа несколько дней дома не почует, и где искать ее — ума не приложу.

Сапар вздрогнул, почувствовав, что над ним еще одна беда нависает. Если с Насин что-нибудь случится, не пришлось бы ему отвечать.

«Врет она все, — подумал Сапар о Бурул. — Врет, чтобы я снова пришел к ним. Дудки. Интриганка. Никаких веревок не хватит затащить меня к вам снова. И не пытайся. А что, если не врет?.. Вдруг действительно что-то случилось с Насин? И я виноват в этом…»

Еще что-то говорила Бурул, но Сапар не слышал

ее. Звонил телефон, и Мукаш кричал в трубку, но и этих слов Сапар не слышал. В нем боролись противоречивые чувства: и жалость к Насин (а вдруг и впрямь случилось что?), и неприязнь к ней (если и правда, что случилось, то скольким людям придется рассказывать об их отношениях).

Он взял чистые листы бумаги, начал что-то машинально писать. К нему подошел Мукаш и сказал, что его вызывает Омурова. Но и разговор с ней тоже не мог отвлечь Сапара от тягостных мыслей. И только потом…

— Что с вами, Сапар? — спросила Ракия Омуровна. — У вас неприятности?

— Вы же сами знаете — проверяют меня, — пробормотал Сапар, не поднимая головы.

— Я не об этом. Проверка вполне естественна, и вам это известно. У вас, похоже, другие неприятности?

В голосе Омуровой не было ни мещанского любопытства, ни фальши, когда спрашивают по долгу службы. И Сапар, совершенно неожиданно для себя, принялся рассказывать обо всем, что случилось у него в доме, в его семье, с ним самим. Омурова слушала, не перебивая.

Закончив, Сапар прерывисто вздохнул, словно сбросил тяжелую ношу, хотя бы на время, и по-

просил разрешения закурить. С наслаждением затянулся.

— Что же, история не новая, — после некоторого молчания сказала Омурова, — но, понимаю, вам от этого не легче. Конечно, очень плохо, что вы предали жену, и теперь только от вас зависит, простит ли она. А вот с матерью…

— Я ее понимаю, — сказал Сапар. — Я у нее единственный, и она считает, что счастье обошло меня стороной, если нет детей, и мириться с этим не хочет.

— С одной стороны — правильно, — согласилась Омурова, — а с другой… А с другой стороны, она не может понять, что если ради своего счастья разрушать чье-то другое, то никогда счастлив не будешь. Это аксиома. И я рада, что вы сами понимаете это, Сапар.

— Да, главное теперь — чтобы простила Айганыш… И спасибо вам, Ракия Омуровна, за сегодняшний разговор.

…Когда Сапар вернулся в комнату, Мукаш встретил его вопросительным взглядом.

— О проверке моего фельетона говорили, — сказал Сапар.

— Ну и как?

— Сказала, чтобы не волновался.

— Ну вот, — обрадовался Мукаш, — а я тебе что говорил! Надо верить старшим товарищам.

— Обязательно буду, — улыбнулся Сапар.

Он прошел к столу, взял в руки свежий помер газеты, который еще не просматривал.

«Пришла весна, — читал он, — самое прекрасное время года. Природа просыпается после долгого сна, стряхивает с себя, словно старую шубу, прошлогоднюю листву, умывается звонкими ручьями. Весна — источник жизни матери-земли. Расстилаются зеленые бархатные ковры. Словно кисти огромной шелковой шали, колышутся алые маки. И как не верить — мир вечен, мир — прекрасен! И все это дарит нам весна».

— Своего завотделом читаешь? — Мукаш стоял рядом и через плечо Сапара заглядывал в газету.

— Читаю, — ответил Сапар.

— Ну и как тебе эти лирические ручьи?

— По-моему, неплохо. С чувством, во всяком случае.

— Ты что, влюбился? Или голова после вчерашнего болит?

— А что вчера было? — не понял Сапар.

— Я откуда зпаю, — засмеялся Мукаш, — у тебя же болит, не у меня.

— Не угадал. Вчера ничего не было, и голова

моя свежа.

— Значит, влюбился?

— Ага.

— В кого же?

— В жену свою.

— Гений! — воскликнул Мукаш. — Счастливый гений! В родную жену влюбился. Только я один могу в это поверить.

— А я больше никому и не скажу, — улыбнулся Сапар.

— И правильно сделаешь. Засмеют…

Сапар смотрел на улыбающееся лицо Мукаша и думал: «Бывает же так… Не заметил, что весна пришла! Жизнь…»

X

Служебные дела наладились. Особенно после недавней летучки, на которой выступил и Сапар. Выступил с предложением: каждый работник редакции должен взять шефство над одним-двумя районами, хорошо изучить их. Поддерживать постоянную связь с районными редакциями и организовать при райкомах партии корреспондентские посты. Если подобная форма работы утвердится, доказывал Сапар, то улучшится и плановость работы газеты, и повысится действен-

ность каждого опубликованного материала, больше будет оперативности. Кроме того, при подведении квартальных и ежегодных итогов можно будет намного точнее определять практическую значимость материалов.

Выступление Сапара вызвало споры. Одни говорили, что это нереально, когда один и тот же сотрудник будет и по сельскому хозяйству материалы делать, и по промышленности, и по культуре. Другие доказывали, что Сапар абсолютно прав, и что не надо бояться такого разнообразия в работе, наоборот, появятся свежие мысли, свежие решения.

В конце концов решили: пусть каждый продумает свое мнение еще раз и выскажет на следующей летучке.

А в конце Ракия Омуровна объявила результаты проверки фельетона Сапара: факты подтвердились полностью, председателя сняли с работы, на его место избран парторг Кошоев.

Да, на работе у Сапара все вошло в нормальную колею. А дома все было почти но-прежнему: Айганыш в больнице, и хотя Сапар каждый день приходил к ней, лед между ними не таял.

Мать, видя, как мучается ее сын, тяжело вздыхала. А однажды, когда они ужинали, оказала:

— Сам отвечай за свою семью. Живи, как хочешь. Не хочу, чтобы ты когда-нибудь меня плохим словом номянул.

Сапар удивился такой перемене матери, однако виду не подал, хотя и был рад. Он не знал, что домой к ним приходила Ракия Омуровна. «Апаке, — сказала она, — не стоит пренебрегать серебром, что у вас в руках, золото в чужих, может статься, окажется медью».

Мать тронули эти слова и, оставшись наедине, она но-своему пережила тот разговор и даже обиделась: «Ишь ты, — не пренебрегайте, говорит! Да Сапар мой и сам — золото, я за одну тень его своей жизни не ножалею!»

Конец марта и начало апреля выдались удивительно теплыми. Неожиданно, вдруг, начали лопаться почки, и ветки деревьев облепили маленькие клейкие листочки. Буйно зацвели урюк и абрикос, густым розовым огнем вспыхнули персиковые деревья. Все радовалось теплу.

Сапар чувствовал одновременно и сопричастность к весеннему пробуждению, и отчужденность. Дни он проводил на работе, вечер во дворике больницы. А ночью, возвратившись домой и лежа в кровати, подолгу не мог уснуть, глядя в звездное окно, перебирая в памяти то,

что, собираясь по капле, потом сразу изменило его жизнь, пройдясь большим сокрушительным, будто сель, потоком. И сейчас он, неумело, как неопытный строитель, пытался укротить поток, воздвигнуть плотину, чувствуя, что позже придется еще труднее восстанавливать разрушенное…

XI

Повязку с плеча Айганыш пока еще не сняли. Нога потихоньку заживала и Айганыш изредка пыталась встать с кровати, ходила. Но даже от непродолжительной ходьбы нога вновь начинала болеть, стопа наливалась тяжестью.

Одна и та же мысль не покидала Айганыш: «Смогу ли я танцевать? А если смогу, то как скоро? Господи, не лишай меня танца — единственной моей радости. Танец и вместо отца мне, и вместо матери, которых не довелось увидеть. И вместо ребенка, голоса которого так и не услышала… Господц, неужели я не выйду больше на сцену?»

Особенно часто она думала об этом после того, как случай свел ее с Насин.

…Сколько раз, проходя мимо палаты Айганыш, Насин останавливалась в нерешительности: зайти, поговорить?.. Но как? Ведь она имела от-

ношение к ее разладу с Сапаром…

Насин, покинув дом старшего брата, устроилась работать медсестрой в другую больницу, и вот узнала, что здесь лежит Айганыш, жена ее Сапара.

И как-то вечером она решилась. Но, войдя в палату, вдруг испугалась. Потом осмелилась — подошла к кровати Айганыш, присела на краешек, сказала:

— Простите меня! и зарыдала.

Она обняла ничего не понимавшую Айганыш и сквозь рыдания продолжала говорить:

— Я виновата… Если бы не я, он, может, не поступил бы так. Меня зовут Насин. Поверьте, он ни в чем не виноват, это я все, я…

Еще ничего не понимая, Айганыш растерянно гладила по голове Насин, и постепенно смысл ее слов доходил до нее. Она вспомнила короткий разговор с Бурул: «Кажется, у него увлечение…» И она с каким-то ужасом, необъяснимым, начала понимать, что перед вей та самая женщина, которая отняла у нее Сапара.

— Я была как во сне… — рыдала Насип, — я ничего не видела вокруг, ничего не хотела видеть. Я просто ни о чем не хотела думать. Мне хотелось жить, быть любимой — и все. Я только потом

поняла, что на чужом несчастье своего счастья не построишь никогда… Теперь я все понимаю… Теперь я понимаю… Я ушла из дома, живу на квартире, медсестрой вот устроилась здесь. Я все заново начала, всю свою жизнь. Поверьте, это легче, чем надеяться прожить чужую жизнь… — слезы неудержимо текли из глаз Насин.

— Чего уж теперь… — растерянно проговорила Айганыш, ладонью дотронувшись до волос Насин. — Чего уж теперь… — И вдруг вырвалось: — Ты… видишь его?

— Нет! — воскликнула Насин, и в этом восклицании не было ни капли фальши. — С тех пор, еще зимой, как он уехал в Ош в командировку, я ни разу его не видела. И он не искал меня. Поверьте, это правда!

— Да, да, это правда, я верю тебе, — тихо проговорила Айганыш и устало откинулась на подушку, прикрыв ладонью глаза.

— Ты ждешь ребенка?

Насин хотелось, чтобы именно об этом не спрашивала ее Айганыш. «Не спросит», — надеялась она. Но та спросила, и сразу же стала в глазах соперницы жалкой, зависимой. Захотелось вдруг окончательно раздавить ее, сказать «да», но что-то остановило, не дало сделать это. И все же Насин

не смогла не выказать своего превосходства: встала и пошла из палаты, ничего не ответив.

Едва она вышла, как ворвалась Икрамова.

— Это я, милочка!

Она начала вытаскивать из сумки пакеты, свертки, разложила всё по полкам тумбочки.

— Тебе большой привет передают девочки и сам шеф. Извинился, что не смог тебя навестить. Он и меня не хотел отпускать с репетиции. Но ты же знаешь мой характер. Я сказала: «Дудки!» — и пошла. Как ты тут? — наконец Икрамова присела на кровать и с показной заботливостью стала убирать со лба Айганыш растрепавшиеся волосы.

— Залечиваю раны, — улыбнулась Айганыш.

— Если ты о муже, — забудь. Он мизинца твоего не стоит. Если о натуральном падении с переломом, — это пройдет. Ты вернешься на сцену и меня опять снимут со спектакля. Уйду в кордебалет… Да! Самое главное чуть не забыли, — Икрамова достала из сумочки журнал, открыла разворот и издали показала Айганыш. — Полюбуйся!

На развороте были фотографии их нового спектакля, который они показывали на гастролях в Риге — серия мелких фотографий и одна большая.

На этой — большой — она, Айганыш.

— Ты, милочка, должна быть счастлива, — сказала Икрамова. — И не финти, не говори, что тебе это безразлично. Я не поверю.

— Если бы у меня спросили: «Как ты понимаешь счастье?» — сказала Айганыш, — я бы и теперь не знала, что ответить. Как ты считаешь — плохо это?

— Ужасно! Никуда не годится. Хорошему человек должен радоваться. Ешь апельсин, — Икрамова взялась очищать апельсин.

— У меня стало появляться чувство одиночества…

— Я тебе сейчас расскажу, что у нас делается на репетициях, и от твоего одиночества один пшик останется, — Икрамова с присущей ей снисходительностью стала рассказывать о театре. Айганыш поначалу слушала ее, но, не уловив ничего нового, стала думать о своем, изредка кивая Икрамовой, иногда улыбаясь, иногда хмурясь, когда улыбалась или хмурилась рассказчица. Но слушать — не слушала. «Странно, — думала Айганыш, — не те ведь годы у меня, чтобы топить в тоске и радость ожидания, и веру, и уверенность в свое, непохожее ни на чье другое, предназначение. И от чего эта сломленность? Претензии

свекрови и поведение Сапара могли вызвать обиду, горькую обиду, но не сломленность. Героиня Грина говорит угольщику, что не было бы, наверное, человека счастливее ее, если бы его корзина с углем зацвела. „А что надо мне, чтобы испытать счастье? Мой патрон, замечательной души человек, осуждает меня довольно открыто и небрежно: „Ты вошла в колею и топай по ней, поминутно развивая скорость и темп, с надеждой покорить этот мир целиком. У тебя для того все данные“. Может, справедлив патрон. Только как такое пророчество увидеть воплощенным в деле, поступках? Если теперь мне но-настоящему горько…“

Икрамова в этот момент рассмеялась над тем, о чем рассказывала. Айганыш улыбнулась ей.

— Так что, милочка, у тебя будет все прелестно. Ты — талант, и я завидую тебе. Все. „Господа, ваше время истекло“. Дай я тебя поцелую, — Икрамова наклонилась, чмокнула Айганыш в щеку. — Боже, да ты вся пропахла лекарствами. Приедешь ко мне, я тебя отмою, — и, уже остановившись на пороге, строго сказала: — И не мучай себя мелочами. Ты — талант, а талант принадлежит народу, а не мужу — деспоту.

— Света, — позвала ее Айгапыш, — отчего ты

такая дерганая? У тебя тоже неприятности?

— Тоже! — передразнила ее Икрамова и вдруг сникла, привалилась спиной к дверному косяку, долгим взглядом поглядела на Айгапыш и пожаловалась: — От тебя муж ушел, а у меня — роль не получается! Роль не нолучается! Нашла с чем сравнить. Я этих мужей тебе завтра сто штук приведу. А кто мне поможет? Никто. Раньше думала — ты мне мешаешь. Теперь тебя нет. А ле нолучается — и все, хоть провались! — Махнула рукой и вышла.

Начался дождь. Легкие капли оставляли на стекле косые прозрачные полоски. С каждой минутой их становилось всё больше, а потом забарабанили по подоконнику крупные капли. И разразился ливень. Шум его успокаивал, убаюкивал…

Ей приснилось бездонное ясное небо. И падающие белые комочки хлопка. Невесомые, они едва касались лица, плеч Айганыш, медленно скользили по рукам. Потом их стало так много, что за ними не видать неба, а все, что есть на земле, сделалось белым-белым. Айгапыш идет во этому белому полю, долго идет, издалека, устала. Шагать все труднее, потому что под ногами мягко. А около разминочного станка стоит

Икрамова, делает упражнения и спрашивает: „Ты куда?“ „Домой“, — отвечает Айганыш. „Почему не плачешь?“ " А почему я должна плакать?" "Сапар в реке утонул", — будничным голосом, словно метеосводку передает, говорит Икрамова. И Айгапыш заплакала.

И проснулась — плача. Слезы текли по щекам, намочили подушку. Сердце билось учащенно от страшного известия, пришедшего во сне. "Нет, нет! Этого не может быть! Я люблю его, мне нельзя терять его!.."

Она выглянула в окно, надеясь увидеть Сапара во дворике. Дождь кончился, и на умытом темно-синего цвета небе стояло жаркое солнце. И так захотелось туда, к людям, под солнце, где ходит Сапар, ее муж...

Тяжелая мужская рука легла на ее плечо. Айганыш вздрогнула, быстро обернулась.

— О, вы прекрасно выглядите сегодня! — оказал доктор. — Ну что ж, будем снимать этот хомут?

Айганыш только улыбнулась в ответ.

— Завтра отправляю вас домой, нечего тут место занимать. Да и муж ваш надоел порядком: приходит каждый день, все спрашивает о вашем здоровье. А попросить, чтобы я выписал вас быстрее, не решается. — Он ощупывал ногу Айга-

ныш. — Оснований для беспокойства я не вижу. Так что завтра домой, а месяца через два-три жду пригласительный билет на ваш спектакль. Договорились?

— Через три месяца?!

— Что, быстро?

— Нет, долго очень…

— А вы что думаете, — мы вашу ключицу автогеном сварили? А нога? Да вы еще легко отделались! В общем, идемте со мной в кабинет…

Айганыш встала и нетвердо пошла за врачом.

XII

Был конец апреля. Вечерело. Солнце спряталось за домами. Только верхние этажи зданий еще освещены и кажутся легкими, сделанными из золотистой фольги. Камни домов, если прикоснуться, еще теплые. На улицах тихо. Люди неторопливы, немногословны, — день на исходе. В эти часы слух тоньше, взгляд осмысленнее, душа отзывчивее.

Сапар медленно шёл по улицам и ощущал жизнь города и свою нераздельно. Ему не надо было думать, куда он идет и зачем. Он знал: куда бы ни шел, все равно придет к скверу больницы, чтобы снова посмотреть на одноединственное

окно — второй этаж, третье от угла. Может быть, в окне удастся увидеть Айганыш.

А позже, вечером, когда совсем погаснет солнце и зажгутся огни, деловой, озабоченный город превращается в вокзал, а каждая улица — в перрон, где ждут, провожают, встречают… И если кто угрюмый, уставший, выйдет в этот час на улицу, то постепенно заразится общим настроением, и тоже вольется в толпу, увлекаемый потоком людей. И вовсе развеселится, если встретит давнего знакомого и спросит: "Ты куда?". "Туда", — неопределенно укажет знакомый. "А я — туда!" "Счастливо!" И лица, лица, лица — все больше незнакомые, как у транзитных пассажиров. Куда движутся? Зачем? С болезненной грустью или холодным сарказмом можно подумать, скрестив на груди руки: "Эх, люди, люди! Это всего лишь мгновение, убегающее безвозвратно. Только подумал, о том, а оно уже кануло в Лету. Уйдете и вы, как уходили предки". Однако ни страха на лицах, ни сожаления, а улыбки. И взгляды, хоть мимолетные, но жадные. И бежит прочь сарказм, и приходят на ум строки: "И вышла из моря… богиня с перстами пурпурными, Эос". И каждый чувствует, как персты эти касаются его лба, согревают озябшее тело… Так приходит

любовь. Каждый ждет этой поры, ибо у каждого есть сердце.

— Сапар!

Он обернулся, увидел Насин. Она была нарядная — в светлом брючном костюме.

— Здравствуй, — приветливо улыбнулся он.

— Ты куда идешь?

— Туда, — махнул он рукой.

— И я туда.

— А если я — туда? — показал Сапар в противоположную сторону.

— И я туда, — ответила Насин. — Я искала тебя.

— Вышла ошибка, понимаешь? — сказал он. Хотелось одного: честно признаться Насин во всем.

— Такое ощущение, будто всю зиму я неотрывно смотрелся в зеркало и ничего, кроме своей гнусной рожи не видел. А теперь я разбил это зеркало… с твоей номощью.

— Не обольщайся, ты и сейчас никого, кроме себя, не замечаешь. Ну, скажи мне что-нибудь хорошее. Скажи, что я тебе нравлюсь, что мне идет этот костюм. Скажи, и мне станет весело.

— У тебя действительно красивый костюм, и он действительно тебе идет.

Насин рассмеялась и сказала:

— Если ты хочешь расстаться с женщиной, не

груби ей. Она может обидеться.

— Ты все поняла?

— Не перебивай. А если женщина обидится, она может испортить тебе жизнь. Ты должен "брать ее на жалость". Мы любим жалеть. Нельзя разрушать возведенный женщиной замок…

Сапар вспомнил, что уже однажды слышал эти слова, слова, которые учили его бояться, лгать. Но теперь они показались ему ненужными, нелепыми, как поливочная машина после проливного дождя.

— Я понял, что не могу дать тебе то, в чем ты нуждаешься, — сказал он.

— А ты знаешь мою нужду?

— Знаю. Я нужен тебе весь, целиком. А я не могу весь и не хочу — но частям.

— А ты, оказывается, злой человек.

— Хочешь мороженого?

— Нет. Я искала тебя, чтобы выслушивать гадости? — она начинала сердиться.

— Я никогда не говорил тебе столько приятного. Я говорю тебе сейчас только правду! А раньше только думал, что говорю правду.

— Ну, вот, поговорили, — притихла Насин.

Некоторое время они шли молча. Сапар уже увидел ограду больничного сквера.

— Ну, и что теперь? — спросила Насин.

— Прости.

— Ну, хорошо, — сказала она. — А если у меня в жизни больше ничего настоящего не будет? Придет старость и… Сплошная серость!..

— Может, — согласился Сапар. — Купи ружье и застрели меня, если но-другому не можешь.

Она засмеялась, озорно поглядела:

— Слушай, у театра меня ждет мужчина. Достал билеты. У него связи в театральной кассе. Хочешь пойти со мной? Я отберу у него билет, отдам тебе. Хочешь?

— Нет, — сказал Сапар.

— Какой ты скучный! От тебя кефиром пахнет. И за что только тебя Айганыш любит. Да еще мучается, что ты не приходишь к ней.

— А ты откуда знаешь? — настороженно спросил Сапар.

— Я работаю в этой больнице, и часто видела тебя из окна, когда ты слонялся по больничному дворику. А носледние несколько дней тебя не видно.

— Я к главврачу захожу, поэтому…

— Но это все не имеет значения, — перебила На-син. — Я была у Айганыш, разговаривала с. ней. И все рассказала.

— Что все? — спросил Сапар, ошарашенный.

— Все, что у нас с тобой было. Вернее, почти все…

Сапара охватила нервная дрожь. Он слушал Насин и ничего не мог сказать — слова застревали в горле. "Айганыш обо всем знает. Как же я посмотрю ей в глаза теперь? Как я верну ее в дом? Да она и видеть меня не захочет. Она знает все!"

— Зачем же ты сделала это, Насин? — с трудом проговорил он наконец. — Ну послала бы меня к черту, если так решила, но зачем же надо было говорить, Насин?

— Я поняла: ты никогда не уйдешь от нее. Так начните все сначала. И честно, без недомолвок.

— И откуда ты взялась такая добрая! — Сапар с трудом подавлял подступавшую злость. — А может быть, ты мне и все другое распишешь, а? Как я теперь пойду к Айганыш, что должен говорить ей, — ты это тоже знаешь, а?

— Скажи ей правду, Сапар…

— Ты медсестрой работаешь, да? Так вот пойди ко всем своим больным и расскажи им всю правду: одному — что он через месяц умрет, другому — что он через неделю, третьему — что завтра утром… Иди, скажи им все. это!

— Не надо, Сапар, — остановила его Насин.

— Вот-вот, а потом добавь своим больным: не волнуйтесь мол, все будет хорошо.

Дрожащими руками он вынул сигарету, закурил. Что же теперь делать? Что делать?

Насин быстро перебежала улицу, остановила такси, села, хлопнула дверцей и уехала.

XIII

Сквозь яркую, освещенную полуденным солнцем листву больничного сквера Сапару хорошо было видно одноединственное окно: второй этаж, третье от угла. Он стоял и смотрел на это окно. Он ждал, что оно откроется. Несколько вечеров подряд он приходил сюда, останавливался под этим деревом и ждал. А потом, когда гас в окне палаты свет, уходил, чтобы вернуться следующим вечером.

Сегодня Сапар волновался особенно. Врач сказал, что Айганыш можно забрать домой. Сапар принес одежду.

…Айганыш никак не могла заставить себя начать собираться. Врач пошел оформлять документы на выписку, а она всё лежала на кровати, не решаясь подняться, пойти за вещами. Впрочем, и вещей-то нет, наверное, только танцевальное платье, в котором ее привезли с репетиции…

Тихо открылась дверь, Айганыш замерла, боясь повернуться и посмотреть на вошедшего. Вдруг это врач, и она услышит его голос: документы оформлены, до свидания…

— Одежду… вот… принес…

— Сапар!

И растерялась, не зная, что сказать, что сделать. Медленно повернула голову и увидела мужа, робко державшего в руках выглаженное платье, ее любимое белое платье в мелкий голубой горошек, сейчас аккуратно наброшенное на плечики.

— Ты что, так и нёс его? — искренне удивилась она.

— Да… — тихо пробормотал Сапар, и опустил голову. Айганыш с трудом сдержала улыбку. Попросила:

— Подожди на улице.

— Что? — Сапару показалось, что он ослышался.

Айганыш страдальчески улыбнулась: у Сапара был жалкий вид.

— Подожди меня на улице, — повторила она. — Я должна одеться, бумаги получить. Я скоро. Подожди.

Сапар шел по коридору больницы и повторял про себя, как заклинание: "Если все наладится,

если только всё наладится..."

Вскоре появилась Айганыш. Она улыбалась. Подставила лицо ветру. "Как хорошо!"

— Идем, нас такси ждет, — сказал Сапар, любуясь женой.

— А может быть, пешком пройдемся, смотри, как хорошо! Я только сейчас но-настоящему поверила, что пришла весна. Из окна этого не увидишь.

— Нет, тебе нельзя, мне врач сказал. Надо беречь ногу, тогда ты быстрее станешь танцевать.

Они сели в машину. Сапар назвал адрес.

— Зачем туда? — удивилась Айганыш. — Ведь наш дом в другой стороне?

— Это мой сюрприз тебе. Приятный сюрприз, — поспешно добавил Сапар, увидев, как насторожилась Айганыш.

Они подъехали к незнакомому дому, вошли в подъезд, поднялись на площадку, Сапар постучал. Дверь открыла его мать. Айганыш ничего не понимала. Свекровь смущенно, но с лаской в голосе поздоровалась с Айганыш, обняла ее, но поцеловать не решилась.

Сапар сиял.

— Нравится? Это наша квартира, получил от редакции. Ну, как? — выпалил он, стараясь пой-

мать взгляд жены. — Чем пахнет?

— Краской… А еще весной.

— Жаль только, что две комнаты, — сказал Сапар.

— Нам хватит. Зачем больше? Зато мама довольна будет: не надо теперь воду из колонки носить.

Сапар посмотрел на часы.

— Ого, десятый час! Будем ужинать? Мама лагман приготовила сегодня.

— Ой, я так соскучилась по домашней еде! Особенно по лагману.

Ужинали молча. Втроем. Как когда-то давным-давно, летом. Но тогда они успевали за ужином столько разговоров переговорить, что мать только головой покачивала и улыбалась, довольная, и шутливо грозила сыну и снохе: мол, нельзя за столом разговаривать и, дескать, она сама виновата, что не воспитала сына должным образом, а тот свою жену.

После ужина Сапар помог Айганыш дойти до кровати.

— Только свет не включай, — попросила она.

— Хорошо.

Он подошел к окну, открыл форточку, закурил. Звезд совсем не видно, похоже — ветер нагнал

непогоду. За окном — темень, лишь под высоким столбом от лампочки — пятно, которое мечется от сильного ветра, и кажется, будто человек что-то ищет в темноте, подсвечивая себе большим фонарем.

От порыва ветра свет лампочки метнулся далеко в сторону и на какой-то миг высветил урюковое дерево в серебристо-розовом свечении… Сапар улыбнулся. Хотел было загадать, что если не опадет за ночь цвет с урючины, то все наладится. Но не решился.

— Ты спишь? — спросил он.

— Нет, — ответила Айганыш.

— О чем думаешь?

— Ни о чем, — тихо отозвалась она, — просто на тебя гляжу.

— Чего же разглядишь в такой темноте?

— Тебя видно.

— Ну и как? — спросил Сапар, и дрогнувший голос выдал, какого труда стоило ему задать этот вопрос.

— Осунулся очень.

— Устал. Просто я очень сильно устал.

— Я знаю, — после долгой паузы произнесла Айганыш.

— Там, на улице, урюк расцвел… Как бы не

померз за ночь.

— Утром посмотрим, Сапаш.

Перевод А.Алянчикова иО.Новопокровского

КЕНЕШ ДЖУСУПОВ

Произведения киргизского прозаика Кенеша Джусупова известны русскому, татарскому, башкирскому, эстонскому, арабскому читателю. На родном языке у писателя шесть книг.

За книгу о киргизском поэте Алыкуле Осмонове "Жизнь в стихах" К. Джусупов удостоен премии Ленинского комсомола республики.

ЛЕСОРУБЫ
Повесть

Зима в этом году выдалась на редкость ранняя, до срока выпал обильный снег. Он плотно укутал дома, улицы, деревья, близкие горы. Из аильных печных труб новалил дым, поднимающийся к небу ровным столбом, нохожим на оголенный ствол ели или сосны.

Тихо в аиле на рассвете. Повсюду мельтешат оголодавшие вороны и сороки, поминутно перескакивающие с веток на дувалы, с дувалов на крыши. Вдали, на дороге, ведущей в горы, виднеются одинокие фигурки — люди сгоняют в стадо

своих коров.

Болотбек проснулся, когда солнце уже встало. Большинство аильчан успело отчаевничать, самые заботливые, угнав свой скот в стадо, теперь сбрасывали снег с крыш, расчищали дворы. Наскоро умывшись, Болотбек для начала отправился к дядюшке, жившему неподалеку, — справиться о здоровье, выпить пиалу бузы. Собирался — одну, а выпил две и, наверное, попросил бы еще, если бы вовремя не спохватился и не прервал затянувшийся дядин рассказ о необыкновенном просе, так ловко добытом им у своих сватов…

Почти у самого дома парню повстречался Касым. В аиле все называют этого человека сторожем Касымом, а женщины — молодухи большей частью — "посыльным дядей". Основание — было: сторожем и посыльным Касым стал еще в довоенные времена. А теперь его назначили разнорабочим, но забот на новой должности у него не убавилось.

В праздничные дни любит Касым покрасоваться перед односельчанами: приколет на новый пиджак все свои боевые медали и, не скрывая гордости, медленно прохаживается по самой главной улице.

Не было такого праздника, чтобы Касым не

получил премии или хотя бы благодарности. Рассказывают, что в прошлом году он чуть не отхватил премию даже на восьмое марта!

— А, это ты, сын беднейшего, — но обыкновению приветствовал он Болотбека. — Вот ведь как получается — искал тебя в небе, а нашел на земле. К чему бы это?

— Начинается, — буркнул себе под нос Болотбек. Он знал, какой у дядюшки Касыма язык, и теперь не ожидал для себя ничего хорошего. "Сыном беднейшего" Касым прозвал его из-за отца, Акматбека. Однажды, уже после фронта, Касым зашел в их дом, но почему-то не дождался принятого в таких случаях угощения. С тех пор отец и приобрел прозвище, а за ним и Болотбек. Впрочем, в аиле не осталось жителя, который бы, точно верблюд свой горб, не таскал бы за собой повсюду какое-либо прозвище, полученное от Касыма.

— Послушай же, сын Акматбека, — да не торопись и не гляди на меня такими глазами — я тебе не пугало, — осадив лошадь и ответив на приветствие, продолжал Касыке. — Тебя зовет председатель. — И не удержался, чтобы не посетовать:

— Хороша теперешняя молодежь: разве когда

догадается зайти к председателю без особого приглашения!

Сказав это, Касым застыл в полушутливом поклоне — сложив руки на животе и склонившись в седле.

— Зачем к председателю? — поинтересовался Болотбек.

— Говорят, тебя хотят женить на дочери феи!

— Противиться этому могут только старцы, — послушно, но не без иронии произнес Болотбек.

— Ну и проныра же ты, ну и озорник! — по-своему оценил намек дядя Касым. — И хотелось бы тебя отругать, да ведь ты любимый сын Акматбека… Ну-ка живо к председателю!

В голову парня лезло всякое. Но что бы он ни думал, получалось, что к председателю ему пдти незачем. Вот уже три месяца как Болотбек не водит машину. И председателю не хуже, чем ему самому известно, почему. Ведь именно председатель не защитил Болотбека от автоинспектора, когда тот забирал шоферские права, да еще публично отчитал при этом: "Люди, вы посмотрите, чего захотел этот сердцеед. Одну женщину посадил — мало. Посмотрите, люди, на этого ухажера…"

А, возможно, теперь ему хотят предложить сво-

бодную машину, ну, хотя бы для езды по мелким хозяйственным нуждам в самом аиле? Пожалуй, это было бы кстати, но обида еще не прошла. И все-таки, еслп вызывают, надо идти.

К конторе первым подъехал Касым. Он слез с копя, привязал его к столбу и пошел навстречу Болотбеку:

— Добро пожаловать, сын Акматбека! Я тебе вот что скажу: если твою мать во время беременности тянуло на сердце тигра, шагай к башкарме[11] и сам спрашивай, что к чему. Понимаешь? Только не думай, что в правлении тебя будут упрашивать, чтобы ты по крайней мере отбил казну хана, захваченную врагами. Так, наверное, подоспела какая-нибудь мелкая работенка, вроде того — зарезать курицу...

"Ах, Касыке! — Болотбеку только и осталось, что склонить голову. — Ну и язычок же у этого человека! Продирает до самых костей. Бегущую от овода корову успокаивает тень, силок усмиряет ястреба, запруда останавливает половодье. А кто остановит язык подобного острослова?"

Болотбек решительно шагнул в правление, и уже совсем было собрался переступить порог

---

[11] Примечания: 11
Башкарма — председатель.

председательского кабинета, как Касым потеснил его и вошел первым.

В кабинете было накурено, впору вешать топор.

— Легче поймать в степи лису, чем отыскать этого парня. Как, жених, правильно я говорю? — с порога начал Касым, вызвав общий смех.

Так уж повелось: стоит только Касыму открыть рот, как все кругом смеются. А есть такие, которых хлебом не корми, дай только разнести его остроты по всему аилу.

— Проходи, проходи, Бокентай, — указал на место рядом с собой колхозный бригадир Темир.

"С чего это он стал со мной таким вежливым, — подумалось Болотбеку. — Ишь как, Бокентаем величает. С тех пор, как отобрали машину, все зовут меня не иначе, как только Акматбековым. Да и кто я? Так — возчик навоза, конюх. И тут — Бокентай… К чему бы это?"

Он осмотрелся. Утопая в табачном дыму, в комнате сидело больше десятка человек.

— А как вы смотрите на Ыдырыса? — не обращая внимания на вошедшего Болотбека, спросил председатель.

— Это который Ыдырыс, тощий сын Сарымсака? — тотчас откликнулся Касым.

— Боталин Ыдырыс, — улыбнувшись, поправил председатель. — Как, Темир, подойдет? — И, обратившись к бригадиру, добавил:

— Учти, с людьми работать и отвечать за все тебе самому.

Темир, неприметный с виду колхозник — в прошлом стригаль и мираб, косарь и рабочий на пилораме, а теперь бригадирствующий то на одной работе, то на другой, — молча сидел в уголке, сощурив глаза, должно быть, от дыма. Болотбек силился и никак не мог угадать, куда же его посылали бригадирить на этот раз. Темир, привстав с места, сказал, что Боталин его устраивает, но что у него много и других неясных вопросов, которые касаются лесозаготовок. Теперь Болотбеку стало ясно, о чем шла речь и почему его сюда пригласили, — в аиле набирали людей для рубки леса в горах.

— Асанкула Асанова послать можно, — предложил кто-то.

Касым не преминул и тут вставить свое:

— Ну как же, конечно, его надо отправить, чтобы нерестал каждый день бранить жену и оставлять без бузы весь аил. Бедный Асанкул, ско-

ро его живот станет совсем таким, как саба[12].

— Это четвертый, — переждав смех, сказал председатель, — а надо еще шестерых. — И предложил Джуму Асанбекова.

Так, одну за другой, в правлении обсуждали кандидатуры будущих лесорубов, утверждая одни, отводя другие. У некоторых находились причины, чтобы не выезжать из аила: тот многодетный, у того нет на зиму дров, тому не на кого оставить скот. В подобных случаях всегда находится какая-нибудь причина. Кому это, скажите, интересно бросать свой очаг, теплую постель и десятками дней мерзнуть где-то в горах, вдали от дома?

Уже не первый год аил посылает своих людей на лесозаготовки. Так повелось еще с войны, когда каждая семья отрабатывала свою долю и когда с этой работой каким-то чудом управлялись одни женщины. С тех пор каждую зиму аильчане отправляются заготавливать лес. Заготовщиков так между собой в колхозе и называют — лесорубы: "уехали лесорубы", "не вернулись ли еще лесорубы?" И даже вошло в привычку связывать с ними отсчет времени — "это было в тот день

---

[12] Примечания: 12

Саба — большой кожаный бурдюк, в котором приготавливается кумыс.

(или неделю спустя), когда приехали лесорубы..."

Теперь все тяжести неустроенной жизни на дальней зимовке предстояло, испытать Болотбеку, так как членами правления была названа его кандидатура, девятая по счету. Все ждали от него ответа. А Болотбек не испытывал ни малейшего желания ехать. Между тем был твердо уверен, что все решат без него. Ну что же, так ему и надо, сам виноват, не надо было садить в кабину этих двух злополучных бабенок. Их пожалел, а для себя вон как все теперь оборачивается... Хорошо еще, если удастся избежать острот дядюшки Касыма. Но любители позубоскалить не преминули развязать его язык: с невинным видом спросили у Касыке — сможет ли, но его мнению, Болотбек работать на лесозаготовках. Для порядка чуть помедлив, дядюшка Касым ответил:

Очень сомневаюсь в этом. Если на что он и годен, так, наверное, с утра до вечера мучить гармошку.

— Это вы уж зря, — переждав смешки, вступился председатель. — Болотбек — парень с головой, стихи в райгазете печатает и гармонист неплохой.

Почувствовав неожиданную поддержку, колхозный комсорг вскочил с места:

— Акматбеков — третий комсомолец, который едет на лесозаготовки. Думаю, что ребята не подведут.

— Ты, комсомол, не торопись, — перебили комсорга. — Касым дело говорит. Лес валить — это тебе не гайки на машине завинчивать и не песни за пиалой бузы орать. Тут сила и сноровка нужны. А откуда им взяться у Болотбека?

— Ну это вы бросьте! — неожиданно вмешался в разговор дядюшка Касым. — По правде сказать, такие вот доходяги часто оказываются повыносливей здоровяков. По фронту знаю.

Болотбек подозрительно покосился на аильного острослова, а потом вдруг, сам не зная почему, выкрикнул:

— Да пусть хоть пожар, хоть потоп, а я все равно поеду, со всеми поеду! Хоть запишете, хоть нет… — упрямо добавил он.

— Давно бы так, — засмеялся Касым. — Ну чем не джигит, этот сын Акматбека? А я уж грешным делом нодумывал, что ждать толку от этого парня — все равно, что надеяться на приплод от желтогрудого верблюжонка…

И тут неожиданно назвали кандидатуру самого дядюшки Касыма. Ее предложил председатель.

— Что ж, будь по-вашему, — полушутя, полув-

серьез согласился дядя Касым. — Только, если что случится, заранее прошу: похороните по-людски, со всеми почестями и с музыкой!

Бригадир охотно пообещал:

— Об этом можете не беспокоиться, последнюю волю выполним.

Председатель коротко заключил:

— Итак, вас десятеро. Лошадьми и продуктами вы обеспечены. Ночевать будете, как обычно, в доме Мекуша. Закончите рубку, свезете бревна на берег Он-Арчи. Там вашу работу примет лесник. На сборы времени достаточно, — в дорогу послезавтра...

Возвращаясь домой, Болотбек с опаской посматривал на горы, сплошь укрытые лесом. Он все еще не мог привыкнуть к мысли, что сам, добровольно согласился ноехать, можно сказать, к черту на кулички. "Ничего, будь что будет, — принимался он утешать себя. — Другие работают, и я, авось, не пропаду."

Иначе восприняла все мать — старая Маасынбюбю. Она долго не могла успокоиться. То ругала его автомашину, то вспоминала о каком-то Артыке, который отморозил ногу на лесозаготовках, то попросту угрожала не пустить: "Куда тебе в лес, еще совсем дитя!.."

— Ничего дитя! В девятнадцать-то лет! — обижался Болотбек. — Нет уж, мам, поеду я!

Зная, что материнскому ворчанию и вздохам не будет конца, Болотбек, переждав новую бурю, решил направиться в кузницу. Там, у коновязи, уже стояли лошади лесорубов. Круглолицый, с проседью в усах Мамыралы по одной, не спеша, подводил лошадей к столбу. Колхозники придерживали их за узду, наблюдая, как безошибочно, с одного удара кузнец вгонял гвозди в подкову.

— Молодец, Мамыке, — не удержался от похвалы стоявший рядом бригадир. — Не думал, что так по памяти можно знать размеры копыт коней. — И, повернувшись к людям, пояснил: — Стоило назвать лошадей по кличкам — и вот какие отличные подковы он изготовил для каждой.

Болотбека послали в магазин за традиционным угощением для кузнеца. Когда он вернулся, все лошади были уже подкованы. Болотбеку выделили гнедого мерина. Отведя его на конный двор, Болотбек отправился домой.

Маасынбюбю всю ночь не спала, чинила, готовила своему младшему одежду. Сшила портянки из заячьей шкуры и теплые овчинные варежки, заштопала старый лисий малахай.

Приготовления продолжались и на следующий день.

В назначенное утро Болотбек проснулся от приза бригадира. Было еще совсем темно. Темир отправился будить остальных, а Болотбек долго сидел на постели, протирая глаза.

Вместе с сыном встала и Маасынбюбю. Суетясь, зажгла лампу и растопила печь.

Он вышел во двор, полной грудью вдохнул зимний воздух. Сон постепенно уходил.

Горы, земля — все вокруг белым-бело. Высоко над головой бездонное чистое небо. В глубине его мерцают холодные звезды. Далеко, казалось — но всему аилу, разносились людские голоса, фырканье коней.

Болотбек потуже затянул подпругой на своем гнедом, приведенном с вечера во двор, обтянутое кожей отцовское седло и зашел в дом. Маасынбюбю давно приготовила завтрак и ждала сына. Не успел Болотбек управиться с едой, как с улицы послышались зовущие голоса.

— Беда прямо, — не выдержала старуха. — Не дают спокойно поесть ребенку, изведут бедного мальчика. Береги себя, сынок, помни Артыка, которому отрезали ногу…

Когда Болотбек вышел на улицу, трое всадни-

ков, резко повернув своих лошадей, поскакали дальше.

— Не задерживай других, догоняй!

— Хорошо, — заторопился Болотбек.

Он приладил топор, перебросил переметную суму, а позади седла привязал одеяло.

— Ну, мама, пока, — вздохнул он, уже сидя верхом. — Иди домой, а то очень уж на улице холодно.

Горестно сморщившись, Маасынбюбю стояла во дворе в стареньком домашнем платье. Болотбеку вдруг стало до слез жаль ее. Нагнувшись, он поцеловал мать и, поспешно хлестнув лошадь, тронулся в путь.

Добраться до Каратал-Джапырыка не так-то просто. Там, где это можно, всадники стараются ехать побыстрее, чтобы в движении хоть слегка согреться. Мороз преобразил всех до неузнаваемости: на усах появились сосульки, на воротниках и шапках — густой пепельный пней. Временами Болотбеку казалось, что он закоченел. Не помогали ни портянки из заячьих шкурок, ни овчинные варежки. Нестерпимо хотелось слезть с коня и припустить богом что есть духу. Одно удерживало: как на это носмотрят остальные…

Увидев, что Болотбек порядком продрог и пону-

рился, а может, чтобы избавить его от излишних насмешек, к нему подъехал бригадир и, огрев плетью гнедого, сказал:

— Живее, парень, копя время от времени надо понукать. Если сам будешь собран, и лошадь пойдет хорошо. Смотри, ты же весь закоченел. Рано вешать нос.

Единственная тропа, но которой ехали лесорубы, но мере подъема становилась все более труднопроходимой. Ноги лошадей то проваливались в щебень, то скользили по льду. Поднимаясь все выше по ущелью, всадники много раз переправлялись через замерзшую речушку. Наконец, они въехали в долину, со всех сторон окруженную стеной отвесных скал. Речка тут еще не промерзла. Сколько лесорубы не тащили лошадей, ни одна в воду не шла. Пришлось силком столкнуть в речку лошадь Чогулдура вместе с наездником. Вода тут же дошла до стремени седока.

— Бери наискосок, до отмели! — крикнул с берега Темир. — Что вы, как маленькие, сами не догадаетесь, что делать, ждете подсказки!

Между тем Чогулдур переправился. Теперь и другие лесорубы вместе с лошадьми оказались в воде. Болотбек остался один. Сердце его защемило. Сколько не нахлестывал он своего гнедого,

тот не трогался с места.

— Посильнее огрей его! Пришпорь! — подавал советы Темир.

— Это тебе не машина, — съязвил Касым. — Лошадью надо с умом управлять.

— Да не бойся ты коня, не бойся, — он чует это, — кричал Чогулдур. — Ах, чтоб тебе век не сидеть на лошади!

Болотбек, как ни старался, беспомощно крутился на одном месте.

— Поводком работай, поводком, И ногами шевели, — снова подал голос Темпр, и, поняв бесполезность советов, направил своего копя в обратный путь, спеша на помощь. Он приблизился, и Болотбек бросил ему поводья, а сам начал яростно попукать гнедого ногами и камчой. Раз-другой споткнувшись, лошадь, наконец, плюхнулась в студеную воду и поплыла. Болотбек облегченно вздохнул. С того берега донесся смех.

— Так-то, малыш, — только и сказал Темпр, возвращая поводья.

— Если этот малый не может даже ездить верхом, то какой же прок от него будет в лесу, — громко, чтобы слышали все, произнес Асапкул Асапов.

Болотбек виновато молчал.

К вечеру подъехали к старому, заброшенному дому чабана Мекуша, над которым одиноко кружила потревоженная ворона. Многие годы Мекуш зимовал здесь со своей отарой. На других зимовках скот, случалось, падал от бескормицы, в отаре же Мекуша за все время пропало лишь несколько овец, да и то из-за волков. Был Мекуш скромным, добрым человеком. Усердно чабанил вместе с женой, всю жизнь проводил в горах, редко когда спускался вниз, к аильчанам. Всю жизнь ничем не болел, а погиб нелепо: попал с женой под снежную лавину. Теперь вот от Мекуша дом остался, коновязь старая, каменный загон для овец, да еще добрая память о нем.

Мужчины внесли в ветхий, словно мечеть, глинобитный дом печурку, которую привезли с собой. В комнатах разостлали принесенное со двора сено. Наскоро подправили покосившиеся двери и окопные рамы.

Дом Мекуша — постоянное пристанище лесорубов, поэтому тут оказались загодя припасенные дрова. И вот уже из трубы повалил первый веселый дымок, оповещая ущелье, что сюда приехали люди… Все сгрудились у нечурки, дымя папиросами, а Болотбека попросили принести дров про запас. Он вышел на мороз и долго стоял, не

шелохнувшись. Вокруг была такая тишина, что временами казалось, будто уши наглухо заложены ватой. Огромная луна источала призрачный, молочно-белый свет. В лунном молоке даже лошади стали белыми. Над горной рекой лениво поднимался седой туман. На противоположном склоне гор смутно виднелись густо припорошенные, словно одетые в нарядные кементаи[13], ели.

С трудом оторвавшись от этой картины, юноша наколол еловых дров и с охапкой их вошел в дом.

— Ого, — не сдержал своего удивления Касым, — оказывается, наш Болотбек может быть не плохим лесозаготовщиком.

— Он же у матери один дома остался, потому и приучен ко всякой работе, — невозмутимо, как будто не было злополучной для Болотбека переправы через реку, заметил, известный по прежним годам как табунщик, старик Сыды.

Болотбек открыл дверцу печурки, подбросил несколько поленьев, — пламя забушевало сильнее. Тепло, особая близость людей в горах располагают к неторопливому разговору.

---

[13] Примечания: 13

Кементаи — верхняя одежда для табунщика, сделанная из белого войлока.

— Да, без Мекушевой крыши нам бы туго пришлось, — придвигаясь к огню, задумчиво произнес Джума Асапбеков. — Тысячи раз спасибо ему от нас.

— Мекушу-то спасибо, а вот что скажут добрые люди со временем тебе, Джумаке? — пошутил Чогулдур, немолодой уже мужчина, славившийся в аиле как удачливый охотник.

— Я сроду без дела не сидел, это ты вечно шляешься по горам, мешаешь жить в тишине даже птицам, — оскорбился Джума. — Я всю жизнь был сторожем. Честно стерег каждый колхозный колос, пучок травы, каждый литр арычной воды…

В котле забулькало и, следуя давним советам жен, мужчины сначала отлили из него кипяток для чая, а затем бросили замерзшее мясо, чтобы разогреть его. После крепкого чая они поснимали верхнюю одежду, заметно разомлели.

Покончив с ужином, сразу же стали укладываться на ночлег.

Болотбек долго не мог заснуть. Задремав, скоро снова проснулся. Было уже совсем поздно. В избушке стоял холод. Скрючившись, натянул на себя одеяло. Но, несмотря на все свои старания, согреться не мог. Тогда впотьмах натянул на голову лисью шапку и в ней залез под одеяло.

Лошади у коновязи стояли неспокойно, фыркали, стучали копытами.

Печь еще не потухла, блики пламени играли на нотолке, на окне, на оштукатуренной стене. Раздавался разноголосый храп. Болотбек, измученный бессонницей, злился на себя, но ничего не мог поделать. Вспоминалась своя жизнь, трудности. Но были ли они в его жизни, такие, что оставляют в сердце глубокие следы, даже раны? По-настоящему тяжелые дни? Если и были, то это, ножалуй, дни, когда он поехал в город учиться и провалился на экзаменах в институт. И не мог от стыда вернуться домой. Мыкался в городе без прописки, без жилья и работы. Повезло ему только после того, как встретил ребят из своего аила и те повезли его на ипподром. И там номогли ему пристроиться — приглядывать за лошадьми, прибывающими из совхозов. По утрам он с гордостью гонял лошадей к речке на водопой. Любил ухаживать за ними, особенно за одним сивым красавцем, которому прилежно расчесывал гриву, челку и который в ответ тоже не скупился на ласку. Только Болотбек. к сожалению, не дождался того дня, когда Сивый блеснет на состязаниях. Приехала мать и, отчитав его, как ребенка, с позором увезла домой. Так он очутился

за баранкой колхозного грузовика в родном аиле. Нет, это, пожалуй, не настоящие трудности. У других бывает такое, от чего даже седеют волосы. Но он не виноват, что его обошло такое…

Незаметно Болотбек крепко уснул.

Утром лесорубы занялись устройством на новом месте. Джума и Молдакун отправились за питьевой водой к недалеким тут родниковым ключам. Асанкул расчищал от снега дорожку у домика. Чогулдур точил о свой ремень добротный охотничий нож. Все было спокойно и мирно, если не считать легкой словесной перепалки с Чогулдуром.

Зачинщиком ее стал обычно спокойный, сдержанный Ыдырыс. Большую часть своего времени в колхозе он проводил, загорая под неисправными тракторами и другими сельхозмашинами прямо в поле илп за стенами ремонтных мастерских. Ыдырыс был очень невысокого мнения об охотничьих способностях Чогулдура. Обнаружив за ближним бугром какие-то следы, он готов был биться с каждым о заклад, что Чогулдур ни за что не определит, чьи они. И вообще не способен отличить даже следы волка от следов лисицы. Мол, при желании он, Ыдырыс, мог бы тоже изо дня в день, как Чоке, с дрянным ружьишком за

плечами, сидя на какой-нибудь кляче, гоняться за сусликами. Но он не из таких. Он любит настоящую работу и работает от души.

По правде сказать, у тихони-ремонтника были основания думать и говорить так, а не иначе. Добрых три де-сятка из сорока лет ушло у Чогулдура не только на охоту. Все знали, что он неутомимо колесил по джайлоо не столько в поисках дичи, сколько ради лишней чашки кумыса. На это-то и намекал Ыдырыс. И его охотно поддержали Молдакуп и Джума, вернувшиеся с водой от родника.

— Что верно, то верно, — сказал первый. — Охота — это занятие для бездельников. И хотя наш Чогулдур всю жизнь провел в седло, во время козлодрания и других конных состязаний честь колхоза защищает все-таки Ыдырыс. А вот Чогулдура народ что-то не видел на скачках…

— Э, да что там говорить, — безнадежно махнул рукой Джума. — Чогулдур не попадет из ружья не то что в суслика, а в привязанную косулю. Скорее я, несмотря на свои косые глаза, попаду, чем он.

Это уже было сверх сил и терпения Чогулдура. Задетый за живое, он заявил, что все просто-напросто сговорились против него, что охота — это древнейшее, чисто мужское ремесло, и он родился и умрет охотником.

Болотбек понял, что каждая из спорящих сторон так и останется при своем мнении. Что касается его, то он пока насчет охоты своего мнения не имел.

Бригадир попросил лесорубов собраться всем вместе для важного совета. Готовая пища кончалась и следовало, не мешкая, назначить артельного повара.

— Предлагаю Джумаке, как опытного и знающего человека, — внушительно произнес Темир. — Если будут какие трудности, с дровами, например, — поможем.

Бригадира дружно поддержали.

Сидевший в стороне — жидкая бородка клинышком, войлочная шапка надвинута на глаза, — крайне довольный доверием односельчан, Джума неспеша процедил меж зубов насвай, кивнул головой. С достоинством сказал:

— Хорошо, дети мои, я согласен. Как решили, пусть так и будет. Если решите отправить в лес на заготовку, пойду в лес. Дело у нас общее, колхозное.

Незадолго до полудня из-за поворота ущелья показалась фигура здешнего лесника Айылчиева. Когда он подъехал к дому, Чогулдур с неожиданной живостью вдруг засуетился у разгоряченного

копя:

— Сюда, ребятки, живей! Помогите спешиться человеку.

Тучному Айылчиеву и точно требовалась помощь. Глядя на лесника, Болотбек вспомнил, что тот даже при неторопливой ходьбе пыхтит, как паровоз. Это не мешало некоторым аильчанам считать его самым почечным человеком в округе. Болотбек догадывался, почему. Зимой и летом его односельчане возили лес через Карагал-Джапырык. А там их неизменно поджидал Айылчиев. Днем и ночью, в зной и мороз. Случалось, что виновные в незаконной порубке, будучи пойманными с поличным, спасались тем, что шли на хитрость. Играя на известной им слабости лесника, они клятвенно заверяли, что приходятся ему родственниками, не далее как в седьмом колене. Но чаще бывало так, что аркан с незаконной поклажей обрезался, "родственник" уплачивал штраф и уезжал восвояси. Не раз Болотбек слышал и о том, что иные, когда дело происходило ночью, исчерпав все свои доводы, оставляли лесника привязанным к дереву. Таким образом, затяжная война между грозным лесником и аильчанами шла с переменным успехом.

Многоопытный Чогулдур, не давая открыть

рта гостю, спешил справиться о его здоровье и жизни, явно угождая, называл лесника "вечным тружеником леса", "беркутом с черной скалы".

Однако Айылчиев не поддавался лести. Не сходя с коня, он всем туловищем повернулся к Чогулдуру, взмахом руки сдвинул лисью шапку с потного лба.

— Зря беспокоишься. Я живу хорошо, точно арча на скале. Уж не думаешь ли ты, горемычный, что я живу так только — благодаря твоим молитвам?..

Чогулдур бережно, словно ребенка, ссадил Айылчиева с коня.

После обычных приветствий Темир объявил своим, что лесник будет говорить. Лесорубы сгрудились, Айылчиев сплюнул на землю, раскрыл полевую сумку, долго рылся в ней, наконец, достал какую-то бумагу и книгу.

— Значит так, всех вас здесь десять человеко-единиц. Это хорошо, — неторопливо начал он, не поясняя почему же хорошо. Так же, не спеша, достал из нагрудного кармана карандаш и продолжил: — Ну и запишем: десять человеко-единиц.

— И что из того? — не выдержал кто-то.

— Тс-с-с, — мгновенно призвал к тишине Чо-

гулдур.

Между тем оратор, похоже, настраивался на длинную речь.

— Так вот, братцы, знайте, — вы приехали в лес, — Айылчиев величественно повернулся лицом к лесистому склону ущелья, как бы призывая далекие ели в молчаливые свидетели того, что он действительно говорит правду. — Не думайте, что лес — это просто когда много деревьев. Я мог бы вам целые сутки рассказывать о том, что такое лес, но боюсь, что рассказ мой скоро выветрится из ваших голов, что от него не будет ровно никакой пользы. Не так ли, братцы?

Лесорубы зароптали. Возмутился даже Чогулдур:

— Молдоке[14], мы не перваши, кое в чем тоже разбираемся, кое-что знаем. Но если за долгие годы своей работы вы действительно так уж много узнали о лесе, что вам невмочь молчать об этом, так и быть, рассказывайте, мы слушаем.

Айылчиев обиделся на охотника, но особого вида не подал и своего решения поучить лесной азбуке не изменил.

— Страна наша, — откашлявшись, заговорил

---

[14] Примечания: 14

Молдоке — здесь в ироническом значении: "грамотей".

он, — очень богата лесом. Вот что пишут о тяньшаньской ели ученые люди. — И, не моргнув глазом, стал читать по книге: "...Ель отличается большой выносливостью, непритязательна к почве. Растет на высоте до 3000 метров над уровнем моря. Растение можно встретить на болотистой земле и черноземе, на каменистой и песчаной почве. Эффективно способствует влагозадержанию..."

— Хвала вам, молдоке, вы открыли нам глаза, заткнули за пояс всех городских краснобаев, — с преувеличенным усердием стал благодарить Чогулдур и захлопал в ладоши. Раздалось еще несколько жидких хлопков.

Джума решил, что настало время помочь незадачливому оратору и наивно поинтересовался, почему это почтенный молдоке, с одной стороны, наказывает беречь лес, а с другой, — позволяет вовсю рубить деревья.

Давно ожидавший этого вопроса Айылчиев важно кивнул головой:

— Это я слышу не в первый раз. На то мы, лесники, здесь и поставлены, чтобы лес рубили с умом, а не где попало и как попало. За каждое дерево мы отвечаем головой. И потом мы не только рубим. Вон на том склоне виднеется много тем-

ных пятнышек — лунок. В них тридцать тысяч саженцев. Их посадили в этом году. Рубим старые деревья или подпорченные, с изъяном. Такие я и для вас пометил. За это можно не беспокоиться, тут полностью отвечаю я. Есть еще вопросы?

— А за дичь, что в лесу, вы тоже отвечаете? — не удержался Чогулдур.

— Тоже. Хорошо, что напомнили. Сейчас охота здесь запрещена. За каждый выстрел, попавший в цель, штраф. Мы хотим, чтобы дичь размножалась, поэтому каждый год.

Но тут у Молдакуна нашелся один вопрос.

— Молдоке, — с невинным видом осведомился он, — вам точно известно, сколько самок лесных животных в этом году осталось яловыми?

Раздался дружный смех.

Айылчиев тоже не выдержал — улыбнулся.

— Довольно вам зубоскалить. Пора ехать, дело не ждет. Не правда ли, абыке? — обратился Темир к леснику.

Тот молча отвязал коня, безо всякой помощи оказался в седле.

Лесорубы поднялись вверх по ущелью, переехали речку. На просторной поляне привязали лошадей. Разобрав топоры и пилы, полезли в гору, увязая в глубоком снегу. Шли гуськом за

Темиром. В толстой стеганке тот казался еще громаднее, но двигался проворно. Оглядывался — смотрел, как идут другие.

— Эй, Темир, так ты нас всех скоро загонишь в могилу, — взмолился Сыды. — Не спеши, шагай наискосок.

Болотбек и тут отстал. Впереди него пыхтит грузный Айылчиев. Жаль его, но помочь не в силах.

По одному, обливаясь потом, выбрались к опушке.

Обессиленный, добрел и Болотбек, бросил топор, новалился в снег. Лежа на спине, смотрел в бездонное небо. Шапка его сбилась на затылок. Со лба валил пар. Лежал до тех пор, пока не почувствовал, что спина начала мерзнуть. Тогда он быстро вскочил, очистил от снега голенища и поплелся за людьми, направившимися в лес. Пробиваясь сквозь тонкий лесок на крутом склоне, тоскливо думал: "За сколько же времени все это можно вырубить? Тут и года не хватит".

Когда дошли до толстой, в два обхвата ели, Айылчиев, снова достав из сумки бумагу и вытащив карандаш, официально заявил:

— Валите только меченые деревья. Иначе буду составлять акт и отправлять в район. А там

на ваш колхоз паложат штраф. На мне должна остаться пометка. Это обязательно. А как будете работать, — это ваше дело. За день вы управитесь или за десять — это не моя забота, лишь бы рубили положенное и доставили лес на контрольный участок.

Айылчиев закашлялся. Продолжил:

— Все ветви снесите в лог. А бревна доставите к началу дороги в ущелье. Надеюсь, что все это вам известно, но еще раз напомнить нелишне.

— Все будет сделано, как надо, — заверил Темир и сказал, что можно начинать работу.

От ударов топоров с верхушек деревьев обильно носыпался снег. Косматый снежный ком угодил в голову беспечно стоявшего неподалеку Айылчиева. А потом в его сторону начала падать и ель.

— Уйди, уйди! — истошно закричали лесорубы.

— А-а-а! — испугано выпучив глаза, Айылчиев рванулся было, чтобы отбежать, но тут же провалился в снег.

Ель с грохотом рухнула на расстоянии трех-пяти мег-ров от лесника. От страха он на некоторое время лишился дара речи. Потом встал, поднял шапку, отер ею пот со лба.

Придя в себя, обрушил на Ыдырыса поток ру-

гательств.

— Ыдырыс, сделай ему апап[15], — посоветовал Касым, когда ему надоело слушать брань.

— Бере-гись! — снова раздался чей-то громкий крик.

Айылчиев с неожиданным для его комплекции проворством, словно ужаленный, побежал с места. Лесорубы повалились со смеху.

Не желая больше испытывать судьбу, Айылчиев, наскоро попрощавшись, оставил лесорубов.

...За день уложили уйму. леса. Особенно отличился Асанкул. Быстро очистив от веток последнее поваленное им дерево и вонзив в него топор, довольный сделанным, он сидел на комле ствола и неспеша закуривал. С разных сторон к нему сходились другие лесорубы, устало присаживаясь рядом, один к другому, словно ласточки на проводе. Курили, посмеивались над Айылчиевым.

— Однако, здорово он струхнул, — начал Молдакун.

— Поделом ему, — похвалил Ыдырыса старик Сыды. — Этот Айылчиев многим как бревно в глазу, кому только не успел напакостить!

---

[15] Примечания: 15

Апап — знахарский способ лечения ребенка от испуга.

Иначе рассудил бригадир:

— Подумайте о завтрашнем дне, — лесник не любит таких шуток, а тут он полный хозяин. К тому же Айылчиев очень обидчив и боится за свой авторитет. Этого хмурого я хорошо знаю, поверьте мне, лучше не связываться с ним. Лучше извиниться, не то он еще наделает нам неприятностей.

Совсем стемнело, когда, сложив инструмент, начали спускаться вниз.

Последними еле дотащились до своих лошадей Сыды и Болотбек.

В домике после ужина Болотбек, не раздеваясь, залез под одеяло. Но и под ним, как ни старался согреться, было холодно.

А тут еще в горах неожиданно разыгрался буран. Кругом все замело. Ветер, казалось, вот-вот сорвет со склона избушку вместе с сараем. Лесорубы, высовывали головы из-под одеял, перебрасывались негромко словами. Когда потушили лампу, наступила тишина. Лишь старый Сыды долго не мог угомониться. Все давно спали, а он еще ворочался. Наверное, вспоминал, как лихо объезживал скакунов аила и какие замечательные призы получал за них в районе, а может быть, думал о том, как ему было трудно в этом

году добраться на летние выпасы, или — как сильно он скучает по внучке…

Бригадир разделил работу так: шестерых оставил на рубке, троим поручил очистку стволов и распилку. И вот теперь Болотбек и Ыдырыс распиливают ель на двухметровые бревна, Сыды собирает ветки.

Как не крепится Болотбек, все же выбивается из сил, быстро устает. Заметив это, его напарник советует:

— Передохни немного и терпи, не выказывай своей усталости… Работы здесь хватит надолго.

Болотбек отпустил ручку пилы, послышался певучий звон. Сел на снег, разбросив ноги. Вытирая пот со лба, почти враждебно глядел на пилу, словно она в чем-то виновата. Ыдырыс тоже присел, но на бревне.

Он тремя годами раньше Болотбека оказался за рулем колхозной машины, но шоферил неудачно. Совершил аварию, и сам едва не погиб. После этого стал ремонтником. Это парень работящий, бесхитростный и веселый.

После короткого отдыха Ыдырыс первым подошел к пило, которая полностью ушла в толстое еловое бревпо, кивнул напарнику:

— Взялись!

Болотбек нехотя поднялся.

— Да что мы хуже других! — вдруг вскричал Ыдырыс, ударив шапкой о спег. — Чудак ты, смотри, — там же старики работают.

Болотбек начал с силой тянуть пилу, наблюдая, как из-под нее сыплются опилки. Ноги его подкашивались, руки отяжелели, дышать становилось все труднее. Ыдырыс качался в его глазах, словно отраженный в неспокойной воде. Но Болотбек дал себе слово не сдаваться и держался изо всех сил.

Наконец, пила прошла весь ствол и с хрустом врезалась в наст. Пильщики с облегчением вздохнули, расправили затекшие спины. Ыдырыс тут же вытащил папиросу, чиркнул спичкой о коробок. И вдруг что-то твердое и холодное ударило его по ладоням. Обернулся назад, — на стволе поваленной ели стоял смеющийся Молдакун. Ыдырыс мгновенно слепил ответный снежок и с силой метнул в Молдакуна. Тот увернулся, и снежок точно угодил в плечо Асанкула. Асанкул бросил работу, и, показав издали Ыдырысу огромный кулачище, тоже потянулся за снегом. Вскоре на всей площадке разразилось настоящее снежное побоище. С шумом летели и при падении с треском ударялись плотные белые ядра,

отовсюду раздавались возбужденные возгласы. В самый разгар схватки послышался окрик старого Сыды, который не участвовал в веселье:

— Лесник!

Игра так же быстро, как и началась, угасла. Весело галдя, лесорубы снова взялись за топоры и пилы, наблюдая за дорогой. Маленькая фигурка наездника постепенно приближалась. Но всадник почему-то не стал подниматься к лесорубам, закричал снизу, а что — разобрать было нельзя.

— Я же говорил, что он сильно перепугался, — сказал Молдакун.

— Эй, киньте ему аркан, — советовал Касым, — пусть поднимается по аркану!

— Это все Ыдырыс виноват. Лесник теперь не подойдет к нам и на длину аркана, — пошутил кто-то.

Бригадиру было не до шуток. Он крикнул, чтобы Айылчиев подождал лесорубов внизу, и объявил об окончании работы. Спустившись на лошадях к дороге, колхозники увидели, что лесник страшно продрог. Пытаясь согреться, он ожесточенно бил ногой об ногу.

Темир поехал рядом с лесником.

— Сагындык Айылчиевич, — но-городскому обратился он к леснику, — просим вас в гости. Хотя

у нас тут и нет семей, живем мы не худо. Поэтому не откажите, отведайте мужской стряпни.

О том же стал просить и подоспевший Чогулдур:

— Мы думаем, что тетушка Бурул не станет ругаться, если вы переночуете сегодня у нас. Куда же теперь ехать в такую темень?

Довольный Айылчиев слегка улыбнулся.

Темир стрелой вырвался вперед всех. За ним с гиканьем, крутя плетью над головой, бросился Молдакун. Другие тоже пустили вскачь застоявшихся лошадей. Рванулся вслед и тяжеловоз Айылчиева, отчего тот едва не вывалился из седла. Лесник с трудом удерживал коня. Откормленная лошадь долго не могла успокоиться, мотала головой, нетерпеливо перебирала ногами. Разозленный лесник, матерно ругаясь, бил ее куда попало.

— Лошадь-то причем, — вслух удивился Болотбек, когда догнал товарищей.

Ехавший рядом Темир промолчал.

У домика Мекуша лесорубы помогли Айылчиеву спешиться, пропустили, как гостя, вперед.

— Джумаке, — у нас гость, — обратился Темир к новару, гремевшему в углу посудой.

— Добрый гость — радость для дома, — отозвал-

ся старик. — Проходите, Саке, располагайтесь поудобнее. Чем можем, угостим.

— Где же у вас здесь тёр[16]? — ревниво спросил лесник, не находя достойного себе места.

Действительно, в комнате царил полный беспорядок: у входа громоздились пилы, топоры, деревянные лопаты и вилы, возвышалась пирамида из седел; на стенах как попало были развешены всевозможные торбы, уздечки, арканы; в углу — котел, ведра и другая посуда. Во всем чувствовалось отсутствие женской руки.

— Не удивляйтесь, Саке, — сказал Джума. — Мы тут устроились но-полевому. А в народе недаром говорят, что в поле все равны — и стар, и мал. Живем в тесноте, но не в обиде. Проходите, отведайте горячих лепешек и джармы.

— А кроме джармы, Джумаке, у нас ничего не найдется? — многозначительно спросил Темир.

— Как же, как же, поищем, — засуетился старик и достал откуда-то небольшой бурдюк. — Эта буза приготовлена лучшим в аиле специалистом — тетушкой Сюйуркан.

— Ай да Джумаке, — похвалил Темир, — смотри какой запасливый. Давайте немного выпьем,

---

[16] Примечания: 16
Тёр — почетное место в доме.

Саке, согреемся. Вы же с дороги.

Когда уселись за наскоро приготовленный дастархан, Темир до краев наполнил деревянную чашку бузой и протянул ее Айылчиеву.

— Сынок, — удивленно произнес Джума, — такая доза для нашего гостя, что для слона дробинка.

Темпр, чтобы сгладить остроту, извинился перед гостем, и снова палил леснику полную чашку:

— Вот, пейте, Саке, еще.

— За ваш приезд, Саке, — добавил Чогулдур.

— А эти почему не пьют? — заев бузу холодным мясом, удостоил своим вниманием остальных Айылчиев.

— Они выпьют свое, когда дорастут до вашего возраста, — заверил гостя Касым.

Лесорубы старались не смотреть в сторону бригадира и лесника. с подчеркнутой заинтересованностью говорили о работе. Все знали про эту припрятанную бузу. Ее можно было пить только с разрешения Темира.

Чтобы запяться чем-нибудь, Болотбек включил свой портативный приемник и старался поймать музыку.

— Мы сами виноваты, — возмущенно зашеп-

тал вдруг Ыдырыс. — Айылчиева испортили заготовители, такие, как мы. Если бы все не прислуживались перед ним, он так бы не поступал.

— Ничего, мы не обеднеем, — пробурчал слышавший Ыдырыса Молдакун.

— Дело не в этом, — не согласился ремонтник. — Лесника следует проучить, чтобы он больше не зазнавался, не жадничал. Его надо угощать но-другому, — добавил он, видимо, намекая на тот случай с упавшей елкой.

— Ну что вы, сердешные, приумолкли, — забеспокоился старый Джума. — Скоро поспеет шурпа, а пока поиграйте в карты.

— А что, это мысль! — Темир глянул на лесника. — Как считаете, Саке?

— На деньги? Что ж, давайте, — обратился лесник и стал шарить у себя по карманам. — Только пусть он прекратит этот ослиный рев, — бросил Айылчиев по адресу включившего транзистор Болотбека.

Бдительный Джума, боясь, как бы по наивности своей тот не огрызнулся, поспешно попросил:

— Сходи-ка за дровами, Бокентай. Что-то огонь стал убывать.

Выключив приемник, Болотбек нехотя поплелся во двор. Там при свете луны нашел топор.

Грохоча на все ущелье, начал рубить толстую еловую чурку.

Открылась дверь, и в ее просвете взметнулись клубы пара. Из них, словно добрый волшебник, вывалился на улицу Ыдырыс. С минуту он наблюдал, как Болотбек тщетно пытался расколоть огромный сучковатый чурбан.

— Чудак, такую колоду одним махом не расшибешь. Дай-ка сюда! — Ыдырыс, не спрашивая согласия, забрал топор. — Иди-ка лучше подкорми лошадей.

Болотбек влез на скирду в углу загона и стал сбрасывать вниз охапки горного разнотравного сена.

…Как и в день приезда, стояла тихая морозная ночь. Над горами висела все та же огромная лупа, Болотбек любил такие тихие лунные ночи, во время которых легко забывались обиды, исчезали тревоги, просыпались давние детские мечты. Он смотрел на ровный столбик дыма над одинокой избой, и ему казалось, что это распускается белая воздушная лестница. Вдруг захотелось ему подняться по этой лестнице до самого купола неба, до самых звезд…

Ыдырыс отнес наколотые дрова и забрался на стог к Болотбеку. Раскинув руки, тот лежал на

спине и смотрел на звезды.

— Не считай до сорока, помрешь, — шутливо напомнил Ыдырыс давнее поверье.

— Люблю считать звезды, — признался Болотбек. — В детстве еще любил, когда выезжали на джайлоо. А бабушка, помню, все ругала меня за это.

— Да уж лучше звезды считать, чем слушать в доме разный вздор.

Ыдырыс подсел к Болотбеку. И они вдруг разговорились, как добрые старые друзья. О чем они только не говорили! Но больше все об автомашинах, их разных марках, о колхозном механике-скряге, который — жила! — и на выстрел не подпускал обоих к новым грузовикам. Потом Ыдырыс подробно рассказал, как он совершил аварию в горах и как после того ему было одиноко и горько. Вдруг без всякого перехода заявил, что их бригадир — вчера еще рядовой колхозник — прямо на глазах становится чванливым и заносчивым и что этого нельзя так оставить.

Снизу парней окликнул Джума. Он проваливался в сугробы, чертыхался. Не дождавшись ответа, поковылял в дом. Выждав время, Ыдырыс и Болотбек проскользнули в душную накуренную комнату.

Как раз из котла доставали вареное мясо. Лесорубы сели в круг, приготовив перочинные ножи и ожидая воду для мытья рук.

После бузы Айылчиев заметно повеселел, рыжеватое лицо его стало красным.

— Сколько лет вы работаете, Саке? — спросил Чогулдур у захмелевшего лесника. — Сейчас за многолетний труд на одном месте часто награждают.

— Я? — переспросил Айылчиев и самодовольно сказал: — Давно, давно работаю. С тех пор, когда вы еще под стол пешком ходили. Имею тридцать лет стажа, грамот и медалей целый мешок. А сколько пережито, сколько людей перебывало под моим руководством.

— А женщины были средн заготовителей? — спросил Молдакуп, начиная крошить мясо.

— А как же, еще сколько! Особенно в годы войны. Тогда заготовителями были одни женщины. Только в этом ущелье есть четыре или пять женских могил. Мужчины в ту пору были на вес золота. Самые красивые, молодые женщины побывали вот в этих, моих руках. Золотые были времена!

— Сако молодец, — даже в самые черные дни ловил удачу, — насмешливо сказал Джума.

— Да, ушло время, когда я был молод, купался в славе, — пропустил лесник насмешку мимо ушей, — был пылким, многих лишал девичьей чести. Нынешней молодежи далеко до нас. Хе-хе.

Болотбек с откровенной ненавистью глянул на разболтавшегося гостя. Мясо не лезло в горло, сердце сжимали обида и злость. Не поужинав, пробкой вылетел на улицу.

— Куда же ты, неслух? — удивленно бросили ему вслед.

Болотбек снова залез на стог. Потуже запахнувшись, повалился на сено. Почему-то хотелось плакать, но плакать не мог. "Ишь, как расхвастался. И чем нашел хвастаться, наглец", — стучало в голове. Ему вдруг стало жалко тех женщин... Долго лежал он, вдыхая запах села. Постепенно пришли мысли о далекой городской подружке — Гульсаре, почему-то не отвечавшей на письма, думалось о родном селе, о матери, о доме, даже о кухне, которую давно собирался отремонтировать и никак не собрался...

Наутро Болотбек проснулся от разговора. Не вставая, наблюдал за приготовлениями Сыды к утреннему намазу. У печурки выстроились одиннадцать пар валенок с портянками на голенищах, — значит, лесник еще тут. Рядом, при

входе, самодельный календарь на деревянной дощечке. Он, Болотбек, сам смастерил.

Все шумно собирались на работу, только Сыды бил поклоны на расстеленном чапане. Тут же помятый, с нохмелья, неуверенно натягивал на себя одежду Айылчиев.

Касым, еле дождавшись конца молитвы, спросил:

— Эй, Сыды, ты и вправду веришь в бога?

— Отстань, — отмахнулся старик, — тебе-то какое дело?

— Нет, скажи, есть бог или нет?

— Откуда мне знать, — сказал Сыды. — Раз наши предки верили, что есть, значит — есть.

— А как по-вашему, Джумаке? — не унимался Касым.

— Э-э, кто его знает…

— Недавно я поспорил об этом со своей старушкой, — начал Касым. — Она говорит — есть, я говорю — нет. И спрашиваю: "Этот ваш бог мужчина или женщина?" Тут она, не зная, что ответить, перестала спорить. А ты как, Сыды, ответишь на этот вопрос?

— Э-эх, бестыжий, — не нашел больше слов возмущенный старик.

Во дворе растирались снегом раздетые до пояса

лесорубы. Делали они так по примеру Асапкула, который привез эту привычку из армии.

— Великое дело — закалка, — изрек тепло одетый Айылчиев и, увидев рубаху на Болотбеке, поучительно добавил: — Тебе тоже надо закаляться. Тогда будешь здоровым, как они. А то смотрю — одна кожа да кости.

Асанкул и лесорубы помоложе окружили Болотбека, повалили в снег. Как он ни старался, дюжие односельчане натолкали ему за шиворот уйму снега. Поневоле пришлось раздеваться.

Перед самой отправкой в лес Болотбека подозвал бригадир и, сказав, что Джумаке приболел — спину у него ломит, — попросил остаться за повара.

Признаться, Болотбек даже обрадовался такой возможности отдохнуть.

…Джума, лежа в постели, командовал:

— Сначала разожги огонь. Потом привези два бурдюка воды. Как их навьючить на коня, думаю, сам знаешь. Сперва надо поднять один и навалить его на седло. Затем приниматься за другой.

Болотбек оседлал копя и, прихватив пустые бурдюки, помчался к реке. Небольшую речную прорубь, в которой раньше поили лошадей, забрало льдом, припорошило снегом. Сколько не

долбил Болотбек, лед не поддавался. Пришлось искать другое место. Двигаясь вдоль реки, он наткнулся на родниковый фонтан. Спешившись, половником стал наполнять бурдюки. Пока наполнил оба, сильно намок. Взвалив их на плечи, побрел к лошади. И тут гнедок показал свой поров. Едва Болотбек перебросил один бурдюк через седло, как лошадь взбрыкнула и отскочила в сторону. Бурдюки перевалились с седла на круп, и это еще больше не понравилось коню. Он запрыгал и сбросил поклажу наземь. Совершив это черное дело, победно заржал и, подняв хвост, пустился наутек, как угорелый.

— Тпрру, тпрру, скотина, — увязая в снегу, бежал Болотбек, — стой, я тебя не съем, окаянный!

Но тот и не думал останавливаться. Напав на след лошади лесника, помчался в сторону хребта и скоро скрылся из виду. Оставалось только пригрозить вслед кулаками.

Растерянный, вернулся Болотбек к злополучным бурдюкам. До зимовки неблизко, — других лошадей нет. Ждать приезда лесорубов нельзя, это значит — оставить их без горячей еды. Засмеют до смерти: какой срам — здоровый джигит и не управился с лошадью, не смог привезти воды.

Тогда он решительно взвалил бурдюки на

плечи и ношагал. Поначалу, сгоряча, ноша показалась не такой тяжелой, но уже с полдороги ноги от усталости стали подкашиваться, бурдюки раскачивались из стороны в сторону — хоть плачь. Остановиться бы, передохнуть, но тогда надо опускать ношу на снег, расплещешь воду, а ее и без того разлилось порядком при навьючивании. Тащить бурдюки волоком? Это тоже делать нельзя, они могут лопнуть.

Пальцы в намокших варежках ломило от холода, обледеневшие валенки не грели. От напряжения в висках стучало, плечи пригибало к земле. Что ж, он сам согласился поехать на лесозаготовки. Винить некого. Сам виноват. И надо держаться.

Когда Болотбек добрался, наконец, до порога избы, его покидали последние силы. Свалил с себя бурдюки и, боясь показать слабость, сразу же вышел из дома. Его качало от усталости так, что подташнивало.

Наконец придя в себя, юноша растопил печку, присел рядом на дровах, с наслаждением закурил. Ему вдруг захотелось излить свою душу, неважно перед кем, но высказать то заветное, о чем он давно думает.

— А скажите, Джумаке, — спросил он к нема-

лому удивлению хворого старика, нарезавшего мяса для бульона. — Для чего мы живем? Вы меня слышите, Джумаке?

— Что, что ты такое сказал? Ох, спина моя, спинушка…

— Я говорю, для чего мы живем?

— Что это ты, сынок, не заболел ли часом, всякой чушью себе голову забиваешь? Для чего, для чего? Откуда мне знать, для чего. Живу, как живется. И тебе советую то же. Лишь бы не делал другим ничего плохого.

— А вы сами добро делали?.. Для людей? — не успокаивался Болотбек.

Джумаке внимательно посмотрел на юношу, видимо, уловил в его состоянии что-то особенное. Задумался.

— Как не делал, делал, конечно. И делаю. Кто просит в долг — даю. Когда к соседу сваты приехали, теленка отдал, другому — сто рублей дал, тоже помог… — Джумаке передал нарезанное мясо Болотбеку, вымыл руки, нотянулся за полотенцем. — Еще одному помог, будь он трижды неладен. Ты его не знаешь, дальний родственник он мне, в город подался, продавцом стал. Как-то ночью заявился к нам. То сроду не приезжал, а тут на тебе. Лица на нем нет, весь какой-то растре-

панный. "Ну, думаю, не иначе что-то стряслось". Так оно и вышло. "Выручай, говорит, байке[17], растрата у меня огромная, пять тысяч недостает. Если в три дня не погашу, не видать мне гор". Говорит, а сам почти плачет. Да, бывают же такие люди, не приведи аллах. Раньше у него, бывало, платка жене не выпросишь, ни разу на чашку чая не пригласил, а тут — пять тысяч. Но делать нечего, надо выручать. Не срамить же родственника. Созвал всех близких к себе, рассказал им обстоятельно. Решили сообща собрать нужную сумму. И собрали, даже быстрее, чем за три дня. Только самому мне пришлось продать двух коров, да и другие не жалели последнего. Деньги ведь немалые. Спасли мы человека от тюрьмы. Но вот что обидно: думаешь, он покаялся, вернулся в апл? Как бы не так! По сей день околачивается в городе, прохвост, и хоть бы спасибо сказал…

— Я не про родственников, я про народ, — робко напомнил Болотбек.

— Опять ты мудришь, морочишь старику голову, — нохоже, рассердился Джума. — Про народ сразу не скажешь. На то он и народ. Он сам о себе сказал. Вот настроил для вас новую, хорошую

---

[17] Примечания: 17
Байке — уважительное обращение к старшему, как к брату.

жизнь. Этого тебе мало?

Болотбеку стало неловко. В самом деле, с чего это он вдруг пристал к старику: "Зачем живем, добро, народ..." К чему эти высокие слова? И потом хворает Джумаке, это тоже надо понимать. Он хотел было уже извиниться перед аксакалом, как тот, смягчившись, продолжил:

— А вообще пород всегда щедрый на доброту. Жил-был некий человек Максют. Занимался тем, что могилы копал. А платы не брал ни с кого. Я своей жизни, сынок, не стыжусь, не жалею, что так прожил. Вместе с другими строил школы, дома, воевал с безграмотностью, с кулачеством, колхоз создавал, деревья садил. Об этом вы, молодежь, не должны забывать. Теперешняя жизнь не с неба упала...

— Я понимаю, — тихо сказал Болотбек. — Знаете, Джумаке, хочется приносить больше пользы, пока есть силы. Не только родителям, но и всем людям, народу. Правда. Вот раньше, помню, подвезу попутчиков на машине, они спасибо говорят, и мне хорошо: доброе дело, вроде, сделал. Но ведь этого мало, хочется чего-то большего...

— Для этого учись больше, Бокен, — посоветовал старик. — Кто не учится, тот знает только одну сторону горы. Тем-то и доволен. А ведь у

горы есть еще и другой склон...

— Я буду учиться, Джумаке.

— Ай, ай, ай! Как же мы заговорились, — спохватился Джума, — совсем забыли про казан. Подбрось-ка дровишек, сынок...

Приехали лесорубы. Темир привел на поводу сбежавшего гнедого мерина. Оказывается, он сам прибился к другим лошадям.

Болотбек слукавил — объяснил побег тем, что гнедой, мол, оторвался от коновязи.

— Надо же, — покачал головой дядюшка Касым. — Наши парни, оказывается, разучились даже привязывать лошадей. Они, наверное, дождутся того, что мы смастерим для них зыбку и, как детей, будем снова баюкать их в колыбели.

"Хорошо, что он не знает всего, — порадовался Болотбек, — а то бы докопал насмешками".

Вечером Болотбек грелся у печки, сидя на седле. Думал. "Какие все-таки люди разные. Темир, Касым, Асанкул, тот же Ыдырыс. Раньше в аиле они казались мне одинаковыми. Теперь не то. Оказывается, не так-то просто глубоко узнать человека. Для этого мало часто видеть его, быть с ним на одних праздниках. Надо еще и разделить с ним ночлег, побывать в одной упряжке, похлебать шурпу из одного казана..."

Мысли его прервал зычный голос Касыма:

— Эй, послушайте! Сегодня Чогулдур мне такое рассказал…

— Опять ты за свое, длиннохвостая сорока. Замолчи!

— Замолчу, если откупишься.

— Вечно ты торгуешься, — все больше сердился охотник. — Можешь успокоиться, — я торговаться не буду. Ври больше. Все знают цепу твоим небылицам.

— Я тебя не заставлял признаваться, сам навязался.

— Да не о себе я рассказывал! — в отчаянии закричал Чогулдур. — Так об одном человеке говорят! Болтун ты и выдумщик, отсох бы твой язык!

— Это он только сейчас придумал. Для отвода глаз, — не обратил внимания на опровержение Касым. — Мне он другое говорил. Слушайте.

И, весело поглядывая на охотника, начал:

— Года два назад Чогулдур с женой поклялись друг другу в верности…

— Чтоб ты подавился своим языком! — в сердцах воскликнул Чогулдур. Он уже проклинал тот час, когда его дернуло поделиться с Касымом слухами о своем несчастном друге.

— Бедный Чогулдур, — рассмеялся Джума, — мы ведь предупреждали тебя раньше, что с Касымом шутки плохи.

Болотбек слушал эту веселую перепалку и с наслаждением хлебал свежий мясной бульон, заедая его черствой лепешкой. Сегодня бульон казался ему вкусным, как никогда, тем более, что поющая боль в плечах заставляла помнить каждую минуту о том, как тяжелы бурдюки с водой, если их тащить на себе добрых два километра…

Опять всю ночь бушевала пурга.

Наутро, едва лесорубы собрались на работу, приехал Айылчиев.

— Хорошо, что я вас застал дома, — отряхнув от снега шубу и лисью шапку, с порога заявил лесник. — Во время пурги лес валить не разрешается. Таков закон. Таковы правила.

— А кто за нас работать будет? Закон? — огрызнулся Асанкул.

— Товарищи, не шутите, поймите меня правильно, развел руками Айылчиев. — В такую пургу рубить опасно. За вас будут наказывать меня. А у меня, как и у каждого из вас, семья, жена, трое детей.

— Да бросьте, байке. Никто не собирается умирать, — перебил его Асанкул, потуже затягивая

свой ремень. — Кому это хочется попасть под поваленное дерево?

— Ясно, что не хочется, — согласился Айылчиев. — Но вот в прошлом году у лесозаготовщиков из колхоза "Орнок" один парень среди бела дня попал под упавшее дерево. Хорошо еще, что остался жив. Вам нужно поскорее заготовить лес и уехать домой, а что будет со мной?

С помощью бригадира лесник влез на коня, хмуро нопрощался.

Только он уехал, буран начал стихать. Темир вошел в дом и, прислонившись к косяку, задумался.

— Да, задал нам лесник задачу…

— И нечего голову ломать, — решительно заявил Асанкул, — не сидеть же нам по углам, словно зверю между скал!

— Надо подождать. Лесник не зря предупреждал, — возразил Темир.

— Тебя назначили бригадиром не для того, чтобы ты работал по указке Айылчиева, — возмутился Асанкул.

На этого здоровяка не иначе что-то нашло. Теперь его не остановить. Вообще он как хорошо заведенная машина. По утрам обычно заправляется огромной чашкой джармы. В обед он съедает

большую лепешку, испеченную в жаровне. И в работе он такой же неистовый. Тяпет за двоих и даже за троих. Поэтому с ним нельзя не считаться.

Асанкула поддержал Ыдырыс:

— Темике, нам кажется, что леснику тоже нельзя во всем потакать. Он думает только о собственной выгоде.

Бригадир, не зная, как поступить, растерянно улыбнулся.

— Если и дальше так будешь идти на поводу у Айылчиева, то скоро уступишь ему и свою жену, — подбавил масла в огонь обычно молчаливый Молдакун.

Тут вспыхнул Темир:

— Не мелите чепуху! Лесник ездит сюда не сучки собирать. Он дело говорит. В пургу, в метель работать рискованно.

— Лесник боится за себя. Ему все равно, когда мы заготовим лес, завтра или через год, — вставил слово Сыды.

— Эх, да что тут долго говорить! Кто дрожит за свою шкуру, пусть остается отлеживать бока. Ыдырыс, Чогулдур, айда в лес!

Асанкул решительно рубанул воздух рукой и поднялся.

— А что, в самом деле, пойдем, — чуть помедлив, согласился Чогулдур. — Если не валить лес, так хоть распиливать и очищать стволы будем.

— Черт с вами, пошли! — согласился Темир.

Когда бригада добралась до лесосеки, снег еще порошил, но пурги уже не было.

Начали валить лес.

Болотбек и Касым подошли в числе последних, поэтому их поставили на распилку. Перед тем, как приступить к делу, дядя Касым неожиданно спросил Болотбека, помнит ли он своего деда. Тот ответил, что нет, почти не помнит.

— Жаль, — сказал Касым, — веселый у тебя был дед. Главное, шутку любил. Захожу я как-то к нему домой, а он в постели лежит, бедняга. "Чувствую, говорит, конец мне скоро". Я, как могу, успокаиваю. "А знаешь, милый Касым, говорит, правда было бы неплохо, как ты думаешь, помереть после того, как моя Пеструха отелится. Раньше мне никак нельзя помирать..." Видишь, помирал, а с шуткой не расставался. Жалко, что никто из вас в деда не пошел...

Едва пильщики покончили с одним бревном, как сверху донеслось привычное:

— Берегись!

Неподалеку, в снежной круговерти ухнула

огромная ель. И сейчас же послышался крик, зовущий на помощь.

— Спасайте! Беда!

За считанные секунды Болотбек очутился на верхней площадке. Там на корточках сидел Чогулдур, обнимая голову стонущего Ыдырыса. Болотбек опустился рядом, приложил платочек к струйке ползущей по лицу Ыдырыса крови.

— Как же это случилось?

Лесорубы подавленно молчали. Разомкнув круг, пробрался Сыды. Опустился на колени около Ыдырыса. Приложил к его груди сухонькую ладошку:

— О, Ыдырыс, ты меня слышишь? Открой глаза, миленький. Люди добрые, не пугайтесь, он жив. Счастье его матери, — остался жив!

— Ии… Нога, — застонал Ыдырыс.

— Приподнимите парня, — скомандовал Сыды. — Так, так, осторожнее. А теперь, Ыдырыс, плюнь на это проклятое место. Покрепче плюнь. О баа-бедин! [18]

Асанкул расстелил на снегу свою шубу. Осторожно перенес на нее Ыдырыса. Стали осматривать ногу.

---

[18] Примечания: 18

Баа-бедин — радостное восклицание до случаю избавления от большой неприятности.

— Что за джигиты пошли! Чуть что — хныкать. На фронте, бывало, оторвут одну ногу, скачешь себе на другой, как косуля, — сострил Касым.

Никто его шутки не поддержал.

Когда с ноги Ыдырыса стянули валенок, он был полон крови. На снегу тоже образовалось красное пятно. Оказалось, острым сучком сильно поранило лодыжку. Посыпалось множество советов:

— Сожгите войлок и приложите к ране. Быстрее, не то рапу прихватит мороз!

— Надо отправить домой. Пусть отлеживается в тепле.

— Нет, лучше отвезти в лесхоз, а потом к врачу, — не получилось бы осложнения.

Сняв с себя поддевку, Сыды ловко перевязал пораненную ногу. Лицо парня покрылось бисеринками пота.

— Как бы ему не стало хуже. Давайте спустим бедолагу вниз, к дороге, — наконец вмешался Темир. — А ты, Болотбек, отвезешь Ыдырыса в лесхоз. Скажи Айылчиеву, чтобы немедленно отправил в райцентр. У него есть машина. Пусть не жмется.

Пострадавшего на широкополой шубе волоком стащили вниз. Усадили на породистую лошадь Чогулдура. Сзади, на потпике, устроился Болот-

бек.

— Вся надежда на тебя, Бокентай, — наставительно сказал Темир, но в голосе его слышались потки растерянности. — Убеди Айылчиева. Пусть не жалеет своей машины, поскорее доставит Ыдырыса к врачам.

Встревоженные лесорубы долго следили за удалявшимися фигурками парней, пока те не скрылись за хребтом.

Пожалуй, это была самая трудная в жизни Болотбека дорога. Он переживал за товарища. Мыслеппо почем зря ругал лошадь, когда та спотыкалась или норовила перейти на рысь. Если Ыдырыс стопал, последними словами крыл себя за неуменье хорошо управлять копом. Когда раненому становилось совсем плохо, Болотбек утешал:

— Ты уж чуть-чуть потерпи, совсем немного осталось.

Он приободрился только после того, как на взгорье показались дома лесничества. Остановились возле одного из них с табличкой на двери: "Каратал-Джапырыкское отделение лесного хозяйства". Почти на себе Болотбек втащил товарища на крыльцо. Из жилых комнат доносился женский голос. Войдя в дом, они увидели жен-

щину с грудным ребенком на руках. Болотбек объяснил, в чем дело, и вместе с хозяйкой уложил Ыдырыса на одеяло.

— А где сам лесник?

— В конторе, — ответила женщина, кивнув на соседнюю комнату. В это время дверь распахнулась и показалась грузная фигура Айылчиева.

— Что случилось? — едва не выкрикнул он.

— Да вот, видите, упала лесина…

Айылчиева как прорвало:

— Так я и знал. Доигрались! Бестолочь! — взорвался он. — Теперь пойдет по району, что я убил человека. Снимут с работы. Когда давали раньше выговор — об этом строго предупредили. Бедный я, бедный… А разве я в чем виноват, разве я действовал против инструкции?

— Да жив Ыдырыс, жив, — вдруг обозлился Болотбек. — Ему сучком ногу поранило. Кровь, правда, сильно идет.

— Жив? Не погиб? — не веря своим ушам, переспросил Айылчиев. Похоже, что он только сейчас начал приходить в себя. — Ух, как напугали меня! Но я все равно не виноват, действовал строго по инструкции, предупреждал. — И обратился к бледному Ыдырысу: — Нога сильно болит?

— Болит, — сморщился тот.

— Покажи, — Айылчиев начал разматывать больную ногу, костя на чем свет стоит упрямых лесорубов. — Кто вам разрешил, кто вас подбил в буран валить лес? — кричал он на Болотбека. — Бригадир?!

— Мы сами. Да и буран, считай, прошел, когда мы добрались до лесосеки, — оправдывался тот.

— Тогда сами и выпутывайтесь. Я тут ни при чем. Каждому дорога своя честь. Прядется составить акт на вашего бригадира. Послать в район. Посмотрим, как он будет оправдываться.

— Темике очень просил вас отправить Ыдырыса в райцентр. Машиной. Его надо быстрее показать врачам...

— Пусть ваш Темике, — передразнил Айылчиев, — не распоряжается государственным транспортом. Не валит свою вину на других. Я тут не при чем. За него ле ответчик.

Давая понять, что разговор окончен, лесник повернулся спиной и двинулся в комнату.

Болотбек как был, так и остался с раскрытым ртом: "Ну и фрукт! Ну и перестраховщик!"

— А если вдруг он помрет здесь? Что, тогда тоже ваша хата с краю? — догнал он Айылчиева.

— Значит, так ему на роду написано, — невозмутимо ответил лесник. — Я предупреждал. Для

этого и существуют инструкции. В них все предусмотрено.

— Не имеете права… ле имеете… отказать нам в помощи, — стараясь не смотреть на лесника, тихо произнес Болотбек. Чтобы успокоиться, он начал считать в уме до двадцати. Давно вычитал где-то об этом способе самоуспокоения, и с той поры взял его себе за привычку.

Айылчиеву не понравился топ, с каким обратился к нему этот юнец. Да и слова он нашел недостаточно уважительными.

— Ты чей это будешь, грубиян? Ага, вспомнил, кажется, сын Акматбека. Хорош сыночек, весь в отца.

— Ладно, пусть я грубиян. А что плохого сделал мой отец?

— Ничего. Только в работе от него толку мало было. И всюду нос свой совал, как и ты. Тоже — правдоискатели!..

Болотбек задохнулся от жгучей обиды. Он готов был броситься с кулаками.

Айылчиев, кажется, угадал его мысли, смягчился.

— Ну, хорошо. Что ты предлагаешь? Умереть мне самому? Тогда успокоишься?

— Помогите, — больше ничего не прошу.

— Как, каким образом? — покачал головой лесник. — Должен тащить твоего дружка на своем горбу? Машины у меня нет.

— А та, что во дворе?

— Странный молодой человек. Чему только вас сейчас учат. Это не санитарная машина, на ней возят лес, проволоку. Понял? Людей не возят.

— Я не о лесе говорю, — в отчаянии заговорил Болотбек. — Вы понимаете, человек попал в беду. Крови много потерял. Еще неизвестно, чем все это может кончиться.

На лице Айылчиева не дрогнул ни один мускул.

— Ну, ты, малец, панику тут не разводи. Хе, — усмехнулся он, — меня тоже постарайся понять. Машина государственная, на ней лес возим. План заготовок еще не выполнили. Что скажут в районе, если узнают, что Айылчиев вместо леса возит людей? Поверь мне, за это Айылчиева по головке не погладят.

— В районе тоже живые люди сидят.

Лесник был неумолим:

— Ну, вот что, парень, поговорили и хватит. Утром на машине лес повезем. А приятель твой… что ж, помучается, потерпит. Пусть это будет ему уроком, — назидательно заключил он.

Сердце Болотбека окончательно упало. Он уже пожалел о бесполезно потерянном времени. Быстро темнело. Надо было что-то делать. Может, ехать в район верхом? Только выдержит ли такую дорогу товарищ?

Скрипнула дверь, и в контору, держась за косяк, проковылял Ыдырыс.

— Ну, как решили, Саке? — с надеждой в голосе спросил он.

— Я уже все объяснил вот ему, — кивнул лесник на Болотбека. — Машины не будет. Хотите, ждите до утра. Утром поедете с нами. Работнички… И меня прошлый раз чуть не угробили.

— Что вы, Саке, — упавшим голосом прошептал Ыдырыс. — Я же не нарочно. Так получилось, что дерево упало в вашу сторону…

И тогда Болотбек решился. Как бы между прочим, он стал припоминать вслух о разговоре со старым Джумой, который, якобы, на полном серьезе поведал ему, Болотбеку, что Ыдырыс приходится дальним родственником Айылчпева. Мол, он бы ни за что не поверил этому, если бы тот же Джумаке не рассказал, что своими ушами слышал, как мать Ыдырыса, тетушка Сырга, жаловалась соседкам: за хлопотами никак не может выбраться в Каратал-Джапырык отвезти

годовалого теленка в подарок достойному из родственников.

— Этим родственником тетушка Сырга называла вас, Саке, — доверительно сказал Болотбек, поглядывая в сторону ничего не понимающего Ыдырыса.

Сперва Айылчиев опешил от услышанного, потом, поразмыслив, самодовольно захохотал:

— Годовалого теленочка, говоришь? Ну, ну, ври больше, каналья. Знаю я ваших телят…

То ли Айылчиев поверил в неожиданный подарок, то ли ему все-таки стало совестно за себя, только лесника вдруг как подменили. Сразу посерьезнев, он деловито распорядился, чтобы Болотбек сходил за шофером.

Болотбек мигом сбегал к крайнему дому. Шофер — огромный, заросший щетиной джигит — маясь без дела, валялся на месте, предназначенном для почетных гостей. Болотбек передал слова лесника.

— Куда это еще теперь, на ночь глядя? — недовольно бурчал шофер.

— В райцентр.

— В такую темень? И бензин почти кончился, — почесал затылок здоровяк.

Болотбек умоляюще зачастил:

— Это не Айылчиев едет, байке. Товарища нашего лесиной поранило. Надо его поскорее доставить к врачам. Мы, конечно, заплатим. Деньги со мной. Вот они, — он полез в карман.

Детина с ног до головы смерил Болотбека убийственным взглядом:

— Ты, друг, голову мне не морочь. Если кто нуждается в деньгах, так это Айылчиев. А мне это ни к чему. Не по адресу обратился.

Юноша густо покраснел.

В конторе Айылчиев распорядился, чтобы шофер довез Ыдырыса до самой больницы.

— Да, — простодушно подтвердил лесоруб, — прямо к врачам.

Айылчиев внимательно посмотрел на него:

— Может, сначала все-таки домой? Известить тетушку Сыргу, передать ей мой поклон? Но вообще смотри сам, Я свое обещание выполнил: дал в твое распоряжение машину. Теперь слово за тобой.

Ыдырыс понуро опустил голову. Болотбек и шофер помогли ему сесть в кабину.

— Счастливой дороги! И выше пос! — старался ободрить Болотбек товарища.

Машина тронулась в путь. Как только она отъехала, лесник окликнул Болотбека:

— Эй ты, сын Акматбека! У тебя, как я заметил, очень длинный язык. Советую держать его за зубами. Не то его тебе укоротят.

— Это еще за что?

— Сам знаешь за что. Меня не проведешь. А если попытаешься, не сдобровать. Тоже однажды попадешься, как этот твой приятель. Тоже будешь ползать у меня в ногах.

— Лучше мне встретить в лесу голодного шакала, чем иметь дело с таким, как вы.

— Ах ты, стервец! Я тебя проучу! — тяжело дыша, Айылчиев направился к парню. — Грубиян! А наверное, еще комсомолец!

— Точно, — подтвердил Болотбек, беря коня за поводья. — Почему я и не молчу.

— А где же твое уважение к старшим? Я проработал на одном месте тридцать лет, получив уйму медалей… Да ты знаешь, что я могу с тобой сделать?! — все сильней ярился лесник.

— Не работали вы! Тридцать лет сидели на теплом местечке. Извлекаете из него выгоду.

— Что! — взревел Айылчиев. — Сосунок! Грубиян! Убью!

Лесник забегал по двору, не найдя палки, стал ломать молодое деревце.

Болотбек огрел коня камчой[19] и поскакал прочь. Вдогонку ему еще долго неслись ругательства.

Уже уехав далеко от домиков лесхоза, Болотбек вдруг ни с того ни с сего едва не расплакался. Но сдержал себя. Только пришпорил и пустил коня вскачь.

Поздним вечером добрался до домика Мекуша. Показалось, что все уже спят, но вдруг раздался тихий оклик Темира:

— Ты чего это так долго, Бокен?

— Да этот ваш Айылчиев… Он задержал. Машину едва выпросил, — так же шепотом, раздеваясь, ответил Болотбек.

— Он злопамятный, — приподнялся с постели Чогулдур. Наверное, надолго запомнил Ыдырыса, в тот первый приезд…

— Но машину он все-таки дал? — спросил Темир.

— Дать-то дал, — сказал Болотбек. — Но боюсь, что это будет стоить Ыдырысу теленка. — И он рассказал бригадиру обо всем, что там произошло.

— Вот ведь жила! А мы-то добра от него жда-

---

[19] Примечания: 19
Камча — плетка, нагайка.

ли, — вставил кто-то из лесорубов. Оказывается, никто не спал.

— Ничего, — успокоил Темир, — закончим работу, тогда во всем разберемся.

— Ты бы поел чего, Бокептай, — подал голос Джума. — Айылчиев, наверное, забыл угостить вас пловом?

— Я сыт, Джумаке, — отозвался Болотбек, залезая под одеяло.

По утрам Молдакуп наладился будить лесорубов "последними известиями". Проснется раньше всех и начинает, как петух, голосить из бумажного рупора. Так было и сейчас.

— Доброе утро, товарищи, — подражая диктору, начинал он. — Местное время семь часов. Слушайте последние известия. Борясь за достойную встречу Нового года, лесорубы колхоза "Сары-Булак" досрочно заготовили тысячу кубометров древесины. Особенно отличились в работе Асанкул Ненасытный и Крепыш Темир. Если на то будет воля аллаха, через два дня сарыбулакцы вернутся домой. Сегодня они будут переправлять лес к нижней дороге. Вы слушали последние известия. Читал Ниязов. А теперь, дорогие лесорубы, передаем концерт по вашим заявкам. "Айнаш, — торжественно объявлял "диктор". —

Музыка народная, слова народные, обработка Ниязова, исполняет Ниязов. "Ой, Ай-наш! — во всю силу своих легких заводил любимую песню Молдакун.

Ругаясь, лесорубы вскакивали с постелей, как ужаленные.

Во дворе из-за чего-то не поладили Чогулдур и Асанкул. Образовался круг, в котором мерялись ловкостью и силой двое джигитов. Зная, что Асанкул намного сильнее Чогулдура, все шумно болели за охотника:

— Пусть тебе помогут твои предки, сынок!

— Покажи-ка, Чоке, этому бычку, где зимуют раки! Осрами его на весь свет!

— Подножку ему дай, подножку!

Но, как ни старался Чогулдур, силач в одни миг управился с ним, швырнув на снег, как козленка.

— Вот так! Знай наших, — тяжело дыша, сказал он.

— Ничего, в другой раз положишь его на обо лопатки, — успокаивали болельщики побежденного. — Сейчас было очень скользко.

После завтрака, прихватив арканы и багры, лесорубы отправились на работу.

Для Болотбека зима — самое нелюбимое время

года. Здесь, в горах, он впервые почувствовал её красоту и очарование. Все ущелье было залито светом. Солнце играло на верхушках деревьев, празднично переливаясь в мириадах снежинок. На белых склонах ясно прочерчивались птичьи следы.

Над ущельем молчаливо высились исполинские вершины.

— Красота какая! — не сдержал восхищения Болотбек. Его буквально распирало от желания поделиться с кем-нибудь своими чувствами.

Ехавший рядом Чогулдур равнодушно заметил:

— Вот фантазер! Ничего особенного. Один снег, да горы…

Добравшись до опушки, аильчане приступили к спуску смолистых, пахнувших хвоей лесин. Сперва бревна подваживали, направляли их комлями вперед, и затем пускали по склону.

— Охо-хой! Берегитесь! — неслось по ущелью.

Бревна, быстро набирая скорость, скользили, тяжело подпрыгивая на буграх, и, поднимая клубы снега, останавливались где-то у подножья горы. Лесорубы, а особенно бригадир, были очень довольны, что пока все идет хорошо.

— Тайгюлюк! Тайгюлюк! — следя за двумя

скользящими бревнами и сравнивая их с бегущими наперегонки жеребятами, кричал на все ущелье Асанкул.

И другие, раззадорившись, спешили пустить следом новые лесипы, словно лошадей выпускали на скачки.

Снег постепенно утрамбовывался. Бревна скатывались все легче и быстрее. После полудня все было кончено. Внизу, на снежной поляне, высилась внушительная бревенчатая гора.

— Теперь задержка за лесником, — сказал бригадир.

— После того, что рассказал Болотбек, — заметил Сыды, — лучше бы ему вообще не показываться нам на глаза.

Асанкул поспорил, что напрямую съедет вниз по крутому, укатанному бревнами склону. И точно — съехал, как озорной мальчишка, оседлав увесистую палку. От палки остался глубокий извилистый след. За Асанкулом, с хохотом, на таких же палках и разостланных тулупах повалила вниз вся ватага лесорубов, кроме старого Сыды.

Уже вечерело, когда приехал Айылчиев. На его приветствие отозвались только Темир и Сыды. Остальные сделали вид, что ничего не услышали.

— Ай, да молодцы! — с деланным восхищением воскликнул гость. — Теперь осталось доставить лес поближе к дороге. Там обмерим его и составим акт.

Темир в знак согласия холодно кивнул головой.

— Да, чуть было не забыл, — словно невзначай, обронил лесник. — Я вам кое-что привез. Чтобы ребята не скучали. — И он похлопал камчой по небольшому бурдюку, притороченному к седлу. При этом неожиданно столкнулся взглядом с Болотбеком и поспешно отвел глаза.

— Безбожник, это он неспроста привез свой гостинец, — буркнул про себя Чогулдур. Видать, и у него пропали прежние симпатии к леснику.

— Может, совесть заела, хочет загладить свою вину? — откликнулись другие.

Чогулдур ободряюще подмигнул Темиру, видя, что тот все еще стоит в нерешительности. Тогда бригадир сказал:

— Мы тронуты вашей заботой, Саке. Только вот чем будем расплачиваться?

Лесник смутился и замахал руками:

— Что ты, что ты! Это же бесплатно, это я дарю просто так. От души. — И шепотом на ухо: — Правда, у меня есть к вам одна маленькая

просьбочка...

— Что за просьба? — невольно понижая голос, спросил бригадир.

— Я вам выпишу леса больше, чем нарубили. Вас прошу только помочь отвезти в лесхоз немного жердей. Срочно потребовалось.

— Посмотрим, как у нас завтра будут складываться дела, — вскакивая на коня, уклончиво ответил Темир.

Наверное, это и было здесь самое трудное — доставить лес на контрольный пункт, к началу ущелья. Сперва следовало надежно привязать к лошади аркап, на другом конце которого было закреплено бревно. Затем, держа лошадь за узду, осторожно волочить это бревно по склону. Особенно опасались так называемого "Ит олгон", страшного места, которое, но рассказам, не смогла пройти даже собака, там и околевшая.

Первым протащил по бездорожью две тяжелые лесины опытный Сыды. За ним с некоторыми интервалами двинулись остальные. По одному миновав то самое опасное место, все благополучно добрались до гребня и там остановились на перекур. Настал черед Болотбеку проскочить крутой склон "Ит олгон". И тут он сделал первую промашку — глянул вниз, куда убегал крутой и

обрывистый, длиной в один выстрел склон. Там, в глубине, холодно мерцал нетронутый ногой человека снег, торчали островерхие скалы. Сердце Болотбека тревожно сжалось. Должно быть, его нерешительность передалась лошади, — гнедой стал пятиться.

— Может, лучше сесть на него? — стараясь успокоиться, громко спросил Болотбек наблюдавших за ним лесорубов.

— Ишь, какой умник нашелся. Подергивай сильнее! — оборвал его Асанкул.

Вдруг бревна стукнули по задним ногам лошади. Болотбек мигом развернул коня поперек тропинки.

— Хлестни его покрепче! Не то брёвна развернутся и свалят тебя — прокричал Сыды и, взяв топор, стал спускаться с гребня.

Растерявшись, юноша не знал, что теперь предпринять, кого слушать. Запоздало начал погонять лошадь. В это время бревна дважды перевернулись.

Бедный гнедой, скользя и падая, напрягался изо всех сил и какие-то мгновения еще удерживал груз. Этого было достаточно, чтобы подоспевший Сыды с ходу обрубил туго натянутый аркан. Бревна заскользили вниз и тотчас исчезли бесследно.

С трудом устоявший на ногах гнедой, тяжело встряхнулся, жалобно заржал.

— О, баа-бедин! — точно так же, как после случая с Ыдырысом, обрадовался Сыды. — Счастье твоей матери, что ты остался живой. Только всех нас сильно перепугал. Что бы с тобой было, если бы сорвался отсюда, как эти бревна?

— Тебе здорово повезло, слава богу, ушел от беды, — словно в чем-то оправдываясь перед Болотбеком, сказал бригадир. — Небось, сердце ушло в пятки? Ничего, крепись, будь мужчиной. Привыкай к трудностям. Зато теперь знаешь, что такое "Ит олгон"; Завтра проедешь здесь смелее…

Колени Болотбека мелко дрожали. Др него окончательно дошло, какому грозному риску он только что подвергался.

В то последнее утро домик Мекуша наполнился терпким, хвойным запахом. Джума еще с ночи усердно окуривал комнату смолистыми ветвями арчи.

Позже всех проснулся дядюшка Касым.

— Эх, друзья, какой я добрый сон только что видел! — блаженно улыбаясь и потягиваясь, сказал он.

— Твой сон все равно, что помет лисы, — с

неожиданной агрессивностью заявил Чогулдур. — Разве тебе приснится что-нибудь доброе?

Однако Джума не стерпел, попросил рассказать, что это за особый сон.

— Тогда слушайте, не перебивайте, — вроде бы вынужденно согласился Касым. — Снилась мне дикая яблоня. Та, что растет около нашего аила, на горе. У яблони — народ, у всех в руках ружья, а некоторые даже о гончими псами. Охота не охота, но и не сбор урожая в саду. Все пытаются сбить выстрелом самое крупное и румяное яблоко. Хотя до него — шапкой достать. Особенно старается Чогулдур. Но сколько он не стреляет — все мимо. Тут появилась моя одноглазая соседка. Подстрелила яблоко с первого выстрела. Разрезали это яблоко на мелкие части и всем поровну разделили. Чогулдуру тоже кусочек достался…

— Касым с утра не соврет — дня не проживет, — не сдавался охотник.

Болотбек едва дослушал "сон" дяди Касыма, подошел к порогу, нетерпеливо сорвал последний, листок своего календаря:

— Ура! Сегодня день отъезда!..

До самого обеда заготовщики очищали лесосеку. В обед приехал Айылчиев. Вместе с бригадиром он долго вымерял сложенный лес. На каждое

дерево ставил зарубку и карандашную пометку.

Лесорубы сидели в сторонке, блаженно курили, балагурили, смеялись шуткам Касыма. Приятно пригревало солнце. Пропахшие потом зимние шапки, брошенные испанкой кверху, валялись рядом на снегу.

— Послушай, Чогулдур, а не подаришь ли ты мне щенка от твоей гончей? — спросил у охотника Касым.

— Не могу, Касыке.

— Это почему же "не могу"? Сука еще не ощенилась, а уже не можешь. Неужто всех запродал?

— Разобрали всех, — спокойно отвечал тот. — На будущий год подарю.

— Спасибо, обрадовал. Я твоими щепками сыт по самое горло. Теперь и сам не возьму. Даже если из твоего щенка вырастет Кумаик[20].

— Как знаешь, я тебе не навязываю.

Наконец Темир с лесником возвратились к бригаде. По всему было видно, что бригадир не доволен.

— Все, друзья, закончили. Поздравляю! — левой рукой он потряс какой-то бумажкой, правой сорвал с себя шапку и бросил оземь.

---

[20] Примечания: 20

Кумаик — мифическая собака, от которой, по преданию, не может укрыться никакой зверь.

Переждав радостный гул, Темир нерешительно заговорил:

— Вот лесник теперь просит, чтобы каждый подбросил к его дому по паре жердин… Как думаете, поможем? — А за что? — громко удивился Джума. — Может, за вчерашнее угощение?

— Вот жила, неужели он и шага не ступит без калыма! — вскипел Чогулдур. И впрямь, видать, он возненавидел теперь лесника открытой ненавистью.

Словно бы не слыша этих реплик, Айылчиев, быстро попрощавшись, уехал. Заторопились домой и лесорубы, чтобы засветло миновать большую часть обратной дороги.

И вот они уже в пути. — десять всадников на выносливых разномастных лошадях. По бокам каждой привязаны две тонких еловых жерди.

Прощайте, густые чащобы Каратал-Джапырыка! Прощай, одинокий чабанский домик, навсегда ставший теперь родным! Прощайте, долгие зимние ночи, когда сквозь полудрему так сладко слушаются бесконечные сказки и бывальщины! Как знать, придется ли когда-нибудь вернуться сюда… Снова и снова смотрит Болотбек на скромное их пристанище, на лесистые склоны гор и ущелье, медленно перебирая в памяти

промелькнувшие здесь дни. Очнувшись от раздумий, заметил, что порядком оторвался от своих. Хлестнув лошадь плетью, поспешил вдогонку.

У домов лесхоза колхозников встретил Айылчиев:

— Эгей, правьте сюда! — обрадованно крикнул он. — Вот тут, у крыльца складывайте. Молодцы, не подвели. Я вам когда-нибудь тоже отвечу за добро добром…

Но ехавший первым Сыды, к удивлению лесника, не остановился возле дома. За ним, не задерживаясь, проследовали остальные. Огорошенный Айылчиев не верил своим глазам:

— Ничего не понимаю, бригадир, — увязался он за Темиром. — Что это за шуточки?

Аильчане спокойно, не обращая внимания на лесника, продолжали свой путь. Теперь Айылчиев, наконец, уразумел, что его хотят проучить. Ухватившись за стремя бригадировой лошади, начал выкрикивать угрозы.

— Саке, — не повышая голоса, сказал ему Темир, — бригада написала на вас жалобу районному начальству.

— Какую еще жалобу? — нахмурился лесник. — Не говори чушь!

— В бумаге обо всем сказано, о всех ваших

проделках. Что теленка вымогали, неправильно оформляете древесину, рабочую силу приезжих пытаетесь использовать в личных целях и о многом другом, — перечислял бригадир.

До лесника не сразу дошел смысл сказанного. А когда дошел, Айылчиев мгновенно сообразил, что дело принимает довольно неприятный для него оборот. И снова Айылчиева как подменили. Ничего не скажешь, умел лесник перестраиваться на ходу, учитывать меняющуюся обстановку:

— Ах, Темике, Темике. Зачем жаловаться? — покаянно заговорил он. — Разве я вам сделал что-нибудь плохого, земляки? Если что не так, сказали бы прямо в лицо, я бы учел. Мы же свои. Работаем вместе, завтра опять встретимся. Из одного аила. А Ыдырысу я прихожусь даже родственником, вернее — дядей. Будь они неладны, эти жерди. Берите их, земляки, сколько вам влезет, это не сортовой лес. А меня уж, глупого, простите…

Айылчиев, просил долго, жалостно и уже весьма натурально. Джума, которого лесник сумел-таки перехватить, через несколько минут догнал односельчан, но уже без жердей?

— Неужели отдал, Джумаке? — ехидно поинтересовался Асанкул.

— Разжалобил меня, — сконфуженно оправдывался старик. — И то сказать, немолодой уже человек. Отец троих детей…

— Ну, и негодяй! — огрел лошадь Асанкул. — Такие умеют играть на чувствах…

— А что, Темике, правда, что на лесинка написали жалобу? — поравнявшись с бригадиром, спросил Болотбек.

— Пока нет. Хотя, но совести, Айылчиев вполне этого заслуживает, — ответил Темир, пуская копя быстрым шагом.

Болотбек чуть поотстал. Оглядывая конным отряд, с радостью думал: а все-таки хорошо, что он не остался дома, не поддался на уговоры матери. Раньше из простого упрямства считал, что он не хуже других, никому ни в чем не уступит. В горах пришлось многое передумать, многое как бы заново доказывать и себе, и своим новым друзьям. И доказывать делом. Оказывается, надо затратить немало сил, чтобы походить на своих очень простых и скромных аильчан. Теперь он близко узнал их, исподволь породнился с ними. Честные, трудолюбивые, добрые и надежные люди!

Болотбек тут же, на ходу, легко сочинил веселую песенку лесорубов с незамысловатым припевом: "Эй, эй, лесорубы!". Вырваться бы

далеко вперед, затянуть во весь голос только что рожденную песню! Слушайте, лес, река, слушайте, горы! Прежний Болотбек, не раздумывая, так бы и сделал. Сейчас же он, хотя и с усилием над собой, сдержался, настрого приказал себе не хвастаться, не выделяться…

От чистого морозного снега все вокруг искрилось, тонко звенело, и на душе у Болотбека было легко и просторно.

Перевод А.Жиркова

УЗБЕКИСТАН

АНВАР ИШАНОВ

Член Союза писателей СССР, Анвар Ишанов известен и как прозаик, и как поэт. Он автор трех книг рассказов "Одно слово", "Спокойный Регистан", "Двадцать тысяч белых голубей" и книги стихотворений "Запах хлеба".

ДАЛЕКИЕ МОГИЛЫ
Рассказ

Ты щедр, мой край, чудесными садами.
Их корни всю планету оплели.
О, корни, вы в Европе не встречали
Сердца джигитов, что в боях легли?..

Аскад Мухтар

Если даже на самой тонкой бумаге составить поименный список тех, кто боролся с. гитлеровской нечистью, безжалостно вырывал из нашей многострадальной земли ядовитые корни фа-

шизма и отдал свою прекрасную жизнь этой борьбе, то скорбная эта скрижаль будет так велика и тяжела, что окажется не под силу самому большому, каравану. Миллионы лучших сынов и дочерей моей Отчизны не вернулись с поля боя. Среди них тысячи и тысячи моих земляков, чьи могилы встретишь и на крутом берегу Волги, в березовых рощах Подмосковья, на осушенных болотах Полесья, в ковыльных степях Украины.

Много, ой, как много, этих священных могил в далекой Европе…

Но где бы ни были вы захоронены — известные и безымянные герои, — память о вас нетленна в сердцах живых… Вы пали в битвах. Вечный покой вам и вечная слава! А ваши матери? Кто измерит скорбь, боль, мужество ваших матерей?

Мать! Нет слова и понятия святее и дороже. Жизнь ее, кажется, соткана из забот и боли. Вроде пустяк: в ногу мальчишке вонзилась верблюжья колючка, а материнская душа болит, будто стряслась беда. Всю жизнь она, женщина, отказывала себе в красивых нарядах и только мысленно примеряла на себя платье из, хан-атласа, всегда же ходила в простых, чтобы в один из самых счастливых своих дней, когда сын приведет в дом повестку, отдать накопленное годами придан-

ное ей — молодой, красивой, счастливой жене ее сына.

Мать! Дети и дети детей — для нее счастье и радость. В день рождения внука она соберет на той всех жителей кишлака, пригласит лучших музыкантов, заманит богатыря-карнайщика[21], атлас же, лежащий в сундуке для особого случая, пошлет через сватов осчастливившей ее невестке.

Счастью ее нет конца: она готовилась стать бабушкой! И вдруг страшная, жестокая весть — война! В жизни ее радость сменяют тревоги и печали. Лепешка, которую надкусила она в день прощания с младшим сыном, как заклинание, прошептав "Да приведет тебя в этот дом доля твоя", давно засохла и лежит пшеничным камнем в нише. А белая ткань, которую она повесила на дерево со словами "Да будет светел твой путь", давно истерзала в клочья дождями и ветрами.

Теперь все ее радости сводятся к ожиданию почтальона. Она ждет его, как бога, молится на него, а он, привычно осведомившись о здоровье, однажды протянул ей бумагу с черной вестью: "Ваш сын геройски..."

Старший...

---

[21] Примечания: 21
Карнай — музыкальный инструмент.

Лазурное небо почернело в ее глазах. Обуглилась душа от нестерпимой, сжигающей боли. Казалось матери, что разверзлась земля, небо рухнуло от ее горя-печали.

Кто? Скажите, кто вынесет эти танталовы муки? Разве не делало горе сильных мужчин ничтожными и маленькими?

Так уж издавна повелось в наших краях, что осень — пора свадеб. Когда в садах Ферганской долины осенью наливаются соком румяные гранаты, с полей к хирманам тянутся последние караваны с хлопком, сердца девушек сжимает сладостная истома, а юноши, как истые джигиты, с нетерпением ждут свадеб. Это значит, что и Зилху, небольшой кишлак близ Алтыарыка, ле обойдет стороной свадебная страда.

Осенью чуть ли ле в каждом дворе — той. Выводят причудливые мелодии заливистые сурнаи. Призывно и мощно оглашает окрестность трубный голос карнаев. Его слышат долина и седые, задумчивые горы. На звук карнаев стекаются люди...

Сегодня в Зилха опять той. Тетушки, без которых свадьба не свадьба, спешат на торжество. По обычаю джигиты преграждают им путь ременными арканами, не пускают. Но цветные,

повязанные поверх халатов платки, в которых на этот случай завернуты деньги, расчищают дорогу к дому невесты. Вот уже гостей полон двор, уже привезли невесту, но свадьба не начинается: все ждут ее, Саодат-оя. Вскоре приходит и она. Ради торжества на плечи наброшен белоснежный платок. Подошла к молодым, благословила, молитвенно провела ладонями по щекам, и зашумел той на всю округу.

А Саодат-оя тихо наблюдала за весельем, прислонившись головой к колонне веранды. Грусть и радость одновременно поселились в ее глазах, она смотрела на певца, который сидел, скрестив ноги, и мерно раскачивался в такт песне. Старой женщине казалось, что он опьянен своим голосом и внимательно прислушивается к нему.

Не надо ни ада, ни рая — лишь была бы любовь.

Я готов отказаться от жизни, так волнуешь ты кровь.

Мать, вникнув в смысл песни, печально вздохнула: когда ее выдавали замуж, о любви не пели. Песни были скорбными и печальными. Она вдруг вспомнила врезавшиеся в память слова из песни, что слышала много лет назад на своей свадьбе:

Цветок бутоном взора

не ласкает.
Раскрылся — руки жадные срывают.
И розы аромат не вечен:
жизнь его — мгновенье.
Одни шипы живут,
когда конец цветенью…

Она увидела себя девочкой, птенчиком, которого везли к жениху на кокандской арбе с огромными скрипучими колесами. Как это было давно! Неутешное горе тогда душило ее, и, как сквозь сон, слушала она песню утешенья:

Не плачь, девочка, не плачь. Муж
твой послан богом, ер-ор.
Ты войдешь хозяйкой в дом с золотым
порогом, ер-ер.

Золотые пороги… Она усмехнулась своим мыслям. Но было порога даже деревянного. Сырость от земляного нола пронизывала до костей, крыша защищала от дождя понадежней сита, а под потолком свили гнезда летучие мыши. Золотые пороги!..

Если верно говорят, что человеку дано цвести десять раз, то она не успела расцвести и одного

раза, когда завял и этот нераспустившийся бутон. Что оставалось ей, как не трепетать от холода и голода горлицей, попавшей в силки…

Словно вчера это было, так помнит она свою свадьбу. Соблюдая обряд, в кругу женщин и подруг пришла заплаканная, поздоровалась с его матерью.

— Тебе понравился жених? — спросила та, которая дала жизнь ее нареченному.

— Да ну вас! — только и смогла произнести Саодат, от стыда прикрыв лицо длинным рукавом.

Теперь ты, дочь моя, не таи от меня секретов.

— Неплохой он, — раскрыла сердце Саодат. — Вот только беден.

— Богат, кто в малом признает богатство, дочка. Я расскажу тебе старинную легенду. Хумаюн — сын Бабур-шаха — любил прекрасную Акику. Её женой своей назвать он собирался. Вот что сватам ответила Акика: "Не выйду за богатого шаха: подол его расшитого халата своей рукой достать я не сумею. Мне по сердцу бедняк, чтоб его шею смогла обвить я жаркими руками".

— А что, богатство — так презренно?

— Не торопись, дитя, с вопросом. Раскуси сначала орех услышанного. Скажи мне лучше, чего бы ты хотела: быть женою любимого бедняка, или в

богатом доме для старшей жены выжимать усму? По глазам вижу — хочешь любви. Бедняк в ней не помеха. Запомни: сделать мальчика мужем и свести мужа в могилу, может только жена…

На всю жизнь запомнила Саодат эти слова. Как пара голубей, жили они с мужем. Детишки пошли — птахи-щебетухи. На крыльях счастья летела она. Может быть, всю жизнь, прожила бы в мире и согласии с любимым, да помешала война.

Со страшной отчетливостью помнит она тот страшный день. Как раз поспели огурцы, урожай выдался богатый. Женщины на поле собирали их в огромные корзины. Вдруг прямо по грядкам, но огурцовым плетям бежит девушка-почтальоп. Запыхалась. Люди, понятно, сразу окружили ее, спрашивают наперебой:

— Что случилось?.

А она в ответ залилась слезами, выдохнула:

— Война!..

Никогда слово "война" не вызывало у женщин радости. Они созданы для мира, для продолжения жизни на земле. Всякое убийство и насилие противоестественно их природе. Война! Страшную весть принесла девушка-почтальон. Непослушными руками, женщины пытались повязать платки, но те выпадывали из рук. А когда ма-

тери до конца поняли смысл страшного слова, не сговариваясь, бросились по домам, к детям, чтобы защитить их от лихой напасти. Зловещим казался привычный шум деревьев. Стало трудно дышать, словно налетел горячий ветер.

Война! И сердце матери сжалось тоской. Что будет с ее сыновьями, что ждет их в схватке с врагом — жизнь пли смерть? Она потеряла покой, ночи проводила без сна, будто лежала на колючей траве. Однажды сквозь тонкую перегородку она услышала голос старшего сына, получившего повестку. Он в сердцах сказал молодой жене:

— Лучше бы мне не жениться. И сорока дней не прошло со дня свадьбы, как пора расставаться. Что теперь будет с тобой?

— Не беспокойся, любимый. Сила в руках есть смогу вместо тебя кетменем работать, — прокормлюсь. Не в пустыне жить, — среди людей. Да и надо-то мне одной самую малость.

— А мать как? Что будет с ней?

— Будь спокоен. Я навсегда останусь при ней.

— Если…

— Что, если?

Мать почувствовала, что невестка прильнула к мужу, ласкает его.

— Если родится сын, назови — Зафар, дочку

нареки Музаффарой...

...А потом был вокзал, проводы. Каждый день кто-нибудь из кишлака уходил защищать Родину. Настала очередь и младшего сына Саодат-оя — Арифа. Вот и за ним улеглась дорожная пыль...

Не было в те времена в Зилхе человека, которого ждали с таким трепетом и тревогой, как почтальона. Нет-нет да и вместе с треугольниками-письмами в своей сумке он приносил похоронки. Сердце Саодат-оя сжималось, как сохнущий гранат. "А как там Азиз и Ариф? Что с ними?" — спрашивала она себя бессонными ночами. И только письма смягчали тревогу, как солнце-вешний снег. Последнюю весточку, что прислал Ариф, она носила с собой. Вот что писал он: "Все складывается хорошо, воина близится к победе. От этого радостно и тепло на душе. Но как я истосковался по гибким талам, что посадили на берегу канала, но его быстрым водам, растекающимся по арыкам, но раскрывшимся коробочкам хлопка. Часто в снах я вижу косички наших девушек, слышу, как звучно лопаются переспелые дыни, как наливается соком виноград.

Родная земля всегда со мной. Даже муравьи, тянущие соломинку, даже суслики, пугливо выглядывающие из норок... Как я хотел бы увидеть

все это хоть на миг. И я увижу… Ждите меня, когда созреет черешня, когда поспеют душистые, круглые хандаляки, когда запоет в арыках тающий снег гор… С приветом, ваш сын Ариф".

И она ждала этого дня. Ждали его все матери кишлака, и дети, росточком меньше солдатского автомата, и повзрослевшие без парней девушки, и невестки, у которых на одной руке ребятишки, во второй — канар. Недавняя красота их потускнела, спины согнула непосильная тяжесть военных лет. Красоту их взял белоснежный хлопок, руки так сильно изранили его колючие коробочки, что никогда не вернуть им былую свежесть.

Долго ждала Саодат-оя. С первого тревожного дня черточками на стене в столовой она вела счет военным суткам. Еще, чтобы не сбиться, нанизывала на ниточку миндальные зерна. И вот зернышек набралось тысяча четыреста восемнадцать… Поспела черешня, сбежала с гор талая вода, кончилась война, а вестей от младшего все нет и нет. А мать без устали вела счет дням разлуки, ждала и надеялась. Потом и ее терпеливое сердце устало, но оно отказывалось понять, что не вернутся с войны ее дети.

…В тойхоне стало шумно. Свадебное веселье отогнало воспоминания. Саодат-оя мгновенно

перенеслась из тревожного далека в этот торжествующий двор. Среди свах она заметила Сумбулу. Они обменялись улыбками.

— И Сумбула пришла, — сказала Саодат женщине, что стояла рядом.

— Тоже дочь выдала. А невестка у нее теперь — как младшая дочь.

Туман застлал глаза Саодат-оя: женился сын Сумбу-лы. Не будь войны, и она испытала бы это счастье, а Сумбула давно была бы ее невесткой.

— Да-а! — задумчиво ответила она женщине.

Это "да" значило: жизнь быстротечна, как вода в горной реке. Казалось, совсем недавно Сумбула и ее Ариф любили друг друга, а теперь у нее уже есть внуки.

Сумбула! Сумбула! Саодат-оя всегда принимала ее слишком близко к сердцу. И радовалась, и страдала, ревновала и за себя, и за своего дорогого Арифа, который навсегда остался для нее восемнадцатилетним парнишкой.

Как бы он был счастлив, если бы война не вырвала его из объятий матери!..

У Саодат-оя гулко застучало сердце, она почувствовала себя плохо и незаметно удалилась из шумного кружка женщин.

Осенью, когда с полей уже собрали урожай,

мальчишка-почтальон принес Саодат-оя неожиданную телеграмму: "Приглашаем вас на открытие памятника вашему сыну..." Сообщался адрес: Киевская область...

Когда мать прочитала телеграмму, точно оглушило ее. Значит, конец всем ожиданиям и надеждам. Ариф похоронен там, на Украине.

— Лучше бы мне умереть, чем тебе, мальчик мой! Зачем тебе памятник — ты бы мог еще долго жить. Почему бы и тебе, как другим сыновьям, не быть рядом со мной? О, горе мне! — простонала она.

Она пошатнулась, тихо вскрикнула и упала без чувств на горячий от солнца пол веранды. На ее крик из дома выскочила босая невестка — вдовая жена старшего сына.

— Что с вами, мама?

Невестка принесла воды, брызнула несколько капель на лицо старой женщины, дала ей попить. Он медленно открыла глаза и тихо спросила:

— Чапан в доме есть?

— Есть, есть, — поспешила успокоить ее невестка.

— А тюбетейка, платок?

— Найдутся...

— Подари все это мальчику-почтальону. И дай

ему десять рублей.

Невестка обвела взглядом двор. Перепуганный мальчишка-почтальон, оказывается, стоял под корявым тутовником. Его широко раскрытые глаза и приоткрытый рот выражали крайнее удивление. Он ждал, чтобы расписались в получении телеграммы.

Невестка вошла в дом и вскоре вышла оттуда с подарками.

— Подарите сами, мама, мне неудобно…

Саодат-оя, держась за бок и постанывая, поднялась, подозвала мальчика и, как ни отказывался почтальон, вручила ему подарки.

— Не отказывайся, сынок, — сказала она, — этой весточки я ждала тридцать лет. — Глаза ее наполнились слезами. — Тридцать лет… — повторила она шепотом. Какие найду слова благодарности для людей, что установили памятник моему сыну. А отец его так и не дождался никакой весточки?..

До этого дня Саодат-оя не могла ни траура объявить, ни надеть траурные одежды, — она ничего не знала о сыне. Теперь пришла пора расстаться со всякими надеждами на его возвращение.

Не мешкая, невестка наполнила кувшин водой, повесила чистые полотенца: в любую минуту могли нагрянуть люди. Наверное, не осталось в

кишлаке человека, который теперь не знает про телеграмму.

…Одной из первых узнала о телеграмме Сумбула. Волнение охватило ее, одолели воспоминания. Ночью она не сомкнула глаз, ее воображение восстановило лицо Арифа…

У реки два берега,
Оба хороши, ер-ер.
Ну, а брови девушки.
Словно камыши, ер-ер.

Если бы меня она
Позвала с собой, ер-ер,
Я б в любви и радости
Прожил жизнь с такой,
ер-ер.

Ариф всегда пел эту песню просто и задушевно, чем был и знаменит в кишлаке. И она, хоть нередко слышала незамысловатый мотив, заслышав вновь, бросала все дела, даже если подводила усмой брови, что, как известно, для девушки — дело первостепенное.

Перед отправкой Арифа на фронт они, погрустневшие, возвращались с поля.

— И вы уедете? — спросила она, лишь бы прервать тягостное молчание.

— Конечно. Чем же я хуже других мужчин нашего кишлака?

Сумбула замолчала. Сердце ее учащенно забилось, руки стали тяжелыми, непослушными. Сама не ожидая того, она вдруг произнесла:

— Я вас... — от волнения у нее перехватило дыхание, продолжить она не могла.

— И я... — с радостью отозвался Ариф. Глаза его вспыхнули.

— Я вспомнила одну притчу, — смущенно сказала Сумбула. — В старину шах приказал кузнецу: "До рассвета сделай мне тысячу гвоздей, не то прикажу казнить". Умные люди говорят: пока молот ударит, наковальня отдохнет. Так и кузнец решил: "Все равно не успею выполнить шахский приказ, лучше высплюсь перед смертью". Пришел домой и завалился спать.

Гонец прискакал с рассветом, разбудил кузнеца и велел дать ему... четыре гвоздя. У кузнеца не было ни одного. "Зачем тебе четыре гвоздя?" — удивленно спросил он.

"Мой шах скончался ночью и нечем заколотить его гроб", — ответил гонец.

Как знать, может быть, пока вы доедете до

фронта, Гитлера уже загонят в гроб и останется только заколотить его четырьмя гвоздями.

— Нет, Сумбула, не будет этого. Много стран Европы Гитлер поставил на колени. Фашизм жесток и силен…

— Мы все равно победим.

— Конечно. Но победу надо добыть. Ты будешь меня ждать?

— Буду ждать и тосковать, как больной ждет рассвета. Буду ждать, и, если за это время косы мои отрастут до земли, буду мести ими улицу, но которой ходили вы. Пыль, что заметет заветные тропинки, окроплю своими слезами…

— Спасибо тебе, Сумбула. Сколько перемен за последнее время! Еще недавно я учился в школе, и ручка была моим главным "орудием". Мои руки еще не натрудились, а скоро они возьмут винтовку. Вчера я достиг восемнадцатилетия. Мир прекрасен. Душа полна желаний. Спасибо тебе, Сумбула, что ты добра ко мне. Ах, эта война!..

Вечерний воздух был настоян на тонком запахе цветов, на аромате созревающего инжира. Ломкие, басовитые ноты голоса юноши и нежный говорок девушки сливались с журчанием арыка, и только соединяющиеся губы прерывали невнятные, торопливые признання…

А потом были проводы. Разъезд, как подсолнух семечками, набит провожающими. Родные не могут наглядеться на отъезжающих отцов, сыновей, братьев. Говор, шум, толкотня, теснота. Кажется, подбрось вверх иголку — на землю она не упадет. Мальчишки-водоносы в огромных отцовских чапанах истошно кричат:

— Холодненькая, свеженькая, жажду утолит, душу исцелит…

Воду пьют все, то ли от жажды, то ли от волнения.

— Говоришь, хорошую воду дала тебе земля, братишка? Почем пиала?

— Даром.

— Даром, брат, и кошка не выйдет на солнце погреться.

— Тогда помолитесь, чтобы отец наш вернулся с войны живым-здоровым. Одиннадцать душ нас, уважаемый человек…

— Да будет так! Пусть отец ваш не знает пощады к врагу и доживет до победы! Пусть никого из вас не оскорбит своей грубостью бесчестный! Кто затаит против вас злобу, познает людское презренье. Аминь!

С трудом проталкиваясь сквозь толпу, старик в белоснежной чалме окуривает всех ритуальной

гармалой. Пожилой мужчина, надевший на голову кожуру огромного огурца вместо тюбетейки, поучает сына:

— Действуй по пословице: вперед не суйся, сзади не отставай. Помни: молоток ударяет по верху колышка, низ же его забивают в землю, и только за середину привязывают аркан.

Сын смеется:

— Чудной вы, отец…

— А ты не умничай. Поживи сначала с мое…

Подошел поезд. Огромная толпа замерла, как натянутая струна. Людское волнение передалось и коням, привязанным к огромным колесам кокандских арб, лошади тревожно ржали и прядали ушами. На импровизированной сцепе, устроенной из кузовов, стоящих вплотную друг к другу грузовиков, пел певец. У рта, вместо рупора, он держал блюдце, чтобы его лучше слышали:

Бейте врага, не жалея, бравые солдаты.

Пусть подохнет Гитлер — гад проклятый….

Слова его песни падали в тягостную тишину, какая обычно бывает перед грозой.

Призывников построили. Было ясно: смотрели друг на друга, быть может, в последний раз, и потому слез не стеснялись ни те, кто уезжал на фронт, ни те, кто оставался дома.

— По вагонам! — эхом пронеслась команда.

Тишина лопнула. Слова прощания, напутствия, зов, крик, плач, — все смешалось. Малые дети окропляли холодной водой лица матёрей, для которых расставание с сыновьями было особенно трудным. Многих из них горе на глазах сделало согбенными старухами, другие не могли идти, не оперевшись на чье-нибудь плечо…

С трудом высвободился Арифджан из объятий матери. Она ни за что не хотела отпускать его ни на войну, ни к Сумбуле — проститься. И все же он вырвался к любимой, прижал ее голову к своему плечу. Она почувствовала его скупые слезы, они словно обожгли плечо.

— До свидания, — только и сказал он, стыдясь минутной слабости.

— Счастливого пути вам, скорого возвращения, — прошептала Сумбула.

В глазах ее, как росинки на лепестках розы, сверкнули слезы. Торопливо она вынула спрятанный на груди шелковый платок и протянула его Арифу. На платке за ночь красными шелковыми нитками она вышила: "Я в косичках, украшенных брелоками, верность сохраню. Ты, мужским опоясанный поясом, измены не допусти!" Ариф взял платок, пахнущий джидой, нежно глянул

на девушку, но ничего не успел сказать в ответ: властный гудок Паровоза прервал расставание…

Домой Сумбула вернулась поздно. Мать, увидев дочь на пороге, тревожно спросила:

— Уехал?

В голосе Сумбулы мать уловила страдание.

— Не убивайся так, доченька, — успокоила она. — Судьба осталась с нами, и она приведет твоего суженого обратно. Недаром говорят: и за сорок лет войны погибнет только тот, кому на роду написано. Пусть пуля облетит его стороной, — она молитвенно сложила руки и, решив, что окончательно успокоила дочь, закончила: — Сними платье, выстирай его, запылилось.

— Не могу, — глухо отозвалась Сумбула.

— Ты устала?

— Нет. На этом платье слезы Арифджана…

Время не властно над памятью.

Весть, пришедшая через тридцать лет, всколыхнула воспоминания, тоску о прошедшей молодости, воскресила короткие и яркие, как вспышки, минуты любви. Всю ночь провела Сумбула без спа и твердо решила: в такой день её место рядом с Саодат-оя.

Чуть забрезжил рассвет, она стала собираться. Со всеми вместе пошла провожать старую жен-

щину на станцию. Саодат-оя уезжала на Украину, на открытие памятника сыну.

Село называлось Лисицы. Саодат-оя встретили здесь торжественно. Поздравляли, благодарили за сына, говорили много хороших, теплых слов. Когда улеглись волнение и сутолока встречи, Саодат-оя завела к себе в дом тетя Олеся — новая подруга на далекой земле.

— Как доехали? — спросила тетя Олеся.

Рахмат, милая, хорошо. Язык, говорят, и до Мекки доведет.

— У нас говорят—"до Киева", — улыбнулась хозяйка. Но дела это не меняет. Располагайтесь, как дома. Здесь пока и поживете…

— Недаром говорят, что язык соловья соловей разумеет. Так и эти женщины очень скоро нашли много схожего в своих судьбах, радостях и бедах и почувствовали себя сестрами, давно разлученными и вот теперь неожиданно свидевшимися. Долго выкладывали они друг другу, что лежало на душе, — самое сокровенное, самое дорогое.

И у меня три сына на войне погибли, — тяжело вздохнула Олеся, утешая Саодат-оя. — Старший Микола погиб в Сталинграде. Могила Павло — в Италии. Петро же мой лежит в Порт-Артуре. — Олеся глубоко и надолго задумалась. Потом тихо

сказала: — Если бы хоть могла я посетить их могилки...

Ваше горе тяжелее моего, — сочувственно произнесла Саодат-оя, вытирая кончиком платка непрошенные слезы.

— Да и те, что остались, едва оперились, вылетели из гнезда, — .сетовала тетя Олеся. — Дочь работает в ваших краях, в Фергане, — там еще ее дядя воевал с басмачами.

— Что вы говорите? Ваш брат бывал в наших краях? — спросила Саодат-оя.

Они говорили и говорили. Олеся рассказала своей узбекской сестре все, что знала об Арифе. Он первым ворвался в занятое врагом село, дрался до последнего дыхания. Его окровавленный комсомольский билет хранится в. школьном музее. Юные следопыты и отыскали мать героя.

— Теперь отдохните, — сказала тетя Олеся. — Завтра мы посетим его могилу. Вся Деревня отдаст дань любви и уважения вашему сыну.

Памятник открывали утром, когда солнце золотыми лучами оповестило о рождении нового дня. В память об отваге Арифа Гаффарова много сердечных, теплых слов произнесли партийные и советские работники, колхозники и школьники. Земной поклон от них принимала она, узбекская

женщина, мать героя. Сама Саодат-оя не могла говорить. Сердце сжимали боль и радость, тоска и тихий покой. Только своп материнские слезы навек обронила она у подножия памятника.

Перед отъездом домой она завернула горсть украинской земли с дорогой могилы… Под силу ли художнику изобразить руки матери в тот момент, когда она берет землю с могилы родного сына? Какой трагической музыкой мог бы передать композитор биение материнского сердца в это мгновение? Какие слова нашел бы поэт, чтобы передать потрясение ее души?

Далекие могилы моих соотечественников… Нет им числа. Сколько похоронено в них любви, мечтаний, несбывшихся надежд! Кто оценит, эту жертву?

Только те, кто ценою дорогих страданий, ценою других жизней получили счастье жить на земле.

Бейте врага, не жалея, бравые солдаты.

Пусть подохнет Гитлер — гад проклятый….

Слова его песни падали в тягостную тишину, какая обычно бывает перед грозой.

Призывников построили. Было ясно: смотрели

друг на друга, быть может, в последний раз, и потому слез не стеснялись ни те, кто уезжал на фронт, ни те, кто оставался дома.

— По вагонам! — эхом пронеслась команда.

Тишина лопнула. Слова прощания, напутствия, зов, крик, плач, — все смешалось. Малые дети окропляли холодной водой лица матёрей, для которых расставание с сыновьями было особенно трудным. Многих из них горе на глазах сделало согбенными старухами, другие не могли идти, не оперевшись на чье-нибудь плечо…

С трудом высвободился Арифджан из объятий матери. Она ни за что не хотела отпускать его ни на войну, ни к Сумбуле — проститься. И все же он вырвался к любимой, прижал ее голову к своему плечу. Она почувствовала его скупые слезы, они словно обожгли плечо.

— До свидания, — только и сказал он, стыдясь минутной слабости.

— Счастливого пути вам, скорого возвращения, — прошептала Сумбула.

В глазах ее, как росинки на лепестках розы, сверкнули слезы. Торопливо она вынула спрятанный на груди шелковый платок и протянула его Арифу. На платке за ночь красными шелковыми нитками она вышила: "Я в косичках, украшен-

ных брелоками, верность сохраню. Ты, мужским опоясанный поясом, измены не допусти!" Ариф взял платок, пахнущий джидой, нежно глянул на девушку, но ничего не успел сказать в ответ: властный гудок Паровоза прервал расставание…

Домой Сумбула вернулась поздно. Мать, увидев дочь на пороге, тревожно спросила:

— Уехал?

В голосе Сумбулы мать уловила страдание.

— Не убивайся так, доченька, — успокоила она. — Судьба осталась с нами, и она приведет твоего суженого обратно. Недаром говорят: и за сорок лет войны погибнет только тот, кому на роду написано. Пусть пуля облетит его стороной, — она молитвенно сложила руки и, решив, что окончательно успокоила дочь, закончила: — Сними платье, выстирай его, запылилось.

— Не могу, — глухо отозвалась Сумбула.

— Ты устала?

— Нет. На этом платье слезы Арифджана…

Время не властно над памятью.

Весть, пришедшая через тридцать лет, всколыхнула воспоминания, тоску о прошедшей молодости, воскресила короткие и яркие, как вспышки, минуты любви. Всю ночь провела Сумбула без спа и твердо решила: в такой день её

место рядом с Саодат-оя.

Чуть забрезжил рассвет, она стала собираться. Со всеми вместе пошла провожать старую женщину на станцию. Саодат-оя уезжала на Украину, на открытие памятника сыну.

Село называлось Лисицы. Саодат-оя встретили здесь торжественно. Поздравляли, благодарили за сына, говорили много хороших, теплых слов. Когда улеглись волнение и сутолока встречи, Саодат-оя завела к себе в дом тетя Олеся — новая подруга на далекой земле.

— Как доехали? — спросила тетя Олеся.

— Рахмат, милая, хорошо. Язык, говорят, и до Мекки доведет.

— У нас говорят — "до Киева", — улыбнулась хозяйка. Но дела это не меняет. Располагайтесь, как дома. Здесь пока и поживете...

— Недаром говорят, что язык соловья соловей разумеет. Так и эти женщины очень скоро нашли много схожего в своих судьбах, радостях и бедах и почувствовали себя сестрами, давно разлученными и вот теперь неожиданно свидевшимися. Долго выкладывали они друг другу, что лежало на душе, — самое сокровенное, самое дорогое.

И у меня три сына на войне погибли, — тяжело вздохнула Олеся, утешая Саодат-оя. — Старший

Микола погиб в Сталинграде. Могила Павло — в Италии. Петро же мой лежит в Порт-Артуре. — Олеся глубоко и надолго задумалась. Потом тихо сказала: — Если бы хоть могла я посетить их могилки…

Ваше горе тяжелее моего, — сочувственно произнесла Саодат-оя, вытирая кончиком платка непрошенные слезы.

— Да и те, что остались, едва оперились, вылетели из гнезда, — сетовала тетя Олеся. — Дочь работает в ваших краях, в Фергане, — там еще ее дядя воевал с басмачами.

— Что вы говорите? Ваш брат бывал в наших краях? — спросила Саодат-оя.

Они говорили и говорили. Олеся рассказала своей узбекской сестре все, что знала об Арифе. Он первым ворвался в занятое врагом село, дрался до последнего дыхания. Его окровавленный комсомольский билет хранится в. школьном музее. Юные следопыты и отыскали мать героя.

— Теперь отдохните, — сказала тетя Олеся. — Завтра мы посетим его могилу. Вся Деревня отдаст дань любви и уважения вашему сыну.

Памятник открывали утром, когда солнце золотыми лучами оповестило о рождении нового дня. В память об отваге Арифа Гаффарова много

сердечных, теплых слов произнесли партийные и советские работники, колхозники и школьники. Земной поклон от них принимала она, узбекская женщина, мать героя. Сама Саодат-оя не могла говорить. Сердце сжимали боль и радость, тоска и тихий покой. Только свои материнские слезы навек обронила она у подножия памятника.

Перед отъездом домой она завернула горсть украинской земли с дорогой могилы… Под силу ли художнику изобразить руки матери в тот момент, когда она берет землю с могилы родного сына? Какой трагической музыкой мог бы передать композитор биение материнского сердца в это мгновение? Какие слова нашел бы поэт, чтобы передать потрясение ее души?

Далекие могилы моих соотечественников… Нет им числа. Сколько похоронено в них любви, мечтаний, несбывшихся надежд! Кто оценит, эту жертву?

Только те, кто ценою дорогих страданий, ценою других жизней получили счастье жить на земле.

Авторизованный перевод В.Журавлева

УЧКУН НАЗАРОВ

Первая книга у Учкуна Назарова вышла более пятнадцати лет назад. А сегодня он известен читателю как автор нескольких книг повестей и рассказов — "Люди", "Убийца", "Самоотверженный", "Дни" и др. Он лауреат премии Ленинского комсомола Узбекистана, член СП СССР.

ЛИСТОПАД
Рассказ

Договорились встретиться в десять, но Аббас проснулся гораздо раньше. Он любил бывать на природе. Однако выезжать за город удавалось не часто: повседневные хлопоты не оставляли свободного времени. Потому предложение Шавката податься на денек в горы пришлось как нельзя более кстати. В предвкушении загородной прогулки мысли уносились далеко-далеко, странно волнующие мысли-воспоминания...

...Широкая натура Шавкат. По мелочам не разменивается, уж если решит что — костьми ляжет, а своего добьется. На втором курсе сказал: не по

мне педагогика. Бросил. В политехнический вступительные сдавать ношел. Поступил. Окончил. Да еще английским овладел. Сам, без репетиторов. В Афганистан на работу уехал. А через два года на собственных "жигулях" вернулся.

Аббас с Шавкатом давно дружат. Через них и матери сблизились, стали в гости друг к другу похаживать. Вначале Аббасу казалось странным, что Шавкат мать свою невестушкой величает. Потом узнал, что Шавкат с сестренкой Мухбубой рано осиротели, и их к себе на воспитание взял дядя. Время подошло — Махбубу замуж выдал. У самого хлопот полон рот: сын в армии, дочь — на выданьи, но когда Шавкат Институт окончил, сыграл ему свадьбу и дом на своем участке построил.

То ли долг свой перед племянником так понимали, то ли старались, чтобы он сиротства своего не чувствовал, только никогда не слышал Шавкат упрека от своих родичей, не раз говорил он, что о лучшем отношении и мечтать грех. Словом, все у парня наилучшим манером складывалось, только вот семейная жизнь с первых же шагов наперекосяк пошла…

Шавкат — симпатичный парень, расположить к себе умеет. Знакомство с девушкой завести для

него легче легкого. А отсюда и отношение к этим знакомствам. Ни разу не замечал Аббас, чтобы Шавкат кем-то но-серьезному увлекся. И вдруг — на тебе: женится!

Позднее выяснилось, правда, что инициатива не от Шавката исходила: отец Джамили к его дяде "на разговор" приходил. Долго толковали. Шавкат упирался вначале, но в конце концов согласился. Далеко, видно, отношения у него с Джамилей зашли. А тут как раз вопрос о его поездке за границу решался… Словом, сыграли свадьбу.

Сыграть-то сыграли, да только такая семья все равно что дом из мерзлой глины: наступят жаркие деньки — и поплывет, расползется. Недолго прожил Шавкат с молодой женой. — в Афганистан укатил. Два года даже в отпуск не приезжал. А вернулся — и через четыре месяца ушел из дома куда глаза глядят. Все жене с полуторагодовалой дочуркой оставил, только машину с собой забрал.

— Теперь у него однокомнатная квартира на Чиланзаре. Кооперативная. Аббас с Наимой частенько к нему захаживают. И всякий раз дым коромыслом: выпивка, радиола на полную громкость, танцы. И всякий раз новые девицы, одна краше другой.

Сколько ни уговаривал Аббас Шавката к Джамиле вернуться, — дочь, мол, все-таки, да и брак еще не расторгнут, — результат один и тот же: выслушает Шавкат, махнет рукой, и опять бокалы звенят, музыка гремит, танцы…

Шавкат очередную подружку с Аббасом оставит, а сам с Наимой в пляс. Кружится с ней по комнате, что-то смешное на ухо нашептывает. Наима прыскает и на Аббаса глядит лукаво, чуть-чуть с опаской.

Другой бы на месте Аббаса давно с Шавкатом порвал. Разные они, ничего, можно сказать, общего. Но Аббас, хотя и видел недостатки друга, кое-какими его чертами восхищался. Да и было чем: решителен, напорист, великодушен Шавкат. Умеет подойти к человеку… Этим его качествам Аббас, пожалуй, даже завидовал. С таким в компании не заскучаешь: растормошит, развеселит, к себе расположит. Глазом моргнуть не успеешь — все от него в восторге. Не припомнит Аббас случая, чтобы Шавкат своего не добился. По этому поводу у него и изречение своё есть: "Бери от жизни, что можешь. На то ты и человек, а не размазня".

Попробуй переспорь такого. Что и говорить, сложная натура Шавкат, целеустремленная…

Аббас вышел на веранду. Сквозь сочную зелень листьев аппетитно розовели вишни. Стайка воробьев, вспугнутая им, возмущенно чирикая, вспорхнула с дерева и пролетела в соседний двор. Поодаль пропалывала луковые грядки на огороде мать Аббаса. Маленькая, худощавая, она сидела на корточках, и тщедушное ее туловище с согнутой спиной и впалыми плечами все уместилось между острых ее колен.

Мать... Нелегкая выпала на ее долю судьба. Овдовев в тридцать лет, она так и не вышла замуж, хотя свахи наведывались в ее дом не раз. Всю себя посвятила сыну. Отказывала себе во. всем, чтобы Аббас был сыт и одет не хуже ровесников. Пока позволяло здоровье, работала на табачной фабрике, а потом поступила уборщицей в. школу, где учился сын.

Старания вдовы Хосият не пропали даром. Аббас проявил незаурядные способности. Отлично учился, окончив школу, легко сдал экзамены в вуз. После окончания института его оставили при кафедре. Вначале в качестве лаборанта, а затем поручили вести семинарские занятия и наконец — читать лекции.

Аббас не терял времени даром: близилась к завершению работа над кандидатской диссерта-

цией, а там и до защиты рукой подать.

И материально стали жить лучше. Аббас капитально отремонтировал дом, провел газ, оборудовал ванную. На место старенькой, расхлябанной калитки навесил железные ворота, собственноручно выкрасил масляной краской. Дело явно шло на лад, и на лице тетушки Хосият впервые за много лет снова засияла улыбка. Только непрочна она, материнская радость, оттого, наверное, что рядом всегда тревога. Однажды тетушка Хосият застала сына в подавленном настроении, и радость ее сразу померкла.

Потом еще и еще. Мать не находила себе места, терялась в догадках, чем помочь сыну, как к нему подступиться.

"Скучает, — терзалась она, — двадцать пять лет парню. Ровесники уже семьями обзавелись. И ему бы пора, да вот ведь беда — стоит только разговор о женитьбе завести, сам не свой становится. А чего из себя выходит — непонятно".

Но вот уже с полгода тетушка Хосият спокойна: повеселел Аббас. Опять напевает вполголоса, опять блеск в глазах появился задорный. Бреется аккуратно каждое утро. По утрам плещется под краном, фыркает на всю улицу. А потом нальет полную пиалу сливок, окунет в нее лепешку и

уписывает за обе щеки. Давно у парня аппетита такого не было.

Решилась однажды тетушка Хосият, — исподволь завела разговор о женитьбе. Глянул на мать Аббас, улыбнулся:

— Послушай, мама, так уж и быть, скажу. Есть у меня одна на примете. Хочешь, приведу, посмотришь?

— Да что ты, сынок! Удобно Ли? — всполошилась тетушка Хосият. — Так вот — взять и привести! Увидят соседи, что о девушке подумают! Неудобно, не принято…

Аббас расхохотался.

— Да кто хоть она такая? Узнать, порасспросить надо. Хлеб разломить…

— Придет время, сам все о ней расскажу, — заверил сын. — Тогда, пожалуйста, отводи душу, все правила приличия соблюдай. А пока я и сам в ней еще толком не разобрался. Знаю только, что отец у нее строитель, высотные дома поднимает. Мать умерла. Отец на другой женился. Братишка у нее. Так и живут: отец, дети и мачеха. Вроде бы неплохая девушка. Не болтлива, не из хохотушек. Только…

Вроде бы ничего особенного не сказал сын, просто осекся на полуслове, а в груди словно

морозным сквозняком потянуло в предчувствии чего-то недоброго. И никак не отвести полных нарастающего беспокойства глаз от лица сына.

…Стояла поздняя осень. Листопад бродил по опустелым улицам, ветер то сгребал в кучи, жухлые листья, то снова гнал и кружил их вдоль влажно поблескивающих тротуаров. Листопад…

На задней площадке троллейбуса спиной к салону стояла девушка. Снаружи к запотевшему стеклу припал багровый лист чинары. Тонкий девичий палец медленно скользил по матовой поверхности, следуя причудливому рисунку листа. Глаза, не мигая, смотрели в одну точку и только ресницы, если вглядеться, чуть заметно вздрагивали.

Аббас дочти каждый день встречал эту девушку в троллейбусе. И каждый раз вид у нее был рассеянный и отрешенный. Порой он ловил на себе ее взгляд, но не было в нем ничего, кроме безразличия и все той же отрешенности. От этого взгляда Аббасу становилось не по себе, и он спешил отвести глаза, чтобы девушка не подумала, будто он за нею подглядывает. Впрочем, оснований у незнакомки к этому не было никаких: Аббас не пытался даже заговорить с нею.

Когда рядом было свободное место, Аббас ста-

новился лицом к салону и молча ехал до своей остановки. Если бы его спросили, почему он так поступает, он бы, пожалуй, не смог ответить.

Не доезжая до хореографического училища, девушка отгибала пальцем рукав пальто, бросала взгляд на часы и направлялась к выходу. К тому времени, когда троллейбус трогался, она обычно успевала выйти на тротуар. Аббас поворачивался к окну и следил за ней, пока она не скрывалась из виду.

Безмолвные эти встречи ни к чему, казалось бы, не обязывали, но все-таки как-то незаметно сближали. Увидев однажды незнакомку в очередной раз, он кивнул ей и она едва заметно кивнула в ответ. И хотя Аббас к этому времени, сам еще не отдавая себе отчета, явно заинтересовался попутчицей, дальше этих полуприветствий знакомство их не шло. Зато шли месяцы.

И опять была осень. Опять кружилась над городом золотая метель листопада. А в ночь на воскресенье выпал снег, и улицы вдруг утратили почти все цвета, кроме белого, и привычные уличные шумы зазвучали приглушенно. Но к полудню пригрело солнце, растопило топкий снежный покров, и все вокруг вновь обрело свои первоначальные краски.

С утра Аббаса не покидало предчувствие чего-то необычного, что должно было случиться именно сегодня. Он почти не удивился, увидев в троллейбусе свою незнакомку. Они снова обменялись кивками, на этот раз чуть более смелыми, и, как обычно, рядом молча продолжали путь. Миновав центральный универмаг, троллейбус остановился. Он уже трогался, когда девушка, раздвигая пассажиров, неожиданно устремилась к двери и сошла. У Аббаса мелькнула мысль сойти следом, но было уже поздно и пришлось ждать следующей остановки. Ступив на тротуар, он заколебался: все это выглядело как-то легкомысленно и несерьезно. Однако он пошел по проспекту обратно, неизвестно, с какой целью, убеждая себя в том, что попутчица вовсе не осталась на проспекте, а вошла в ЦУМ, и тогда все останется по-прежнему, и это, возможно, даже к лучшему. Ну, а если нет? А если она не в универмаге, а сидит где-то здесь на скамеечке, щурясь и подставляя лицо нежаркому осеннему солнцу? Что ему тогда делать? Подойти? Набраться смелости и просто так подойти и сесть рядом? А что он ей скажет?

Чему быть, тому быть! Нельзя же так до бесконечности. Пора внести ясность. По крайней мере

все встанет на свои места и незачем будет строить воздушные замки. А в троллейбус он будет садиться с передней площадки. И только.

И что в ней особенного? Красивая? Да мало ли их, красивых? Так чем же эта лучше? Чем приворожила? Чем?.. Может, тем, что в глазах у нее всегда печаль? Будто скрывает какую-то тайну. А может, все это вздор. И она счастлива. И у нее симпатичный муж и красавица-дочурка?..

"Встречу, не буду знать, куда глаза деть от стыда", — подумал Аббас. Идти расхотелось. Он остановился и поглядел по сторонам. Слава богу, — кажется, ее нет. Скамейка у бассейна пуста. На следующей сидят какие-то ребята, а на той, что подальше, — парень с девушкой.

Может быть, она приехала сюда на свидание со своим парнем? И сидят они вот так же рядышком где-нибудь в укромном уголке. Увидит она Аббаса, шепнет что-то на ухо своему парню, и тот, засучив на ходу рукава, направится к нему: а ну, мол, проваливай, а нею узнаешь, как на чужих девчонок пялиться!..

Аббас почувствовал на себе чей-то взгляд и оглянулся. На скамейке, прикрыв круглые колени полами пальто, одиноко сидела его попутчица. Выражение ее глаз за темными очками было

трудно определить, но Аббасу почудилось, что уголки губ приподняты в насмешливой улыбке. Заметив, что Аббас обратил на нее внимание девушка отвернулась и стала листать книгу.

У Аббаса гулко застучало в висках, и ноги словно вросли в землю. С трудом переборов волнение, он. направился к скамейке. Девушка, он это заметил, украдкой наблюдала за ним, но когда он подошел, даже не подняла головы от книжки.

— Разрешите? — голос Аббаса прозвучал робко и неуверенно. Девушка окинула его безразличным взглядом, будто не узнавая, и молча подвинула поближе к себе черную лакированную сумочку. Жест можно было истолковать как угодно. Аббас присел на скамейку. Он вдруг почувствовал себя здесь чужим и лишним, но мосты были сожжены и не оставалось ничего другого, кроме "активных действий". Со стороны, впрочем, эти "активные действия" выглядели, по-видимому, довольно странно: девушка продолжала читать книжку, а Аббас сидел рядом, не зная, с чего начать. Книжка была ему знакома: томик стихотворений Сергея Есенина, изданный в Югославии. Дома у него на полке стоял точно такой же. Девушка положила томик рядом с собой, сняла очки, протерла стекла платочком и снова надела. Она явно скучала, и

сама того не замечая, принялась теребить пуговицу на пальто.

Стайка облаков набежала на солнце, и все вокруг слегка потускнело. Девушка запрокинула голову, словно нарочно выставляя напоказ точеную белую шею, и стала, на отрываясь, следить за медленным бегом облаков. Аббас впервые видел ее так близко. Взгляд его скользнул по запрокинутому лицу девушки, но ее шее, опустился на нервно теребящие пуговицу руки и. застыл на полных икрах, туго обтянутых голенищами модных, отливающих черным блеском сапог. Почувствовав его взгляд, девушка убрала ноги под скамейку. Аббас вздохнул и тоже стал смотреть на облака. Они редели на глазах: еще немного и сквозь их прозрачную пелену брызнут яркие лучи солнца.

Что-то негромко стукнуло об асфальт и откатилось к ногам Аббаса. Он нагнулся и, подобрав пуговицу, протянул соседке.

— Все к этому и шло, — сказал он.

— Да? Спасибо. — Она взяла пуговицу и стала перекатывать из ладони в ладонь, выжидающе улыбаясь. И Аббас вдруг почувствовал, как стоявшая до того между ними незримая преграда тает и расплывается, как облако под лучами солнца.

Он понимал, что надо поддержать разговор, не дать ему иссякнуть, искал и не находил нужных слов.

— Вы учитесь на балерину?

— Нет. С чего вы решили?

— Вы всякий раз выходите у хореографического.

— Я преподаю там немецкий язык.

— А я почему-то решил, что вы имеете отношение к хореографии. Как-то и в голову не приходило, что вы — и вдруг учительница.

На сей раз девушка взглянула на него с интересом, "Смотрите-ка, — казалось, говорил ее взгляд, — а вы, оказывается, думали обо мне". Она отвела глаза и улыбнулась.

— Ну. у меня о вас сведения куда более точные.

— Интересно. Вот как!..

Аббас постарался, чтобы его голос звучал как можно спокойнее, хотя внутри у него ликовало и пело.

— Вы преподаете в институте. Так?

— Так, — удивился Аббас. — Как вы угадали?

— Не торопитесь, я еще не все сказала. Преподаете химию.

— Да! Но откуда вы-то об этом знаете?

— Не трудно догадаться. Увидела у вас в руках

учебник химии, ну и…

— Учебник мог держать в руках и студент.

— Ну, с этим уже совсем просто. В другой раз с вами был реферат. С рефератами, обычно, имеют дело люди, причастные к науке. Молоденькие парень и девушка, явно студенты, расшаркиваются с вами в троллейбусе и почтительно величают. Друг к другу студенты так не обращаются. Видите, как все просто?

— Потрясающе! Вы оказались гораздо наблюдательнее меня. Сдаюсь.

Аббас вскочил со скамейки, скрылся за кустами и почти тотчас вернулся с двумя пышными осенними розами. Пунцово-красные лепестки влажно отсвечивали на солнце.

— Прошу принять в знак искреннего восхищения вашим талантом!

Она поднесла цветы к лицу, вдохнула еле уловимый аромат и взглянула на Аббаса как-то уже почти совсем по-свойски искрящимися лукавой усмешкой глазами. Аббас продолжал:

— Не откажите в любезности назвать имя той, чья прозорливость повергла меня ниц.

Девушка рассмеялась.

— Зачем вам это?

— Ну, хотя бы затем, чтобы, проводив вас до-

мой, не произносить банально "до свидания, прекрасная незнакомка".

— А если провожатый уже есть?

День померк, хотя в небе по-прежнему светило солнце.

— Тогда… не называйте своего имени.

— Меня зовут Наима, — скороговоркой произнесла девушка.

…За воротами громко просигналила автомашина. Аббас отогнал воспоминания. В калитку вошел рослый широкоплечий парень. На загорелом лице озорно поблескивали темные глаза под черными, как смоль, густыми бровями. Парень был красив и, чувствовалось, сам отлично сознавал это.

— Здравствуйте, тетушка! — Приветствие прозвучало чуть громче, чем это было необходимо, и, пожалуй, чуть театрально.

Тетушка Хосият поднялась с корточек, отряхивая подол платья.

— Здравствуй, Шавкат. Входи, сынок, как поживаешь? Все ли живы-здоровы?

— Спасибо, тетушка. Все в порядке. Сами как поживаете?

Обмениваясь традиционными вопросами-ответами, они подошли к веранде. Тетушка Хосият

пошла на кухню, чуть прихрамывая: отсидела ноги. Шавкат поздоровался с Аббасом, коротко осведомился:

— Готов?

— Давно, — в тон другу ответил Аббас.

— Тогда тронулись, — Шавкат взглянул на часы. — Везет нам — на небе ни облачка, а я побаивался, что погода испортится. Поторапливайся, нам ведь еще этих зануд прихватить надо.

Занудами Шавкат называл всех без разбора девушек, с которыми бывал накоротке… Аббас усмехнулся, и поднял с пола увесистую дерматиновую сумку. В нее были уложены еще с вечера мясо для шашлыка, шампуры, редиска, помидоры, несколько бутылок минеральной воды. Друзья направились к калитке.

— Куда же вы? — всплеснула руками тетушка Хосият, появляясь на пороге кухни. — Я чай заварила…

— Спасибо, тетушка. Чай от нас никуда не денется, — откликнулся Шавкат. — Эх и покатаемся мы с вашим сыночком сегодня!

— Счастливого вам пути! Только долго не задерживайтесь, беспокоиться буду.

Весело переговариваясь, друзья вышли со двора.

…Шавкат остановил машину, немного не доезжая до дома Наимы. Аббас вышел, толнул дверь, и, когда она поддалась, надавил на кнопку звонка. Во дворе залаяла собака.

Из дома вышел мальчуган лет десяти, в пилотке из галеты. Аббас сказал ему, тот исчез. Вернулся к машине и закурил.

— Куда поедем?

— В Майдантал. Ущелье такое за Бостанлыком. Час езды, зато место — краше не сыщешь. А вот и твоя показалась, встречай.

Аббас оглянулся. Наима шла к ним, неся в руке ракетки, а в другой нейлоновую сумку с какими-то свертками. Зачесанные назад волосы были повязаны красной шелковой косынкой. На девушке была серая пуховая кофта и расклешенные книзу голубые брюки, модные туфельки на платформе бесшумно ступали по тротуару. Подняв на лоб большие солнцезащитные очки, она остановилась, пропуская поток машин.

— Какую красоту заарканил, бродяга! — не то с завистью, не то с восхищением сказал Шавкат. — Ни одного изъяна. Сплошные плюсы.

Наима и в самом деле относилась к той категории девушек, на которых, взглянув один раз, хочется смотреть еще. Уж кто-кто, а Аббас

знал это отлично. И хотя комплимент в адрес Наимы и польстил ему, что-то в голосе дружка заставило его насторожиться. Не слишком ли откровенно завидовал ему Шавкат? Впрочем, он из краснобаев и далеко не все, что говорит, следует принимать всерьез.

Туфельки на платформе чинно прошествовали через проезжую часть улицы и остановились возле машины. Наима поздоровалась с приятелями, и, извинившись, что заставила ждать, скользнула на заднее сиденье. Аббас сел рядом и захлопнул за собой дверцу.

Покопавшись в сумочке, Наима достала пару конфет и протянула одну Аббасу. Он сидел лицом к Наиме, поставив локоть на спинку переднего сиденья, и разглядывал девушку, словно видел ее впервые. "Красивая, ничего не скажешь, — подумал он. — Шавкат прав: сплошные плюсы". Но это не принесло удовлетворения, скорее напротив, — какую-то безотчетную тревогу. Он попытался мысленно взглянуть на себя со стороны и остался недоволен.

"Ну и что? — возразил он себе, — тысячи некрасивых женаты на красавицах. И живут, и дети у них. И, может, даже лучше, когда жена красивее мужа: не наскучит, не будешь на других загляды-

ваться. И вообще..."

Что "и вообще", Аббас не знал. Он вдруг со всей отчетливостью понял, что старается во что бы то ни стало подавить растущее в душе беспокойство. Ему внезапно открылось то, на что он сознательно закрывал глаза: нет в их с Наимой отношениях искренности, какие-то они искусственные, и были такими всегда. Да и на что он может рассчитывать со своей внешностью? Ему еще нет и тридцати, а уже начал лысеть со лба. Очень умен? Сомнительно. Да хотя бы и так, — разве этого достаточно, чтобы тебя полюбила девушка? Да еще такая, как Наима. А он ее любит. И отсюда неудовлетворенность, отсюда тревога. Может, все сложилось бы по-иному, будь Наима чуточку откровеннее, ласковее. Но она предпочитает отмалчиваться. Может быть, но натуре такая? Но ему-то не легче! Молчание настораживает, рождает подозрения. Против своей воли он разжигает эти подозрения и в копне концов сам начинает в них верить. И всякий раз, провожая Наиму домой, дает себе слово, что эта их встреча последняя. А тут еще тот памятный разговор...

Был холодный ветренный вечер. Аббас дождался, когда у Наимы кончатся занятия, и они молча пошли по пустынной темнеющей улице. Аббас

начал первым:

— Давно хочу спросить… Извини, если вопрос покажется глупым… — Он закурил, собираясь с мыслями. — Понимаешь… Ну, что ты нашла во мне? Такая красивая… А вокруг столько симпатичных ребят…

Аббас окончательно сбился, взглянул на нее и закончил просящим тоном:

— Ну, ты понимаешь, о чем я?

— Понимаю.

Девушка некоторое время шла молча, глядя куда-то вниз на распластанные по асфальту листья. Наконец решилась.

— Прости, Аббас. То, что я скажу, будет тебе неприятно. Но ты должен знать все… Когда мы с тобой встретились, мне было трудно. Очень. В таком состоянии людей обычно ничего не интересует. У меня получилось наоборот.

— Ты любила кого-то?

— Да! — прозвучало вызывающе резко. Наима прошла еще несколько шагов и продолжала, по-прежнему не глядя на него:

— Я сама хотела тебе рассказать. У нас могут объявиться общие знакомые. Будет хуже, если ты услышишь это от кого-то чужого…

Задолго до знакомства с Аббасом Наима встре-

чалась с другим парнем, собиралась выйти за него замуж, но он уехал учиться в аспирантуру в Москву и там женился на другой девушке.

— Наверное, московская прописка понадобилась, а может быть просто не было другого выхода у бедняги, — закончила свой рассказ Наима, и, помолчав, усмехнулась. — Такие вот дела, товарищ Абидов...

Тщетно старался Аббас уловить в ее голосе нотки раскаяния: была в нем тоска и затаенная боль, была обида, и только раскаянья не было.

"Бедняга!.." Аббас тщетно пытался проглотить колючий клубок, подкативший к самому горлу. Что ж... Он ведь сам давно хотел впусти ясность в их отношения. Собственно, даже не в их, а в ее отношение к нему. Теперь по крайней мере все стало на свои места. "Бедняга"... О человеке, который тебе безразличен, так не говорят.

— По-моему, ты до сих пор не можешь его забыть.

Клубок, наконец, поддался, оставив после себя саднящую боль в горле, и из-за нее, наверное, голос был каким-то чужим, хриплым.

— Век бы его не видеть! — вырвалось у девушки.

Было в этом восклицании что-то такое, что

заставило Аббаса заколебаться. В конце концов, чего не бывает в жизни? У нее это случилось задолго до знакомства с Аббасом. Если все ставить в вину… Коли на то пошло, и сам он не безгрешен: встречался, любил, строил планы… Так уж бывает: из-за какой-нибудь мелочи все летит кувырком… И какая вина, если человек любил?..

Шавкат хлопнул дверцей и включил зажигание. Он был чем-то расстроен, отмахнулся от Аббаса, когда тот спросил, где его приятельница, резко выжал сцепление, так, что машина рванулась с места, и некоторое время молча следил за дорогой, занятый своими мыслями.

Но постепенно он отошел, настроение опять поднялось, и, когда, миновав Бостанлык, "жигули" понеслись среди холмов, усеянных тюльпанами, он уже беззаботно напевал какую-то мелодию.

Горы были великолепны. Увенчанные белоснежными вершинами склоны густо поросли лесом, а там, где деревья расступались, открывая живописные лужайки, весело зеленела трава и искрились на солнце бесчисленные ручейки. С какой-то одержимой силой цвели заросли шиповника, джиды, боярышника. Под легким ветром покачивались алые тюльпаны. И над всем этим великолепием пронизанное золотистым

сиянием солнечных лучей нежно голубело небо.

Раздвигая заросли, машина въехала на лужайку и остановилась возле усыпанных яркими цветами кустов. Шавкат вышел из кабины, широким приглашающим жестом распахнул заднюю дверцу.

— С приездом, друзья! Добро пожаловать! — и, подождав, пока Аббас с Наимой выберутся из машины, добавил с гордостью: — Ну, и как? Здорово, правда?

Аббас не мог отвести взгляда от открывающейся перед ними панорамы.

— Фантастика! Вот где поселиться бы!

— Ну, это ты зря. Привыкнешь, перестанешь замечать. Тут надо бывать изредка. Это, как праздник, попинаешь? А что это за праздник, если каждый день? Вы согласны, Наимахон?

Девушка, улыбаясь, пожала плечами.

— Возможно.

— Человек и природа, — сказал Аббас задумчиво, — понятия неразделимые. К сожалению, мы все больше и больше от нее отдаляемся. В лучшем случае выезжаем раз-другой в год на природу…

— Кончай-ка философию. Дискутировать о плюсах и минусах урбанизации можно и дома, а мы сюда отдыхать приехали. — Шавкат с воодушев-

лением потер ладони. — Давайте лучше решим, с чего будем начинать. Вношу предложение! — Шавкат принялся демонстративно закатывать рукава. — Ты, Аббас, займешься шашлыком, а, стало быть, разводи костер. Я приступлю к созданию комфорта с помощью одеял и брезента. Вы, Наимахон, как единственная представительница прекрасного пола, от поручений освобождаетесь.

— Нет уж, — решительно запротестовала девушка, — трудиться будем все поровну.

— Тогда, — тотчас охотно согласился Шавкат, — вот вам помидоры, редиска и прочая снедь. Скатерть-самобранка — на вашей совести. Признавайтесь, здорово я распорядился?

— Ура распорядителю! Виват!

Наима с Аббасом трижды повторили здравицу и дружно принялись за работу. Результаты себя ждать не заставили: через несколько минут все приготовления к пикнику были окончены. Шавкат откупорил бутылку коньяка и принялся разливать ее содержимое по пиалам.

— Может, без выпивки обойдемся? — предложил Аббас, отчаянно жмурясь от едкого дыма костра и не переставая тереть кулаком глаза. — Ты за рулем. Один я не стану пить…

— А, чепуха! — беззаботно отмахнулся Шав-

кат. — До вечера выветрится. Да и где еще пить, как не здесь?

Он размашистым жестом повел рукой в сторону отливающих синевой горных вершин.

— Предлагаю тост за эти величавые стражи. За их таинственное безмолвие, неудержимо влекущее нас к девственным склонам. За наши горы!

Смакуя коньяк, Аббас вдруг как-то особенно отчетливо ощутил фальш театрального жеста, интонации голоса, да и всего тоста, произнесенного Шавкатом. Все это никак не вязалось с действительно величавым спокойствием горных вершин и зеленых ущелей, звучало нелепо и кощунственно. "Позер и трепач", — подумал Аббас, впрочем, беззлобно.

Шавкат с хрустом прожевал редиску и привстал на коленях, требуя внимания.

— Объявляется конкурс, — заголосил он гнусавым голосом провинциального конферансье. — Разбежимся в разные стороны и станем собирать грибы. Кто соберет больше всех — тому весь улов. Срок — двадцать минут. К этому времени костер разгорится как следует, и можно будет шашлык жарить. Голосуем?

Наима с опаской огляделась вокруг, зябко передернула плечами.

— Такие чащобы… А вдруг тут зверье водится?

"А в самом деле, вдруг?" — весело подумал Аббас.

— Откуда тут звери? — расхохотался Шавкат. — Разве что по ту сторону гор.

— Может, лучше все-таки всем вместе? — предложил Аббас.

— Исключается. Соревнование утрачивает остроту. Да и недоразумения могут возникнуть: я, скажем, первым увижу гриб, а ты его — хоп! — и подобрал. Рассуди тут попробуй.

— Я согласна, — поднялась с места Наима. — Начнём?

— Вот это другое дело, — Шавкат озорно подмигнул другу. — Учись, Аббас, решительности. Итак, кто куда?

— Я вод в ту сторону, — указала Наима на поросший редкими деревцами склон.

— А я в противоположную, — усмехнулся Аббас. — Там наверняка грибов больше.

— Ну, а мне, как ни выбирай, придется быть между вами. Только, чур, голос подавать, а то заблудитесь еще. Хотя за двадцать минут, да еще собирая грибы, далеко не уйти. Разобрать тару!

Наима подобрала с одеяла нейлоновую сумочку, Аббас — сумку из-под продуктов. Шавкат

— квадратное резиновое ведро для воды.

— Сверяем часы. Двенадцать пятьдесят, верно? В десять минут второго сбор на этом самом месте. Опоздавшему, сколько бы он ни собрал, засчитывается поражение Договорились? Внимание! Старт!

На опустевшую лужайку опустилась тишина, нарушаемая лишь потрескиванием сучьев в костре, щебетом птиц да изредка — голосами перекликающихся грибников.

Аббасу не повезло: угодил в скрытую травой глубокую лужу. Ботинок тотчас промок, и противно хлюпал. Но Аббас так увлекся поисками, что скоро забыл о нем. До сих пор он видел грибы лишь на рынке и, конечно же, не думал, что собирать их так интересно. Он то и дело поглядывал на часы и на сумку. Сумка постепенно становилась все увесистее.

Молодец все-таки Шавкат, что пригласил их за город За одно это все его недостатки можно простить. Машина — это вещь! Далекое делает близким, недостижимое — реальным. Есть над чем подумать. Дорого, конечно, без долго не обойтись. Но ведь покупают же другие! Постепенно расплатишься. К тому же диссертация на подходе… Нет постараться стоит. А там Наиму

прихватил с собой, мать из близких кого-нибудь и — куда душа пожелает! В Фергану? Пожалуйста! В Киргизию? Милости просим! В Самарканд? Добро пожаловать!

Люди за тысячи километров Узбекистан посмотреть едут. А ты тут родился, рос, столько лет прожил, а Бухару, Хиву, Самарканд только по открыткам и знаешь. Нет, машина — не роскошь. Машина — вещь необходимая…

Аббас взглянул на часы. Пять минут осталось. Интересно — далеко он зашел? Так увлекся, что даже по сторонам не смотрел. Пора в обратный путь. Шавкат, он хитрец, не случайно игру эту затеял. Он здешние места, небось, как свои пять пальцев… Наверняка больше всех наберет. А хорошо бы Наиме победительницей стать. Вот обрадовалась бы! Жаль, в противоположные стороны разошлись, он бы ей из своего сбора грибов подбросил. Четыре минуты до срока. Пора.

Забрел Аббас, как выяснилось, не так уж и далеко. За какую-нибудь пару минут добрался до полянки. "Соперники" еще не появлялись; он пожалел, что поторопился: мог бы собирать еще. Шавкат, тот и полминуты зря не потеряет. Аббас вывалил содержимое своей сумки на одеяло и принялся считать. Один… три… семь… трина-

дцать… Чье-то восклицание отвлекло его от этого занятия. Он поднял голову и осмотрелся.

Метрах в тридцати от полянки показалась Наима, в одной руке сумочка, другой прижимает к груди охапку тюльпанов. Позади, то скрываясь за деревьями, то выбегая на прогалины, спешил Шавкат. К машине они оба подошли одновременно.

Шавкат едва переводил дыхание.

— Вот, — он ткнул пальцем в циферблат японских часов, — тютелька в тютельку.

Наима швырнула сумку и тюльпаны и со вздохом повалилась на одеяло. Щеки у нее раскраснелись от быстрой ходьбы, грудь высоко вздымалась.

Аббас, шутливо насупив брови, указал на рассыпавшиеся по дастархану цветы.

— Гриб, девушка, принципиально отличается от тюльпана. — Он порылся в кучке своих грибов, выбирая экземпляр покрупнее. — Это вот, например, элементарный гриб, красочно описанный в школьном учебнике ботаники.

Наима звонко расхохоталась. Шавкат, все ещё тяжело дыша, считал-пересчитывал свои грибы.

— Сколько? — осведомился Аббас.

— Четырнадцать.

Аббас едва сдерживал ликование.

— А у тебя, Наима?

Не поднимаясь, Девушка протянула руку за сумочкой. Взглянула с сожалением.

— Шесть штук.

— И это все?

— Мало? — воинственно встрепенулась девушка. — А тюльпаны что, не в счет?

Словно требуя поддержки, она бросила быстрый взгляд на Шавката. Тот молча пожал плечами. Аббас был неумолим.

— Насчет тюльпанов уговора не было.

— А у тебя-то, у тебя? — не выдержал Шавкат. — Заявился раньше нас, видишь ли! Да у тебя самого и столько не наскребется.

Аббас предостерегающе поднял руку:

— Судейскую коллегию просят запять места.

Он опустил руку на полотенце, которым была покрыта его добыча, помедлил для эффекта и рывком поднял полотенце.

— Извольте, ваша честь. Двадцать три штучки.

Несколько секунд над лужайкой трепетала тишина и — взорвалась громким "ура" в честь победителя. А он великодушно позволил себе привстать с одеяла и небрежно раскланяться перед побежденными.

В голос Шавката вкрались подобострастные нотки:

— Тост в честь победителя предлагаем выпить стоя.

Мужчины осушили пиалы, а Наима, едва пригубив, поспешно опустила свою на дастархан.

— Теперь очередь за шашлыком, — провозгласил Аббас, вынимая из полиэтиленового пакета заранее промаринованное мясо. — Где тут у нас шампуры?

Шавкат тем временем достал из багажника гитару, повалился навзничь, и, пристроив инструмент на животе, запел вполголоса, небрежно перебирая струны. Наима, упершись подбородком в ладони, задумчиво глядела куда-то вдаль и чуть слышно подпевала…

Идиллия продолжалась недолго. Дразнящий аромат поджаренного над углями мяса живо вернул певцов к действительности.

— Ты маг, Аббас! — воскликнул Шавкат, в очередной раз берясь за бутылку. — Пьем за твой кулинарный талант.

…Погода менялась. По небу, то и дело заслоняя солнце, поплыли курчавые облака. Их тени скользили по долине, приглушая буйство весенних красок, окутывая даль белесой дымкой.

Шавкат с Наимой начали было играть в бадминтон, но скоро устали и присоединились к Аббасу, который от нечего делать тренькал на гитаре. Он отложил инструмент в сторону и спросил:

— Что, так и будем лежать до вечера?

— Хочешь что-то предложить? — не открывая глаз отозвался Шавкат.

— Выспаться успеем и в городе.

— Предлагай-предлагай.

— И предложу! — Аббас задумался. Как назло, ничего путного на ум не приходило. — Может, в жмурки сыграем?

— А как это? — лениво поинтересовался Шавкат.

— Сказало же — в жмурки. Начертим большой круг. Завяжем одному из нас глаза, и он нас будет ловить. Забыл, как в детстве играли?

— Так то в детстве!

— Ну и что? Станем на время детьми.

Аббас начертил палкой просторный круг неподалеку от машины.

— Из круга выходить запрещается. Если тот, у кого завязаны глаза, подойдет к черте, ему кричат "жарко".

Шавкат поднялся, встал спиной к Аббасу и как-

то безучастно сказал:

— Валяй, завязывай.

— Будем кидать жребий, — возразил Аббас. — Вот монета.

Ловить первым выпало Шавкату.

— Говорил же: завязывай! — ворчливо произнес он, подставляя Наиме голову. Сложив в несколько раз свою косынку, Наима завязала ему глаза, и игра началась.

— Не расстраивайся, приятель, — Аббас повернул Шавката кругом, чтобы сбить с толку. — Мы будем подавать голос. Начали!

Шавкат вытянул перёд собой руки и пошел по кругу, нащупывая ногами дорогу.

— Хо-хо! — крикнул Аббас. Шавкат шагнул в его сторону.

— Хо-хо! — откликнулась за спиной Наима. Шавкат быстро обернулся, шаря руками, но девушка уже успела отбежать, неслышно ступая на цыпочках. Шавкат неуверенно двинулся вперед.

— Жарко!

Он попятился и встал в нерешительности.

На этот раз он не стал спешить. Постоял несколько мгновений, прислушался к шороху шагов по траве, и неожиданно кинулся к Наиме, широко расставив руки. Девушка испуганно

вскрикнула и забилась в его объятиях.

— Брак! — крикнул Аббас, сдергивая повязку с глаз товарища. — Теперь твоя очередь, Наима.

С завязанными глазами Наима почувствовала себя беспомощной и неуклюжей. Робко тронулась вперед, боясь оступиться, и тотчас услышала:

— Жарко!

Кричал Шавкат. Найма медленно повернулась в его сторону, и пошла на голос. Шавкат шагнул вправо и, пропустив девушку, неожиданно крикнул за ее спиной:

— Хо-хо!

Наима вздрогнула и стала судорожно шарить вокруг руками. Так продолжалось довольно долго. Девушке явно надоела ее роль, она вяло двигалась по кругу, не предпринимая попыток кого-то схватить. Аббасу стало ее жаль. "Утомилась, бедняга, — подумал он с жалостью, — ладно уж, поддамся. Пусть обрадуется".

Девушка неуверенно, словно слепая, шла в его сторону. Аббас не двигался. Приблизившись почти вплотную к нему, Наима остановилась, беспомощно уронив руки. Лицо ее раскраснелось. На верхней, тронутой золотистым пушком губе простудили капельки пота.

Преувеличенно шумно вздохнув, Аббас присел

на корточки. Наима шагнула вперед и повалилась к нему на руки.

— Ура! Поймала! Поймала! — ликовала девушка. — Теперь ты нас ловить будешь.

Она торопливо сняла свалившуюся на шею косынку и стала завязывать ею глаза Аббасу. Тот охотно повиновался. Шавкат стоял поодаль, наблюдая за ними и усмехаясь каким-то своим, одному ему понятным мыслям.

Ориентироваться с завязанными глазами оказалось труднее, чем Аббас мог — себе представить. Красноватая непроглядная тьма окружила со всех сторон, сбивала с толку, рождала тревогу. Казалось, сделай неверный шаг, оступись — и полетишь в пропасть. Голоса Наимы и Шавката звучали далеко-далеко, нереальные. Чьи-то (Аббас так и не понял — чьи) руки коснулись на мгновенье его спины, и Аббас невольно вздрогнул, точно от электрического разряда. "Спокойствие, — сказал он себе, — успокойся и не подавай вида, сам придумал эту игру, а значит, — терпи. Им было не легче".

Он вытянул перед собой руки и, медленно переставляя ставшие вдруг непослушными ноги, пошел, ориентируясь на голоса. Скованность постепенно прошла, зато не прошла тревога.

Она гнездилась где-то в глубине сознания, и постоянное ее присутствие действовало угнетающе. — Тем не менее Аббас старался вовсю: быстро поворачивал-ся на восклицания; бросался из стороны в сторону, пытаясь схватить невидимых партнеров по игре, падал, вскакивал, потирая ушибленные места и корча забавные, как ему казалось, гримасы.

Игра явно затянулась. Уже давно умолкли голоса Шавката и Наимы, а Аббас с упрямой решимостью все ходил и ходил по кругу, раскинув в стороны руки и делая обманные броски и повороты. Начали болеть глаза под туго затянутой повязкой. "Довольно, — с досадой подумал Аббас, — кому это надо? Им тоже, видимо, надоело. Не случайно замолчали. Сидят где-нибудь в сторонке и посмеиваются надо мной". Он поднял руки и сдвинул повязку на лоб.

Солнечный свет ослепил привыкшие к темноте глаза. Поплыли, покачиваясь радужные круги и пятна, сквозь их пеструю карусель проступали искаженные до не узнаваемости очертания предметов. Аббас зажмурился, чтобы глаза могли постепенно привыкнуть к яркому освещению, огляделся по сторонам — и замер ошеломленный: в нескольких шагах от круга, возле машины,

очень близко друг к другу, стояли Наима и Шавкат. Руки девушки робко пытались оттолкнуть чрезмерно активного Шавката. А он, привлекая ее к себе, ловил ее губы...

Аббас зажмурился и резко опустил на глаза повязку. "Нет, — пронеслось в сознании, — этого не может быть... Померещилось". Усилием воли он оторвал от лица руки, готовые вновь сдвинуть повязку. Судорога перехватила горло. В висках застучало: "Нет, нет, нет..." Он повернулся и сделал несколько шагов в противоположную сторону, стараясь унять противную дрожь в коленках.

Как быть? Закатить сцену ревности? Отхлестать по щекам? Оскорбить? Нет. Не годится. В конце концов, это ее право. Право выбора. Право... Какое там к дьяволу право?! Ну, Шавкат — понятно: юбочник, прощелыга, не признает ничего святого. Но Наима!.. А что Наима! Разве она клялась в верности? Да и что клятвы? Слова — не больше.

Аббас отчетливо представил себе, как он бросает ей в лицо резкие слова упрека, и словно наяву услышал ее негромкий, спокойный голос: "Я что — тебе должна? Нет? Ну так оставь меня в покое".

Он провел по лицу ладонями, вытирая холод-

ную испарину. Какой же он идиот. Безвольный кретин. Мямля. Всю эту дурацкую историю надо было кончать давным-давно. По крайней мере избежал бы позора. Ведь так или иначе все шло к этому. И нужен-то он ей был всего лишь как временная опора, как пластырь на рапу… Что ж, лучше поздно, чем никогда. Теперь главное — выдержать, не сорваться до унизительной истерики. Ну… Ну же!..

— Эй, где вы там? Подайте голос! — Аббас круто пповернулся и зашагал, вытянув перед собой руки. "Сейчас врежусь в машину". И это случилось. Удар был сильным, но боли он не ощутил. Прмсел — скорее для вида, — медленно стянул с глаз повязку.

Они наклонились над ним: два бледных расплывчатых пятна на голубом фоне неба…

— Ушибся? — (Это Найма).

— Угораздило тебя. — (Шавкат).

— Предупреждал же: если что, — кричать "жарко".

Аббас сплюнул на траву розовый сгусток. Пощупал подбородок.

— Надо приложить холодное. — Наима плеснула минеральной воды на полотенце. — Я сейчас.

— Не надо. — Аббас отстранил ее руку и встал. —

Пройдет. Ерунда.

Что-то в его голосе заставило девушку насторожиться. Она попыталась перехватить его взгляд, но не смогла и вдруг вся как-то сникла, засуетилась, и лицо ее приняло виновато-испуганное выражение.

Где-то неподалеку глухо зарокотал гром. Вершины гор заволокло лучами. Холодный порывистый ветер пробежал по зарослям.

— Дождь собирается, — равнодушно произнес Шавкат. — К вечеру здесь всегда так. Пора возвращаться.

Под уклон машина катилась с выключенным мотором и, видимо, поэтому свист рвущегося в щели окоп ветра. был особенно резким, раздражал. Впереди замаячила темная с красноватым оттенком скала. Поравнявшись с ней, Шавкат остановил машину.

— Голубые тюльпаны, — бросил он, ни на кого не глядя. — Видел в прошлом году. Пойду поищу.

— Может, не стоит? — робко запротестовала Наима. — Добраться бы до дома, пока дождь не начался.

Но Шавкат уже выскочил из машины, перебежал дорогу и стал быстро подниматься по крутому склону, заросшему деревьями и кустар-

ником.

В кабине "жигулей" воцарилось молчание. За всю дорогу Аббас с Наимой обменялись парой ничего не значащих фраз. И теперь сидели молча, глядя каждый в свою сторону. Настроение у Аббаса было подавленное, но он старался не показать этого, поглядывал по сторонам и даже насвистывал какой-то незамысловатый мотивчик. А в сознании медлительно и неотступно стучала одна и та же мысль: как быть?

Вот они доберутся до города, неподалеку от своего дома Наима попросит остановить машину, поблагодарит за поездку и выйдет. Он тоже выйдет вместе с нею, приличия ради проводит до самых дверей и, прощаясь, просто не задаст традиционного вопроса: "Ты свободна завтра?" Наима, наверное, промолчит. И это даже к лучшему. Все кончится само собой. Да и на что она ему? На что? Они перестанут встречаться и все. И он будет ездить на работу автобусом…

Нет. Не то. Все не то. Нельзя так, сплеча.

Еще несколько встреч ни к чему не обяжут. Зато будет возможность разобраться во всем и уже тогда решить. Наима… Она ведь умная девушка. Она видит Шавката насквозь и никогда не решится связать свою судьбу с ним. Она мечтает

о семье, прочной семье. А Шавкат для этой роли не годится. Другое дело Аббас. У нее было достаточно времени убедиться в его верности, в его самых серьезных намерениях. Конечно же, она не захочет его потерять. Они будут продолжать встречаться. И когда вся эта история уже забудется, он скажет ей, что встретил другую девушку и решил на ней жениться. Это будет его месть за поруганное чувство…

На один миг Аббас представил себе, как он произносит эти слова, и почувствовал, как кровь приливает к щекам. План мщения рухнул в одну секунду. Ерунда. Все это недостойно мужчины, мелко и подло. Ну, а как быть?

Стоп! Кажется, выход есть. В ректорате на днях ему предложили поехать на трехмесячные курсы в Киев. Он отказался: на носу защита, много работы с диссертацией. Но это было тогда. А теперь… В конце концов дорабатывать диссертацию можно и в Киеве. Там по крайней мере не будет Наимы, отпадет необходимость избегать встреч с нею. Три месяца — срок достаточно большой. Улягутся страсти, забудутся обиды. Все решится само собой. И если они и встретятся с Наимой, после его возвращения — это будет встреча чужих друг другу людей…

Дождь глухо барабанил по крыше. Аббас взглянул на часы. Тридцать минут, как ушел Шавкат. Пора бы и вернуться. Под таким ливнем пяти минут достаточно, чтобы промокнуть до нитки. Где бы он мог быть?

Не произнося ни слова, Аббас выбрался из машины и захлопнул дверцу. Подошел к оврагу и, прикрывая глаза ладонью от холодных струй дождя, огляделся по сторонам. Шавката нигде не было видно. Аббас передернул плечами и стал спускаться в овраг, то и дело поскальзываясь.

Наима осталась в машине одна. На душе было тоскливо и тревожно, сердце грызли стыд и раскаяние. Она до боли в висках напрягала мысль, стараясь разобраться в том, что произошло. И не могла разобраться.

Невдалеке сквозь зыбкую сетку дождя замаячила фигура Аббаса. Наима встрепенулась. Аббас поманил ее рукой и, убедившись, что девушка его поняла, снова исчез в овраге. Наима поспешно натянула на голову капюшон куртки и устремилась следом, перепрыгивая через камни и съезжая о щебенистым осыпям. Внезапно она остановилась, словно натолкнувшись на невидимую преграду: прямо на мокром щебне, прислонившись спиной к валуну, сидел Шавкат.

По бледному лицу тоненькой струйкой сбегала кровь. Морщась от боли, Шавкат вытирал ее носовым платком.

— Ой, горе мое, что с ним случилось? — Наима выхватила платочек и стала вытирать им кровь. — Что с ним произошло, Аббас?

— Поскользнулся, — с трудом разжал губы Шавкат. — Поскользнулся и упал… Ногу вот… поранил.

Аббас разорвал штанину. На белой, как полотно, голени, зияла рваными краями огромная рана. Из нее толчками шла кровь.

— Как тебя угораздило, — процедил сквозь зубы Аббас, туго перехватывая ногу выше раны красным платком Наимы, которым завязывали глаза. — Обо что это?

— Вон… — Шавкат повел глазами на валявшийся поодаль бетонный обломок дорожного ограждения. Из обломка косо торчали концы ржавой арматуры.

Аббас стал осторожно бинтовать ногу. Дождь мешал ему: струился по волосам, по лицу, заливал глаза. Аббас то и дело встряхивал головой. Наима вытерла ему лицо ладонью, но прозрачные ручейки тотчас побежали снова. Девушка протянула руку, чтобы вытереть их, но Аббас

резко отстранился. Перевязка, наконец, была окончена. Аббас опустил разорванную, пропитанную влагой штанину и выпрямился.

— Сам сможешь идти?

Опираясь на плечо Аббаса, Шавкат попытался встать на ноги, но тотчас застонал и бессильно опустился на камень. Видимо, давала о себе знать большая потеря крови. Аббас покачал головой, и повернувшись к приятелю спиной, присел на корточки.

— Держись за шею.

— Не надо… — Голос Шавката звучал вяло, сонно. — Сам как-нибудь.

— Держись, тебе говорят! Помоги ему…

Аббас перекинул через плечи безвольно обвисшие руки Шавката и поднялся, опираясь рукой о валун.

— Поддерживай сзади.

— Хорошо, Аббас-ака.

Аббас мысленно усмехнулся. "Аббас-ака!" Это что-то новое. Вежливо — как к брату и старшему человеку. Или совсем потеряла голову с перепугу?

Сгорбившись под тяжестью ноши, Он стал взбираться по откосу, осторожно переставляя ноги. "Только бы не упасть, — стучало в висках, —

только бы не упасть". Палма семенила следом, поддерживая безвольно обвисшее тело Шавката, и когда Аббас останавливался, чтобы перевести дыхание, смотрела ему в лицо. Но он молчал, судорожно хватая воздух ртом, и снова упрямо карабкался по осклизлым камням откоса. А она, кусая губы от обиды и чувства собственного бессилия, следовала за ним, проклиная про себя все случившееся. "Все из-за меня, — твердила она себе, — все это из-за меня. Я одна во всем виновата..."

Это должно было произойти рано или поздно. Слишком уж откровенно ухаживал за ней Шавкат, слишком часто говорил двусмысленно, — слишком часто смотрел на нее выжидающе и требовательно, словно хотел, чтобы она призналась ему, наконец, в своих чувствах, сама бросилась на шею. Глупец!.. А она? Чем она лучше? Вместо того, чтобы оттолкнуть, поставить на место, она терпеливо переносила его ухаживания, снисходительно улыбалась там, где надо было бросить ему в лицо гневную отповедь. Зачем? Да, зачем? Может быть, хватит притворяться? К чему это ханжество? Но в глубине души ей были приятны его ухаживания, они щекотали нервы, льстили женскому самолюбию. И еще —

она боялась оттолкнуть Шавката потому, что это, конечно же, не осталось бы незамеченным, и тогда дружбе Шавката с Аббасом пришел бы конец.

И вот развязка. Почему она не закричала, когда он обнял и стал целовать её? Что удержало ее? Страх? Да! Если бы Аббас увидел их в эту минуту — не миновать стычки. А может быть, во всем виноват коньяк? Та малая толика, которую она выпила...

Выбиваясь из последних сил, Аббас вышел наконец на дорогу. Наима забежала вперед, чтобы распахнуть дверцу машины, помогла усадить Шавката на заднее сиденье. Усадив приятеля, Аббас рухнул на сиденье и в течение нескольких минут жадно хватал ртом пронизанный сыростью воздух. Немного отдышавшись, он полез в карман за сигаретами, но пачка размокла, и сигареты в ней превратились в месиво. Аббас скомкал пачку и швырнул на дорогу.

Смеркалось. Дождь едва моросил. Наима, жалкая, промокшая насквозь, стояла, нахохлившись на дороге, но решаясь забраться в кабину. Аббас вышел и, бросив на ходу Наиме: "Ступай в машину", — перешел на противоположную сторону. Снизу поднималась машина с включенными фарами. Аббас вскинул руку, но грузовик, не

снижая скорости, прогромыхал мимо. Дорога опустела. Аббас подошел к машине и сел рядом с Наимой. Его бил озноб. Девушке хотелось прижаться к нему, согреть теплом своего тела, но она чувствовала, что он оттолкнет ее и потому продолжала молча глядеть на него из глубины кабины. Внезапно полутьма озарилась призрачным пляшущим сиянием: позади них, высвечивая заднее смотровое окно "жигулей" светом фар, шла автомашина. Аббас вышел из кабины и встал посреди дороги, вскинув над головой руку. Взвизгнули тормоза. Грузовик обогнул "жигули" и остановился у обочины. Водитель опустил боковое стекло и вопросительно взглянул на подошедшего Аббаса. Рядом с шофером в темноте кабины сидел еще кто-то.

— Браток, — и Аббас устыдился умоляющих интонаций своего голоса. Продолжил более решительно: — В общем, такое дело. Товарищ у нас в беду попал. Несчастный случай. Нужна медицинская помощь… Я заплачу…

— Что с ним?

— Упал, ногу поранил.

— А я что могу сделать? Доктор нужен…

— О том и речь. Довезите до ближайшей больницы.

Шофер задумался.

"Откажется, на все пойду, — подумал Аббас с холодной решимостью. — Пригрожу, что сообщу в милицию. Не помочь человеку в беде — преступление. Испугается. Не посмеет отказать".

— Машину водить умеешь? — спросил шофер.

— В том-то и беда, — вздохнул Аббас. — Стал бы я тут загорать…

Не дослушав его, шофер распахнул дверцу и обратился к спутнику:

— Поедешь за мной. Пойдем, товарищ.

Они направились к "жигулям".

— До совхоза довезу. Там больница…

— Спасибо, друг.

Аббас распахнул дворцу и указал Наиме на переднее сиденье.

— Пересядь сюда. Я буду его поддерживать.

…Проехав километра три, машина свернула с шоссе на усыпанную щебенкой проселочную дорогу. Дождь прекратился, но в воздухе висела мельчайшая водяная пыль.

Машина остановилась у крыльца длинного одноэтажного строения, в котором светилась лишь одна пара окон. К дверям вели бетонные ступени. Аббас взбежал по ним и рванул на себя ручку. Дверь не поддалась, и он нетерпеливо забара-

банил в занавешенной марлей окно. Девушка в белой косынке отодвинула занавеску и, прикрывая глаза ладонью, стала вглядываться в темноту. Разглядев Аббаса, она кивнула ему и отошла от окна. Почти тотчас же отворилась дверь, и на дорожку лёг прямоугольник света, рассеченный посредине тенью стоящей в дверях медсестры.

Не выходя из машины, Найма наблюдала за Аббасом. Ей вдруг открылось в нем нечто новое, качества, которых она в нем раньше не замечала: решительность, собранность, умение убеждать, пожалуй, даже повелевать. Человек, которого она, казалось бы, отлично знала, вдруг неузнаваемо переменился, стал каким-то другим… и чужим. Она почти физически чувствовала, как с каждой минутой он все дальше и дальше уходит от нее. И от сознания, что она не в силах удержать его, тревожно и остро защемило сердце.

Тем временем к зданию больницы, расплескивая лужи, подъехала грузовая машина. Водитель выключил фары, и грузовик сразу вписался в окружающий его ночной пейзаж, словно стоял тут давно, одинокий, всеми забытый.

В дверях появился Аббас с брезентовыми носилками в руках, за ним шли пожилой мужчина в тюбетейке и давешняя медсестра. Они уложили

Шавката на носилки и Аббас с шофером внесли его в больничный коридор.

— Сюда, — указал мужчина в тюбетейке, открывая гладкую фанерную дверь справа. — Ставьте на пол.

Медсестра внесла никелированную коробку со шприцами, поставила на столик и, раскрыв застекленную дверцу шкафа, принялась выбирать препараты.

Аббас с помощью шофера уложил Шавката на кушетку, застланную палевым покрывалом. Шавкат был бледен, как полотно, и не подавал признаков жизни. Мужчина в тюбетейке пощупал пульс, и покачав головой, принялся энергично мыть руки над раковиной.

— Что с ним произошло? — спросил он, не прекращая своего занятия. Аббас коротко рассказал о случившемся. Врач подошел к кушетке, вытирая руки вафельным полотенцем, расстегнул рубашку на груди Шавката, и. заправив в уши трубку фонендоскопа, стал прослушивать.

— Большая потеря крови, — врач поднял глаза на Шавката. — Сердце.

Он обернулся к медсестре.

— Поторопитесь, пожалуйста.

— У меня все готово, — откликнулась девуш-

ка. — Засучите ему рукав.

Аббас поспешно выполнил ее просьбу. Медсестра сделала укол и, не вынимая иглы, ввела сердечное. Врач осмотрел ногу Шавката и опять принялся мыть руки над раковиной.

— Обработайте рапу, — приказал он медсестре. — Будем зашивать.

— Девушка толкнула двустворчатую дверь напротив и включила там освещение. Посреди просторной комнаты зловеще белел операционный стол. Аббасу стало не по себе. Он обернулся к входной двери и увидел Наиму, о которой совсем было забыл. Вид у девушки был измученный, чувствовалось, что она едва держится на ногах. Она стояла в дверях, опершись о косяк, и в глазах ее читалась немая мольба.

Аббас тронул за рукав шофера.

— Спасибо вам, друг. Что бы я без вас делал?

— Не за что. Лишь бы дружок поправился. Вы уж нас извините, — нам ехать надо.

Он направился к выходу, пытаясь обойти Наиму. Она вошла в комнату. Аббас прошел мимо нее в коридор, нагнал шофера.

— За все вам спасибо. — Он достал из кармана деньги и неловко сунул шоферу. — Возьмите вот...

Шофер пристально посмотрел ему в лицо и отвел руку:

— Ты это брось, приятель. Спрячь деньги, а то обижусь. Так-то. Всего вам доброго.

Он легко сбежал по ступенькам и зашагал к машине. Аббас проводил его взглядом и не опускал руку до тех пор, пока красные огоньки грузовика не затерялись во тьме…

Врач кончил зашивать ногу и снова принялся за фонендоскоп. Шавкат по-прежнему не приходил в сознание и, казалось, побледнел еще больше.

— У вашего товарища есть при себе документы?

— Не знаю. — Аббас развел руками.

— Поищите у него в карманах.

Аббас порылся в разбросанных на кушетке вещах Шавката, достал из пиджака паспорт, протянул врачу.

— Он что, был за границей? — спросил тот, листая паспорт.

— Да, в Афганистане, а что?

— Есть отметка о группе крови, — ответил врач, продолжая слушать сердце. — Пульс немного лучше. Но это временно. Необходимо вливание крови, а ее у нас нет. Придется ехать в Ахангаран или Ташкент.

— Я не умею водить машину, — сказал Аббас, чувствуя как холодеет в груди.

Врач пожал плечами. Аббаса вдруг осенило:

— Возьмите кровь у меня, доктор!

— Нужно знать группу, а такой аппаратуры у нас тоже нет.

— Не надо никакой аппаратуры. У меня первая группа. Можете не сомневаться, я был донором.

— Это выход! Только… — врач запнулся и снова нахмурил брови, — учтите, крови потребуется не меньше литра. Так что решайте сами.

— А чего тут решать? — Аббас сбросил пиджак и, отстегнув запонку, стал закатывать рукав. — Где мне лечь?..

Наима сидела на стуле возле двери, одинокая, никому не нужная. Происходящее казалось ей кошмарным бесконечным сном, в котором она была лишь беспомощным, ни во что не вмешивающимся зрителем. Эта никчемность угнетала, рождала ощущение собственной неполноцен-пости. К ней не обращались, ее ни о чем не спрашивали, ее просто не замечали. Будто сквозь туман она видела, как Аббаса уложили на кушетку ввели ему иглу в артерию, как алая пенящаяся кровь, его кровь, наполняла шприц, и как эту кровь вливали затем Шавкату. Процедура

повторялась снова и снова, и ей хотелось вскочить и крикнуть: "Довольно! Что вы делаете? Вы же его погубите!" Но какая-то страшная тяжесть приковала ее к стулу, не давала пошевелиться.

— Все, — врач ласково похлопал Аббаса по плечу. — Лежите, лежите. Голова не кружится?

— Нет.

Голос прозвучал приглушенно, словно пл другой комнаты. Аббас усмехнулся. Врачи всегда задают этот вопрос донорам, сдающим кровь. Ему вдруг вспомнился эпизод, который произошел с ним несколько лет тому назад. Он был студентом и время от времени подрабатывал, сдавая кровь на донорском пункте. Как-то на занятиях драмкружка он познакомился с девушкой по имени Лола. Они учились на разных факультетах, но вечерами после занятий, в кружке он часто провожал ее до самого дома. А потом они стали встречаться каждый день, вместе ходили в кино, на танцы, на Комсомольское озеро. Однажды Лола пригласила его на свой день рождения. Аббас с нетерпением ждал этого дня. Он знал, что Лола из обеспеченной семьи и что гости придут с богатыми подарками. Подарить какую-нибудь безделушку было неудобно, а на дорогой подарок не хватало денег. В последний день Аббас отпра-

вился на донорский пункт сдавать кровь. После этого полагалось отдохнуть часа два-три, плотно поесть, но у Аббаса не было времени и он, махнув рукой на правила, помчался в магазин выбирать подарок. Купил хрустальную вазу и прямо из магазина отправился к имениннице.

Как на крыльях взлетел на третий этаж и нажал кнопку звонка. Лола встретила его в дверях, ввела в коридор. Из комнаты доносилась музыка, голоса гостей, звон посуды. Аббас поздравил Лолу с днем рождения и вручил ей подарок. В этот момент входная дверь отворилась и вошли шикарно одетые мужчина и женщина. Даже не поблагодарив за подарок, Лола поставила вазу на шаткую стеклянную полочку, а сама бросилась встречать гостей. То ли Лола случайно задела полку, то ли полка не была рассчитана на такие тяжести, но ваза упала на пол и разлетелась вдребезги. В глазах Аббаса потемнело. А Лола, чтобы успокоить гостей, защебетала: "Не обращайте внимания. Подумаешь, ерунда, ваза разбилась, новую купим". Принесла из кухни совок, собрала в него осколки и с грохотом высыпала в помойное ведро. Вот тогда у Аббаса действительно все закружилось перед глазами…

Что-то холодное коснулось его лба. Аббас от-

крыл глаза и увидел Наиму. Девушка стояла у изголовья, опустив ладонь на его лоб.

— Голова кружится? — робко спросила Наима.

"Бедняжка, — одновременно и радуясь и злорадствуя, подумал Аббас, — не придумала ничего умнее, как повторить чьи-то вопросы". Он хотел отстранить ее руку, но передумал и только закрыл глаза, чтобы не видеть ее лица. Он по-прежнему не мог смотреть на нее без волнения, как в те далекие осенние дни, когда ветер гнал по асфальту желто-багряные листья и троллейбус с запотевшими стеклами вез их с Наимой по вызолоченной листопадом улице…

Шавката перенесли в палату, укрыли шерстяным одеялом, подали горячий чай. Наима вышла в переднюю комнату. Медицинская сестра прошла мимо нее, неся что-то на прикрытом белоснежной салфеткой подносе, вошла в палату, где лежал Аббас и поставила поднос на тумбочку возле кровати.

— Я принесла поесть. Вам нужно подкрепиться, а потом уснуть. Вашему другу лучше.

— Спасибо, сестра, — Аббас с трудом поднял гудящую-голову. — У меня к вам просьба.

Он помолчал, собираясь с мыслями.

— Там у вас девушка… Ее Наима зовут… Про-

мокла она… Измучилась… Не заболела бы…

— Не беспокойтесь, — заверила медсестра. — Мы о ней позаботимся.

— Переодеться ей надо… Потеплее… В халат, что ли…

— Все устроим.

— Потом… Пусть сюда придет… Поест немного.

— Хорошо, — заверила сестра. — Ну, ешьте и не думайте ни о чем.

Аббас, слабый, как грудной ребенок, ел, засыпал, просыпался, отпивал глоток остывшего чая и вновь окунался в дремоту. А в соседней комнате медсестра, как и обещала, занималась Наимой: переодела ее во все сухое, вделала укрепляющий укол, а теперь поила горячим чаем.

Вошел мужчина в тюбетейке и сказал, что Шавкату стало гораздо лучше и что он уснул наконец нормальным сном.

Наима поблагодарила его за известие, а про себя отметила, что ее мысли заняты одним-единственным человеком, и человек этот — Аббас.

— Вам тоже пора отдохнуть, — сказал врач, — Назира-хон, постелите ей в кабинете главного врача.

— Не беспокойтесь, — голос Наимы окреп и звучал решительно и уверенно. — Если найдется

кресло, я посижу в палате, где лежит Аббас. Должен ведь кто-то за ним присмотреть.

Кресло нашлось. Аббас лежал бледный, с ввалившимися глазами, но грудь его равномерно вздымалась, и сон был спокойным. Наима долго вглядывалась в лицо человека, который за несколько последних часов стал для нее самым родным и близким и без которого она не могла представить своего будущего. Она склонилась над ним и нежно прикоснулась губами к щеке. Потом вздохнула и опустилась в кресло.

Она вдруг поняла, каким трудным и, наверное, долгим будет ее путь к нему, к тем их отношениям, которые только теперь оценила по-настоящему. Но поняла она еще и то, что чего бы ни стоило, она пройдет этот путь до конца.

Перевод Н.Гацунаева

НИГМАТ АМИНОВ

Перу Нигмата Аминова принадлежат книги юмористических рассказов и повестей "Дутая слава", "Подорванный авторитет", "Сорок третий зять", "Сквозняк" и другие.

И. Аминов член СП СССР.

ЗНАКОМЫЙ
Рассказ

Поместили меня в пятьсот двадцать шестом номере на пятом этаже ташкентской гостиницы "Россия". Номер, рассчитанный на двоих, удобно обставлен, есть и ванная. Комфорт, одним словом. Только вот неизвестно, какой сосед попадется.

Вживание в комфортабельную обстановку столичного отеля решил начать с ванной. Благо времени сегодня у меня было — девать некуда.

Едва успел раздеться, слышу — стучат в дверь. Негромко так стучат, деликатно. Ладно, думаю, что в ванну еще не влез! Натягиваю брюки, отворяю.

На пороге — гражданин с багровым, пышущим

здоровьем лицом. Столь же жизнеутверждающего цвета было и пальто, плотно сидевшее на широченных плечах. И лишь пестрый, сбившийся на бок галстуку несколько нарушал монументальность явившегося мне образа, как бы подтверждая известную истину, что все мы — человеки.

— А вот и я! И здесь не оставлю вас в покое, — шутливо, бодрым, компанейским тоном произнес он.

— Рад, что моим соседом будете именно вы, земляк, — отвечаю, тоже сразу вспомнив, что летели мы одним самолетом. Правда, голоса я его там не слышал: будущий мой сосед как сел в кресло, так и проспал до самого Ташкента.

Взял я у него из рук чемодан, внес в помер. Моя предупредительность, видимо, понравилась соседу, который, быстренько сняв пальто, принялся вспоминать обстоятельства нашего совместного полета, а также то, как мучительно долго тащился трамвай до гостиницы. Несомненно, беседа эта должна была сблизить нас. Когда же я узнал, что соседа-земляка зовут Исламджаном Акиловым и что живет он в одном из отдаленных районов пашей области, я счел возможным предложить поочередно принять душ.

— Не имею ничего против, — согласился со мной Исламджан. — Я, между прочим, прибыл по вызову министерства просвещения… Удалось приехать вот на денек раньше: хочется Ташкент посмотреть.

— А я, — отвечаю, — на совещание каракулеводов приехал. И тоже на день раньше.

— Прекрасно! — обрадовался за меня сосед. — Тоже, значит, сможете культурно провести время…

Когда я вышел из ванной, Исламджан, как был одетый-обутый, так и лежал на кровати, легонько похрапывал.

"Здорово, однако, устал, бедняга", — думаю, и принимаюсь за только что купленную книгу, стараясь не шелестеть страницами. Через час примерно сосед проснулся. Блаженно потянувшись, зевнул, пожаловался:

— Ужасно устаешь в этих самолетах!

Взяв чайник, я отправился за кипятком. К моему возвращению Исламджан успел принять душ.

— Домла[22], — пригласил я, — пожалуйста, выпейте со мной пиалушку чаю.

---

[22] Примечания: 22

Домла (домулла) — учитель, подчеркнуто уважительное обращение к собеседнику.

— Хоп[23], хоп, — ответил он. Взял протянутую пиалу, отхлебнул.

— Не знаю, как пройдет беседа в министерстве, — лицо его, на котором после сна и душа багрянец сделался еще более жизнеутверждающим, изобразило беспокойство напополам с гордостью.

— Все обойдется благополучно, домла, — вежливо откликнулся я, и, не желая углублять содержательность нашей с ним беседы, не стал спрашивать о цели вызова моего соседа в столь высокую инстанцию. Однако сосед не дожидался моего вопроса:

— Лет восемь назад работал я заведующим районо. Должность, сами понимаете, ответственная. А чем выше человек, тем больше у него и недоброжелателей… В общем, новый председатель райисполкома освободил меня. Под предлогом того, что не имею я высшего образования. У меня и правда был тогда только диплом учительского института. Теперь уже, заочно, окончил педагогический. А тут как раз и председатель исполкома сменился — выдвинули на этот пост товарища Хашимова…

---

[23] Примечания: 23
Хоп — ладно, так и быть.

— А, это тот, который работал в тресте совхозов? — припомнил я, услыхав знакомую фамилию.

— Да, да — он самый, — обрадовался Исламджан. — Уткурджан-ака доводится нам… Близкий, одним словом, человек. И вот вызывает меня к себе и, конечно, спрашивает: "Домулла, хотите на свою прежнюю должность?"

Ну, что я мог ответить близкому, уважаемому человеку! Помолчал минуты две-три, подумал, а потом, конечно, говорю: "Если вы считаете нужным…" Да, знает Уткур-ака цену людям, не разбрасывается кадрами!

— Верно, — вежливо поддержал я, — товарищ Хашимов — хороший организатор.

— Рад за вас, — похвалил меня. Исламджан. — Приятно слышать, что и вы, оказывается, можете оценить настоящего руководителя. А ведь Уткурджан-ака действительно имеет громадные заслуги. Особенно в благоустройстве райцентра. Так что отказываться мне было просто неудобно. Да и не имел я права отказываться! — Исламджан допил пиалу и закончив значительно:

— Потому-то я и вызван в министерство. Очень может быть, что это — идея нового министра…

Я тоже допил чай и, взяв книгу, прилег на

койку. Исламджан нагнулся, пытаясь прочесть название на обложке, спросил:

— Что за книга у вас?

— "Черные очи".

— Небось, про черноглазых девочек?

— В общем-то, да, — не совсем уверенно подтвердил я.

А он уже продолжал:

— Непременное качество настоящего руководителя — эрудиция и, если хотите, бойкость языка. А для этого надо читать и читать! Я, например, успел прочесть "Тысяча и одну ночь", "Гур-оглы", "Авазхон"... Всех названий просто не упомнить. Как удается встретить в книжных магазинах что-нибудь такое же интересное, обязательно покупаю. Теперь придется поискать специально: надо читать, повышать уровень... А то ведь придется выступать на собраниях, заседаниях.

Исламджан до капли выцедил в пиалу кокчай из чайника, выпил, подошел к окну. Глянув на открывавшийся вид столицы, произнес — негромко, чувственно: "Красота какая! Как все благоустроено..." Опять сел на кровать и сказал, чуть громче уже, о беспокойством:

— Что бы это значило: не приходит никто из министерства?

— А там знают, что вы здесь?

— Как не знают, если человек оттуда встречал меня. Этот парень и в трамвай посадил, и до гостиницы довез.

Исламджан пошуршал старой газетой, потом накрыл ею лицо и сразу же захрапел.

Парень из министерства пришел к вечеру. Был он высокий, худощавый, с приятным добрым лицом... Протянул мне руку, представился: "Анвар Шамспев". Обменялись несколькими фразами, и Анвар спрашивает:

— Исламджан-ака, что если сегодня мы вместе сходим в театр?

Исламджан, подбоченясь левой рукой, ответил с достоинством:

— Литература, искусство, театр, концерты — моя слабость.

Анвар вынул из кармана три билета:

— Так я и думал, Исламджан-ака! Тогда предлагаю сходить на "Гамлета".

— На "Гамлета", значит? — переспросил Исламджан.

— Да, в театр имени Хамзы, — подтвердил Анвар, кладя билеты на стол.

— А песен в этом спектакле много?

Анвар оторопело посмотрел на моего соседа.

Исламджан стоял все так же подбоченясь. жизнеутверждающего цвета лицо его выражало озабоченность. Но, увидев удивление во взгляде Анвара, домла торопливо улыбнулся:

— Все, все! Идти — так идти…

По дороге успели поужинать и, конечно, немного выпили.

В театре все шло поначалу нормально: смотрим, слушаем. Все трое. И вот уже Гамлет начал свой знаменитый монолог. Тут-то я, заметил, что Исламджан ерзает в кресле, вздыхает и даже, кажется, постанывает.

— Что с вами, домла? — спрашиваю шепотом.

— Плохо себя чувствую что-то, — отвечает Исламджан. — Выйду-ка я, пожалуй, в фойе…

Делать нечего: поднимаюсь, выхожу следом. Домла Исламджан стоит у степы и щелкает фисташки. Теперь он не испускает ни вздохов, ни стонов, однако во взгляде — страдание.

— Так что же случилось? Что болит у вас?

— Что, что! Вы лучше скажите, что это за театр — ни песен, ни танцев! — с сердцем отвечает Исламджан. — Подумаешь, "жизнь или смертью! Хе, хочешь умирать — умирай, — какое мне дело…

— Не могу не согласиться с вами, домла. Только как бы парень из министерства не обиделся.

— Вы думаете? — забеспокоился он и, не дожидаясь моего ответа, направился в зал. Во взгляде его была решимость. После спектакля Исламджан долго и с восхищением говорил о фехтовальном мастерстве принца Датского. Даже тогда, когда мы остались вдвоем в номере и улеглись в постель.

Следующий день я провел на совещании и вернулся в гостиницу часам к семи вечера. Домла Исламджан сидел мрачный — ждал, как выяснилось, меня.

— По раздевайтесь! — в голосе его прозвучала требовательность. — Сейчас же идем на "Аптик Гериб Шах-сенам". Вот билеты. Товарищ Шамсиев встретит нас у входа.

Всю дорогу до театра домла, сокрушаясь, пересказывал мне эпизоды из прочитанной им книги, но которой мать Гериба была слепа, а песни самого Гериба до того тоскливы, что лучше б опера оказалась совсем без музыки.

И хотя я несколько раз обмолвился, что тоже читал "Ашик Гериб", умолк он только при виде поджидающего нас Анвара. Едва успели занять свои места, как за дирижерским пультом появился кудрявый молодой человек, хвостик черного фрака делал его похожим на ворона, а белой крах-

мальной грудью он одновременно напоминал пингвина. Раздались звуки оркестра.

Когда окончилась первая сцена, Исламджан просидевший ее с видом мрачным и решительным, оживился, предложил неожиданно:

— Давайте, товарищи, подойдем к сыну Закира-дутариста. — Пояснил: — Закир в нашем доме пионеров учителем музыки, а сын…

Встав с места, домла подвел нас к кудрявому молодому человеку, спускавшемуся с высоты дирижерского места. Тот сразу признал в Исламджане земляка, поздоровался почтительно, стал расспрашивать о своих родных, о районных новостях. Домла Исламджан сжато изложил положение дел в родном районе и сам спрашивает:

— Выходит, Тахирджан, слухи эти, что вы работаете в театре, соответствуют действительности?

— Выходит, соответствуют, — отвечает дирижер.

— А что, Тахирджан, — голос домлы зазвучал задушевностью, — вы и петь или, там, танцевать можете? Или, — он вскинул по-дирижерски руки, — или только это?

Я взглянул на Анвара — он смеялся. Я, кажется, тоже.

Только дирижер, растерянно глядя то на нас с

Анваром, то на Исламджана, лицо которого было почти скорбным, ничего не понял:

— Так ведь для меня и этого, Исламджан-ака, хватит… А поют, танцуют другие.

Исламджан положил руку на плечо дирижера:

— Не обижайтесь, Тахирджан, но я хочу сказать вам как учитель…

— Пожалуйста, пожалуйста, домла! Буду вам только благодарен.

Домла обвел рукою зал с уходящими в перспективу рядами кресел:

— Видите, мой молодой друг, какой зал! Сколько людей? А ведь среди них есть ровесники и вашего дедушки и вашей бабушки. Так можно ли стоять к ним спиной и еще помахивать палочкой!

Тут уж, кажется, и Тахирджан все понял. Во всяком случае, смеялись мы все трое. Вслух смеялись, громко.

Домла, как видно, из вежливости, присоединился к нам, а потом все-таки сказал с отеческой интонацией:

— Подумайте над моими словами Тахирджан: ведь существуют же в конце концов нормы приличия! Может быть, делать эти движения стоя лицом к народу?

Прозвучал третий звонок, и погас свет. Мы

заняли свои места.

А рано утром я попрощался с Исламджаном и уехал домой.

Прошло около месяца, и мне случилось быть в том районе, где жил мой сосед по номеру в гостинице "Россия". Вспомнился он в тот момент, когда в местном книжном магазине я услышал знакомый бодрый голос, обращенный к продавщице:

— Девушка, покажите мне "Гулихироман"!

Оглядываюсь — вижу: домла Исламджан. Поздоровались.

— Ну, так как, домла, прошла тогда ваша беседа в министерстве? — спрашиваю я.

— Беседа прошла на уровне! — не без гордости ответил Исламджан. — Да вот, приехав в район, передумал я — отказался от должности заведующего: слишком уж хлопотно. Да и недоброжелатели... Вы меня понимаете?

Я его понимал, а потому сказал, как тогда, в фойе театра:

— Не могу не согласиться с вами, домла... Действительно, всё ясно.

Перевод В.Лещенко

КАЗАХСТАН

МАРАТ КАБАНБАЕВ

Марат Кабапбаев известен как детский писатель. Несколько раз он получал премии на республиканских конкурсах на лучшие произведения для детей и юношества. Выпустил сборники "Солнце в одуванчиках" и "Арыстан, я и виолончель".

ЭХО
Рассказ

— Жырыккулак![24] Ко мне! На! На!

Простуженный голос хрипло прозвучал в морозном воздухе. С вершин высоких елей, согнувшихся под тяжестью снега, взлетели сороки. Их крылья сухо прошелестели над головой. Сорочий стрекот напомнил быстроглазых аульных бабенок, что спешат наперегонки от дома к дому передать последние новости и заодно высматривают, над чьей крышей погуще печной дым…

Бахтияр поправил ремень ружья — ныло под

---

[24] Примечания: 24
Жырыккулак — дословно: Драное Ухо, кличка собаки.

его тяжестью плечо. На кончиках жидковатых заиндевевших усов лесного объездчика повисли сосульки. Мороз в этих краях точь-в-точь неповоротливый хозяин: полеживает себе до поры до времени, отсиживается в укромных глубокий ущельях, и лишь потом, когда начинает опадать с ветвей берез: слежавшийся снег и оголяются белые, стволы, вдруг показывает свой крутой норов.

Неделю почти лютует он. Ни малейшего дуновения ветерка, ни единой самой крохотной тучки на небе. Ночью постреливают льдом бесчисленные лесные роднички. И стелется низко над землей, а временами взвивается к небу вой голодных волков, рыщущих в поисках добычи.

— Жырыккулак!..

В голосе Бахтияра появились тревожные потки. В лесу всякое бывает, как бы не попал неопытный пес в когти остроглазой рыси. Все еще одолевают Жырыккулака щенячьи восторги, беззаботно увлекая за щебечущими сороками.

Бахтияр резко поднял голову, стряхивая с шапки снег. Он увидел, что недавно еще серое небо потемнело, словно обмороженная щека. Проступили вонзившиеся в небосвод звезды. Угрожающе нависли, будто выросли, скалы. Паль-

цы Бахтияра заледенели от пронизывающего даже сквозь рукавицы холода ружейного курка.

— Жырыккулак! Ко мне! Жырыккулак!

Он не сразу разглядел несшегося к нему по петляющей между стволами тропинке белого кобеля: казалось, лишь три черные точки — два глаза да кончик носа — бесшумно скользят по воздуху.

Бахтияр побрел к бревенчатой избушке в низине, проваливаясь до колен в снежную целину. Сегодня удача отвернулась от него. Он пошел побродить по своему гористому участку не из-за порубщиков: в такой лютый мороз вряд ли кто отважится пойти в лес. Нет, Бахтияру до зуда в деснах захотелось свежего мяса. А здесь всегда водилось множество уларов. Но сегодня они словно сквозь снег провалились: то ли перешли на южные склоны, то ли приметили поблизости рыжую спину хитрюги-лисицы и перебрались повыше. Что ни говори, но если бы вдыхать сейчас запах булькающего в казане мясного бульона и любоваться огнем в очаге, так, кажется, и не надо бы лучших радостей на свете. Пламя очага отражалось бы и в глазах Жырыккулака, улегшегося, как обычно, возле лечи. Когда-то мать Жырыккулака была самой резвой и сильной собакой в округе.

Но в одну из прошлогодних январских ночей оказалась она во время бурана на пути у серых, и полоснули по её бокам острые волчьи клыки. Да и Жырыккулак кличку свою получил после той памятной ночи…

Бахтияр спускался по склону хребта. Ветер не ославил здесь ли снежинки, но все-таки вдруг скользнула нога, и он, не удержавшись, покатился вниз. В глазах замелькали, сменяя друг друга, то небо, то земля, однако он успел увидеть в пяти-шести шагах от себя край обрыва, и сердце от леденящего страха окаменело. Рукавицы слетели. Он судорожно, срывая ногти, вцепился в чуть припорошенный снегом камень, но тот с неожиданной Легкостью вывернулся из земли и покатился рядом. На миг мелькнул глубоко внизу густой ежик вершин елей, лесник зажмурился:

— А-а-а!

Рот забило снегом, — Бахтияр поперхнулся. Откашлявшись, он сразу понял — не падает. Осторожно огляделся и увидел, что лежит на самом краю обрыва, остановленный старым в полтора обхвата стволом со сплошь израненной корой. Покосился вниз и вздрогнул, прижал взмокший лоб к успокаивающему холодному снегу.

Отдышавшись, взглянул вверх, на склон хреб-

та, облизнул пересохшие губы, уперся ступней в ствол, оттолкнулся в сторону кручи, а потом медленно пополз. Полз он долго. Из-под валенок катились, постукивая, сыпучие мелкие камни. Иногда они шуршали долгим, непрекращающимся потоком.

Добравшись до вершины, Бахтияр сел, расслабил тело, затекшее от напряжения. Лоб начали холодить капельки пота, перед глазами стояла нерассеивающаяся пелена. Взгляд скользнул по пикам белоснежных скал и задержался на карнизе обрыва, который едва не стал местом его гибели. Наполовину срезанная молнией старая ель одиноко стояла на самом краю, уныло свесив редкие, беспорядочно спутанные ветви.

Надо же так, сквозь тысячу смертей прошел, а чуть не сгинул здесь, в тишине и покое… лежал бы не в могиле, а на дне пропасти. Бахтияр крепко выругался и даже забыл цыкнуть по обыкновению на Жырыккулака, который, наклонив голову, с любопытством смотрел на хозяина, не понимая, для чего тому понадобилось катиться до одиноко торчащего на краю обрыва дерева. Бахтияр, поднявшись с места, выколотил полную пыли снега шапку и нахлобучил на макушку.

Ему стало смешно. В самом деле, чего он так ис-

пугался? Когда еще было так же страшно? Да-да, в первые дни на фронте. Он испугался не взрывов, а того воющего свиста, несшегося сверху, от которого цепенело все тело и пробирал озноб. А сегодня… сегодня тридцатый после Победы февраль, Какое же сегодня число? Позавчера, когда уходил из аула, было двадцать первое. Выходит, вчера — двадцать второе, а сегодня двадцать третье?.. Е-е, сегодня Сарыбай и хромой Касым надели лучшие свои костюмы и важно вышагивают по улицам, позвякивая фронтовыми медалями на груди. Ну, ничего, если сумка в бревенчатом домике цела, то Бахтияр не останется в накладе. А чего ж, — счастливо избежал смерти, к тому же сегодня двадцать третье… Не грех малость…

Дверь проскрипела на всю лощину. В доме — хоть глаз выколи. Суп в казане остыл, огонь в очаге потух. Надо найти спички, зажечь лампу, наколоть щепок, развести очаг, а потом вздремнуть, пока закипит вода…

Повесил на стену ружье и. тулуп, начал искать лампу. Нашел, зажег, но она, почадив, потухла — кончился керосин. Вышел наружу. Прорубь, над которой свисал обледенелый тальник, затянулась корочкой льда, дном ведра он пробил ее, зачерпнул воды. Но таков, видно, упрямый

создатель: как начнет кривиться, так совсем скосоротится. Еще утром на тропинку Бахтияр пролил воду, и вот, едва ступив на зеркальную гладкую поверхность, грохнулся наземь.

— Чтоб отца твоего!.. — зло отпустил он ругательство неизвестно по чьему адресу, потирая ушибленный затылок. Отлежался, пока прошел звон в ушах, встал, добрел до избы и с порога швырнул в сени пустые ведра. Насквозь промокший легкий чапан успел промерзнуть, позванивал. Стараясь не обращать внимания на нестерпимую боль в окоченевших пальцах, развел в очаге огонь. Слабые язычки пламени побежали по тоненьким щепкам. На бревенчатых стенах избушки, уже начавших подгнивать, заиграл красноватый отблеск. Бахтияр сидел на низком чурбаке перед очагом, подавшись всем телом к огню, а руки протянул чуть не в самое пламя, они почернели, будто обугленные. Жырыккулак пристроился тут же, рядом, и занялся поисками блох у себя в шерсти. Временами темноту прорезали постреливающие искры, тогда пес настороженно поднимал голову и с беспокойством смотрел на огонь.

От тулупа Бахтияра поднимался пар, его тоненькие вьющиеся струйки замысловато плясали

в воздухе. Чуть отогревшись, лесник вытащил из сумки на топчане хлеб, куски холодного мяса, луковицу, потом долго и сосредоточенно жевал, двигая сильными челюстями.

Жырыккулак, повизгивая, потянулся, несколько раз рванул когтями по полу и уставился на сумку. Пес просил есть. Бахтияр бросил псу хлеба и мяса. Тот благодарно лизнул хозяину руку и принялся за свого долю.

Бахтияр отодвинулся от очага, в котором уже не было недавних робких язычков пламени — сплошной огонь безудержно заполнил все нутро печи и неистово, буйно вырывался наружу, недовольно гудел. Стало жарко. По делу объездчика блаженно разлилась горячая волна.

Бахтияр достал из кармана кисет, развязал его и сладил ровную, гладкую самокрутку. Скрутил он ее в один миг — неуловимым движением пожелтевших от табака пальцев, не просыпал при этом ни единой крошки махорки. В умении заворачивать самокрутку с ним не может сравниться никакой заядлый курильщик. Бактияр начинал курить не так, как те юнцы, что, прячась от учителей и родителей за дувалами, втихаря тянут окурки. Он научился курить в окопах сорок первого и с тех пор больше тридцати лет не рас-

стается с кисетом. Конечно, кому нравится, пусть балуются этими, как их… с фильтром, а он свою махру не променяет ни на какие сигареты. Толку от них нет, — так, травка, чуть пахнет табачком, и все. Другое дело махорка: затянешься — сразу почувствуешь. Жаль только, что в магазине ее теперь не купишь, приходится ездить за сорок километров на городской базар. Бахтияр привстал, вытащил из патронташа две отстрелянные гильзы, достал порох, дробь.

Затухший было огонь под казаном опять набрал полную силу. Синевато-красный буйный поток закрыл поленья и плясал, ударяясь в стенки очага, облизывал длинными языками круглые бока казана. Пламя словно ярилось, что ему не дают выплеснуться наружу, буйствовало. Его горячее дыхание накалило одежду, обжигало колени. Яркие блики заполыхали по комнатушке, висящая на стене двустволка заблестела так, будто с нее вот-вот закапает расплавленная сталь. Багрово отсвечивают щеки. Бахтияра, жаром пышет от волос, кажется — дотронься до них, и обожжешь ладони. Все острее становится боль в голове, — как тогда, после контузии. Но Бахтияр старается не обращать на нее никакого внимания, потому что знает — поддаваться ей

нельзя. Он торопливо выбивает из гильз пистоны и словно не замечает, что пот со лба заливает глаза, что шило, соскользнув, вонзаются в палец. Быстрей, быстрей, так, хорошо. Теперь новенькие пистоны, вот так, вот так… Порох — сюда и сюда. Хорошо… Огонь жжет… От огня бы подальше. Да нет, ничего страшного… Это все знакомо — багровое пламя и гул. Все было… еще тогда, да, тогда… Гул и сверкающая сталь гусениц…

Все ближе, ближе, ближе металлический лязг. Мелко подрагивает земля. Удушливый запах порохового дыма, горящей земли теснит грудь, не дает глубоко вздох-путь. Танки ползут грузно, уверенно, не сомневаясь в надежности своей брони. А у сорокапятки — последнего уцелевшего орудия батареи — всего трое: курносый весельчак Петя, рыжий Мусилим и он, Бахтияр. Они заряжают пушку. Там и тут — искореженные орудия, а около них — убитые товарищи. В странной позе застыл командир батареи Бородин: нога подтянута под себя, в руках полузасыпанный бинокль, упершийся объективами в землю, командир прильнул глазами к окулярам, будто силится разглядеть что-то в земле.

Багровое солнце поднялось над горизонтом на длину аркана, и в его свете багровые люди

стреляют из багрового орудия в багровые танки. Пылающая земля тяжело ухает, вскидывается в небо от рвущихся снарядов…

Руки не слушаются Бахтияра, дрожат, он не замечает, что никак не может забить в гильзы пыжи. Пес удивленно смотрит на хозяина. Багровые отблески беззвучно полыхают на стенах. Заныла, заболела старая рана на бедре. Бахтияр, закусив губу, начал массировать ее, и ему вдруг почудилось, что пальцы стали липкими от крови. Он быстро, отдернул руку и повел покрасневшими глазами по сторонам. Пламя яростно билось под казаном, а в казане кипела, переливаясь через край, красная кровь…

Кровь… кровь… Багровый мир залит кровью. Над несколькими подбитыми танками клубится мерный дым, один из танков, кроваво-красный в свете багрового солнца, движется прямо на него. Покачиваются четкие черные кресты на боках — словно только что обведенные тушью. А Петя и Мусилим лежат тут же, рядом: один — у щитка, другой возле ящика со снарядами. И на всем свете, на всей широко раскинувшейся земле остались только двое: он, Бахтияр, и немецкий танк, вытянувший к нему длинный хобот пушки. Бахтияр знал, что если этот хобот плюнет в него смертным

огнем, то мир навсегда погаснет, и ему захотелось сжаться, сделаться ничтожной песчинкой. Но тогда танк пройдет в тыл, а это самое страшное — пропустить. Сжав в своем сердце страх, Бахтияр схватил связку гранат и пошел навстречу. У него будто прибавилось сил. Из тапка застучал пулемет. Боль обожгла грудь, вспыхнула в голове. Бахтияр понял — в него попала пуля. Багровый мир начал медленно опрокидываться, рушиться… А танк сейчас пройдет. Надо остановить лязг этих сверкающих гусениц… Остановить!.. Надо… Гранаты… Бахтияр собрал все силы.

…И, широко размахнувшись, метнул то, что держала рука. Через мгновение пламя ударило ему в глаза — и Бахтияр тотчас опомнился: этот огонь бросился из очага, куда он швырнул патрон…

Бахтияр кинулся к двери, выскочил на крыльцо, — подрагивающие от холода звезды висели у самого его лица. Быстро огляделся по сторонам, — никого, оглушительная тишина… Радость, неуемная радость переполнила его грудь и выплеснулась в ликующем крике:

— Побе-е-да-а!

И тут звезды почему-то стремительно рванулись в небо, потом прыгнули к горному хребту, а оттуда начали падать вниз, к ногам, мерцая в

сгущающейся темноте. Как тогда…

…Вглядываясь в темно-синее небо, Бахтияр боялся шелохнуться. Вокруг ни души. Жуткая тишь. Один. Почему его не подобрали? Не заметили? Почему не слышно стрельбы?

— Петя! Петя-а!

Тишина.

— Мусилим, где ты?

Не отвечают. Знать бы хоть, что рядом они, тогда он встал бы и сам пошел. Холодно. Веки смыкаются.

Спать…

Но поспать не удалось. Он почувствовал на лице горячее дыхание. Чем-то шершавым, влажным провели по щеке. Это, наверное, Петр и Мусплим. Прежде чем положить на носилки, зачем-то поволокли по снегу. Бахтияр шепотом благодарил их. Они живы! Значит, танк не прошел!

Хорошо, что вы живы, друзья, я так боялся остаться один. Дошли-таки до всевышнего слезы ваших жен. Эй, эй, потише, я ведь человек, а не мешок! Вот погодите, кончится война — всех затащу к себе. Поставлю шестикрылую юрту. Жена у меня добрая, щедрая… Будет для моих друзей и свежесбитое масло, и крепкий кумыс, и лучшие куски конины…

Ну, спасибо, что дотащили. Мусилим, у меня во фляжке спирт остался, возьми себе. Погреетесь. Ну, прощайте! Скажите свои адреса. Что же вы, а? Адреса, говорю, дайте! Погодите, санитары, погодите, сейчас мне адреса… Стойте, говорю, стойте! Петя! Мусилим! Почему они уходят?..

Снег, набившийся за ворот, холодными струйками течет по спине. Бахтияр открыл глаза, увидел белые клыки и торчащие уши. Откуда здесь Жырыккулак? Неужели это он тащил своего хозяина? Пес, повизгивая, потянул Бахтияра за ворот, а потом сел на задние лапы и завыл, подняв морду.

Прочь отсюда, прочь! Разве может у него быть такая глупая собака, что рвет хозяину ворот? Нет, конечно! Это все сон. Куда делись голубоглазый Петр и рыжий Мусилим?.. Объездчик в лесу, домик в лощине, Жырыккулак, очаг, — это все бред. Он всю жизнь дрался с железными, черными и багровыми танками. А остальное — к нему не относится, ложь, обман… Будто у него жена, ружье, собака, теплый очаг в домишке, мясо, — все это опять снится только после тяжелого боя, все это — мечта…

Он довольно ухмыльнулся, как человек, которого не удалось провести. Однако заметил вдруг

сбоку под подбородком разодранный ворот чапана. А в изголовье сидит пес, и в пасти его кусочки ваты. И рукам холодно без рукавиц… Бахтияр начал сознавать, что наоборот, не это, а все другое ему пригрезилось.

Стряхнув с усов кусочки льда, Бахтияр улыбнулся. Вспомнился, как бы эхом вернулся недавний ликующий крик: "Побе-е-да-а!" Бахтияр встал, отряхнулся. Сделалось неловко от сознания, что столько времени провалялся на морозе — не больной и не пьяный. Обругал Жырыккулака и побрел домой. Пес, опустив голову, трусил следом, будто понимал, что поступил дурно, разодрав хозяину ворот и протащив его по снегу.

Тяжело вздохнув, Бахтияр осмотрелся. Бревенчатая избушка смирнехонько приткнулась к снегу, нахлобучив крышу-шапку. Он потянул ручку двери. По-прежнему заскрипели петли. Едва он шагнул через порог, как сзади раздался вопль. Стоя одной ногой в темной избе, пропахшей порохом, другой — на крыльце, Бахтияр резко обер-нулся. Задрав голову к горам, вытянув шею, хрипло выл Жырыккулак… Что увидел в той стороне пес? Бахтияр взглянул на угрожающе нависшие скалы. В безлунную ночь они как бы отдалились, превратившись в величавую гроз-

ную крепость. Он шагнул в дом, захлопнул за собой дверь…

Впоследствии Бахтияр удивлялся тому, что он не замерз и не простудился, валяясь на снегу, и тому, что так явственно вспомнились ему события тридцатилетием давности. Ведь со времен войны он успел жениться, стать отцом, словом, прожил долгую, богатую радостями и трудностями жизнь. Однако эти тридцать лет не сохранились в памяти так четко, их следы стерлись, как исчезают тропинки после бурана. Все эти тридцать лет его память постоянно преследует только одна картина: голубоглазый Петр и длинный рыжий Мусилим, лязгающие гусеницами стремительные танки…

Перевод Р.Петрова

КАЛДАРБЕК НАЙМАНБАЕВ

Первой книгой Калдарбека Найманбаева явился сборник документальных повестей "На пьедестале славы", изданный в 1965 году. А сегодня на его писательском счету шесть книг. В нынешнем году выходит седьмая.

Произведения К. Найманбаева выходили на русском и башкирском языках.

С УТРА ДО ПОЛУДНЯ
Рассказ

Когда он открыл глаза, в доме было темным-темно. Жена Оразбике, все ворочавшаяся недавно, вроде бы успокоилась. Он закрылся с головой одеялом, подумав: "Ясно, что настало время разрешиться Оразбике, да, видно, еще не нынче?" Но, задремав, проснулся снова. Рассвет уже забрезжил, — из-за кереге[25] просвечивалась голубизна. Снаружи послышался шорох переступаемых копытец. "Беда с этой скоти-

---

[25] Примечания: 25
Кереге — решетчатые переплетення юрты.

ной! — недовольно подумал он. — Все норовит к дому, когда бы можно на пастбище походить".

Накинув на плечи черный бархатный чекмень, он, как есть — в кальсонах, не надев даже шаровар, вышел во двор. Истощенные ягнята толкались у юрты, — он их отогнал в низину. Затем, расстегнув сорочку, погладил широкой ладонью грудь, пробежал глазами по темнеющим вдали холмам. Точно неведомые чудища завалились спать в степи. Вот-вот откинут темное одеяло-ночь и поднимутся во весь рост, оглашая степь ревом.

Предутренний легкий ветерок приятно пощекотал тело. Старику показалось, что вслед за ветром вдаль, неведомо куда, стремится и его душа. Он даже вперед подался. "Бог ты мой, да что это весна со мной выделывает? Никак полечу я... — забормотал он. — И старость по весне не старость, одно название, как погляжу".

Он снова торопливо обежал глазами окрестность, затем, ступая на цыпочках, заглянул было поверх двери в юрту, но, заслышав страдальческие стоны жены, попятился назад. "Хоть бы сын..." — пробормотал он, и стал завязывать распустившиеся тесемки на кальсонах. Сказал твердо: "Сын, ясное дело, сын будет, кому же еще!

Да исполнит господь желание!"

Ему не стоялось на месте. Самая бы пора помчаться на коне вихрем вслед за этим манящим ветром. Он снова заглянул сквозь щель в юрту. Оразбике ворочалась на постели и негромко стонала. "О мир!" — пробормотал старик. И тут же раздался жалобный крик Оразбике:

— О бог ты мой, и куда он запропастился? Уф! — она зашарила рукой по постели, будто искала что-то.

Откинув полог войлочной юрты, он вошел внутрь. Вошел и остановился на пороге.

— Да я этих ягнят, будь они неладны, прогонял…

— Уф! — выдохнула вместо ответа Оразбике.

Он понял: роды начались. Разволновавшись, сказал:

— Какой от нашего брата толк, когда такое дело. Позвать надо кого-нибудь…

Оразбике промолчала.

— Не позвать нельзя… Как бы не случилось чего…

— Да впусти же свет в юрту!..

Старик вынесся на улицу. Ухватился за шпур, поднимающий кошму.

— Уф! — выдохнула опять Оразбике.

У старика дрогнуло сердце, сам не заметил, как очутился возле нее.

— Как чувствуешь-то себя? — только и нашелся сказать.

— О го-ос-поди! — простонала Оразбике, и старик понесся к юрте Сапарбека. "Ох, чертовы дети, спят, поди! — подумал он дорогой. — Хорошо, коли проснутся сразу..."

Вот он уже перед дверью.

Изнутри никаких звуков.

Брат младше его на целых двенадцать лет, неудобно ему, старому, врываться спозаранок к молодым, потому остановился у порога. "Ох, и женолюб! — подумал он. — А иначе возможно ли лежать до такого времени?"

Как ни невтерпеж ему было, а откинуть полог войлочной юрты не решался. Но и уйти не мог. Так и стоял, озадаченный, перед входом, а в памяти оживала история женитьбы Сапарбека. Все вспомнилось, все чередой вставало в его взбудораженном мозгу.

...Шесть лет назад, где-то к середине осени, дальние родственники в Арбакалды пригласили их на свадьбу.

Они поехали целым двором.

Свадьба состоялась на следующий день после

их приезда. Старик, имевший обыкновение на подобных празднествах приглядываться к девушкам, и на сей раз прошелся внимательным взглядом по красавицам, пристроившимся возле невесты.

Тогда-то эта самая Жумагуль и бросилась ему в глаза. Высокая? Высокая. Гнется тростиночкой? Да, гнется тростиночкой. Тугие, с руку, косы струятся по спине. И ступает по земле, точно по шелку. "По-особенному сложена, — подумал он. — Встретит своего суженого, так завтра же белой лебедушкой станет. Эх, молодость!.."

Девушка запала ему в душу. "Будь она неладна", — подумал он про себя удовлетворенно. И, не выдержав, старик подозвал к себе Сапарбека. Сразу же огорошил его вопросом:

— Так и будешь ходить, а?

— Чего?

— Вон джигиты, вроде тебя, уже семьями обзавелись.

— Э-э!..

— Ну, а у тебя думка какая? Выкладывай...

— Коке[26], так в аул приедем и поговорим.

— Ты вот всегда так.

---

[26] Примечания: 26

Коке — ласковое обращение к старшему, почитаемому человеку.

— А что же делать?

— Рядом с невестой высокая девушка сидит, коса с руку толщиной.

— Так и что? — отмахнулся Сапарбек.

— Буду сватать ее.

Сапарбек заулыбался. Заулыбался и спросил:

— Которая?

— В самый раз про тебя.

— Ох, и любите вы за красными платочками подглядывать!

— Вот дурень! Чего несешь? Или хочешь до старости коленки свои обнимать.

Сапарбек опустил глаза книзу и сказал:

— Ну, раз уж вам нравится — так сватайте. Деваться-то все равно некуда.

Старик рассмеялся.

— Слов на тебя тратить жалко. Э-эх!

— Что же делать… Какой уж есть.

— Ты чего раскис? — опять раскипятился старик. — Или я до сих пор все на ветер говорил? В одно ухо влетает, из другого вылетает, дурень эдакий…

Сапарбек смешался, не зная, что ответить. А старик наседал на него:

— Пусть нам всего придется лишиться, а девушку эту нельзя упускать.

Слова старшего брата Сапарбек воспринял по-своему. Никогда он не перечил брату, а тут — сразу же на "ты" к нему:

— Не успеет кто приехать да "здравствуй" сказать, а ты уж бежишь скотину резать, — всех ягнят перевел. А еще говоришь — "всего лишиться". Чего лишаться-то?

— Цыц! — прикрикнул старик. Пу погоди, коли и на сей раз бабы себе не возьмешь...

И помягче уже:

— Ой, будь ты неладен! Да погляди, девушка какая приятная! Что тебе калым? Слава богу, четыре года, как колхозом живем...

— В этом ауле привыкли девушек возносить. Не так-то легко ее отдадут.

— Пусть только попробуют запросить калым у лучшего жнеца колхоза!

— Что-что, а это тут ни причем.

— Будет при чем.

— Коке, к чему такое пустословие?

— Молчи! — отрезал старик. — Ишь, язык-то у тебя как распустился, чертов сын! Сегодня и пойду сватать. Сегодня.

— Оу, да погодите хоть немного.

Куда там! Старик лишь сверкнул глазами да пошел прочь.

А Сапарбеку что? Остался себе на месте. Остался — и подумал; "Вот старина заварил кашу... И что это там за девчонка? Надо бы поглядеть, Чем она его так приворожила?"

Старик присел важно на седло, валявшееся рядом в юртой, у которой разместились старшие гости, и запустил руку в карман. Затем, постучав о колено костяной шашкой-табакеркой, насыпал полную горсть насваю и бросил его себе под язык. Бросил и сплюнул смачно. Перед глазами замельтешили круги.

Заметив, что Сапарбек топчется вокруг юрты, в которой за занавесом сидела теперь невеста, разозлился опять: "Расправил бы плечи, как мужчина, да и входил бы. Ой, размазня!" Не выдержал, крикнул:

— Ты чего, как сирота, торчишь там?

Сапарбек почувствовал, что если он еще помедлит, старик, ясное дело, подбежит к нему, и потому, набравшись решимости, шагнул в юрту.

— Пусть пополнится ваш дом, — пробормотал он, переступая порог, но никто не откликнулся на приветствие. Девушки попрятались за занавес. Чуть слышно доносятся их приглушенные голоса. Человек пять молодых парней сгрудились на торе — почетном месте. О чем-то переговариваются

между собой, поглядывая на шелковый занавес, пересмеиваются.

Сапарбек присел у порога. Долго он сидел так. Из-за занавеса то и дело слышались шуточки и колкости, но он находил неловким так сразу вмешиваться в разговор. Проще всего — уйти бы, конечно, но перед стариком боязно. Стоит ему появиться, как тот, ясное дело, осрамит его при всем честном народе, закричит: "Ну, как?" Уж лучше пересидеть.

Тут из-за занавеса послышался девичий голос:

— Чего вы там все перешептываетесь? Лучше бы уступили очередь вон тому новому, парню!

— Ишь, резвая какая! А ну-ка, покажись! — отозвался тут же мордастый рыжий парень в красных сапогах.

— Так вас ничем и не урезонишь…

— Ох вы, ягодки-цветочки, да пожалуйста. Уж коли горазд он сорвать одну из вас — даем очередь.

— Давно бы так, самим-то не по рукам…

Девушки рассмеялись. Занавес заколыхался. При каждом его движении точно жаром обдает лицо Сапарбеку. Чем больше он краснеет, тем больше теряется. "И чего я этим пересмешницам скажу. Вон какие они языкастые!.. А промолчать

— так этот рыжий с потрохами съест..."

И, сам не зная, как, Сапарбек сказал:

— Сколько уж нам на пустой занавес любоваться? Пора бы кончать в прятки играть. Выходите сюда. Познакомимся хоть.

— А вы, мы слышали, джигит старательный. С утра до позднего вечера жнете. Похоже — и разогнулись впервой, чтобы на белый свет взглянуть?

Хохочут девушки. Аж занавес колышется. А рыжий тут как тут.

— Больно резво вошел ты сюда, думал, все по местам расставлю, а сам, поди, и не понял, как лбом о камни расшибся. Жаль!

— К чему это! — вспылил Сапарбек и выскочил из торты.

Как и предполагал он, старик вывернулся ему навстречу.

— Чего потемнел весь? Не выгнали, случаем?

— Коке, потише можно?

— Из-за того, что громко говорю, в тюрьму, небось, не засадят. Выкладывай лучше, что и как.

— Что выкладывать-то?

— Видел хоть ее?

— Кого?

— Да ты, видно не в своем уме.

— За занавесом все сидят. Одна среди них уж больно языкастая. Мелет что попало, уйти пришлось:

— Знал я, что подведешь. Господи, позубоскалил бы тоже да за занавес. Тебе хоть по голове ходи — все сойдет.

— Брось коке. Я в этот аул не для того приехал, чтобы девушку искать.

— Ой, размазня! Люди насмехаются надо мной, дескать, брат у него все в холостяках ходит. Только и шепчутся в сторонке.

— Пускай шепчутся. Кому на рот платок накинешь?

— Ты давай не виляй.

— Оу, коке, за лошадьми присмотреть бы надо, путы на ногах развязались, что ли… — сказал Сапарбек, подаваясь в сторону пасшихся неподалеку лошадей. Но старик остановил его:

— Погоди.

— Да с лошадьми только управлюсь.

— Эй! Отвертеться хочешь? Джигит — он кто? Он есть пламя, которое горит… А ты — как лошадь ленивая, которую, не стегни камчой, так с места не сдвинется. Все бы назад пятиться.

Сапарбек не стал уже возражать. Какой смысл?

Старик, у которого гнев, как говорится, на кончике носа, не остановится ни перед чем, на людях его опозорит. Так лучше промолчать.

— Чего молчишь? — наседает тем временем старик. — Чем ты хуже других, что от бабы бежишь? Мужчина как мужчина, чего же еще? Колхозный председатель души в тебе не чает. А ты робеешь. Жизнь пуста, когда рядом никого…

Управившись, наконец, с лошадью, у которой развязались путы, Сапарбек взобрался на сопку и долго не отводил взгляда от гладкой, как доска, равнины внизу. "И урожай в этом ауле хорош", — подумал он. Обернувшись к юрте, в которой сидела невеста, пробормотал: "Если девушка, которую возносит коке, та самая языкастая, — лиши пропало".

Но тут же и подумал: "Посватаю эту девушку. Посватаю".

В тот же день вечером Сапарбек уехал домой. Старик остался, сказав, что разузнает все и вернется.

Он действительно не стал терять времени: на следующий же день и отправился к родителям девушки. Они, по-видимому, были наслышаны о том, что у него, Найзабая, есть младший брат, еще не женатый, поэтому встретили настороженно.

"Эх, как бы мне не напороть чего! — подумалось старику. По опять же, но своему обыкновению, пошел напрямик.

— Разговора большого к вам нету. Приехал сватать вашу дочь.

Хозяин, огромный, с гору, с большим носом, поглядел на него исподлобья и бросил:

— Это по какому праву вы власть свою надо мной проявляете? И почему — один?

— И правда, — подхватила хозяйка, женщина лет сорока, с серым неприятным лицом. Поджав губы, она встала и, сказав "Срам-то какой!", скрылась за порогом.

У старика затряслась борода. Сверкнули глаза. Подоткнул поплотнее полы и рявкнул:

— Чего, не подходим, что ли? А я-то думал, что к приличному человеку сватаюсь... Или мне делать больше нечего, или собака моя сюда забежала?

Голос у хозяина стал глуховатый:

— Не полагалось бы так людей обижать. Есть, так сказать, обычаи и традиции, дорога дедов. К тому же не единым домом живем. Родственники есть, ближние и дальние, знакомые хорошие. Завтра же в глаза нам плюнут, отчего, мол, не посоветовались, отчего скрыли? Сватовство — дело тонкое, деликатное...

— Так бы и начал сразу, а то брыкаться стал, как лошадь строптивая, — благосклонно ответил старик, подтягивая к себе большую подушку. — О, боже милосердный!..

— Если специально бы завернули, коня загнав до нены, а то ведь как получается — ради забавы, что ли... — продолжал хозяин дома, поглаживая ляжки.

Старик оглядел тем временем комнату. Ничего не скажешь: все прибрано аккуратно. Даже рядом с очагом ни соринки, ни пылинки. "Девочка, что надо, добрая хозяйка", — заключил он. И раскаялся запоздало: "Надо было момент удобный выбрать, поговорить с людьми, а не так вот с бухты-барахты, как я... Сватать, дескать, пришел, радуйтесь!" Раскаялся, но тут же бросил про это думать. Потому что кайся-не кайся, а на попятную теперь не пойдешь. Он и продолжил так же, как начал:

— Ты цены себе не набивай, говори прямо. Некогда мне тут балясы разводить...

— И в старом времени, и в нынешнем сторона жениха деликатное обхождение проявляла, а вы наступаете на нас, — мягко сказал хозяин, желая, по-видимому, обратить все в шутку. Он даже улыбнулся, но улыбка получилась жалкая.

Смешавшись, забормотал что-то. И, досадуя, закричал жене:

— Что у тебя в чайнике, не камень, случаем? Неси уж, чего рассусоливать!

— Ох, обиженный ты судьбой человек, ей-богу! Как же ей не рассусоливать, когда на почетном месте в твоем доме сват восседает? — подхватил старик.

— Гость уважаемый, да перестаньте, — урезонил его хозяин.

Когда расстелили дастархан и подали чай, старик попросил:

— Позовите девушку, пусть чай разливает.

Супруги переглянулись. В прихожей в это время появился кто-то.

— Входи, милая, — пригласил старик. — Чего уж стесняться?

Девушка, ступая неслышно, присела рядом с матерью. Старик пил чай так, точно не мог утолить жажду.

Когда убрали посуду, хозяин сказал:

— Почаевничали — и довольно. Не пора ли и честь знать? — И усмехнулся.

Старик едва не лопнул от злости. Чуть не сказал: "Будь проклят ты!" Но только проговорил:

— Чего несешь? С чего бахвалишься?

Хозяин дома вздрогнул. И было от чего — старик весь почернел от гнева.

— Да дочка у нас избалованная малость, как знать… — Он произнес это робко, растерянно.

— За это не беспокойся, это уже наша печаль.

— А ты настырный, а?..

— Бросай юлить. Готовься лучше, даст бог, на днях завернем к вам.

Старик встал.

Серолицая женщина глянула искоса на старика, но промолчала. И хозяин дома ничего не смог сказать.

* * *

Через педелю Жумагуль переступила порог их дома уже невесткой. Найзабай, влезши в большие долги, закатил той по всем правилам. И сватов после тоя отправил как положено: одарив щедро.

А теперь молодые обзавелись отдельным очагом, у лих своя семья. Живут не лучше и не хуже других, в общем, вьется дымок над их крышей. Доволен ими старик, особенно тем, что оба — незаменимые работники в колхозе. Нет собрания или торжества какого-нибудь, когда бы не упоминали с похвалой имен брата и невестки. И призы, и награды всякие у них…

Все припомнилось старику, пролетело перед глазами. Неизвестно, сколько бы он топтался еще перед юртой брата, если бы до слуха не донесся стон Оразбике. "Вот дурья башка, застоялся тут!.."

— Сапар-бе-ек! — тихо позвал он. Позвал и замер. Долго стоял так, по из дома — ни звука. "Сладок предутренний сон!" — пробормотал он. "О-ох!" — застонала опять женщина. Не выдержав, старик позвал уже чуть громче:

— Жумагуль, а Жумагуль!

В доме точно сговорились — ни звука. "Или не спали всю ночь?"

Точно вор, желающий пробраться в дом, Найзабай оглянулся по сторонам. И, набравшись храбрости, рявкнул:

— Сапарбек!

— Ау!

И через секунду-другую: — Коке? Что случилось?

Старик прокашлялся и сказал:

— С постели, что ли, допрашивать будешь? Выйди-ка.

— Сейчас, коке, — озадаченно произнес Сапарбек. Послышался его шепот: "Жумагуль, эй, вставай!"

Старик, весь изошедший нетерпением, вскри-

чал:

— Божья милость на нас снизойди, — с постели вас никак не стянешь!

И вслед за тем забормотал приглушенно: — Что с молодых возьмешь, не проймешь ничем. Да и Оразбике недалеко ушла: уж если разговорится — так надолго, и заснет — так хоть из пушки пали, не поднимешь.

— Жумагуль, вставай же! И куда это мой халат запропастился? — метался в доме Сапарбек.

— Да вон же, на стене висит, — откликнулась Жумагуль. — Тебе все в руки подай, перед глазами что — не видишь.

— Ладно тебе! — буркнул Сапарбек.

У старика иссякло терпение:

— Сапарбек, эй! Пошли поскорее Жумагуль к нам! Тетушка твоя занемогла что-то. — Сказал и пошел прочь.

Только он ушел, Сапарбек накинулся на жену.

— Встанешь ты сегодня или нет? Не слышала, что ли? Беги скорее.

Сказал так, а сам вспомнил тут, что Жумагуль ночь напролет молола зерно на ручной мельнице, и пожалел ее: "Тоже ведь нелегко бедняжке". Но все же прикрикнул снова:

— Возьмусь я за тебя!..

Жумагуль молча вышла. Сапарбек, натягивая на себя чекмень, подумал: "Всегда так. Отмолчится и только. А ты хоть тресни!"

С улицы долетел голос коке:

— Вон Жумагуль идет, теперь уж полегчает тебе!

— Ойбай-ай, — простонала в ответ Оразбике.

* * *

Уже рассвело. Холмы, которые только что возвышались темными силуэтами чудищ, теперь, казалось, отдалились в степь. Доносится едва слышный запах трав, не стойкий, расплывающийся в воздухе. "Зелена еще трава, не налилась силой", — подумал старик... Затем, повернувшись к Сапарбеку, сказал:

— Сегодня уж чаю наверняка не видать. Айран хоть есть в доме?

— Спешить-то некуда, — отозвался тот, позевывая. — Вчера уборку закончили. После обеда должен представитель из района приехать. Председатель говорил, что собрание будет.

— Обязательство-то выполнил? — поинтересовался старик.

— А как же!

— Добро, — подытожил старик. — Пусть удача

сопутствует тебе. Уж если работать, так чтобы впереди всех быть!

Скупой на слова Найзабай сегодня настроен не по обыкновению бодро. "Что с ним? — подумал Сапарбек. — Радость оттого, что происходит там, в доме?" — Подумал так и улыбнулся.

— Коке, на собрание пойдете? — спросил он.

— А как же, обязательно пойду! — откликнулся тот. — Какое собрание проходило без Найзабая?

— Да это я так, к слову.

Старик поднялся, подошел к привязанному коню. Взяв за повод, повел в степь.

Конь по кличке Байгеторы тоже как бы с недоумением поглядывает на старика, спозаранок выгоняющего его в степь. Он тоже будто спрашивает: "Что с тобой, старина?" А старик думает о своей Оразбике, мучающейся в родовых схватках. Кто раз обжегся, во второй раз подует на чашку, — так и старик сейчас — между надеждой и сомнением. Что-то неясное, неопределенное теснит грудь, и он временами ощущает даже холод, пробегающий по телу. Между тем задумался он сейчас о предстоящем собрании. Не любил он бездельников, тех, что при слове "работа" норовили уйти в сторону. "Пропесочить бы их на собрании, да так, чтобы в другой раз неповадно было, — раз-

мышлял он. — Надо бы нынче дыни на большей площади посадить. Прибыльное ведь это дело, и как такое упускать из рук? Председатель тоже не всегда к дельному прислушивается..."

Снова — Оразбике. Обернувшись, бросил взгляд в сторону дома. Тихо еще. "Надолго затянулось", — подумал он и закряхтел. Посмотрел вокруг, — взгляд ни на чем не остановился. Постоял некоторое время, и снова назад обернулся. Тихо. "Бедняжка, — замучилась совсем".

Вспомнилось прошлое.

Что он видел в молодости? Не успел на ноги встать, пришлось пасти скотину бая Бимена. Ходил за скотиной, а сам между делом сапожному и портняжному делу обучался. Это он, Найзабай, распространил потом по аулу слухи: дескать, у бая Бимена и обуви, и халатов несметное число. И действительно, было их столько. Сам он мастерил их ночами напролет, не жался глаз, — чтобы гнило добро в байских сундуках. "О, будь ты проклят, скупердяй!" — честил его в сердцах юный батрак.

А через некоторое время все изменилось. Сколько рвения он проявил, когда проводили перепись скота у бая Бимена! Жалок был бай перед вчерашними батраками! С каким удовлетворением

извлекал Найзабай из его сундуков добро и раздавал желающим. Сколько благородных слов в свой адрес услышал он от старцев!

И после, когда организовался колхоз, Найзабай не жалел ничего для близких. Нашлись такие, что, успев обзавестись своей скотиной, не захотели идти в артель.

— Удел большинства — удел каждого. Чего же вы в стороне от большого дела стоите? Тут колхоз затевается, а вы точно овечий помет, который бурдюк масла портит", — зло говорил таким Найзабай.

За излишние свои действия он даже нагоняй получил от районного представителя.

Мастеровым он оставался единственным на вою округу. По душе ему работа — такую вещь сошьет, что и мечтать о другой не хочется. Но нелегко было найти подход к Найзабаю. Не для всякого был он добр. Зато для другого не жалел ничего. Будет работать, не взирая на время. В минуты благодушия он любил говорить: "Будет жив Найзабай, всякий в этом ауле — и стар, и млад — позабудет про дыры и заплаты, все в обновки оденутся".

Он любил думы наедине с собой. Было о чем поразмыслить. Прежняя жена его, Аппаккыз, за

всю их жизнь не принесла ребенка. Как же не сожалеть об этом, когда рано ли — поздно ли придет смертный час. Но при всем этом он не мог в чем-либо обвинить Аппаккыз. Потому что крохотная эта, с листочек, женщина, заменяла ему, как ни странно, и мать, и отца. Уж как она ходила за Найзабаем. Как за дитем малым. Угождала ему всячески и вздыхала. Да и он, что уж грешить-то, не оставлял без внимания ни одного ее слова. Потому даже так было: некоторые, зная его крутой нрав, старались воздействовать на него через нее.

Так проходили дни.

О богатстве Найзабай и Аппаккыз и не помышляли. Все, чем владели, — это простенькая юрта да единственный скакун.

Нельзя не упомянуть, что Найзабай к тому же был отличным знатоком лошадей. "Все это от одиночества", — говорили люди. Возможно, и была правда в этих словах. Этого самого Байгеторы он растил и пестовал, как ребенка. Даже теперь обычно безотказный во всем старик не доверял Байгеторы никому. Даже Сапарбеку не позволял касаться его.

Дни проходили за днем, и Байгеторы превращался в холеного красавца-коня. И в старости,

бывает, хмелем наполняется голова. Усидишь ли спокойно, когда такой конь гарцует на привязи!

Ровно две весны назад, в теплый мартовский день отошла в мир иной Аппаккыз. Больнее всего для старика была неожиданность ее смерти: не болела никогда, не жаловалась ли на что, а тут вдруг говорит: "Голову ломит...". Прилегла и не поднялась больше. Все опустело после нее. Как ни старался старик взять себя в руки, а неожиданное горе придавило его. Заперся дома и пролежал несколько дней, съежившись на постели.

Некоторым старцам в ауле не понравилось это. А разве лежат слова на месте, — дошли они и до старика. Услышал он, что про него говорят. Не к добру, дескать, когда мужчина так горюет. На всех мужчин пятно ложится. Уж лучше бы за старухой следом отправился, чем себя так позорить...

О мир! В другое бы время он, может, ухватил бы за волосы этих шептунов. Но кому прикажешь молчать?

Очень скоро и сам он переменился. Отсутствие детей он ощутил после смерти жены с особой горечью. Подумает об этом, и вздох вырывается из груди. Жарко становится, тошно становится.

Даже любимую работу забросил, — не шил. Но и дома уже не отлеживался. Облюбовал себе

высокую сопку, взбирался на нее. Даже по ночам некоторые его видели там.

— Уж если человек так падает духом, считай, пропал он, — вздыхала Жумагуль.

— Да и утешить его нечем, — в тон ей говорил Сапарбек. — Но ничего. Сам же и придет в себя, успокоится. Дай срок. Думаешь, легко на старости одному оставаться?

— О чем ты говоришь? — возмущалась Жумагуль. — А мы? Мы разве чужие?

— Чужие? А про это ты слышала: "Сам угаснешь, пусть имя твое не погаснет"? Не переживает он, но-твоему, бездетность?

— Откуда мне знать? — отвечала Жумагуль и вздыхала.

Да, отошел старик от мирских дел. Единственно с кем он не расставался теперь — с конем Байгеторы. Конь был его гордостью, призовым участником многих скачек. Оправданно иосил кличку — Байгеторы. Призовой гнедой. Дружба у них была крепкая. Когда хозяин взбирался на вершину, то и Баигеторы следовал за ним неизменно. Лошадь, она ведь тоже к хозяину приглядывается. Хозяин затоскует — и конь погрустнеет. Куда только его горделивость подевалась, отличающая истинно степных скакунов? Он тоже теперь

как бы осиротел, понурился. Бросал робкие, вопрошающие взгляды на хозяина.

А старик в свою очередь еще более огорчался, когда видел Байгеторы понурым.

— Да с тобой-то что? — говаривал он, гладя его по холке. — Молод ты. Все у тебя впереди. Я что, — меня в пример не бери. Осталось мне жить не больше чем старому барану.

Байгеторы в такие минуты, казалось, еще внимательнее глядел на него. И во взгляде Найзабай как бы читал: "Какая мука быть рядом с тобой в тяжелое для тебя время! Я полагал, что ты из булата, а выходит, не так..."

— Эй, животное, брось печалиться! — вскрикивал Найзабай. Делишь со мной горе — ценю. Но брось хандрить!

А Байгеторы поднимает в ответ голову. Поднимает голову и смотрит окрест. Точно показывает: гляди, мол, — жизнь продолжается... Мы с тобой еще не один приз возьмем.

И еще с кем отдыхал душой Найзабай — так это с босоногими чертенятами Сапарбека. Дети сами всегда тянулись к старику, и недоумевали теперь, почему старик так изменился, хотя после смерти Аппаккыз еще больше привязались к нему.

— Ну, почему ты не смеешься, как раньше?

Посмейся, — упрашивал его старшой племянник.

— Цыц! — обрывал его старик. — Не рехнулся я еще! — и хватал мальчугана на руки. Хватал и целовал, целовал. А потом вздыхал, говорил: "О господи, увижу ли я тебя джигитом!"

— Увидишь!

— Да сбудутся твои слова!

— А что мы? — приставали тут младшие.

— И вас я люблю, целую тысячу раз.

Старик садился на корточки и обнимал разом всех троих.

* * *

Однажды Найзабай, накинув на себя давно не ношенный им наряд, сел спешно на Бейгеторы. Перед самым отправлением шепнул Сапарбеку доверительно, что навестит родственников Аппаккыз и пробудет там день-два, а в случае необходимости задержится подольше…

Через неделю Найзабай вернулся не один. Как приехал, созвал почтенных людей аула, попросил благословения. Глаза его изучающе наблюдали за гостями. Он говорил тихо, сбивчиво: "Недолго мне жить осталось, а старость в одиночестве — гиблое дело. От безделья и сытости казахи

раньше по нескольку раз женились, а я по нужде, по необходимости...".

Самый старший из аксакалов в бархатном чапане прокашлялся и сказал деловито:

— Разве что утаил ты это дело от нас, а так нечего говорить... Согласны мы с тобой...

— Без надежды только черт, говорят. Как знать, — доброму делу никогда не поздно свершиться, — произнес второй.

И только один из них, Перне, по своему обыкновению выразил недовольство:

— Поспешил ты, Найзаке. Мог бы годовых поминок по Аппаккыз дождаться, а потом уж и жениться. Что люди скажут, на смех тебя поднимут.

С Перне они издавна и слова не могли произнести без крика. И было от чего: Перне таил зло на Найзабая — крепко досадил ему тот в свое время, когда не пожелал Перне идти в колхоз. С тех пор точно бес вселялся в него, когда заходила речь о Найзабае. Вот и сейчас подпустил шпильку, а к чему? Дело-то решенное, возражай-не возражай...

Как ни ранило Найзабая напоминание об Аппаккыз, но сдержался он, сказал только:

— Без дурного слова покоя тебе нет!

— И правду скажешь — не угодишь! — бросил

зло Перне. — Забывающий о духе усопших да сгинет с глаз, говорили в старину.

— Вон из дому, проклятый! — вскипел Найзабай. — Вон!

Гости притихли. Знают, что напрасно пытаться урезонить старика.

Чай остыл в чашках. Люди за столом точно оцепенели. Оразбике тоже побледнела.

Старик помолчал некоторое время и с улыбкой сказал:

— Этот проклятый завсегда так. Надо ведь кому-то испортить настроение…

Гости вздохнули облегченно, точно груз тяжелый свалился с плеч. Отошло у старика. Только Перне еще, видать, не успокоился.

— Унижай меня, унижай, все тебе славы больше, — съязвил он.

— Ну, если и тебя я унизить могу, считай, что мой конь — впереди, — сказал Найзабай, светлея лицом.

Оразбике собрала чашки, ополоснула их, стала наливать чай заново.

— Можешь сочни закладывать! — привстав, крикнул Сапарбек Жумагуль, хлопотавшей у очага на улице. По тут и сама Жумагуль появилась с горой дымящегося мяса на блюде.

Раз уже принесли мясо, чай, естественно, остался в стороне. Когда гости расправились с мясом, дастархан накрыли снова. Тут Найзабай сказал:

— Разница в годах у меня с невесткой большая. Но Оразбике вот, перед вами. Она возражения не имела…

Помолчал немного и добавил:

— Муж ее, богом данный, разбился с лошади. Два года чтила память… Она — близкая родственница старухи моей. Совета у вас не прошу. Хотел, чтобы знали вы…

— Свет мой, — сказал аксакал в бархатном чапане, восседавший на почетном месте, обращаясь уже к Оразбике. — Под хороший свод ты вошла. Хорошие люди живут здесь. Оба брата — честные труженики. Мир вам да совет. Когда жены дружны, так и мужья их в мире, — все от тебя зависит, голубка.

На том и закончен был разговор.

* * *

Жизнь, погасшая было в старике, затеплилась вновь: вернулся Найзабай к мирским заботам.

И вот — Оразбике мучилась сегодня схватками.

Вчера еще подметил Найзабай недомогание

подруги. Но любопытства не выказал, набрался терпения, смолчал. Только вечером поинтересовался вскользь;

— Как ты?

Оразбике точно ждала этого вопроса.

— Подоспел, видно, срок, — ответила она.

Улыбаясь, он снял почему-то верхнюю одежду и бросил ее на аккуратно сложенную кучу одеял у стены.

— Разрешиться бы благополучно, — вздохнула Оразбике.

Старик в растерянности не нашелся, что и сказать. Никогда в жизни не испытывал он подобного состояния. И до вчерашнего дня не полагал, что испытает такое. Да и как ему было надеяться на что-то, если давно уж потерял он такую надежду. Он ощутил вдруг в себе прилив необыкновенной легкости. Чем больше смотрел он на жену, тем теплее становились глаза. В душе — нежность к Оразбике, к крохотному существу, трепетавшему в ее чреве.

— Может, старух позвать? — осведомился он.

Оразбике поглядела на него и улыбнулась.

— Да стыдно, пожалуй, вам-то просить, — сказала она.

Старик тут же снова оделся и пробасил:

— Могла бы Жумагуль зайти да и поинтересоваться. А то, как вечер, из дому не вытянешь.

— О господи, да разве кончаются дела женщины у очага? К тому же и устает после колхозной работы, — возразила Оразбике.

— И у Сапарбека ума ни на грош. Мог бы напомнить ей, — продолжал он невозмутимо, оправляя полог юрты.

Взгляд его упал на камчу, висевшую у порога. "Сегодня и Байгеторы возбужден чем-то, не стоится ему на месте. Чует что-то"... — удовлетворенно подумал он.

Оразбике, накрывшись чапаном[27], легла.

— Сосни немного, — поддержал ее намерения старик.

— Попробую, — отозвалась она.

Старик, будто только сейчас заметив, что в доме темно, зажег десятилинейную лампу. Красновато-желтый свет заполнил комнату.

— Оразбике, ты спишь? — спросил он через некоторое время.

— Нет, — ответила та.

— Не хотел я эту растреклятую лампу зажигать...

---

[27] Примечания: 27
Чапан — теплый стеганый халат,

— Почему же, темнота грусть навевает, — отозвалась Оразбике.

Старик вдруг пожалел, что забросил насвай. Как женился на Оразбике, так и бросил. А наполнить бы сейчас горсть этой табачной ядовито-зеленой смесью да под язык — какой бы туман пошел перед глазами, эх!.. Он прилег было рядом с Оразбике, но сон не шел. Поворочался так и эдак, встал. Сел за ножную машину. Стал шить. Более половины ночи работал старик. Распашонки шил, пеленки. Крохотные панталоны из бархата мастерил. Белые чепчики с изящной строчкой…

Ловко владел Найзабай искусством шить, и не раз попрекали его за это некоторые, вроде Перне, дескать, мужское достоинство роняешь, но что старику такие слова… Никогда, пожалуй, не шил он так самозабвенно: строчка в строчку, будто не шьет, а рисует.

Оразбике порывалась несколько раз спросить у него, что это, мол, ты делаешь посреди ночи, но не решилась отвлекать его. Уж слишком сосредоточенно работал старик. Перевернулась на бок и увидела на подушке рядом крохотные штанишки из бархата. Все в ней замерло от прилива неожиданной нежности к нему. Сказать бы что — да голос пропал, — слезы затрепетали на ресницах.

Прошептала про себя: "О господи! Тысячу и одно благодарение тебе за хорошего мужа!.." Боли в животе отпустили на некоторое время, и она устало откинулась на подушки. Что-то как будто таяло в груди, толчками подгоняя кровь... Вздрагивало сердце, точно чья-то мягкая, бархатная рука ласково касалась его...

Так она лежала долго, не отрывая глаз от склонившегося над машинной старика...

* * *

...Ведя коня в поводу, старик перевалил за холм. Спустившись в овраг, отпустил поводья, стал прогуливаться по дну оврага. Тихая улыбка блуждала в уголках губ. Ему порой слышалось младенческое "нга", и он вздрагивал. Есть ли предел человеческому воображению? Так и представляется ему, что крохотный мальчонка, о котором мечтал он всю жизнь, уцепился сейчас за стремя Байгеторы, идущего позади. Сила наваждения такова, что старик не выдерживает и оборачивается к коню. А тот, точно ждет этого, пристально, в упор смотрит на хозяина. Грудь наполняется опьяняющей радостью и кружится голова. Небывалое счастье...

Узенькая тропка змейкой вьется по дну оврага

и уходит далеко в степь. Точно длинная извилистая строчка на одеяле. Смотрит он на эту тропку и говорит: "А, Найзабай! Много ты мучился в жизни. Порадуйся хоть на старости..."

Но и беспокойство все более завладело им. Поднялся на холм, замирая, глядел в сторону дома. Тихо. Суеты не видать. Потом еще несколько раз всходил на холм. По-прежнему все тихо. "Что с ними?" — бормотал старик и смотрел на Байгеторы. Точно ждал — не подскажет ли. А конь вскинет голову, поблескивая диковатыми глазами, и ждет, что прикажет ему хозяин. "О друг мой! Что мне от тебя скрывать, — говорит старик, — рвется из меня душа, тесно ей в груди..."

Поднимавшееся солнце ослепляло глаза. Под его лучами розовела степь. Расцветился холм, на котором сидел старик. Стало уютно, тепло. Снова защемило в груди от предчувствия чего-то хорошего, доброго, что должно было вот-вот случиться.

Чем выше поднималось солнце, тем все ближе, кажется, подступали густые заросли тугая на берегу Сыр-Дарьи. Опять он подумал о том, что надо бы засеять дынями речную пойму. Вспомнилось предстоящее собрание. Стало неловко за слова, которые он хотел бросить в лицо председателю:

дескать, не видишь ничего, кроме того, что под ногами валяется. Ведь можно сказать об этом просто, без упрека, не принижая самолюбия председателя? "Ну, что я за человек такой, — вечно что-то доказывать лезу... Или действительно многие не хотят дойти своим умом даже до простого? Ну, и что с того, если не раз он оказывался прав, и люди сами потом приходили к нему за советом? Нет, помолчит он сегодня на собрании. Не достаточно ли с этого аула одного Перне, который своей критикой извел всех?! И без того наволновался с утра. Но и промолчать, — дать повод Перне... Куда от его ядовитого языка денешься? Завтра же скажет: "Найзабай молодую бабу завел. Брюхо сыто, скотина на дворе. Что ему мирские заботы? Вон за Байгеторы ходит давешний активист..." Нет, все же соберу я старцев, обмозгую с ними, как быть. Пропадает земля попусту, а какие бы дыпи уродились!.."

Он снова поднялся на вершину. Со стороны аула вихрем несся старшой Сапарбека. Старику стало душно. Сердце подступило к горлу. Он бы ринулся навстречу мальчонке, да ноги не держат. Он бы спросил: "Что с ней?" — да нет голоса.

— С вас подарок за радостную весть! — закричал мальчик. Старик опустил поводья, присел

беспомощно на корточки.

— Радостная весть! Ата! Мальчик родился! — Шаровары были велики мальчонке, и он, поддергивая их на ходу, с трудом взобрался на сопку.

— Подарок с вас! Мальчик!.. — И кинулся в объятия старика. — Я даже слышал, как маленький плачет, — добавил он. — Не веришь, пошли вот!

Старик как присел на корточки, так и не шелохнулся, не сводя глаз с племянника. Грудь его наполнилась звоном, сердце застучало оглушительно. Юношей себя почувствовал, такой прилив сил и энергии ощутил вдруг в себе. Увлажнились глаза. О боже, плачет он, старый Найзабай, который не знал до сих пор, что такое слезы? "Уф" — выдохнул он, окончательно освобождаясь от недавних переживаний.

— Бери, сынок, бери, что хочешь в подарок, — и дернул Байгеторы за повод. Тот встряхнулся, всхрапнул.

Мальчик, увидев слезы, катящиеся по лицу старика, оторопел.

— Беги, скажи отцу, пусть ягненка прирежет, — улыбнулся Найзабай. — Да, не забудь: и козленка еще…

— Хорошо, — крикнул мальчик, срываясь с места.

— Да погоди ты, — дьявол тебя несет, что ли? — остановил он парнишку. — Жумагуль скажи, пусть баур-саков побольше напечет. Чего там жалеть?

— Хорошо!

— Погоди! Иди сюда!

Мальчуган остановился.

— Полмешка с орехами и изюмом под настилом для одеял. Не забудьте.

Теперь уже чернявый мальчуган не оборачивался, бежал во весь опор к дому. "Ишь, как радуется, сорванец! — подумал старик удовлетворенно. — Вся радость на лице, как дождевая вода".

Взяв Байгеторы под уздцы, старик стал спускаться в лощину. "Держись, Найзабай, держись!" — подбодрял он себя. Солнце завладело уже всем небосклоном. Молодая зелень, только-только пробившаяся из-под земли, поблескивает, точно ее намазали жиром. Опять на глаза попалась узенькая тропка и Найзабай задумался, глядя на нее. Когда похоронили Аппаккыз и народ разошелся, он остался один, после полуночи пришел сюда и все ходил и ходил по этой тропе. Горькие мысли преследовали его тогда. Нет, он не страшился за будущее, не боялся, что пропадет

и все-таки одиночество пугало.

О, мир, как ты переменчив, однако! Вот и возгорелся снова день для него, старого человека. Пришел в жизнь наследник. Во второй раз Найзабай ощутил, как дорога жизнь! В первый раз он это почувствовал, когда всем беднякам дали равенство, когда он, как и другие, ощутил себя полноправным человеком! О, мир!..

С необыкновенной легкостью взлетел он на крутую лошадиную спину, и Байгеторы весь напружинился, готовый к бегу. Он нетерпеливо вскидывал голову, и хозяин через некоторое время отпустил поводья. Ойпыр-о-ой! Надо было видеть, как пошел по степи гнедой! У всадника слезы сохли на ветру. В углах губ стало солоно. Не остановился даже поднять шапку, что слетела в азарте скачки. "В шестьдесят четыре сына увидеть... Продолжение жизни моей... Спасибо, спасибо судьбе! А людские пересуды — пусть! Даст бог, покажем с сыном, чего стоим..."

Степь наполнилась таким благодатным теплом, что мигом улетучились из памяти все горести жизни. Один лишь восторг в груди! Байгеторы тоже словно заново родился. Как красиво выбрасывает ноги! Тоже ведь радость — иметь такого коня!

Оступись лошадь, и на такой скорости не мудрено вылететь из седла. Но сидел он крепко, припав к шее коня. "Милый Байгеторы! — шептал он. — Отведем душу! Покажем солнцу и небу, какое оно — счастье!.."

Доскакал до селения и увидел мальчонку, племянника своего, что принес ему радостную весть.

— Ну, сынок, добрался ты до сладостей, как погляжу! — отметил старик, бросив взгляд на оттопыренный карман.

— Мама дала.

— Ну, чего стоишь?

— Отец к чаю зовет.

— А потом что сказал?

— Говорит, чего из дому сбежал?

— Младенца видел?

— Какое там! Хотел в дверь заглянуть, так погнали меня. Пойдем, а то отец заждется там.

— Вот щенок — за отца переживает. Успеем еще… — старик засмеялся. Мальчик, разинув рот, уставился на хохочущего деда. А Найзабай так и закатывался смехом, так и закатывался…

— Э-э… — протянул он, успокаиваясь.

Подходя к дому Сапарбека, шел крадучись, осторожно, точно боялся кого-то потревожить.

— Коке! Поздравляю! — встретил его Сапарбек.

— Спасибо! Спасибо! Сорванец, говорите, народился, ну-ну! — Ноги не ступали, а летали по полу. Видел Сапарбек, как ликует старик. И так у него на сердце стало тепло, что захотелось подбежать к брату, обнять его. Всегда был он ему как отец. Почитал и любил Сапарбек брата.

— Чаю горячего… Усталость снимет.

— Э, теперь все ничего, — бодро отозвался Найзабай.

Сапарбек впервые видит брата таким. В другое время не решился бы подшучивать над ним, знает его характер. А сейчас чувствует: верблюд пройди по Найзабаю — не заметит…

— Надо бы еще тогда, при тетушке Аппаккыз, — за такое дело браться. Давала же она свое благословение. Подрос бы уже сынок!

— Ты чего несешь! — вскипел старик. — Ты Аппаккыз не тревожь. Все это — благодаря ее молитвам.

— Ну вот, коке верен себе, — смутился Сапарбек. И тут же заключил коротко:

— Хорошему делу никогда не поздно являться.

— Э, где твой обещанный чай?

В это время снаружи послышался хриплый надрывный кашель и голос: "Где Найзабай?"

— Пернеке, — заметил Сапарбек.

На пороге появился сухой, тщедушный Перне с реденькой, собранной в пучок бородкой.

— Твой чернявый прибежал ко мне подарок за радостную весть спрашивать. Бедовый парень! — сказал он, обращаясь к Сапарбеку.

— Проходи, — пригласил его Найзабай.

— Подошва с моей обувки слетела, поглядел бы, — сказал Перне.

— Ну, это дело поправимое, — безмятежно отозвался старик.

— Так что же, молодая баба сына родила, а? — сказал Перне. — Отвалил тебе бог счастья полную горсть, не пожалел.

— Не знаю, полную горсть или щепотку, но мне хватит, — сказал старик. Жестковато сказал.

Сапарбек начал беспокоиться. Старики могут повздорить по любому поводу. Надо бы предупредить вспышку, он дружелюбно сказал:

— Вот и мы радуемся нынче, Пернеке.

— Как же не радоваться, если такая рухлядь, как твой коке, сына произвел на свет?

— Да, добру никогда не поздно являться, — повторил свою мысль Сапарбек, ерзая на месте.

— К чему по мелочам настроение портить, или тебе теплых слов жаль, а? — спросил Найзабай.

Сапарбек глянул благодарно на брата. Вполне благопристойное замечание, достойное уст аксакала. Но вскипел Перне.

— Так что теперь — ниц перед тобой падать, — мальца ему баба принесла!

Не успел Сапарбек поставить пустую чашку на стол и произнести про себя "Ойбай, что будет?", как старик вскричал:

— Ты чего ежом подобрался? — и дернул Перне за рукав. — Кто тебя звал сюда спозаранок?

— Коке, перестаньте, — взмолился Сапарбек.

— Ты не кричи! — огрызнулся Перне. — Я, как ты, но холмам не шастал с утра.

— Не можешь, потому и не шастаешь!

Дрогнули уголки губ у Перне. И бороденка затряслась.

— Заелся ты, батюшка, заелся. Как говорится, стань баем, так глотки не жалей! — чеканя слова, точно гвоздь вбивая в окаменелое дерево, проговорил он.

Найзабай передернул плечами. Побледнел. Хоть и привыкли они за долгие годы переругиваться друг с другом, но видно, не ожидал Найзабай таких слов от Перне.

— Будь ты проклят, — что имеешь в виду, будто заелся я? Скажи-ка.

Вздорности в Перне хоть отбавляй, не всякий верблюд поднимет такой груз.

— Думаешь, не знаем мы, как ты за счет людей добро себе нажил. А туда же ещё — активист… Насмотрелись мы на вашего брата…

— Ты чего несешь, эй?

Перне отсыпал насвая в ладонь и заложил его за губу. Нарочно напустил на себя хладнокровный вид.

Сапарбек, почувствовав, что назревает большой скандал, потянул было дастархан к себе, чтобы собрать его, но старик уже запустил большую чашку в лоб Перне. Чашка тяжелая, да и удар, видно, ощутимый, — кровь брызнула из раны.

— Убить он меня хочет, ойбай! Мать твою в душу!.. — завизжал Перне, зажимая обеими ладонями лоб и пригибаясь к земле. На дастархан угодили капли крови.

— Смерть тебя пригнала сюда. Будь ты проклят! Что значит — все беды от языка!

Сапарбек выскочил во двор, оторвал кусок от кошмы, валявшейся перед порогом, и сунул его в огонь.

— Что ты делаешь, бог с тобой? — всполошилась Жумагуль.

— Коке интересный сегодня. Пернеке голову пробил. Надо кошму горелую приложить, иначе кровь не остановить, — сказал он. — А про себя подумал: "Так и надо этому Перне, не будет распускать свой язык, а коке — молодец! Не пресмыкается, как мы перед некоторыми!"

— Стыдно-то как! — засуетилась Жумагуль.

Сапарбек придвинулся к ней поближе, зашептал в ухо:

— Заметила, — без ума старик? Помолодел что ли… Или радость доконала его.

— Э, ну и пусть. Беда какая! — успокоилась вдруг Жумагуль, снимая крышку с казана.

— Аромат-то какой! — потянул носом Сапарбек.

Перне, обвязав голову платком, лежал, отвернувшись к стене.

— Теперь и будет лежать так, — бросил Найзабай.

— А что теперь у всех подарки за новость просить, дескать, Найзабай меня побил? — буркнул тот.

Сапарбек, изумленный тем, что оба старика так скоро помирились, не нашелся что и сказать. А тут снаружи послышался топот приближавшихся коней и раздался голос: — Найзаке!..

— Кто это? — удивился было Сапарбек, но Найзабай уже вылетел во двор. Вышел и Сапарбек. Оторопев, увидел: двор полон джигитов аула. Все на конях, сытых, разгоряченных.

— Конец уборки с праздником в вашем доме совпал!.. — сказал один, намекая на то, что должен в этом случае сделать Найзабай по обычаю.

— Ну вот завсегда они так! — рассмеялся старик.

— Грех отказать нам в такой день. Отдайте козла. Притащим после двух-трех кругов.

— Козлодрание никуда не убежит. Слезайте с копей. Мясо вон готово, — сказал Сапарбек.

— Кто в состязании не может участвовать, тот возле казана крутится.

— Ну, вас не переспоришь.

Старик, не отрывавший взгляда от Байгеторы, пасшегося неподалеку от дома, махнул рукой:

— О чем речь, будь по-вашему.

Джигиты, сильные, молодые в мгновение ока захватили еще не освежеванного козла и унеслись с гиканьем в степь.

— Что они выделывают! — восхищенно проговорил старик, озираясь по сторонам, как бы отыскивая что-то.

— Ничего, поносятся немного да вернутся, —

сказал Сапарбек. — Известно ведь — какие герои.

— О создатель, и Байгеторы размяться бы мог! — пробормотал вдруг старик.

— Да полно вам, коке. Перне вам мало, — одернул его Сапарбек, опасавшийся, что тот еще наделает глупостей…

— Страсть во мне былая взыграла.

— Коке, да что с вами, в младенца, что ли, превратились сегодня?

* * *

Чем дальше уносились джигиты, тем беспокойнее становился старик. Прохаживался взад и вперед возле дома, что-то обмозговывая.

И стал спешно оседлывать Байгеторы.

Подобно некоторым удальцам, что гонят лошадь, не успев коснуться стремени, старик тоже отпустил поводья, едва оказался в седле.

— Ойпыр-о-ой! — протянул Сапарбек, не отрывая глаз от брата. — Коке от радости с ума свихнулся.

Сначала Найзабай несся вскачь вдоль по линии борющихся, издали наблюдая за действиями джигитов. Байгеторы шел ровно, напористо. Способен гору своротить на пути. "Чего же робеть?" — шептал Пайзабай, пришпоривая Байгеторы. А

что нужно горячему коню, — и он понесся, как смерч.

Полный круг сделал Найзабай, не решаясь еще вклиниться в группу захваченных борьбой за козла всадников. Но вот он направил коня к ним. По мере приближения к джигитам осаживал Байгеторы, а тот, разгоряченный скачкой, не желал убавлять скорости, и старику стоило больших усилий остановить лошадь.

Джигиты с громкими возгласами окружили его. Тут же кто-то расторопно подхватил козла. Но далеко не ушел. Обронил добычу на полпути. Снова гиканье, улюлюканье, снова все смешались в кучу.

— Господи, и это джигиты! — вырвалось у старика. — Матери у вас левши, что ли? Не можете козла удержать!

В это время в далеке показалась группа всадников из другого аула, они неслись напрямик, шумя на всю округу. Из соседнего колхоза парни. Когда только успели их оповестить!

— Бог ты мой, да не видать им победы! — старик стиснул камчу в руке.

Двое из подъезжавших джигитов стремительно вывернулись из общей кучи.

— Пай-пай, сноровистые какие, позавидовать

можно! — прицокнул языком Найзабай, восхищаясь удалью соседских парней.

Кто-то из своих, и лошадь-то под ним вислобрюхая, упустил добычу и крикнул:

— Найзеке, не осрамиться бы!

— Недотепа! — рявкнул Найзабай и пришпорил коня.

Не решившийся поначалу включаться в борьбу, он и сам не заметил, как поддался огню, бушевавшему в нем.

Когда один из джигитов, могуче восседавший в седле, зажав козла под коленом, помчался в сторону своего аула, Байгеторы понес Найзабай за ним.

Перед глазами у старика белый туман. Он готов сгореть в огне всколыхнувшегося в нем азарта. Камча в первый раз коснулась крупа Байгеторы. "Не упущу. Если упущу, пусть сгниет мое имя — Найзабай..."

Старик и забыл, что сам даровал козла и что будет неловко, если сам и отберет его. Все — и разум, и сердце — подчинились пылу погони. "Мой первенец... — думал он. — Победа в день его рождения. Последний мой выигрыш!.."

Кровь молодо кипела в жилах. И седок, и конь — под, стать друг другу! Норовистые, темпера-

ментные! "О, мир! И ты способен возвращаться ко мне!" — ликовал старик. Найзабай был в ударе.

Рослый парень, что уносил козла, все чаще и чаще оглядывался, все отчаяннее пришпоривал лошадь.

Со стороны урочища справа, где был аул, показался кто-то размахивая нелепо руками. Вот он уже совсем близко, видно, как стегает и стегает камчой лошадь. Хочет, по-видимому, перерезать путь тому, что с добычей. Еще немного — и столкнется с ним. "Откуда он? Какой дьявол его сюда несет?" — пронеслось в запаленном мозгу старика.

Найзабай уже настигал своего джигита, когда и тот, что из аула мчался, подскакал вплотную. "Назад, назад! — рявкнул старик. — Пропадешь!.."

Все случилось в мгновение ока.

Тот, что скакал из аула, не успел перерезать дорогу джигиту с козлом, и тот с гиканьем увернулся в сторону. Байгеторы со всего маху, с каким шел, налетел на встречного всадника...

* * *

Тело старика положили у правой стены простенькой, неказистой юрты, в которой утром родился первенец.

Когда провожали Найзабая в последний путь, никто не заметил слез, застывших в глазах Байгеторы.

В тот день, говорят, Байгеторы, уйдя в степь, долго стоял, понурившись, у свежей могилы.

Перевод Л.Космухамедовой

ОРАЛХАН БОКЕЕВ

У Оралхана Бокеева вышли несколько сборников рассказов и повестей. В 1975 году на Всесоюзном конкурсе произведений молодых драматургов его ньеса "Жеребенок мой" удостоена третьей премии. Писатель молод, ему 35 лет.

СЛЕД МОЛНИИ
Рассказ

С вечера он думал: не уходило бы солнце. Но оно неизменно закатывалось. По утрам ему хотелось, чтобы день не занимался. Но от этих желаний ничего не менялось, — беспокойное течение жизни продолжалось без перерыва. Тревожная явь проникала в его тщетно устраняющееся сознание. И не сквозило ни лучика радости в душе, словно уже не ждал он от мира никакой новизны: та же заревая битва между светом и тьмой, борьба добра и зла, черного и белого, и это повсюду — в неизвестных далях мира и совсем рядом с ним — Киялханом. А может быть, эта тревога объяснялась простым сожалением о собственной

быстротекущей жизни, затерянной в мире средь сонма других жизней, без надежды на то, чтобы быть понятой.

Итак, неизбежно наступало утро, восходило над горами, вырвавшись из плена темных ущелий. Солнышко, являющееся по утрам с улыбкой и уходящее вечером со смущенным красным ликом, щедро лило свой яркий свет на все доброе и все злое, без разбора. Такова была его природа. И хлопотливая суета в маленьком ауле шла от самого его восхода до заката. Лишь ушастые жарганаты из зловещего рода летучих мышей висели целый день в пещерах, дожидаясь сумерек, чтобы отправиться на охоту.

Когда Киялхан понуро шел к реке, желая умыться, его увидел старый учитель третьего класса Тойганбай. Около своего домика он делал утреннюю гимнастику. Выпрямившись, он крикнул:

— Ки-аке-е, ау, Ки-аке!

— …?

— Совхоз на помощь зовет, пойдем-не пойдем?

— Можно и пойти, — отвечал Киялхан.

— А ну их! Еще понравится, привыкнут, начнут каждый день таскать, — возразил Тойганбай. — Эй, махнем-ка лучше к табунщикам! Кумысу до отрыжки надуемся.

— Кумысу и на работе дадут…

— А, дрянь какую-нибудь! Водой разбавят… Ну, в общем, ты как хочешь, а мне на покос идти нельзя. Лень-матушка не пускает. Гы-гы! — заржал Тойганбай.

В небольшом горном ауле, скученном, как стожары, была начальная школа, и Киялхан, закончивший философский факультет, работал здесь учителем. Приехал сюда в прошлом году к дяде, который разыскивал его через газету, да так и не вернулся в город. Не сказать, чтоб прикипел к объявившейся родне, без которой он прожил тридцать лет, да и родня ли ему эти люди, но ошеломила его и зачаровала мощная красота гор, захотелось остаться. И еще — здесь можно было погружаться в пучину мыслей, сколько заблагорассудится, — никто не мешал, никому не было до тебя дела. В городе об этом и мечтал молодой выпускник философского факультета, кое-как перебиваясь случайной работой, в суете и неблагополучии бытия, одиноко живя в крошечной хибарке, которую он снимал. И тут прочел газетную заметку, где назывались его имя и фамилия. Киялхан поехал в аул, не мучаясь сомнениями… Разыскивал дядя пропавшего во время войны племянника.

Киялхан, увидев дядю и всю его семью, так и не понял, зачем мужику понадобилось искать еще и племянника. Семеро детей копошилось в домике, нерасторопная, вялая жена тянула его хозяйство. А сам хозяин показался сначала молодому философу умственно неполноценным, блаженным человеком, который все снесет безответно: проведи по нему хоть отару овец — будет лежать на земле, глуповато и стеснительно усмехаясь. Это был пастух небольшого аульного стада. А встрепанная тетка Киялхана целыми днями просиживала у реки, лениво стирая детскую одежонку.

Вот и теперь она ни свет ни заря сидела у воды и терла белье на камне. Заметив походящего Киялхана, поспешила запахнуть на груди платье.

— Племянничек, что-то рано ты поднялся, — добродушно проговорила она. — Или вода натекла под твою голову?

— Хочу на покос пойти, — ответил Киялхан, останавливаясь. — А где дядя?

— Стадо погнал твой ага, где же быть ему… — Тетка звучно шлепнула мокрым бельем по воде и сердито Промолвила: — Чего им помогать, лежебокам проклятым! Ведь цельное лето только и знают пить кумыс да за девками подглядывать

из-за кустов. А зимой, черти, рассуют по дворам своих паршивых телят, чтобы ради бога их выкормили…

Киялхан, проходя дальше по берегу, не раз оглядывался и с жалостью смотрел в спину сгорбившейся над водой женщины. С трудом ему верилось, что она могла быть когда-то с тонким станом и лебединой шеей, что, возможно, обладала голосом звонким и певучим, как речная вода, в которой теперь полоскалось грязное белье.

Что ж, прекрасным можно назвать лишь то, что не стареет. Или то, что уносишь все дальше в памяти — и чем дальше, тем прекраснее оно кажется… Взгляд Киял-хана задержался на одинокой сосне, стоящей на противоположном берегу речки. Сходство, странное, удивительное сходство поразило его: точно такую сосну он только что видел во сне. Киялхан закрыл глаза, пытаясь представ вить увиденное. Но тщетно! Ему лишь показался сверкающий ручей да тетушка, стирающая белье, лохматая, как ведьма.

А на рассвете ему вот что приснилось. Сначала виделся цветной дождь — красные и зеленые полосы мелькали; переокрашивались, как падающие огни. Потом за ними открылись разноцветные, пестрые горы. Но не этот пейзаж, а

люди, кротко идущие процессией со свечками в руках поразили внимание Киялхана; и еще — отсутствие во всем черного цвета и, главное, — высокая сосна на речном берегу с красными и синими раскидистыми ветвями, — которые, если их погладить, произносили слова. К большой ветви этого дерева была привязана качель из белоснежной пуховой пряжи, на которой сидела девушка в красном платье. И не то она тихо покачивалась, не то раскачивались и пели цветные горы. Страну эту, где обитала девушка, сосновые ветви называли Мамырстаном. Страной нежности. И у спящего философа родилась восхитительная догадка — что нет смерти в этой стране. А идущие со свечками кроткие люди — самые гнусные преступники и злодеи, каких только видела земля; теперь они раскаялись и, мягко ступая друг за другом, поют о добре. Небо здесь прозрачное, яркое, как изумруд; вороны и сороки поют чарующе; подвижный осел горячится и кружится, словно сказочный тулпар, встает на дыбы, а пад разноцветной сосною парят среди голубей крылатые толстозадые младенцы, мяукают тоненькими голосами песенки…

— Вставай! Солнышко уже высоко! — донеслись до "его слова, и от них он проснулся. Старуха

Ак-апа трясла его за плечо.

— А-а… — сипло вымолвил он, и принялся кулаком тереть глаза. — Это вы, апа. Хорошо, что разбудили, а то сон плохой приснился. Может, помер бы, если не вы…

— Не говори так о снах! Разве сны могут быть плохими? Знаешь, я об этом расскажу тебе вечерком кое-что… А сейчас иди, сынок, к реке и умойся как следует, а после и позавтракаешь… Бригадир приходил, звал учителей на субботник, тебе бы надо пойти, сынок…

И вот теперь Киялхан сидит на берегу реки, с рассеянным видом болтыхая ногами в воде, и думает: если каждое утро человек не будет совершать чего-нибудь нового, разве жизнь сдвинется с места? Поэтому и хорош, необходим человеческий труд. А этот пастырь третьеклассников Тойганбай? Ведь может два часа читать лекции об общественном сознании и трудовой морали, а сам не пойдет, на покос… Как тихо здесь. Дремотная, тихая жизнь. Похоже, ничего не может случиться. Люди довольны тем, что брюхо сыто, до остального и дела нет. Похоже и на то, что они вполне счастливы и довольны своей жизнью. Но сказано, кажется, у Достоевского, что нельзя чувствовать себя счастливым, когда рядом стра-

дают другие…

— Ой, племянничек, чего ты там раскачиваешься? — донесся до Киялхана визгливый голос. — Уж не научился ли у Ак-апы молиться?

— Нет, женге[28], это я так… — нехотя ответил Киялхан, встал и поплелся к дому. Когда он проходил мимо тетки, она подхватила с земли таз с бельем и пошла рядом.

— Люди болтают: мол, племянник чудом отыскался, все равно что из мертвых воскрес, а женге его к старухе на квартиру поставила. Конечно, чужой рот не ворота, на замок не запереть, пусть себе болтают, а все равно обидно. Оно лучше было бы, если бы ты у нас жил, да разве смог бы при таком шуме и гаме. Ведь кто пишет или рисует — для того дом с детьми не жилье. Но ты бы хоть питался с нами, чтобы не тратиться отдельно на еду, Киялхан. А то ведь неудобно как-то…

— Ничего, женге, мне неплохо и у старухи. А то, что я вам деньги отдаю, это просто моя помощь дядюшке. Не беспокойтесь ни о чем, Ак-апе ведь тоже одной не сладко живется. А со мною полегче ей…

— Ну, сам знаешь, что делать. Ак-Апа, считай,

---

[28] Примечания: 28
Тетушка.

не совсем чужая нам. Из одного корня мы, родня дальняя. Но ты все ж почаще заходи к пам, чтоб соседи поменьше сплетничали. Дядька твой вон в сорок лет только очнулся, кинулся искать тебя… и нашел, гляди-ка! Так ты уж постарайся не обижать его. Тихий он человек, а такому в горе-то тяжелее других приходится. Иной раз подумаю: где он там сейчас бродит со стадом, — все один да один… уж не помер ли случайно. — И, отвернувшись, тетка хлюпнула носом.

— Не надо, женге. Дядя не из таких, чтоб легко умереть. Тот, кто за скотом ходит, живет на земле дольше всех.

…На покосе Киялхан опять глубоко задумался, вспоминая свой яркий, многоцветный сон, и не заметил далее, как выронил вилы. Пожилой скирдовальщик, уже давно косо посматривавший на него, не выдержал и заорал сверху, покраснев от злости так, что уши вспыхнули.

— Эй, учитель! Здесь тебе не книжки мусолить! Знаешь только, что детей морочить.

— Ладно там! — крикнул снизу другой. — Твоему олуху, видать, учеба не дается, а ты на учителя злишься. Иди, дорогой, — повернулся он к Киялхану, — отдохни маленько. Нелегко ведь без привычки черную работу справлять.

— А не может работать, так чего же к нам приехал? — продолжал орать Тот, наверху. — Да таких на два километра к аулу не надо подпускать! Чего им нужно у нас? Мы-то. к ним в город не лезем? А то для них и налоги плати, и курей им надо, и шерсти, и масла — и всего этого мало! А те, которые за них пашут, сеют, убирают, те. ничего не значат. А они, вишь, только думать умеют, а вилы удержати в руках не могут.

— Уймись ты! — крикнул нижний скирдовальщик, пожилой дядька с рябым лицом и выпученными глазами. — Если рот до ушей, то завязочки пришей. Ишь, разболтался! Читал я когда-то книгу "Алитет уходит в горы" — так там точно про такого, как ты, А ну, слазь давай, пока я тебя сам не достал! Вот ведь какой злой уродился, так и кипит, словно черный казан… Слазь!

Пока они ссорились и ругались из-за него, Киялхан потихоньку отошел в сторону…

Возвращаясь домой, он шагал понуро свесив голову. Уж лучше бы остался дома, как Тойганбай, тогда бы и не слышал обидных слов. До чего же люди бывают нетерпимы к другим! А ведь единственный смысл жизни как раз в противоположном. И будущее человечества, и все надежды людей связаны с умением жить единым брат-

ством, не набрасываясь один на другого…

Ак-апа уже поджидала его к ужину. Вынесла кувшин воды, полила Киялхану на руки.

— Что невеселый такой, джигит? Устал?

— Ох, не от работы устал, бабушка, — вздохнул Киялхан. — Мысли разные замучили меня. Лезут, словно мухи на сладкое, роятся в голове, жужжат…

— Легкое ли дело! Потому и личико больное у тебя. А ты ни о чем не думай, сынок!

— И сны, бабушка, странные сны меня замучили.

— Ладно, ты ешь, а я тебе расскажу потом отчего бывают у людей сны…

"Хоть бы солнце не заходило", — угрюмо думал Киялхан. Но оно опять закатилось. Ужин, приготовленный заботливыми руками старухи, был вкусен, но не принес радости.

— Сынок, — позвала Киялхана старуха, она прикоснулась ладонью к его лицу: — Ведь ты один-одинешенек на свете… О ком тебе горевать?

— Если б один, апа, то и не горевал бы. — Ласковое прикосновение старого человека словно придало Киялхану сил, он улыбнулся. — Не о себе горюю. Да и как же я один, апа? Мы же с вами

вдвоем…

— Я знала твою мать. Нравом, как шелк, была. Ты был пятимесячным, когда пришла похоронная на отца. Не вынесла горя твоя родительница, умерла, а тебя отдали в детдом. О алла, будто вчера это было! Сколько горя хлебнули, — не меньше, чем в старину, во время великого степного мора — Актабан-шубурунды. Врага и в глаза не видели, а сколько смертей приняли от него.

— Что мне делать, Ак-апа? Мне грустно… так грустно, тяжело прожить хотя бы еще один день. Почему так, апа? — тихо пожаловался Киялхан маленькой старухе. — Я не знаю, как это — радоваться жизни, потому что меня никогда не ласкали руки матери. Сейчас, если я слышу даже о самых диких ужасах на земле, в глубине души воспринимаю это спокойно. И я устал от этого, апа. Устал от невольной готовности к самому страшному, что может произойти в мире. И только с вами мне легче, апа! Вы — словно мать, которую я однажды видел во сне, и от вас идет этот теплый материнский запах. О, Ак-апа! — и Киялхан, прижавшись лицом к плечу старушки, заплакал, как надломленный горем хрупкий подросток, Ак-апа, растроганная, гладила его по голове, и этой же рукою смахивала свои навер-

нувшиеся слезы.

— Что ж, поплачь, жеребеночек мой, поплачь как следует, — бормотала она. — Прольется вся печаль твоя из души и смоется горе слезами… Пусть будет это, свет мой, как самый первый плач новорожденного, с которым человек приходит в жизнь. И пусть это будет последним твоим плачем по отцу и матери, которых никогда ты не знал, сиротинка моя… И я с тобою поплачу: еще раз зажгу огонек в своей памяти и вспомню про сына, который тридцать лёт назад умер на чужбине от вражеской пули.

…Но дни шли за днями, все такие же однообразные, незначительные, а ночами все чаще одолевала его бессоница, и он, не выдержав, покидал постель и выходил из дома, чтобы побродить в тишине ночи, в которой, словно в едином, растянувшемся до бесконечности мгновении, дремали горы, леса, птицы и люди. Тихим шагом, бесшумно пробирался к ручью, журчащему невнятно в полутьме; гребни крохотных воли вспыхивали слабым мерцанием, отражая свет отдаленных звезд. Эти минуты уединения доставляли ему радость. И однажды Киялхан невольно воскликнул:

— Ах, да это же поэзия!

Но тут же испугался своего восторга: "Да это всего лишь обман! С восходом солнца чары рассеиваются и начинается реальная жизнь. И для чего только мир выглядит так, словно навечно отдан во власть волшебной поэзии? Чушь какая! Какой обман! Не мир и покой, но призрак мира, тишины, покоя... Эта кругленькая земля вся пылает изнутри, мается от собственного смертельного жара, болезненного, горячечного жара.

На пути Киялхана показалась одинокая сосна, та самая, стоящая в стороне от других деревьев на берегу речки. И опять его мысли вернулись к сновидению. Он тоже был совсем одинок, как эта сосна, хотя рядом стоял густой бесконечный лес его соплеменников. И подойдя к дереву, он тронул выгнутый нижний сук, помня, что тотчас должен раздаться человеческий голос. И перед ним вспыхнуло красное, как пламя, платье той девушки из спа...

"Чего тебе надобно в мире сновидений?" — спросила она.

"Тебя", — ответил Киялхан.

"Я не доступна для смертных".

"Тогда ключ от всех тайн Вселенной".

"Для чего?"

"Хочу, если не для себя, то хотя бы для людей

найти счастье".

"А в чем оно, это счастье?"

"В бессмертии, наверное".

"Нет. Не умирая, люди заполнят собою всю землю. Они перегрызутся".

"Пусть грызутся, лишь бы им не умирать".

"И ты думаешь, это будет для них благом? Нет, нельзя тебе доверить ключ Вселенной".

"Тогда хоть дай мне власть устроить так, чтобы ни одно ружье не выстрелило на земле и чтобы люди умирали не от рук злодеев, а своей смертью".

"Такая власть может быть у тебя и ты сам знаешь, как ее добиться".

"Это я должен отыскать жасын — стрелу упавшей в землю молнии?"

"Да. И с этой стрелой взойти и стать на вершину самой высокой горы и стоять там, зорко охраняя мир. И пока стрела молнии будет в твоей руке, на земле не грянет ни один выстрел".

— Бисльмилля, бисмилля, проснись сынок! Что с тобой, чего ты стонешь и кряхтишь? — Ак-апа расталкивала его, тревожно заглядывая в лицо.

А он, присев на постели, мотал головою, не мог прийти в себя.

— Ох ты, господи, как бы не захворал человек,

приехав к нам, — сокрушалась Ак-апа. — Конечно, мучиться во сне — это неплохая примета. Значит, скоро что-то приятное должно случиться. Дай-то аллах. А сейчас вставай, родненький, и умойся поскорее холодной водичкой.

Явь и сны переплелись так, что перестали существовать для него раздельно.

— Пусть хоть небо покроется тучами, пусть дождь пойдет — заклинал Киялхан, но небо оставалось совершенно безмятежным. Ни облачка не было, ли ветерка, стояли ослепительные солнечные дни. Все было хорошо вокруг, но он чувствовал, что скоро, скоро должен сойти с ума. А пока что он гуляет под этим голубым опрокинутым небом, до которого рукою можно дотянуться, любуется снежными вершинами окрестных гор и темными деревьями, замершими на склонах, словно ханские бесчисленные воины — сарбазы. Он видит, гуляя в лесу, небольшие поляны с алыми и желтыми цветами, трепетными, на длинных тонких стеблях, и травы на этих полянах столь густы и дики, что сразу становится понятно: здесь еще не освоилась нога человека. А узкая, как фитиль, лесная тропа ведет дальше, ввысь, замаливая путника в неизвестные пределы молчаливых гор. От прошедших обильных

дождей земля пропиталась избыточной влагой, и следы в податливой почве тотчас наполняются водою.

А если взобраться на ликующий зеленый холм и скатиться оттуда кубарем — то останется широкий, похожий на канал след от вершины до подножия.

Там, где яркозеленые вершины холмов встречаются с небесной синью, явственен умиротворенный вздох жизни — торжествующий, облегчающий душу.

Дней — десять подряд стояла такая погода. И вот однажды, когда Киялхан поднялся на гору, что-то вокруг изменилось; как-будто вкралась некая ошибка в обычное течение безмятежных дней; с севера быстрой рысцой набежали на горные луга ветры, а над дальним хребтом появилась небольшая, плотная и серая, словно войлочный потник, продолговатая тучка. Все ближе, ближе подбегала она — и вдруг за нею из-за хребта появилась целая свита грозовых облаков. Вскоре все лохматое воинство соединилось, и вдали загремели первые пушечные залпы.

И тогда в мозгу Киялхана, уже давно изъязвленном бесплодными мыслями, словно неисчислимыми муравьями, возникло ощущение

целительной прохлады. В глазах перестало колоть, в висках — теснить и стучать, а невидимые меха, вздувавшие жар в раскаленном горне его сердца, перестали на время работать. И Киялхан, словно сбросив с плеч многопудовый груз, стал силен и легок, как молодой верблюжонок. Он сразу же понесся скачками с горы, подставляя грудь северному встречному ветру. Он бежал, испытывая некую ясность и озарение в душе, — но именно с этого мгновения все, что делал он, было похожа на безумие.

Вот грянул гром над головой, одновременно сверкнули длинные и перепутанные, как кровеносные вены на руке, огненные молнии. И джигит с разметавшимися на ветру длинными волосами вознес руки к небу и высоко подпрыгнул. Молния хряснула еще раз, и гром, припадая к земле, разнесся точно разбойничий хохот и хлопанье человека по ляжкам. Вершины огромных сосен наполнились гулом и качались из стороны в сторону. Киялхан вертелся на месте, словно юла. Внезапно ветер затих… И так же внезапно, с ураганной силой, возник и обрушился на деревья. Точно громадная грудь вобрала в себя весь окружающий воздух и выдохнула его. Распластавшись на земле, Киялхан с ужасом и восхищением

видел и слышал как рушатся деревья.

А вверху все чаще хлестала по небу быстрая огненная камча. Бушевал ливень. "Что ж, — подумалось Киялхану, — видно, в душе природы тоже собирается тяжесть, и выходит она дождевыми слезами. Перестанет хмуриться мир, станут опять светоносными дали, повеселеют горы, искупавшиеся леса, переполненные реки... Значит, все тай и должно быть".

...Гроза прекратилась так же стремительно, как началась. Разорвались серые тучи, и яркое, полуденное высокое солнце хлынуло на землю. Но природа еще не могла прийти в себя. Тихо дымилась оглушенная, прибитая ливнем трава. Неподвижно стояли деревья, с отяжелевшими от воды ветвями. Но уже выглянула из дупла старого дерева белка, и карагуш, усевшись на мокрый, мшистый, черный валун, зевнул широко и издал клекот. Далеко внизу весело залаяла в ауле собака. Жизнь продолжалась.

Мокрый, истерзанный Киялхан поднялся с земли и направился к аулу, где — это было видно отсюда — жители вновь забегали по улице, принялись за свои хлопоты, словно мыши, спасшиеся от потопа.

И тут Киялхан увидел: на берегу ручья валялась

и чадно дымила поверженная сосна! Та самая одинокая сосна, что Отняла у него дневной и ночной покой. Молния попала в нее, расколола сверху донизу, переломила ствол, растерзав его так, что белые щепки, торчали, словно кости меж обугленными ветками. Киялхан замер, как вкопанный, разглядывая убитое молнией дерево.

— Племянник! Где ты бродишь? Ак-апа прибегала уже сюда искать тебя. — Это женге торопилась к ручью.

В другое время Киялхан не преминул бы иронически заметить — не вслух, так хотя бы, про себя, — что искать его должны ближайшие родственники, а не чужая старуха… но теперь ему было не до того. С напряженным вниманием смотрел он на сраженную молнией сосну. И заметив это, женге охотно переменила разговор:

— О, сколько бесплатных дров валяется! В другой раз ветку лишнюю обломишь — плати штраф, а тут сам аллах дров наломал, вот пусть его и штрафуют…

Но и на этот раз кайным не отозвался, все так же неподвижно, странно, с мучительным напряжением глядя на дымившиеся останки огромного дерева. В голове Киялхана, отрезвевшей во время дождя, вновь стали роиться прежние мысли.

Его осенило: надо выкопать жасыл — остывшую стрелу молнии, которая ушла, должно быть, в землю и лежит в корнях погибшей сосны.

...Третий день Киялхан роет яму под сгоревшей сосной. Он не вылезает оттуда, чтобы идти обедать, и старой Ак-апе приходится носить ему еду из дома. В ауле люди только руками разводят. К яме подойти не решаются: стоят поодаль, качают головами и, поцокав языком, расходятся по домам — подальше от греха. Но сегодня подошел Тойганбай, сел на край ямы и долго сидел, глядя выпученными глазами на вымазанного землею Киялхана. Открывал рот, желая, видимо, сказать что-то, но не осмеливался. И лишь под конец, уходя, промямлил:

— Ты, говорят, хочешь того... чтобы войны не было и все такое прочее. Х-м! Ерунду ты затеял, Киялхан, вот что...

— Да, я объявляю войну всем войнам! — закричал из ямы Киялхан. — Но первый мой враг — ты! Тебе я тоже объявляю войну! Исчезни отсюда, пока цел!..

Потом приходил дядя Киялхана, пастух. Постоял и, так и не решившись заговорить, ушел... Прибыл, наконец, бригадир, ткнул камчой в пустоту ямы и закричал:

— Эй! Полоумный! Чего ты там ищешь, а? Лучше бы вырыл мне силосную яму, чем горелый пень корчевать!

Киялхан не ответил ему, — бригадир ушел.

На исходе третьего дня философ сам стал понимать, что роет понапрасну. От тяжелой и целеустремленной работы разум и трезвость постепенно вернулись к нему. Таково, должно быть, врачующее свойство всякого простого ручного труда. Киялхан отбросил лопату, сел, привалясь спиною к стенке на дно ямы, и, запрокинув голову, глядя в небо, уснул глубоким, невинным сном — улыбаясь, словно предчувствуя близкое счастье. И во сне снова привиделась ему девушка в красном платье. Смеясь радостно, она лила ему на руки воду из медного кувшинчика, а потом подала белейший, мягкой шерсти чапай…

Он проснулся и увидел высоко над собою синее-синее, прекрасное небо, а рядом с собою — девушку в голубом платье. Она сидела на корточках и, лукаво улыбаясь, сковыривала у него с щеки ошметки засохшей глины.

— Кто ты такая, чудо-девушка? — улыбнувшись, с шутливой торжественностью спросил Киялхан.

— Я Гульгуль, — просто ответила девушка.

— Откуда явилась ты в этот скучный и грустный мир?

— Я здешняя. Из аула. Учусь в городе. На каникулы домой приехала. Уже десять дней, как здесь. Я узнала, что вы копаете землю ради того, говорят, чтобы выкопать… достать хотите сказочный жасын, след молнии… Правда это?

— Ну, что с того?

— А можно я помогу вам, ага?

— Да ты что, тоже сумасшедшая?

— Такая же, как и вы…

Они пристально взглянули друг на друга и рассмеялись.

— А теперь, — сказала она, схватив его за руку и потянув за собой, — вставайте ага, и пойдемте к речке, умываться.

— Гульгуль, — сказал он потом, — как же ты не побоялась подойти ко мне?

— А я боялась… Ведь говорили, что вы взбесились, ага. Но сегодня я решилась… Подкралась к яме, заглянула — а вы сидите и спите, и лицо у вас такое замученное. И во сне вы разговаривали вслух. Вы сказали: "Ох, создатель, отними у меня разум". И я поняла, что человек, который просит отпять у него разум, не может быть сумасшедшим.

— Гульгуль, умница, я теперь пойду вон на ту горку и посижу на солнышке, отдохну. А ты тем временем сходи в аул и скажи всем вот что… Скажешь, что Киялхан вовсе не молнию ищет, а клад. Золото, мол, старинное золото зарыто было под этой сосной, слиток с лошадиную голову.

— Зачем, ага?

— А увидишь сама, что будет…

И, забравшись на вершину холма, откуда был широкий обзор, он с улыбкой смотрел на аул… У реки, видел Киялхан, все так же безмятежно сидит за постирушкой его женге. И. дядюшка — на своем короткохвостом рыжем жеребчике трусит возле стада, погоняя скотину. А вот и бригадир о учителем Тойганбаем: обгоняя друг друга, с лопатами в руках они бегут к вырытой Киялханом яме, куда не захотели спуститься, чтобы помочь ему достать жасын. Теперь-то они будут рыть… И Киялхан сказал:

— Бедные люди! Это ли не безумие…

Перевод А.Кима

МАГЗОМ СУНДЕТОВ

Магзом Сундетов вошел в писательский коллектив Казахстана в 1961 году со сборником рассказов "На распутье". Затем выпустил книгу для детей, повесть "Жду тебя, Дизар", роман "Лодка без весел" и другие произведения. В издательстве "Советский писатель" у него вышел сборник повестей и рассказов "Стремя в стремя".

ПЛЕМЯННИК
Рассказ

— Апа, пить хочу...

Голос ребепка был жалобный, хриплый. Женщина в широком коричневом платье, в белом платке шла на несколько шагов впереди. Она остановилась, опустила на землю черный, перетянутый бечевкой чемодан, и подняла голову.

Лицо у нее круглое, миловидное. Зеленоватые, запавшие, грустные глаза. Она взглянула на узкоглазого загорелого мальчика лет одиннадцати, одетого в белую рубашку и серые брюки, и тяжело вздохнула. Тыльной стороной ладони

вытерла мелкие бисеринки пота над полной верхней губой.

Время за полдень, но жара еще не спала. Вокруг — степь. Безлюдье и тишина, даже травка не шелохнется, не за что глазу зацепиться.

Полчаса назад они сошли на разъезде с поезда. На платформе — ни души. Взгляд упирается в одинокое красное кирпичное здание, на фронтоне которого крупными буквами написано: "Шурегей". Не раз уезжала она отсюда, и здание это знакомо ей, примелькалось. Для сына же ее, закончившего четвертый класс, все внове. "Почему "Шурегей"? — думает он. — Так величают дикую утку. А при чем тут разъезд?" Мальчик видит, что мать не в настроении, и боится ее спросить об этом, молчит.

А женщина думает: почему их не встретили? Не дошла телеграмма? Десять километров пешком по солнцепеку не так-то мало. Хорошо бы одна, так ведь с ней ребенок… Остановилась, поджидая мальчика, и только сейчас почувствовала, как затекли руки от тяжелого чемодана, как пощипывают глаза капельки пота. Наклонилась к сынишке и поцеловала в лоб.

— Ну, потерпи, жеребеночек мой… Ты ведь джигит.

— Зачем мы сюда приехали, апа? Уедем обратно.

— Не говори так. Видно, телеграмму не получили, или дяди в ауле нет… А тетя не может выбраться, из-за детей.

— Все потому, что нет папы. Кому мы нужны?

— Хватит, Ержан! — Женщина торопливо поправила платок. — Ты плохо знаешь дядю. Мал еще. Он ведь чабан. Нет у него свободного времени. Пойдем-ка.

Упрямо стиснув зубы, она подняла чемодан, подняла легко, словно желая доказать, что совсем не устала, что может еще одолеть не один перевал. То и дело она оглядывается на сына, чтобы подбодрить его, и легкая улыбка касается уголков ее рта. Но ребенок надулся, даже краешками глаз не взглядывает на нее.

— Дядя хочет, чтобы мы отдохнули. Разве он не написал: мы живем на джайляу. Ждем вас. Отдохнете, попьете кумыса и молочка. — Голос ее задрожал, она всхлипнула. — Отец твой умер. Остались мы вдвоем с тобой. Что же делать теперь? А дядя, он все же родственник твой…

— Апа, не надо… Я скоро вырасту… — мальчик стал гладить ей руки.

— Ничего ты не понимаешь… Хнычешь…

— Это потому, что пить хочется, апа…

— Потерпи! Ты же моя опора, моя защита! Иди поближе к краю! Залез в самую пыль… — она потянула мальчика за рукав.

И он бойко зашагал следом за матерью. Пройдя немного, они опять остановились, вытерли пот. Малыш уселся на чемодан, глотает слюну, облизывает пересохшие губы.

— Потерпи. Скоро уже аул. Они писали, что живут на берегу озера.

— Апа, апа, что это?!

Мальчик испуганно схватился за подол матери, затаив дыхание. Огромная птица, плавно опускаясь, пролетела над ними. Лохматая черная тень скользнула по желтоватой земле.

— Ержан, да это ведь коршун…

— А он не утащит нас?

— Что ты! Он так низко обычно не летает. Видать где-то недалеко отсюда гнездо. Степные коршуны вьют гнезда и в зарослях, и в оврагах.

Уверенный голос успокоил мальчика. Сняв нахлобу-ченпую на голову фуражку, он так же, как и мать, стряхнул ладонью пот со лба. Потом опять натянул фуражку, сложил, руки на коленях. Взгляд женщины прикован к этим лежащим на коленях детским рукам, — вылитый отец. Он

тоже любил так сидеть. Она с нежностью посмотрела на сына.

— Апа!..

— Что?

Ержап указал пальцем на расплывшуюся в знойном воздухе линию горизонта. Марево, подрагивая, как ртуть, дымчатыми волнами стелилось в воздухе.

— Видишь, апа? Вон там, вон там, левее…

Только теперь женщина увидела: что-то коричневое, неопределенной формы движется в знойном мареве. То похоже на двугорбого верблюда, то на вытянувшегося в стремительном беге скакуна.

— Что за чудо? — невольно вырвалось у женщины. — Верблюд… Нет, вроде бы конь…

И вдруг коричневое существо, очертания которого смутно угадывались в раскаленном воздухе, стало подниматься, превратилось в точку. И мать и сын тотчас догадались: да это же тот самый коршун. Оба разочарованно вздохнули: ждали необычного — и обманулись.

Неожиданно до слуха донеслось дребезжание колес. Путники всполошились, — радостно вскочили.

— Арба!

— Ну-ка быстрей… Быстрей, сынок…

По бежать не надо, — арба, которую тащит рыжий с обвисшим брюхом конь, сама приближается, подпрыгивая на ухабах. Слышится унылый, напевающий какую-то тягучую мелодию голос, но самого возницы из-за коня не видно. За арбой тянется шлейф пыли.

— Апа, он сюда свернул! — радуется мальчик.

Женщина боялась, как бы арба, дойдя до развилки, не свернула в другую сторону. Сын, оказывается, тоже следил за этим.

Рыжий копь, пофыркивая, вертит головой, отмахиваясь от мух.

— Тпру-у… божье созданье!

Из-за крупа лошади выглянул краснолицый, с бороденкой торчком старик, в фуражке с широким, в локоть арбуза козырьком, уцепился сухой рукой за перекладину, из-под нависших густых бровей смотрят желтоватые с темными крапинками глаза, а вокруг них разбегаются добрые морщинки. Поверх пиджака на старике брезентовый плащ.

— В добрый путь, дочка!

— Здравствуйте, дедушка! Но узнали меня?

Старик растерянно заморгал:

— Нет, не припомню, милая…

— Сестра Мошана.

— Е-е, у него же зять скончался в прошлом году.

— Да, я вот и есть вдова, — горестно сказала женщина. Голос ее дрогнул. Поняв, что мать расстроилась, а разговор толком еще и не начался, мальчик с тревогой одумал: "Наверно, не уговорит его..."

— Что же вы стоите? А ну-ка!

Женщина поставила чемодан к заднему борту арбы и села, заслонив сына от солнца. Подобрав вожжи, старик хлестнул коня:

— Н-но, божье созданье!

Арба, грохоча, покатилась по дороге. Вокруг бесконечная степь. Старик повернулся к женщине:

— Как это вы решились? В такую жару, с ребенком... Женщина не ответила, только улыбнулась грустно.

— Мошан ведь гуляка. Как бы не укатил на центральную усадьбу. А невестка — с детьми, да еще за стадом приглядывает вместо Мошана. Все успевает. Степенная. Мошан — не чета ей. Пустомеля.

Арба съехала на другую дорогу, всю в выбоинах и рытвинах. Разговор на время смолк. Каждый раз, когда арбу подбрасывает, спицы в колесах,

высохшие и потрескавшиеся под дождем и солнцем, скрипят и мяукают…

Солнце все печет и печет. Обжигая лоб, проносится суховей, будто сидишь перед жаркой печкой.

— Апа, апа… — мальчик нетерпеливо тычет пальцем, показывая на снующего вдоль дороги суслика, — мышь…

— Это суслик, сынок…

Старик улыбается:

— Видать, что сын нефтяника, не здесь рос.

Едва различимо вдали показалась юрта.

— А вон и Мошанов очаг!

Старик хлестнул коня.

* * *

Мошан ни свет ни заря смотался на центральную усадьбу колхоза и только что вернулся. Зашел в юрту, забурчал:

— Эти алгабасские колхозники рехнулись просто. Каждый божий день пирушки. Разинут рот до ушей, все им нипочем. Так чего же они надо мной хихикают? Живу себе в чистой степи, воздух, кумыс… Говорят, что я похож на домашнее животное… А на какое? На кэзла? На лошадь? Ну, и насмешники! Не зря говорят, что в этом ауле

собаки не лают, а брешут. Очень верные слова…

Ржавые усы Мошана топорщатся, под коротким носом шевелятся, как у кота. "Ишь чего придумали! Домашнее животное! И почему похож? Подбородок как подбородок, — разглядывал он себя в зеркальце, — шея… немного подвела, правда: как у доброго поросенка!" Мошан смутился, — показалось, что домашние слышат его бормотание. Поднял голову, воровато огляделся. Совсем забыл, что в доме, кроме него, никого нет. Успокоившись, прилег. "И в самом деле — рот широкий, как подол у юбки, за каждой щекой будто по гусиному яйцу. И впрямь — животное…" — заключил он подавленно.

И что за жара нынче! Хоть солнце и село, а все равно духота… Ему вдруг стало неловко, что жена целый день вместо него ходит за стадом. Он вспомнил, как долго распивает чай по утрам, как без всякого повода придирается к женщине. И всегда Канипа уступает, подлаживается к нему. Нынче хотела что-то сказать, да, увидев нахмуренные брови, раздумала.

— О, кровопийцы гнусные! Сгиньте! — Мошан схватил полотенце и с ожесточением начал отгонять мух. После их укусов зуд нестерпимый.

Вытер полотенцем взмокший лоб, а. мухи снова

загудели, закружились.

— Коке! Коке! Арба! — раздался с улицы голос маленькой дочки.

Лениво потягиваясь, он пошел к выходу. Тело затекло, ноги покалывало. Подождал, пока пройдет боль, и только тогда переступил порог своей пятикрылой юрты. У выхода с ним чуть не столкнулась пятилетняя дочка с тоненькими, как плетки, косичками.

— Осторожней, Гульжан! — Мошан погладил дочку по голове. Он уставился на арбу, показавшуюся из лощины, услышал оживленный голос верхового на темно-гнедом коне, едущего рядом с арбой. "Кто это? Порази меня всевышний! Мерещится мне, что ли? Это же на коне Канина! В пути встретились, наверное".

— Коке, к нам мальчик едет!

— Вижу, Гульжан, вижу.

— И дедушка Даулет!

— Он-то откуда взялся? И верно — арба его...

Мошан торопливо поправил воротник рубашки и пошел навстречу гостям.

* * *

Повадки Мошана хорошо известны Канипе. Сперва будет гостеприимным, щедрым, сердеч-

ным, но пройдет несколько дней — так изменится, что гостю впору провалиться сквозь землю. Брови нахмурены, кошачьи усы под вздернутым носом сердито топорщатся. То и дело грозно покрикивает: "Эй, жена!". Гость, конечно, обижается.

Раздосадованной Канине остается только шипеть: "Глаз из-за тебя поднять стыдно, из-за твоего собачьего характера!"

На следующий день после приезда сестры Мошан сказал:

— Телеграммы к нам вовремя не приходят. Когда вы с поезда сошли, я был в колхозе. Видел там почтальоншу, но она мне ничего не сказала.

Мошан сидит на торе — почетном месте. На нем — вельветовые коричневые штаны, воротник белой рубашки расстегнут, на ногах — полосатые носки. От выпитой вчера "горькой водички" под глазами набрякли мешки, лицо в красных пятнах. Он полулежит, подмяв под себя пуховую подушку. "Сказал бы что-нибудь ласковое, ободряющее сестре и племяннику. Да и слов-то у него таких нет", — огорчается сидящая у самовара Капипа.

У ног Мошана — девочка, дочка. Напротив него — Ержан. От горячего чая приезжий мальчик разомлел. Мо-шан недовольно сказал жене:

— Эй, жена! Что ты наливаешь? Это же вода,

а не чай!

— Только что заварила. Не ворчи.

Сдвинув брови, Канипа сняла крышку с белого чайника, насыпала заварки. Поставила чайник в горячую золу на кусок жести.

На скатерти — баурсаки и карамельки в разноцветных обертках. Тут же, в деревянной чаше, свежая сметана. Две миски с дымящимся жирным мясом, только что нажаренным.

— Ешьте. Не глядите на меня. Ержан, "Гульжан, а вы чего, ждете? — обратилась Капина к племяннику и дочери, взглядом указывая на мясо.

Напившись чаю, поев баранины, Мошан попросил у жены спичку. Поковыряв ею в зубах и, поерзав на месте, спросил:

— Эй, парень, в этой суматохе я и не поговорил с тобой. Как учеба?

— Хорошо, дядя, — несмело ответил мальчик.

— Что такое хорошо? Четверки и пятерки? Или круглые, как лысина у старика Даулета, тройки?

Приподняв кошму, в юрту вошла мать мальчика и села возле сына. Улыбаясь, перевела взгляд на брата.

— В перемежку, — отозвался Ержан.

— А вот наши Дания, Жания и Сауле дружат только с пятерками. Хорошо учатся. Поэтому и

повезли их путешествовать по разным городам, пусть посмотрят.

— Не хвались, старик, — засмеялась Канипа. Крупное ее тело заколыхалось.

— А чего? Ну-ка сравни наших дочерей с сыном человека, который вырос в нефти и мазуте.

— Эй, старик! Не забалтывайся! Знай меру.

— А что я сказал такого?

— Шутить тоже надо с умом!

Канипу одолели раздумья. Чего это он так расхваливает дочерей? Обидно, что сына нет? От жалости к мужу и себе у нее защемило сердце.

— Чего замолчала, а, Канипаш? — спросил жену Мо-шан.

— Надо соседей пригласить, а то скажут, что скрыл гостей, не позвал на чай. Мужчины, что вы расселись тут?! А ну-ка, собирайтесь, да поживей!

— Верно, верно, жена, правильно говоришь, пристыдила нас!

— А то как же! Кони застоялись уже. Кончайте чаевать.

— Ты как, Ержан, а? — засуетился Мошан.

У Ержана еще не прошла обида на дядю. Когда тот вышел, мальчик украдкой взглянул на мать. Он понимал: ее тревожит, что. сын такой взъеро-

шенный, хмурый, она во время еды всячески давала понять, что недовольна его поведением. Глубоко вздохнув, мальчик пошел к двери.

Мошан уже успел привести и оседлать коней. Длинногривого рыжего коня передал Ержану и легонько подсадил парнишку в седло. Похлопав по спине, сказал: "Вот сейчас ты настоящий джигит. Крепко сидишь, — молодец!"

Ержан забыл о своей обиде. Душа ребенка восприимчива к теплому слову.

...Тихонько похлестывая коней, едут они вдоль оврага, заросшего густым кураем. День чистый и жаркий. Ержан, защитившись ладонью от солнца, разглядывает окрестность, радуется белогрудым ласточкам, которые мелькают перед лошадьми.

— Дядя, а почему ласточки от нас не отстают? — спрашивает мальчик, подъехав к Мошану стремя в стремя.

— Видишь: мух над нами полно? Ласточки их ловят. Поэтому и не отстают.

— Дядя, а что это? Дом, что ли?

На краю обрыва прилепилась, зияя проемами окон и дверей, пустая мазанка. Перед ней куча мусора. Как волчьи зубы, торчат повсюду бревна и подпорки. Вероятно, здесь был загон для скота.

— Старая зимовка. Ненасытный Казабек. Вот ведь скряга, — нахмурился Мошан, — даже сараюшку и ту разобрал и увез. Боится, что его гнилой камыш кто-нибудь украдет…

Заброшенная, полуразвалившаяся мазанка осталась позади, а Ержан все еще оглядывался. Какой-то неизъяснимый страх нагнало на него это разрушенное строение. Вокруг тишина. Он почувствовал, что сидит весь сжавшись, вцепившись в переднюю луку седла. Разжал затекшие пальцы и взглянул на Мошапа.

— Еще недавно мы были соседями, — задумчиво сказал тот, — юрты поставили рядом. Угощались друг у друга. И в мыслях не было ничего дурного, да… Но однажды вечером он прискакал ко мне, что есть мочи нахлестывая коня. "Что с тобой, Казабек?" — спрашиваю. Не слышит. Ноздри раздуваются, говорит: "В твою отару забрели два моих ягненка. Верни или плохо будет!" — "Ой-бай, — говорю, — дорогой, пусть хоть рассветет". А он бранить меня… Ладно. У твоего дяди тоже характер не сахар. Схватил я коня под уздцы, всадника в момент вышиб из седла. Ох и отлупил же я его…

— А в чем же его. вина, дядя?

— Как это в чем? В том, что он задел мою

честь, — растеряно заморгал Мошан. — Непонятно, что ли?

— Он же приехал за своими овцами!

— Тьфу, прости господи, ты совсем оболтус!

И Мошан стегнул коня. Гнедой легко взял небольшую сопку. Ержан, нахлестывая своего рыжего, догнал дядю. У подножия сопки голубело озеро с высокими, сплошь в траве берегами, на которых паслись овцы. На коне восседал мужчина в белой рубашке и громадной соломенной шляпе.

— Как здесь красиво, а? Дядя, можно искупаться? — глаза у Ержана загорелись.

— Что ты… Какое купанье? Еще чего выдумал! — ответил Мошан и вдруг воскликнул: — Да это же Казабек! Это он!

Невзрачная коняга под чабаном навострила уши и заржала. Парень обернулся. Лицо его расплылось в улыбке. Ширококостный, крупный парень. Как это дядя ухитрился его отколотить? Ержан был удивлен и где-то в глубине души горд за дядю.

— Как здоровье, Казабек? — крикнул Мошан едущему к ним чабану.

— Хорошо, Мошеке, а ваше?

— Тоже неплохо. Живем по-прежнему.

— Пусть дорога ваша будет удачной! — Поравнявшись, парень протянул руку Мошану.

— Познакомься, Казабек. Племянник мой. Сын Барака, твоего односельчанина. Завтра к обеду давайте к нам. Не забудь жену и детей. Ержан! Это один из лучших джигитов рода толенгитов. Бесшабашный, бескорыстный. Последнего коня отдаст, если попросишь.

— Расхваливаете вы меня, Мошаке, не по заслугам.

— Ладно, ладно! В первый раз тебя видит, пусть знает. Говорю, что есть, ничего лишнего.

— Знавал я отца Ержана. Умный был человек, что и говорить. Все мы вместе его одного не стоили.

— Учтивый ты человек, Казабек. Ладно, ладно, не суетись! Покойный, пусть земля ему будет пухом, горяч был. Нефтяник.

И Мошан хихикнул, но Казабек не поддержал его.

— Зять ваш, потому и говорите так, строго, — сказал он, чувствуя себя неловко перед мальчиком.

— Ждем вас, Казабек. Прощай!

Они заехали еще к нескольким чабанам. В дороге Мошан хулил их всячески, говорил, что просто

вынужден их позвать. Потому Ержан, хотя дядю и его встречали дружески, глядел на новых людей отчужденно. И совершенной неожиданностью явился для него крик дяди: "Это еще что, бестолковый какой! Дикарь неотесанный! Знаешь, кто перед тобой? Очень большой человек — Герой Социалистического Труда".

Не зная, что ответить, Ержан был потрясен таким двуличием. На обратном пути, не выдержав, хмуро сказал:

— Дядя, а вы — подлиза! За глаза ругаете всех, а в лицо расхваливаете. Мой отец так не делал.

— Ты что, совсем спятил? — Мошан не ожидал такого. — Какой мальчишка нахальный!

* * *

Иногда кажется, что степь похожа на человека. У нее тоже свой характер. Сегодня, после вчерашнего зноя, она вроде бы присмирела. По небу плывут легкие перистые облака, дует свежий, прохладный ветерок. Не хочется сидеть в юрте в такое время.

Гости Мошана, приехавшие семьями, устроились в тени на подстилках и одеялах. Ержану грустно. Прильнув к матери, он тоскливо смотрит вокруг. У очага перед юртой запевает свою

песенку знакомый желтый самовар. Чуть поодаль крутятся два вислоухих, со свалявшейся шерстью пса.

— Эй, племянник, почему не играешь? — Мошан уже изрядно выпил и захмелел. — Разлегся, будто бы сын шаха.

— Что ты к нему вяжешься? Ребенок ведь… Ему, наверно, интересно послушать наши разговоры, — покачал головой Даулет.

— Весь в отца…

Мошану вспомнились слова мальчика: "Мой отец так не делал".

— Плохой у тебя был отец! — Мошан в упор глядел на Ержана. — Аллах обидел меня таким зятем. Э-ей, племяш, хочешь, я назову своего пса именем твоего отца? Хочешь? — Мошан хохотал, обнажив крупные желтые зубы.

Гости испуганно и недоуменно переглядывались. Молчали, не веря своим ушам. Знающие цену слову понимают, что такая "шутка" может до многого довести человека.

Мальчик со слезами на глазах вскочил с места.

— Ну, племянничек, что теперь скажешь? Барак, Барак, на, на! — закричал Мошан, повернувшись к собаке. Та подбежала. Ержан, вздрогнув, закрыл лицо руками и бросался в юрту.

— Ты что, обалдел, Мошаи? Позор какой! — тихо сказал Даулет, с трудом поднялся, собираясь идти за мальчиком.

И тут из юрты, неловко держа двустволку, выскочил Ержан. Канина увидела, что палец его лежит на курке, и вскрикнула. Вмиг протрезвев, Мошан побелел как полотно.

— Племяш… племяш… Что ты, милый? Я же пошутил… Племяш…

Мальчик молчал, стиснув зубы. Не дойдя трех-четырех шагов до Мошана, остановился. Игравшие на лужайке дети замерли.

— Ержан, жеребеночек мой! — Опомнившись, мать первая с криком бросилась к нему. — Не обращай на него внимания, он же пьяный.

Грохнули два выстрела. Мальчик швырнул ружье на землю и с криком "апа!" кинулся к матери, уткнулся лицом в ее платье. Когда рассеялся пороховой дым, все увидели, что на зеленой траве бьется раненая собака. Рядом с нею стоял Мошан. Зубы его выбивали дробь.

— Правильно говорят: жилы — не пища, племянник — не родственник… Это, это же… зверь! — Мошан ощупывал себя, словно не веря, что остался цел.

Все вокруг осуждающе молчали. Старый Даулет

с укоризной и жалостью смотрел на рыдающего, прижавшегося к матери Ержана и сокрушенно качал головой.

Не глядя на Мошана, гости стали расходиться.

Перевод Е.Усыскиной

ДУКЕНБАЙ ДОСЖАНОВ

Членом Союза писателей СССР Дукенбаем Досжановым за последнее десятилетие написаны романы, тепло встреченные Критикой, "Трудный шаг", "Шелковый путь", "Большая река". Им написано также немало повестей. Произведения А, Досжанова переведены на русский, немецкий, польский и другие языки.

ПРОВОДЫ
Рассказ

Старики и старухи с утра спешно выехали на той в соседний аул за перевалом. Чабаны еще не спустились с гор. Сауран лежал ничком на старой узорчатом кошме в пропахшей землей и сыростью мазанке и читал книгу. Читал, должно быть, долго: уже и в груди выло и ломило в висках. Тихо скрипнула дверь, но он не поднял головы. Лишь когда робко постучали, оторвался от книги, хрипло протянул: "Да-а!"

В мазанку хлынул яркий поток лучей, точно окутанная им, вплыла девушка, тоненькая и

гибкая, как тальник на берегу реки. С радостным изумлением узнал он ее. Магрипа! Выросла и расцвела нежно, точь-в-точь недавно оперившийся лебеденыш. Он слышал, что она собирается ехать в город учиться. Глаза Саура на разбегались. В ее густых смоляных волосах — блеск. Видно, только что выполоскала и заплела их в тугие косы. Личико чистое, пригожее, как озерцо в степп. Сауран отвел глаза и тут же увидел ее вновь, сбоку, в большом круглом зеркале на столе. Лоб высокий, выпуклый, нос прямой, чуть-чуть вздернутый кончик. Полные губы вздрагивают, как лепестки тюльпана при дуновении ветра.

— Я приглашаю вас на бастангы[29], — улыбнулась она.

Бастангы — добрый старинный казахский обычай, сложный ритуал. По обычаю — приглашает непременно девушка.

Магрипа, смущаясь, присела на краешек кошмы. Это как бы первое условие игры, зачин ритуала. Спешка здесь предосудительна. Ворваться в дом, пригласить с порога, словно на похороны или обыденную пирушку, и удалиться восвояси — просто неприлично. Сауран догадался, что с

[29] Примечания: 29

Бастангы — угощенье, устраиваемое молодым девушкам и парням по случаю отъезда кого-нибудь из старших.

этой минуты и он должен следовать всем неписаным правилам древнего обычая. Он быстро сел, поджав ноги, закрыл и обложил книгу, одернул рубаху, застегнул верхние пуговицы. Приосанился, точно молодой орел перед взлетом. Близость кроткого лебеденыша смущала.

— Пожалуйста, приходите. Наш дом — второй от конца. улицы…

Нельзя же сидеть, как истукан. Этак и девушку вспугнуть немудрено. Вспугнешь — вспорхнет, улетит. Сауран вскочил, бросился к стенке, где на большом гвозде висел его костюм, пошарил в карманах. Кончиками пальцев протянул девушке хрустящую красную бумажку.

— Мой вклад в бастангы.

Так требует обычай. Каждый вносит посильную долю в пиршество. Она, кстати, никем никогда точно не определяется.

Девушка приняла деньги. На смуглых щеках ее вспыхнул, заиграл румянец. Ресницы смущенно затрепетали. Сауран едва не спросил: "А кого еще приглашаете?" Но вовремя спохватился. Спрашивать об этом не положено, да и девушка все равно бы не ответила. Кто приглашен на бастангы, остается тайной до тех пор, пока не соберутся все гости.

Магрипа легко поднялась. Продолжая улыбаться, отступила к двери, у порога чуть поклонилась и бочком выскользнула на улицу. В каждом ее движении чувствовались учтивость и такт. В мазанке будто посветлело. Казалось, гостья все еще здесь.

Сауран подошел к зеркалу. Голова сладко кружилась. Он улыбнулся своему отражению и подумал: "Надо же! В степях Косуенки колобродят не только шальные смерчи, здесь обитают, оказывается, и дивные девы! Какая улыбка!.. Какой румянец на ее щеках!..

Побрившись, он надел свежую сорочку, почистил ботинки.

Был полдень, когда он вышел из дома. Петух с набухшим красным гребнем, с нахально вытаращенными глазами взлетел на дувал, захлопал крыльями и, надрываясь, прокукарекал, расколов застойную аульную тишину. Пес, дремавший на солнцепеке, вскинулся, покосился недовольно на возмутителя спокойствия и тут же вновь завалился на бок.

Дом Магрипы Сауран увидел издали. Из трубы жидкой струйкой тянулся дымок. "Должно быть, тетушка Жулдыз с утра хлопочет, к бастангы готовится", — решил он.

Жулдыз-женге встретила его у двери.

— Да будет благословен ваш праздник!

— Спасибо, деверек!

Когда приглашают на бастангы, хозяин или хозяйка обязаны первыми переступить порог, как бы указывая гостю дорогу. Сауран вошел вслед за тетушкой Жулдыз, про себя отметив, что раздобрела она, пышной и гладкой стала, вон и бедра под тесным платьем упруго вздрагивают. А помнил он ее тонкой, плоскотелой молодкой, гибкой, как прут, из которого гнут унину для юрты.

Жулдыз распахнула дверь гостевой комнаты. Сердце Саурана заколотилось. Он приготовился увидеть полную комнату разодетых, разнаряженных девушек и молодок, приглашенных на бастангы, но в доме не было ни души. Посредине белела атласная скатерка — дастархан. Он был пока пуст.

Сауран скинул туфли у порога и пошел в носках по плотному, податливому ворсу ковра.

У стены напротив двери были разостланы для гостей войлочные подстилки, а поверх них — стеганые атласные одеяльца. Все было чистым, новым, с иголочки. Войлок из верблюжьей шерсти туго вздымался, скрывая ажурные стежки.

— Проходи, проходи, — вежливо приглашала

Жулдыз.

Сауран, соблюдая приличие, скромно присел с правого края.

— Вот тут мне будет, пожалуй, удобно…

Жулдыз улыбнулась белозубой улыбкой. Настоятельно попросила:

— Нет, нет, деверек. Усаживайся повыше. Сегодня ты для нас — самый дорогой, самый почетный гость. Отец нашей дочери уехал в центр. У него, что ни день, то совещание. Вернется поздно. Мы узнали, что ты один, скучаешь, а завтра Магрипа, да и ты, уезжаете из аула, вот и надумали мы устроить маленькие проводы. Так сказать, бастангы.

— Напрасно беспокоились…

— Аул наш — казан наш. Так ведь говорят, деверек? У нас не принято гостя спрашивать, приглашать его или нет… Не осуди уж…

Она тихо рассмеялась, опять блеснул ровными белыми зубами. Верно сказано: у росписной чашки краски блекнут, а узоры остаются. Драгоценный металл и ржа не берет. Другие детей нарожают — о грязный подол спотыкаются, ходят замызганные, распатланные. Совсем не такая тетушка Жулдыз. И дочь воспитала — хоть в рот клади, — сладко. И сама, как картинка.

Сауран потер пылавшие щеки. Чертова бритва! Три шкуры с себя содрал, пока щетину соскреб. Снял пиджак, поискал, куда бы повесить. Вошла Магрипа…

Ранней осенью созревает, наливаясь солнечным соком, темно-коричневый туркестанский виноград. Кажется, вот-вот сорвутся тугие грозди от малейшего дуновения. Их щедро ласкает солнце, поливают, смывая пыль, дожди. И поблескивает виноград, манит, взор притягивает. Со спелым виноградом, дождем омытым, только и мог сейчас сравнить Сауран Магрипу.

— Не нарушайте обычая. Дайте, я повешу.

Это тоже входит в правила бастангы: за юношей ухаживает девушка. С того момента, как он входит в дом, она ни на мгновение не оставляет его без внимания. Принимать гостя — большое искусство.

— Чувствуйте себя как дома. Не стесняйтесь.

У Саурана подкосились ноги. Он неуклюже опустился, поджав их под себя. Магрипа подкинула ему под бок пуховую подушку. Развалиться перед девушкой он, однако, не решился и продолжал сидеть прямо, точно кол к спине привязали.

Атласный дастархан все еще не был накрыт.

Магрипа захлопотала, заспешила, забегала из

гостиной в кухню с широким медным подносом. Сначала принесла большую белую чашу с горой винограда, крупного, чисто вымытого, спелого до прозрачности. Сауран наклонился и увидел в каждой виноградине, точно в зеркале, свое отражение. Потом Магрипа появилась с пышными, румяными пончиками-баурсаками. Обжаренные в бараньем сале, они источали приятный дух, щекотали ноздри. В маленьком глиняном кувшинчике тускло поблескивал янтарный мед, в плоской чаше, вырезанной аульным умельцем из урючины, дышали свежеиспеченные лепешки. В глубокой миске с посеребренным ободком лежали тонкие ломти засахаренной дыни. Магрипа потянулась через весь дастархан, чтобы поставить две тарелочки с изюмом и сушеным урюком. На мгновение перед его глазами промелькнула тонкая девичья кисть, и он вздрогнул, застыл, уловив, почувствовав на себе девичье дыхание.

Девушка одна, без посторонней помощи, накрывала дастархан, красиво расставила все блюда и яства.

С улицы донесся приглушенный женский смех. Казалось, позванивали позвякивали серебряные монеты. Вошла молодая жена Койшеке, неся в руках расписанную чашу с чем-то запашистим,

дымящимся. Магрипа приняла чашу, поставила на дастархан. Это был свежий творог из овечьего молока, хорошо размешанный, снежно-белый, вязкий.

— Боже! Наконец-то и мне суждено увидеть моего баловня-деверя, — заметила насмешливо чабанская жена.

— Да принесет бастангы вам радость, женеше!

— Смотри, как льстить-то научился! Сладко говоришь, джигит. Небось, не одной красотке голову вскружил, а?!

— Шутки моей женеше — как дубинкой по голове, — заметила Магрипа, смягчая резкость слов гостьи.

— Что, выгораживаешь молодца?.. Ну-ну, знаю я вас! В два счета сойдетесь…

Сауран решил скорее перевести разговор на другое.

— И дом в горах, и отара в горах. Когда же вы умудрились творог сварить? — сказал он.

— Э, ради удовольствия посидеть рядышком с таким милым льстецом что не сделаешь?! Вот и примчалась сюда чуть свет. Разве без меня обойдется? Аульные чумазые бабы непременно что-то сделают не так.

— Как же Койшеке вас отпустил? Неужто не рев-

нует? — шутливо полюбопытствовала Магрипа.

— Э, нет! Он убежден, что лучше его на свете нет. Сам же и овец доить помог, и лошадь пригнал да оседлал, и проводил до полпути.

Сауран отметил про себя, что творог приготовлен из густого, жирного молока казахской овцы. Творог из козьего молока обычно жидкий, долго не густеет, а из коровьего молока — желтый, суховатый. Чабанская жена, должно быть, заквасила молоко недавно, притом положила совсем немного закваски, чтобы не горчило, и варила неспеша, на медленном огне, тщательно отцедила сыворотку. Сауран осторожно попробовал, а потом не удержался, зачастил ложкой, даже языком причмокнул. Магрипа чуть улыбнулась, чтобы не смутить гостя, сделала вид, будто ничего не заметила.

Вошла жена директора, толстушка Сулу, с деревян-ным блюдом, покрытым чистым белым платком. Магрипа и на этот раз кинулась навстречу, приняла блюдо и озадаченно застыла у дастархана, соображая, куда ставить. Сухопарая молодка, жена Койшеке, быстро сдвинула тарелки, чашки, миски, освободила место посередине, и Сулу торжественно сбросила платок, прикрывавший кушанье. Все увидели опрокину-

тый медный таз, а когда приподняли его, густо повалил пар, и острый, сочный дух тушпары ударил в ноздри. Тушпара — это нечто похожее на пельмени, манты и самсу одновременно. Тонко-тонко раскатывают тесто, разрезают его на квадратные кусочки, с одного края кладут ложку мелко нарубленного и крепко поперченного мяса и лепят небольшие комочки. Ровные, круглые, дымящиеся, лежали они в деревянном блюде, точно утиные яички. Сквозь тесто виднелась красноватая начинка.

— Оу, бедняга, с тобой, видно, муж не спит! Смотри, как тебя распирает… Лопнешь!

Чабанская жена любила позубоскалить над располневшей сверстницей. Та тоже в долгу не оставалась.

— А на тебе Койшеке, видать, верхом ездит, отару пасет. Несчастная, одни глаза да скулы…

Магрипа, смутившись, выскользнула на кухню.

На пороге показалась хозяйка дома. Внесла разбушевавшийся самовар, поставила с края дастархана на медный поднос. Самовар посвистывал на все лады, тонкой струйкой витал над ним горячий пар. Хозяйка пошутила:

— А я-то думала: туркестанские торговки с ба-

зара невзначай нагрянули… Оказывается, вы тут шумите! Ну, придвигайтесь, присаживайтесь. Поближе, молодка, к гостю садись. Не стесни его только! Чай разливать будет моя дочь.

Магрипа принесла чайник-заварник, настоявшийся на саксаульных углях. Сауран понимал: разливать чай на бастангы — серьезное испытание для девушки.

Она присела рядом с самоваром, вернее, опустилась на одно колено, поджав другую ногу под себя. Оправила длинный подол белого шелкового платья; Тугую косу, покоившуюся на груди, привычным движением откинула назад, за плечо. Глаза разгорелись, на щеках вновь проступил румянец. Все невольно залюбовались девушкой.

— Ну, что вы глаза пялите? — заметила Жулдыз. — Сглазите еще мою девочку!..

Магрипа разливала чай старательно и умело. Все чашки наполняла ровно, и женщины это сразу заметили и оценили.

— Вот так воспитываем, растим, на руках носим, лелеем, оберегаем… — сказала Сулу.

— А плод наших трудов сорвет кто-то другой, — подхватила сухопарая молодка. — Попадет лебедушка в когти коршуна, и помнет он ей перья, а то и в клочья раздерет.

— Не пугай! Моя дочь учиться поедет, большим человеком станет, — перебила ее Жулдыз.

— А… вон оно что! А я гадала-думала, с какой стати бастангы. — Сулу обрадовалась своей догадке. — То-то же так похорошела твоя дочка в последнее время…

— Да-а… Вот вместе с деверьком я и отправлю её завтра в столицу.

— Значит, сама толкаешь ее в пасть волка! — деланно испугалась сухопарая молодка.

Стало неловко. Сауран заговорил о чем-то невпопад, сконфузился, робко глянул на девушку. Она тоже смотрела на него большими, невинными глазами. Казалось, вот-вот из них брызнут слезы. Он торопливо подал ей чашку. Сколько бы она ни наливала, цвет чая оставался неизменно темно-коричневый, и это женщины тоже оценили по достоинству.

Сауран ополовинил творог в чаше и принялся за тушпару. Во рту точно пожар вспыхнул — столько перца и чеснока в мясной начинке. Он ел еще и еще, чувствуя, как запылало внутри, а на глаза навернулись слезы. Ай да тушпара! Чтобы хоть как-то унять пылающий жар, он бросил в рот несколько виноградин. Пот прошиб его, и девушка поспешно встала, принесла ему махро-

вое полотенце. Вытирая лоб, шею, лицо, юноша с досадой подумал: "И чего я так набросился на еду, будто прибыл из голодного края? Срам какой! Мне бы приятную беседу затеять, шутки шутить, а я уплетаю за обе щеки и черным потом обливаюсь. Правда, говорят, на бастангы ешь до отвала. И все же... Ай-ай-ай! Культурный, образованный человек!"

Он повесил голову со стыда и принялся молча потягивать чай.

— Напрасно дочку взбаламутила. — Сухопарая молодка осуждающе поджала губки. — Пожалеешь потом, ой, как пожалеешь. Да поздно будет! Локти кусать начнешь, выть станешь. Вот увидишь!

— Дочек лучше держать при себе, — согласно кивнула Сулу. — Сидит вот рядышком и чай разливает. Хорошо и спокойно!

Магрипа закручинилась, покусывая кончик косы. Сау-рану стало так жаль ее, что захотелось немедля заступиться, броситься на защиту. Только от кого? И как?

— Берите баурсаки, — предложила Магрипа.

Она сказала это как бы для всех, но он-то знал, чувствовал, что обращалась она только к нему. Суду пытливо уставилась на девушку, от изум-

ления выкатила глаза и прицокнула языком. Он поздно сообразил, что случилось. Оказалось, девушка забылась, черпнула мед из кувшинчика и начала по-детски облизывать серебряную ложку. Сулу нахмурилась, даже лицом потемнела. Мать тоже заметила оплошность дочери, поспешила развеять неловкость.

— Ну, что же не кушаете, гости дорогие? Деверек, ты далее жент еще не пробовал. Магрипа сама натолкла.

Жент — кушанье из толченого пшена с маслом и с сахаром — был, действительно, что надо.

После чая принесли копченое мясо. Для бастангы обычно варят огузок, долгое время пролежавший в муке. От длительного хранения мясо на тазовой кости обретает изжелта-коричневый оттенок, точно сушеный урюк.

— Прошлой осенью коптили, — пояснила Жулдыз и обратилась к сухопарой молодке: — Помнишь, ты обиделась на меня, что я не устроила в честь твоего отъезда бастангы? Теперь вот утешься.

— С тех пор, милая, могла бы раз пять провести бастангы. Но ты, скряга, боишься все, что обеднеет твой толстошеий муж…

Заважничала сухопарая, все продолжала из

себя обиженную корчить. Толстушка Сулу тоже огонька подкинула:

— Одно название — что в нашу честь, а вся — услада достанется ученому джигиту.

Сауран придвинул ей дымящийся огузок.

— Тазовая Кость — вам! Пожалуйста, полакомьтесь. Толстушка вспыхнула от удовольствия, приняла дар.

Это Древний обычай: тазовую кость дают самому почетному гостю. Сулу игриво рассмеялась:

— А ты хитер; ученый джигит! Знаю, знаю, на что намекаешь. Так уж и быть: в следующий раз бастангы даю я.

— Таков обычай: кто грызот тазовую кость, тот проведет следующую пирушку.

Гости повеселели. Пошел непринужденный разговор. Смеялись. Шутили. Лишь к вечеру свернули дастархан. Женщины отправились домой не с пустой посудой: Жулдыз щедро наполнила чаши разными яствами с праздничного стола. Кроме того, каждой еще досталось по дорогому платью — на память о бастангы. Посыпались благодарные, нежные, искренние слова. Все были растроганы, опьянены угощением и лаской. Разошлись довольные, умиленные. Радость в будний день душу облагораживает.

— Для тебя, деверек, мы в спешке ничего не придумали. Но подарок за нами. Сам выбери любую вещь в этом доме.

Тетушка Жулдыз провожала Саурана последним.

— Что вы, что вы! Ничего я не возьму! Не нарушу славного обычая. Угощение и внимание Магрипы для меня дороже подаренного скакуна!

Благодарно блеснули глаза, заалел на смуглых щеках стыдливый румянец.

* * *

На другой день Сауран и Магрипа выехали из аула. Скорый пассажирский из Москвы на Алма-Ату проходил в полночь. Провожал их отец Магрипы, растерянно волочил огромный чемодан, гулко топал кирзовыми сапогами. Над окошком кассы — бумажка: "Билетов нет". Отец девушки приуныл. "Ничего, — утешил Сауран. — Поезд придет — с проводником как-нибудь договоримся". Магрипа, впервые собравшаяся в далекий путь, встревоженно поглядывала то на отца, то на Саурана. Наконец, пронзая ночную тишь грохотом и лязгом, примчался поезд, и перрон точно вздыбился. Они, толкаясь, побежали вдоль состава, стучались в закрытые вагоны.

Проводники что-то не показывались. Лишь перед самой отправкой удалось подступиться к одному. Заспанный, помятый старичок в засаленной фуражке, со сломанным козырьком, зевая и почесываясь, выслушал их, небрежно бросил: "Подкинь к стоимости билета по красной бумажке — заберу". Ну, это ясно… Ворвались в вагон, втащили громоздкий чемодан, и тут же поезд дернулся, лязгнул буферами, понесся в ночь, оставив на осиротевшем перроне, на пронзительном ветру удрученного разлукой отца…

Черная ночь простиралась за окном. Проводник — старичок-сморчок голова с кулачок — пальцем поманил Саурана в свое купе.

— Что, учиться едешь?

— Отучился. На работу устраиваться еду.

Обрадовался старик, что не со студентом дело имеет. Посадил рядом, послюнявил пальцы, деньги пересчитал.

— А она кто? Сестра?

— Нет. Землячка. Поступать хочет.

Старичок хихикнул, подмигнул Саурану.

— Добавишь еще красную — дам отдельное купе. Ну, как?

Сауран швырнул еще десятку. Сморчок, голова с кулачок, потер руки, задергался весь от неожи-

данной удачи.

— Хочешь — у меня портвейн есть?

— Спасибо. Прихватил шампанское. Думал распить перед отправкой, да не успели в суматохе.

Кондуктор открыл крайнее купе. Оно и в самом дело пустовало. Сауран на мгновение вспомнил окошко кассы, унылую очередь, замусоленную бумажку; "Билетов нет". Он занял две нижние полки. Обе были застелены. Не успели расположиться, как в купе постучали. Вошел сморчок-старичок, дыхнул сивушным перегаром, поставил на столик три стакана.

— Надо же обмыть дорогу, джигит!

Сауран достал из саквояжа бутылку шампанского, расстелил газету, высыпал из кулька конфеты. Магрипа тоже села, натянула на колени подол, поправила косы. Хлопнула пробка, забулькало, запенилось в стаканах. "Счастливого пути!" — прошепелявил сморчок, расплескивая на китель пену. Выпили залпом, крякнули для приличия. И тут только Заметили, что Магрипа даже не пригубила. Старичок сморщился. "Э, милая, так не пойдет! Если хочешь, чтобы поезд не сошел с пути, — выпей!" Сауран звал, что девушке неведом вкус вина, но сейчас ему хотелось, чтобы она непременно выпила. Первый раз девчонка

так далеко уезжает из аула, пусть вино развеет тоску на сердце.

— Магрипа, не выпьешь — обижусь. Это же мой бастангы!

Девушка поверилд, Может, в дороге и такой бастангы бывает. Не отведать угощенья — грешно. Матрица вся напряглась, зажмурила глаза, с усилием выпила половину и закашлялась, головой замотала. Приятное тепло растекалось по жилам, перед глазами поплыли разноцветные круги, щеки горели. Она посидела немного, смущенно улыбаясь, и вдруг тихо сказала:

— Извините, я прилягу…

Старичок-сморчок многозначительно кашлянул.

— Ну, джигит, я пойду и к вам ни-ко-го не пущу!

И, покачиваясь, вышел.

Сауран закрыл за ним дверь, щелкнул замком. Потом Задернул занавеску, опустил плотные клеенчатые шторы, погасил свет. В темноте он нашарил постель, быстро разделся, лёг. Монотонно стучали колеса, в лад им колотилось сердце, подкатывалось к горлу. Во рту стало сухо. По животу прошел холод.

Он скрестил пальцы под затылком, закрыл гла-

за. Всплыли в памяти смуглые, топкие девичьи руки над дастарханом… Толстые черные косы то на груди, то на спине… Робкий, быстрый взгляд… Чистое, точно гладь родничка, лицо… Трепетные ресницы… Легко вспыхивающий на щеках румянец… Полные, красные губы, словно лепестки тюльпана… Сама нелепость, само очарование… "Значит, сама толкаешь ее в пасть волка!" — "Дочек лучше держать при себе. Сидит рядышком и чай разливает. Хорошо и спокойно!"

Зашумело в ушах Саурана. Открыл глаза. В щель окна проникал пучок лунного света. Он покосился на соседнюю полку, затаил дыхание.

Магрипа безмятежно спала. Под простыней смутно угадывались очертания девичьей фигурки. Странно: мрак точно расступился, развеялся. Казалось, свет исходил от ее обнаженных рук, гладкой, белой шеи, невинного, ясного лица, плотных, маленьких, точно дыньки-скороспелки, грудей, чуть приоткрывшихся в вырезе платья.

Он вздрогнул от неизведанного восторга, приподнялся на локтях и долго любовался при свете лупы девушкой… Померещились родные места — предгорье Каратау. Среди отрогов кряжистых гор притаился крохотный зеленый лужок, названный, должно быть, еще предками Куланши.

Видно, когда-то водились здесь куланы. На лужке бил ключ, образовывая горный ручей. У ручья стояла юрта родителей Саурана. Здесь он и сам увидел свет. Играл, валялся на зеленой лужайке. Пил медовую ключевую воду. Сердцем прирос к родному ручейку. Дня не мог без него прожить. Тосковал по нему в разлуке, ходил, как потерянный, как помешанный. Он всегда считал, что всему хорошему, доброму и достойному, что в нем есть, он обязан прежде всего незаметному ручейку, затерявшемуся меж скал и увалов. Все высокие желания — от него. Всё порывы — от него. Все мечты — от него. И теперь тот ручеек был рядом. Вот она — протяни только руку — его непроходящая, неугасимая любовь.

Хотелось припасть к этому ключу, вволю напиться его медовой водицы, погасить неуемный жар в груди.

Он сел на полке. Вспомнил бастангы. Только вчера все это было… Угощение в честь отъезда. Первые проводы…

Разве он посмеет нарушить красивый древний обычай? Разве он замутит чистый горный ручей?

Добрый обычай и красота — дети одной матери. Они живут всегда вместе, они неразлучны.

Нельзя омрачать красоту пошлостью, низменным желанием.

Счастливый, просветленный, просидел Сауран всю ночь на своей полке…

Перевод Г.Бельгера

РОЛЛАН СЕЙСЕНБАЕВ

Автор двух книг, последняя из которых — "Ищу себя" — вышла в 1978 году.

Роллан Сейсенбаев родился в 1946 году, Драматические произведения молодого писателя — его пьесы "Ищу себя" и "Влюбленный фараон" — известны за пределами республики.

ПАРИК
Рассказ

Не было ничего удивительного в том, что Тураш не поверил мальчишке-водовозу, когда тот, кривляясь и приплясывая перед трактористом, вопил в отдалении:

— У плешивого баба сбежала, у плешивого баба сбежала!..

Да и кто бы на месте Тураша поверил? Вечно его надували, разыгрывали и подначивали развеселые товарищи, и сейчас — вон чего придумали! — подучили, сукины дети, мальчонку молоть бог весть что! Ждите, — поверил он им, разинул варежку, Как говорится…

Тураш — высокий, нескладный парень, медлительный в движениях, рассеянный, мешковатый — нравом обладал добрейшим, простодушием неистребимым, что ужасно забавляло аульных трактористов, которые, уж конечно, не упускали случая позубоскалить над ним, выдайся для этого хоть самый малый повод. Шутки их были порой грубоваты и переходили все границы, но Тураш не обижался — не в обычаях степного братства дуться на сверстников, и тот не джигит, кто не сумеет достойно ответить на подначку товарища или, в крайнем случае, пропустить её мимо ушей, как Тураш.

А когда все началось? Да кто ж его знает, когда. Давно началось, в школе еще…

Тураш имел редкие волосы, и добрая половина шуточек началась как раз по этому поводу. К ним за много лет он попривык, но привычка привычкой, а он все же старался пореже снимать головной убор. Даже на совхозных собраниях ухитрялся сидеть в кепке — до той поры, пока ему не делали замечание.

В старших классах, когда девушки украдкой посматривают на парней, парни на девушек, товарищи не остав-ляли его в покое: какая, дескать, красотка заглядится на нашего Тураша, когда у

него на голове — охо-хо, ребята!.. И плевать им было на то, что Тураш вымахал к тому времени под небеса, перерос не только своих одноклассников, но и некоторых учителей, Да к тому же и силой отличался — пятаки гнул, дощечку ребром ладони разбивал…

Девочки насчет Тураша судили двояко. Одни не без основания считали, что "всем хорош наш Тураш, жаль, конечно, что относительно кудрей у него туговато, но что поделаешь?", другие же непререкаемо утверждали: "Парень, над которым смеются, и до старости останется вечным шутом. Какая уж с ним жизнь…"

Так получилось, что и сам Тураш ни с одной девчонкой дружбы не заводил. Успехами в учебе он тоже не блистал, относя, между прочим, факт своей низкой успеваемости опять же на счет своего рокового недостатка.

Вот почему, когда в год окончания школы почти весь класс отправился для продолжения учебы в город, Тураш остался в ауле и поступил на курсы трактористов. Всю зиму провозился он с ДТ-54, у которого и внутри, и снаружи, казалось, живого места не было, и весной машина была готова к пахоте. Сверстники его, умчавшиеся в город, бесславно возвратились в родные места,

потому что только двоим из них улыбнулось счастье поступить в институт. Долго слонялись неудачливые путешественники по аулу, щеголяя узкими брюками и "корочками на микропорке", которые были тогда в моде. И в конце-концов пошли по стопам Тураша — сели на тракторы. Однако насмешек над дружком не оставили.

Самым докучливым из шутников был Жексен. Стоило Турашу объявиться в поле его зрения, как тот кричал: "Эй, Тураке, сними кепку с головы... Дай посмотреться, а то зеркала нету!" И хохотал. Тураш по обыкновению своему добродушно улыбался и укоризненно качал головой — оставь, дескать, что привязался к человеку?

Но наивысшей высоты веселье достигало к вечеру, когда механизаторы возвращались на стан.

Кто-нибудь из юнцов спрашивал невинно: "Дядя Жексен, а вы не знаете, почему это наш Тураш-ага не поехал поступать в институт после школы?" "Не знаю, не знаю, мальчик, — вроде бы растерянно отвечай Жексен. — Никогда над этим не задумывался..." И взгляд его лукавых глаз выражал искреннее недоумение.

Разумеется, эти вопросы и ответы планировались днем, чтобы придать шуткам особую пикантность. Они выдавались с тем остроумием,

как его понимали Жексен и другие острословы. "Значит, вы не знаете, дядя Жексен?" — "Не знаю, никак не знаю", — сокрушенно отвечал Жексен. И вдруг его осеняло: "Но послушайте, — мы ведь можем спросить об этом у самого уважаемого Тураш-ага! Ведь этот уважаемый товарищ пока еще находится среди нас, а не в Совете Министров или в Академии наук". "А что, он скоро будет в Совете Министров?" — с притворным почтением спрашивал кто-нибудь. "А ты как думал! — восклицал Жексен. — Непременно". "А почему?" "Да потому, что он — умный". "А-а, он умный". "Конечно же умный, иначе разве государство наградило бы его орденом?" "А его не награждали". "То-то и оно, — нравоучительно заканчивал Жексен. — И сдается мне, что наш батыр далеко смотрел, когда не поехал в город. Там лысых и без него хватает..."

Последние слова тонули в хохоте. Наиболее смешливые чуть не падали из-за стола, а те, что посдержанней, прыскали, утирали тайком глаза, хотя и знали — смейся не смейся, а орденом Трудового Красного Знамени, за хорошую работу наградили все же не кого-нибудь, а Тураша. Тут уж против фактов не попрешь, — ордена даром не дают.

— Эй, Жексен! — окликал Тураш.

— Ау-у…

— Ты вот говоришь, что лысых в городе много, а, видать, кучерявых-то там еще больше, раз тебе институт боком вышел? Может, возьмешься за ум, полысеешь, пока не поздно, а? Глядишь, и пустят тебя в институт — хоть по коридору прогуляться…

Снова хохот. Все видят, что Тураш выиграл поединок, и парни теперь на его стороне.

— Одолел!

— Молодец!

— Припечатал, на месте убил…

Смех еще долго висит над станом, далеко разносясь по округе. Смеются трактористы, и нет покоя ночной тишине…

…А сегодня Тураш возвратился на стан в сумерках. Выпустил воду из радиатора, помылся, сел ужинать. Многие уже вышли из-за стола, а остальные почему-то молчали. Даже записные остряки и те прикусили языки.

И бригадиру Калену не надо было окорачивать эти языки, что делал обычно, когда ребята уж слишком досаждали Турашу, своими шутками. "Эй, языкастые, хватит молоть! — кричал он. — Нашли развлечение — над живым человеком насмехаться! А ну, расходитесь! Завтра вставать

рано!.."

Но сегодня молчали остряки, молчал и Кален. И вот, дождавшись, когда Тураш покончил с ужином, он сказал ему:

— Ты бы, дорогой, съездил в аул…

— Это еще зачем? — удивился Тураш.

— Съезди, раз говорю, — бросил Кален и поднялся из-за стола.

Тут-то вдруг и остановилось сердце у Тураша. Подумал: может, не зря кричал тот глупый мальчишка?

Он оттолкнул тарелку:

— Это правда?

Никто не поднимал глаз. Все они, сверстники Тураша, давно уже переженились, было у них по трое, по четверо детей, а он только-только женился…

— Это правда или нет?

Молчание. Тураш стремглав вылетел на улицу. Голова кружилась, — остановился.

— Неужели правда? — спросил он у самого себя. — Да нет, не может быть, шутят опять…

Но побежал к своему трактору.

— Бери мой мотоцикл, — раздался рядом голос бригадира.

— Это правда, Кален-ага? — Тураш ухватил его

за рукав.

— Э-эй… Езжай скорее, может, успеешь еще…

— Так правда?

— Щенок! — Кален толкнул его к мотоциклу. — Держи ключ…

Тураш завел мотоцикл, но, не удержавшись, снова обернулся к Калену.

— Каке, без шуток, правда или нет?

— Тьфу!.. Ты когда-нибудь уедешь или нет?

Взревел мотор. Кален смотрел вслед Турашу до тех пор, пока мотоцикл не перевалил через холм и, тяжело вздохнув, вернулся в свою юрту.

А Тураш и Калену не поверил.

— Моя Жанна! — вырвалось у него.

…Девушки, на которой он мог бы жениться, в ауле так и не нашлось. Некоторое время он приглядывался к учетчице из конторы, а потом и предложение сделал, не согласилась. А вдовые молодухи, готовые принять парня, не устраивали Тураша. Такой брак он считал для себя оскорбительным.

Жаннат работала на городской кондитерской фабрике и приехала сюда вместе с другими девчатами помогать в уборке урожая.

Целую неделю, как только сгущались сиреневые сумерки, Тураш и Жанна — это имя ей больше

правилось — гуляли по степи. Она была веселая, приветливая, общительная, рассказывала ему всякие презанятные истории из своей жизни. Смеясь, просила и Тураша рассказать хоть что-нибудь, но у него, и раньше-то неразговорчивого, теперь совсем ничего не находилось сказать. Дух захватывало от одного ее присутствия. Стоило невзначай прикоснуться к ней — вздрагивал, смущался… А она смеялась.

…Тихая, безмятежная была ночь в березовом леске под высокой, крутой скалой. Трава — мягкая, теплая, душистая. Они лежали и глядели в небо. Звезды, не пересчитаешь их, мерцали в вышине. Тихая, безмятежная ночь…

Жанна протянула к нему руку, он отстранился было, но когда тонкие пальцы коснулись его лица, испытал вдруг необыкновенное, незнаемое доселе чувство. Точно не кровь, а солнечный свет заструился по телу, рождая в душе нежность.

— Иди же…

— Жанна…

И ночь, и звезды, и небо, — все соединилось в этом новом для него чувстве?

— Жан-на-ат!..

Показались, наконец, огни аула. Взобравшись на перевал, он остановил мотоцикл. Кровь туги-

ми толчками билась в висках.

— Жанна! — выдохнул он. — Нет, невозможно, Жанна…

Он вытащил из нагрудного кармана замусоленную, испачканную машинным маслом пачку "Беломорканала". Из трех оставшихся в пачке папирос, лишь одна оказалась целой. Сделал две-три затяжки и поперхнулся горьким дымом.

Среди далеких огней напряженно искал глазами свое окно. Огни подмигивали, сливались в зарево.

"Не может быть! Разыгрывают, как всегда! Вот приеду и назло всем дня три из дому не выйду! Дорого обойдется вам шуточка…"

Плевком загасил папиросу, отбросил окурок.

В ауле еще не спали. Народ как раз возвращался из кино. Резкий луч мотоциклетной фары выхватил из тьмы группу парней и девушек. Тураш пронесся прямо перед ними на большой скорости.

— Псих, что ли? — крикнули ему вслед.

Вот и магазин в центре аула, поворот, еще поворот, ну вот — его дом.

Темно. Мрак в окнах. Пустые глазницы… "Жанна! Правда?" Не сразу увидел на двери громадный замок.

Охватил озноб. Бросив мотоцикл, Тураш набросился на калитку: тряс дверь, бил кулаками, пинал. Опомнился: зачем он это делает, — видел же, видел — замок! Повернул назад, поднял свалившийся на бок мотоцикл, но, ухватившись за руль, тут же отпустил его.

"Что делать? Что случилось? Не может быть. Жанна не уйдет. Жанна не такая. Но тогда где же она?"

И вдруг сам удивился своему вопросу. Где? Да конечно же — в клубе. В клубе, где же еще? Надо скорее бежать в клуб. Она там, — прибежать и сказать: "Жанна, я приехал. Идем, солнышко..."

Он пошел. Потом, не выдержав, припустил бегом. Бежал и удивлялся: "Надо же — сразу не сообразил... Конечно, в клубе, конечно, в клубе, где же еще?"

Но в окнах клуба тоже не было света. И кругом — ни души. Лишь слышны были где-то далеко голоса поющих — молодежь еще не угомонилась. Он шагнул было в ту сторону, откуда доносилось пение, но тут же остановился, замер и прижался к забору. Около магазина стояли двое. Сердце остановилось, — Жанна! Рядом с ней — парень. "Ну. вот же, говорил, что не уйдет, и не ушла", — Тураш облегченно вздохнул, вытер ладори о грудь.

"Однако кто же это с ней?" Тураш вздрогнул. Он только сейчас сообразил, что Жанна не одна, и ночь к тому же на дворе. Но настолько велика была радость оттого, что она здесь, никуда не уехала, как болтают злые языки, что ревность его не взяла.

Внезапно послышался звук поцелуя. Это было уже слишком! Тураш, не выдержав, вышел из своего укрытия. Парня он так и не мог узнать, но был готов к схватке.

— Так и будем стоять? Пошли ко мне, посмотришь, как я живу...

Тураш узнал голос нового заведующего гаражом. И тотчас оказался рядом.

— Ты что же это, молодой специалист! — схватил он растерявшегося парня за воротник, и мощные его пальцы ощутили дрожь в теле противника. Девушка вскрикнула, отпрянула в сторону. Тураш с размаху ударил завгара в лицо, и тот сразу же рухнул на землю.

— А ты, дрянь!..

Тураш повернулся к Жанне. Дрожа, она затаилась в темноте. Лишь поблескивали белки испуганных глаз. Гадина! Тураш шел к ней.

— Тураш-ага!

Он замер. Чей это голос? Это не ее голос. Это

— чужой голос. Чужой! Чужой!

— Тураш-ага, я ведь — Газиза, Газиза!

— Что?

— Газиза я, Газиза, дочка старика Аскара.

Тураш побледнел. Господи, что за наваждение?

— Газиза, это ты?

— Газиза я, Газиза, — повторила девушка.

Тураш поднял парня с земли.

— Прости, родной, что хочешь со мной делай, ошибся я, прости… — Он поднес было платок к лицу завгара, но тот отбросил его руку и с ненавистью выдохнул разбитыми губами:

— Пошел вон!

И, сутулясь, зашагал прочь. Газиза, всхлипывая, бросилась за ним.

Тураш медленно брел домой. Тот же черный замок, тот же опрокинувшийся набок мотоцикл. Зашарил по карманам в поисках табака, но, сообразив, что недавно выбросил пачку, присел на крыльцо, обхватил руками голову.

Долго сидел так в ночной тишине. Потом осторожно постучал в окошко соседнего дома.

Ночь. Не скрипнет половица, не колыхнется занавеска в окне. Снова постучал. Молчание. Снова…

— Кто там? — спросил испуганный женский

голос.

— Я.

— Кто "я"? Ждут тебя здесь, что ли?..

— Назина, это я, Тураш.

— Эге, сосед! По вдовам ночью шастать надумал, знаменитый тракторист!

Звякнул крючок, и дверь распахнулась.

— Заходи.

— Да нет, я…

— Входи.

— Ты послушай, — мне…

— Сказала же, входи…

— Мне только узнать…

— Ты войди сначала. — Она потянула его за руку. — Да заходи же скорее, господи, не студи избу.

Женщина была в ночной сорочке. Прикасаясь к парню нагретым в постели телом, вела его через темные сени в комнату.

— Погоди, сейчас оденусь и свет включу.

— Не надо свет. Ты Жанну видела?

— Видела…

Было слышно, как она надевает платье.

— Когда?

— Погоди…

Назипа зажгла свет.

— Садись.

— Где она?

— Ишь ты, нетерпеливый какой! Только и увидишь нынче мужика в доме, когда он жену свою ищет. Погоди, присядь, ты, главное, не суетись.

Она вынесла из дальней комнаты листок бумаги. Поправила волосы.

— На, читай. Баба твоя написала.

Тураш жадно ухватил листок. Буквы плясали перед глазами.

"Милый Тураш!

Извини меня. Я уезжаю. Я пошутила. Ты — прекрасный мужчина, ты — добрый, хороший, но не это главное Тураш несколько раз перечитал письмо и сам не заметил, как опустился на корточки. Он почти ничего не видел от нахлынувших слез. Назипа, не сказав ни слова, ушла на кухню, зажгла керогаз. Вскоре на дастархане появились сахар, чай, баурсаки. Тураш молчал, откинувшись к стене.

Наконец, пришел в себя.

— Назипаш, милая, — встрепенулся он. — Чего она пошутила? Она что, и впрямь уехала? Она не вернется, да?

— Неграмотный, что ли? Утерла тебе пос невеста из города…

Тураш глянул на свои заскорузлые пальцы, на пропитанную маслом телогрейку, на кирзовые сапоги. Хорош!

— У тебя кровь на руках. И на лице. Иди умойся, — сказала Назипа. Тураш глянул на руки, — действительно в крови. "Наверно, когда в дверь ломился..."

Он встал.

— Пойду я.

— Не суетись ты, умойся сначала! — Назипа принесла таз с кувшином и полила на руки теплой воды.

— Надо же — по бабе так убиваться!..

Тураш, сполоснувшись, снова залез в телогрейку.

— Ты куда?

— Домой надо.

— Домой! Сиди. Раскис, как баба. А ну, хлебника стаканчик бешеной.

— А курить есть?

— И курить найдем.

Назипа налила Турашу полный стакан водки. И себе плеснула.

— Ну, давай! Сразу полегчает, — сказала она.

— Выпить, говоришь? — Тураш вертел стакан и так, и сяк. В жизни не пробовал этой гадости.

Курить, правда, рано начал, но что касается выпивки — никогда она его не интересовала.

— Выпей, выпей, — твердила Назипа.

Он махом опрокинул стакан. Водка, точно лезвие, полоснула по горлу. Второпях схватил баурсак, внюхался в него.

— Где же твои папиросы?

— Сейчас, — Назипа протянула ему еще не начатую пачку "Примы". — Кури.

— Сигареты, а говорила — папиросы.

— Мне это без разницы, — сигареты, папиросы, — я в этом деле не разбираюсь… — улыбнулась она.

Размяв сигарету, он с наслаждением затянулся, а Назипа между тем снова наполнила стаканы.

— Это мне много, наверно? — сказал Тураш.

— Ерунда, — успокоила Назипа.

Тураш снова выпил и машинально взялся за козырек фуражки.

— Во-во, — одобрила Назипа. — Давно пора было снять…

Чуть по сказала "свой плешивый картуз", да вовремя остановилась, но захотела обижать. Тураш поерзал-поёрзал и вдруг решительно кинул фуражку на пол.

— Так-то оно лучше, — одобрила Назина. В дру-

гое время она, намекая на лысину, непременно бы съязвила: "Ну вот и в доме светлее стало". Но сейчас, конечно, не время было для таких шуток.

Тураш заметно опьянел. Лицо покрылось пятнами. Порозовела и Назипа. Села к нему поближе, загрустила.

— Назипа, а как ты думаешь, почему она ушла?

Женщина обозлилась: "Не мужик, а тряпка. Все "почему" да "почему"...

— Потому, что — плешивый, — сухо обронила она. — А девушки не любят плешивых.

— Почему, ты сказала? — напрягся Тураш.

— Ой, господи! Почему-почему... По кочану! — захохотала вдова.

Плечи Тураша поникли. Назипа оглядела его всего, жалкого, понурого, и что-то кольнуло ее в сердце. "Зря я так с ним, — подумала она. — И без того ему сейчас несладко... Приласкать лучше". И положила руку ему на плечо.

— Нельзя, Турашжан, нельзя из-за бабы убиваться. — Она гладила его по плечу, по спине. — Да ты посмотри на себя — ты ж вон какой здоровенный! Ты же не парень, а загляденье, самый сильный джигит в ауле. Вот и возьми да притащи всем на зло самую красивую девку из района...

У Тураша кружилась голова, и лесть Назипы плохо доходила до сознания.

— Давай водки еще, хочу быть пьяным, — сказал он.

— Ты не пей больше, не надо, — испугалась вдова.

— Наливай!

Назипа взяла стакан Тураша.

— И себе тоже.

— Ой, мне больше нельзя…

Тураш взял в руки грубоватую ладонь женщины.

— Ну, давай, чего ты…

Та исподлобья глянула на него.

— Ну, если только чуть-чуть, ладно?

— Ладно.

Звякнули стаканы. Тураш снова закурил, а Навипа вышла подогреть чайник.

Тураш сидел все в той же неудобной позе, привалившись к стене. Глаза его были закрыты, лицо побледнело, стало совсем бескровным. Он съежился, сник, при электрическом свете ослепительно сияла его лысина.

"Не любят, говорит, плешивых. Ну-ну! Так что же — взять веревку да пойти повеситься? На кой мне такая жизнь, если шапку с головы снять не

могу? Вся жизнь, считай, в насмешках да подковырках прошла…

"Жанна… Жа-а-ан-на… — чуть не простонал он. — Жанна, зачем ты так нехорошо сделала? Даже не поговорила напоследок. Глядишь, поговорили бы, может, обернулось и по-иному… Ты ведь у меня умница… Я бы что-нибудь придумал, мы бы вместе обязательно что-нибудь придумали. А теперь — тошно, и перед людьми стыдно… Стыдно?.. А плевать мне на стыд! Лишь бы ты вернулась, лишь бы вернулась! А больше мне ничего не надо. Ничего, понимаешь, Жанночка, ниче-го! Милая! А ведь вместо мы что-нибудь обязательно бы придумали, обязательно… Погоди, — я ведь вроде и сам знаю, что сделать! Точно… точно, я точно теперь знаю, что надо всего-то!.."

Он рванулся к двери.

— И как мне это раньше в голову не пришло? — губы у Тураша разошлись в улыбке. Назипа изумленно глянула из кухни…

— Ты что, Тураш?

— Я придумал, я придумал, Назипа! Ха-ха-ха!.. Я теперь знаю, что делать.

— Да что ты знаешь, глупенький? Ты это брось! — она вдруг порывисто обняла его. — Брось ты, наделаешь сейчас делов. Лучше переночуй у

меня, утро вечера мудренее.

— Ты что, Назипа? Я — сейчас. Я теперь знаю, что сделать.

Женщина прижалась к Турашу, уронила голову на грудь. Хмельно стала целовать ему сквозь рубаху грудь, плечи. Целовала с исступленным чувством, "проснувшимся вдруг.

— Тураш, останься, — бормотала она.

— Нет, Назипа. Ты что, Назипа? Я пойду, Назипа...

Он осторожно разнял руки, так жарко обнимавшие его. И Назипа, обессилевшая, обмякшая, едва не упала, — он вовремя придержал ее.

— Ты не сердись, Назипа, — виновато сказал он. Шагнул в комнату, поднял фуражку и, круто развернувшись, ушел.

Когда Тураш окончательно скрылся в ночной темноте.

Назипа устало присела на ступеньку. Рыдания душили ее, и она с трудом сдерживалась, чтобы не разреветься. Руки Назипы, все. еще как будто ощущали сильное мужское тело, и не находили себе места. Наконец она успокоила их на своих собственных плечах, узких и жестких, как у подростка.

А Тураш в это время уже стучал в окно фельд-

шерского дома на окраине аула.

— Кто там? — услышал он сонный голос жены фельдшера.

— Ванда, это я, Тураш.

— Что случилось?

— Разбуди, пожалуйста, Иоганна, дело есть.

— Его дома нету, Тураш.

— Что?

— Нету говорю, нету.

— А почему?

— Его на ферму срочно вызвали, к утру только будет.

Тураш засомневался.

— Ванда, а может, он все-таки дома? Он мне позарез нужен. Понимаешь? Ты меня слышишь?

— Слышать-то слышу, — сердито ответила Ванда. — Но я же тебе говорю — нету его. Езжай за ним на ферму, если позарез…

— Понял. Ты меня прости, — промямлил Тураш.

Ванда что-то буркнула в ответ, но Тураш уже не Слушал. Выйдя за калитку, он уселся на поленницу.

— Тураш упрямый, Тураш дождется, — сказал он.

Закурил было, но почувствовал горечь во рту,

смял сигарету и, завернувшись с головой в телогрейку, прикорнул тут же, на поленьях.

Проснулся от рева мотоцикла. Светало, звезды бледнели и растворялись в небе, горланили петухи.

Заглушив мотор, фельдшер Иоганн изумленно уставился на Тураша, ибо тот выглядел не блестяще: одежда мятая, лицо опухло, глаза красные.

— Да ты ли это, Тураш? — спросил фельдшер по-казахски, с едва заметным акцентом.

— Здравствуй, Иоанн!

— Ты что здесь делаешь?

— Тебя жду.

— А что случилось?

Видно было, что Иоганн зверски устал. Куртка в пыли, подбородок зарос щетиной.

— Потолковать мне о тобой надо…

— И, для этого ночь здесь торчал? Идем в дом, кисленького молодка выпьем.

— Не, если можно, здесь поговорим, у меня дело серьезное.

— Ну, давай тогда закурить;

— Держи, а я пока воды напьюсь. — С этими словами Тураш принялся ожесточенно за ржавый, насос. Набрав полведра, жадно, долго пил. Иоганн потянул его за рукав.

— Лопнешь.

— Умираю от жажды, — отдувался Тураш.

— Пил вчера, что ли?

— Было дело.

— Ты ж вроде непьющий.

— Худо мне, Иоганн. Жена ушла.

— Жена? Твоя?

— А чья же? Жанна ушла.

— А-а, Жанна…

Они присели на поленницу.

— А что сказала, Тураш? — Иоганн выпустил плотное кольцо дыма.

— Что сказала? Ничего не сказала, ушла, записку оставила, ты, пишет, добрый. А я знаю: все из-за того, что плешивый я. Плешивый! Стыдно ей! — Тураш снял картуз. — Видишь, какой я плешивый?

— Ну и что?

— Как что? Тебе, Иоганн, "ну и что", а мне волосы нужны, волосы, понимаешь? — Тураш стал лупить себя кулаком по голове. Иоганн удержал его руку.

— Ты помоги мне, Иоганн, помоги. Ты ведь хороший человек. Только ты мне можешь помочь.

— Чудак, как же я тебе помогу?

— А ты меня полечи, вот у меня волосы, и вы-

растут.

Иоганн, не выдержав, расхохотался. Был он сух, тщедушен и рядом с трактористом выглядел настоящим мальчишкой. Странная просьба Тураша так его развеселила, что он никак не мог остановиться: хохотал и утирал от смеху глаза. Тураш рассвирепел.

— Зачем смеешься? Ты врач, ты и лечи. Давай мне волосы!

Иоганн посерьезнел.

— Тураш, да ты что городишь такое? — попытался урезонить он. — Ты на себя погляди. Вон ведь какой богатырь. Мускулы — во-о! — он пощупал бицепсы Тураша. — Зверь, ей-богу! Тебе стоит слово сказать — все девчонки твоими будут.

Тураш глядел на него умоляюще.

— Иоганн, прошу тебя, придумай что-нибудь, видишь, какая у меня история.

— Тьфу ты, черт упрямый! Да если бы я умел растить волосы, разве себе не отрастил бы, а то вон гляди — тоже половины шевелюры нету, — сказал фельдшер, снимая соломенную шляпу.

Тураш не без удивления уставился на его изрядно полысевшую голову.

— Н-да, — пробубнил он после длительной паузы. — Дела, Иоганн. — И, вскочив с полен-

ницы, смачно плюнул. — Повешусь я, ей-богу, Иоганн, — пропадай все к чертовой матери.

И пошел со двора прочь. Шел, сгорбившись, уныло втянув голову в плечи. Телогрейка, зажатая в руке, волочилась по земле. "Тьфу, ты, чушь какая, — подумал Иоганн. — Богатырь, силач, молодой, здоровый, а вон как убивается..."

— Эй, Тураш, погоди, — сказал он.

Тураш остановился. Иоганн подошел к нему и положил руку на его могучее плечо.

— А ты парик купи...

— Чего это такое?

— Волосы. На голову натянешь, и — порядок.

Тураш заинтересовался.

— Так это волосы, да? А не будет заметно?

— Чего не будет заметно?

— Плеши моей не будет заметно?

— Да нет. Будет у тебя целиком прическа, совершенно настоящая будет прическа...

Тураш воспрянул душой.

— А где его взять, этот паркай? В ауле можно купить?

— Да не паркай, а парик? Записать?

— Не надо, так запомню — самонадеянно отказался Тураш. — Мне это без разницы — парик, паркай. Ты мне лучше скажи, где его достать?

— В город, наверное, ехать придется. А там по парикмахерским походить, — сказал Иоганн.

— Ой, молодец, Иоганн. Спасибо тебе…

И, схватив фельдшера в охапку, Тураш Закружил его вокруг себя.

— Отпусти, ребра поломаешь, — отбивался Иоганн. — Ты давай сегодня же и дуй в город, а то вон чего придумал — вешаться.

— Не надо теперь вешаться, Иоганн, — сиял Тураш. — Сегодня же в город! Сяду на машину — только меня и видели. Ха-ха-ха! Молодец, доктор!

От Иоганна Тураш как на крыльях летел. Остановившись у придорожного колодца, умылся студеной водой, прополоскал рот, закурил. Он был взбудоражен неожиданно открывшимися перспективами. Да, совет Иоганна был как нельзя кстати. "Попрошу у директора машину — и сейчас же в город! Отхватит Тураш себе такую прическу, что мигом все в ауле заткнутся". Поглощенный своими мыслями, он споткнулся о камень на дороге, едва не упал, засмеялся, и, не сдерживая более своей радости, весело побежал к конторе совхоза.

В приемной директора толпились посетители. Тураш, несмотря на протесты секретарши "Нель-

зя, нельзя, там люди!", прямиком направился в кабинет. В дверях он столкнулся с каким-то представительным мужчиной с портфелем под мышкой. Мужчина с удивлением посмотрел на Тураша, тот, обернувшись, пробормотал свои извинения и, не обращая больше на него внимания, протянул директору руку.

— Здравствуйте, Каке! Я к вам…

— Вижу, вижу, что ко мне, — поморщился директор, явно недовольный его бесцеремонным вторжением. — Я сейчас, одну секунду, — крикнул он выходящему человеку.

— Каке… — снова начал Тураш.

— Погоди! — директор сердито рубанул воздух ребром ладони. — Ты чего это крутишься здесь в рабочее время? Врываешься, как басмач. Почему не на работе?

— Каке…

— Сам знаю, что я Каке. Что дальше?

Тураш, не ожидавший такой вспышки от обычно добродушного директора, растерялся.

— Я к вам по важному делу…

— У нас всех сейчас одно важное дело, дорогой, а именно — сено. С сеном мы отстаем. Видел человека из района? Сейчас вот к вам едем, так что пошли, садись в машину, подбросим. Дело, дело…

Знаю я ваши дела… Идем, поехали, но дороге расскажешь, что надо…

— Да вы меня почему не слушаете-то? — обиделся Тураш.

Директор, обойдя стол, подошел к Турашу вплотную и легонько ткнул его в бок.

— Ты, дорогой, не нервируй меня. Не забывай, с кем разговариваешь…

— Я об этом всегда помню, аксакал. Потому к вам и пришел! Понимаете, это… мне до зарезу нужен парик. Отпустите меня в город. На два дня, всего на два дня. День туда, день обратно. Каке, дайте машину в город съездить, а? Век вас благодарить буду!

Директор плохо выслушал странные эти слова.

— Да ты в своем уме или нет? А ну-ка, давай собирайся в поле и хватит мне тут… разводить. На два дня ему машину… Все. Окончен разговор.

И пошел к выходу. Тураш поплелся следом.

— Женятся, женятся, понимаешь, а потом их из дому не выгонишь, — бормотал директор. — Сенокос в разгаре, а ему в город захотелось…

— Каке, неужели вы не понимаете? — Тураш опустился на стул, давая понять, что не собирается уходить из кабинета. — Вам сено нужно, а мне — жена. Ушла она от меня, ушла…

Воцарилось молчание.

— Как это ушла? Куда ушла?

— Домой. К себе домой, в город уехала, — Тураш грязным ногтем колупал обивку стула.

— Э-э, а почему? Бил ты ее, что ли?

— Да что вы!

— А что тогда случилось, почему она убежала?

Тураш молчал.

— Да говори ты! — велел директор, поглядывая на часы.

— Плешивый, значит, я… — выдавил из себя Тураш.

— Что?

— Плешивый. А ей со мной стыдно, мне так сказали.

Директор задумался.

— Ну, и черт с ней, раз такая дура, — решил он. — Ты знаешь, я тебе скажу, сынок, нужен будет муж бабе, так сама к тебе прибежит, а стыдится тебя, да черт с ней, не будет, не будет она тебе в таком случае верной женой. Присмотришь себе красавицу в ауле да и все тут.

— Вы это… покультурнее, а то "дура", "баба", — обиделся Тураш.

— Ну-ну, — урезонил его директор, — я тебе в отцы рожусь, так что ты меня слушай. Да кто она

о сравнению с тобой? Ты ведь — кавалер. Кавалер ордена, — он поднял палец. — Мастер своего дела, передовик, заслуженный механизатор. Газеты про тебя очерки пишут, фотографии твои печатают. Так или не так?

— Так, — признал правду Тураш.

— Вот, — удовлетворился директор. — А ты из-за какой-то вертихвостки нюни распустил. Тьфу! Да она поймет, какого парня потеряла!..

— Каке, — перебил Тураш. — Жанне не орден мой нужен, а муж, над которым не зубоскалят. Дайте мне машину, пожалуйста. Я потом отработаю, я день и ночь буду работать, вы ведь меня знаете…

— К жене поедешь?

— Да. Сначала парик куплю, а потом к ней поеду.

— Что купишь?

— Парик, я же вам говорил.

— Какой такой парик?

— Ну, как женщины носят, волосы, которые на голову надевают.

Директор развеселился.

— Эй, ты от этого в женщину не превратишься?

— Посмотрел бы я на вас, коли вы в такую пере-

дрягу попали, — угрюмо сказал Туращ.

Не понравилось ему веселье директора. Всем им смешно. Им что? Им все хихоньки да хахоньки, плевать они хотели на человека.

— И чего только не услышишь на этом свете, — директор унял, наконец, смех. — Ну-ну, парик, говоришь, а Что дальше?

— Дальше вы машину давайте, вот что дальше, — озлобился Тураш.

— А ты, дорогой, не командуй, а то я тебе накомандую. — Директор нахмурился, отвернулся к окну.

— Каке, дорогой, — горько сказал Тураш. — Дай же ты мне машину, будь человеком. На два дня всего. Все отработаю, ночи спать не буду, ей-богу!

Директор резко повернулся к Турашу.

— Эй, что с тобой? — сказал он.

Тураш плакал. Он всхлипывал и размазывал слезы по небритому лицу.

— Да ты что, эй? — растерялся директор. Он подошел к Турашу, похлопал его по спине. — Брось ты! Ну, что это такое — мужчина, батыр, а плачет?! Брось ты!

И, сняв телефонную трубку, попросил гараж.

— Алло, Бербиколов? Слушай, Ерден, дай Ту-

рашу "ЗИС"... А? Сенокос, знаю, что сенокос. А? Нет, не надо. В город ему... о важному делу я его посылаю. На обратном пути угля прихватит, понял? Ну, выполняй приказ... Потом, потом поговорим...

Тураш вытер глаза рукавом. Выпрямился на стуле. Молчал, не решаясь посмотреть на директора.

— Что ж ты сидишь — езжай! — устало сказал тот.

— Спасибо, Каке! Спасибо, отец! — Тураш суетливо поднялся. У двери он обернулся, снова подбежал к директору, пожал ему руку.

— Спасибо, — повторил он.

— Да ты уйдешь когда-нибудь или нет? — рассердился директор. Оставшись один, он проводил взглядом пробежавшего по двору Тураша.

— Вот, понимаешь, женятся... — он прицокнул языком. Улыбка тронула его сурово поджатые губы. Глянул на часы и заторопился.

Добравшись до города, Тураш направился в первую попавшуюся парикмахерскую.

— У вас парик есть? — возбужденно спросил он у молоденькой девушки, которая стояла ближе всех других мастеров.

Та пожала плечами и отвернулась.

"Чего это она?" — подумал Тураш.

— Я тебя спрашиваю, есть парик или нет? — навис он над девушкой.

— Отстаньте от меня, пожалуйста, — брезгливо отозвалась она. — Ходят всякие…

— Какие такие "всякие"? — взорвался Тураш. — Ты давай, понимаешь, без фокусов. Я тебя про дело спрашиваю.

Он сам удивлялся себе. Откуда взялась такая решительность, смелость. Бывало, глаз на людей поднять не смел, тем паче на девушек, а тут… Все это из-за нее, Жанны. Эх, Жанна, Жанна…

Услышав перепалку, выглянула из-за занавески полненькая, с ужимочкой женщина.

— Что за шум? Лида, что тут у тебя?

— Да вот, пристал… Ухажер нашелся.

— Эй, какой такой ухажер, красавица? Ты что это врешь? Я у тебя про парик спрашивал! — неприязненно поглядел Тураш на девушку. — Врет она.

— Что значит "врет"? Вы где находитесь? Как вы разговариваете с женщиной?

— Мне парик нужен, — утих вдруг Тураш.

— Вам же мастер сказала — нету у нас париков! — раздраженно ответила женщина.

— Да ничего она мне не сказала. А ты на меня

свои зенки крашеные не таращь! — буркнул Тураш и под негодующие возгласы вышел из парикмахерской.

Сгоряча никак не мог завести машину. Руки тряслись, и ключ зажигания не попадал в свое гнездо.

— Принцесс из себя корчат, понимаешь… Плевать я на вас хотел…

Он побывал еще в нескольких местах, но париков нигде не было.

— Я не я буду, если не найду. Назло всем найду!

Съев в столовой тарелку супа и твердую котлетку, он долго сидел в кабине, положив голову на руль. Всеми клеточками своего тела он чувствовал, как устал. Сказались и волнениями бессонная ночная езда по тяжелой дороге. Клонило ко сну, слипались глаза…

На заправке на всякий случай он поинтересовался у женщины, которой отдал талон, нет ли здесь поблизости парикмахерской.

— Почему нет, — сказала она. — Езжай вон прямо, квартала через два налево повернешь, там на углу есть.

— Спасибо.

…В центре прохладного зала полупустой па-

рикмахерской сидела в кресле девушка в белом халате и, глядя в зеркало, расчесывала широким гребнем пышные светлые волосы. "Красавица какая!" — невольно залюбовался Тураш. Девушка улыбнулась. Он тронул ее за плечо.

— Девушка…

Она вздрогнула.

— Девушка, у вас парик есть?

— Парик? Кому? Жене?

— Не… Мне… самому…

— Вам? — красавица сделала большие глаза.

— Мне, мне, — зашептал Тураш. — Я хорошо заплачу.

Но тут подошла другая парикмахерша, якобы для того, чтобы позаимствовать металлическую расческу. Однако при первых же ее словах стало ясно, что вовсе не расческа ей нужна, а гложет любопытство — о чем это секретничает с подружкой клиент?

— Валя, — жеманно сказала она. — Да ты только погляди, какие у молодого человека ручищи. Вот уж, наверно, крепко обнимает… Да, молодой человек.

— А вам какое до этого дело? — хмуро отрезал Тураш, которому сильно не понравилось бесцеремонное вмешательство в их вроде бы

налаживающийся разговор.

— Вот это мужчина! Я понимаю! С характером! — хохотнула женщина.

— Парик ему надо, — сказала Валя.

— А может, ему химическую завивку сделать? — деловито предложила женщина.

Тураш покраснел от возмущения. И тут смеются! Дал бы он попять этой нахалке, какая завивка не ему, а ей нужна, да вовремя сдержался. "Э, пусть себе смеется, — подумал он. — Мне лишь бы парик достать, а потом катитесь вы все от меня к чертовой матери..."

Подошла третья женщина.

— Маш, а, Маш, у тебя случайно парика нету? — спросила ее Валя.

— Нету, а кому, ему, что ли?

— Да.

— Тьфу, совсем мужики спятили, бабам париков не хватает, а теперь и эти туда же.

Из внутренней комнаты появился чернявый мужчина с твердым взглядом, строгим лицом. Парикмахерши быстро разошлись по своим местам, а девушка шепнула Турашу:

— Ты у него попроси, это наше начальство, заведующий...

— Вы по какому делу, товарищ? — осведомился

чернявый, ослепив Тураша золотыми зубами.

— Я... к вам. Можно мне с вами переговорить?

— О чем, если не секрет?

— Секрет... То есть, не секрет... Ну... идемте, я вам там скажу...

— Что за дело такое таинственное? удивился золотозубый. — Ну, пройдемте тогда, раз так.

— Мне парик надо, — сказал Тураш, когда они остались одни.

— А зачем? — спросил заведующий.

Тураш молча снял кепку.

— Понятно, — прищурившись, сказал мужчина. — Вообще-то париков, надо сказать, нынче днем с огнем не сыщешь. Мода, мода-с, молодой человек. Пагубное влияние буржуазных государств...

— А ты найди, а? Мне позарез нужно! — Тураш провел ладонью по горлу. — Денег не пожалею, только помоги.

Он представил, как жалко выглядит сейчас со стороны и скрипнул зубами. "Эх, Жанна, Жанна, — подумал он. — Знала бы ты, на какие муки меня толкаешь..."

— А ты, я гляжу, парень свой, — цепко поглядел на него заведующий. — Сколько заплатить можете?

— А сколько надо?

— Э-э, дорогой, за "сколько надо" нынче мало что купишь. Сколько сверху дашь?

— Это как понять, сверху? — спросил Тураш.

Начальство развеселилось.

— Вообще-то парик больше ста стоит, но надо немножко добавить… на непроизводительные расходы.

— Все, понял. Полсотни хватит? — сказал Тураш.

Глазки заведующего блеснули.

— Э-э, зачем такая щедрость, мы не спекулянты, — смиренно сказал он. — Тридцатку — и достаточно.

— По рукам.

Тураш облегченно вздохнул и с силой сжал его короткопалую пятерню.

— Ой, раздавишь, — вскрикнул тот.

— Простите. Ну, спасибо вам, спасибо… Давайте скорее, — Тураш сунулся за деньгами.

— Не здесь, не здесь, дорогой, — остановил его оборотистый зав. — Та-а-к. Ты главпочтамт знаешь?

Тураш кивнул.

— Через час жди меня там.

— Добро.

— Номер скажи.

— Чего?

— Машины, — просиял зубами начальник.

— ЗИС у меня, — номера Тураш, как назло, не мог вспомнить. — ЗИС, а номера не помню. Пойти поглядеть?

— Тю-ю, — удивился заведующий. Шофер, своего номера не знаешь? Может, угнал ее?

— Что вы! — начал оправдываться Тураш. — Просто я тракторист... А машина совхозная...

— Верю, верю, — оборвал его заведующий. Значит, ждешь меня через час.

— Идет.

"Сказал же — найду, и нашел!" — ликовал Тураш, выходя в зал. Заведующий шел следом за ним.

— Жаль, молодой человек, — нарочито громко сказал он, — рады бы вам помочь, но нечем...

Тураш оторопело повернулся к нему, но тот предупредительно взмахнул бровями: молчи, дескать. Тураш подмигнул ему. Начальник сделал деревянное лицо.

— Будьте здоровы, дай бог вам счастья, — раскланялся Тураш с парикмахершами, которые со жгучим любопытством ожидали исхода дела. — Что же делать, дальше пойду искать.

Насмешница понимающе усмехнулась, а Валюша подмигнула ему. Тураш в ответ чувственно скрестил было руки на груди, но переусердствовал — старый пиджак лопнул на спине по шву. Валя захохотала, к ней присоединились все остальные. Но Турашу до всего этого не было сейчас ровным счетом никакого дела.

— Ну, прямо медведь, да и только.

Тураш чувствовал: женщины смотрят ему вслед и шел, расправив плечи, молодцевато выставив грудь. Решив дело с париком, Тураш заметно повеселел. Пожалуй, первый раз в жизни ощутил он себя красивым и статным. "Медведь, — сказали, — думал он, не переставая улыбаться. — Нашли сравнить, чертовки..."

Через час рядом с его ЗИСом остановился голубой "Москвич", заведующего.

— Следуй за мной, — сказал он.

Подкатили к новому девятиэтажному дому, поднялись в лифт на третий этаж.

— Снимай обувь, проходи — сказал заведующий, покосившись на пыльные сапоги Тураша.

И скрылся за одной из дверей, которых у него в квартире, как показалось трактористу, было великое множество. Тураш с удивлением озирался вокруг. Надо же — рояль, шкаф с хрустальной

посудой, громадный телевизор, толстый ковер. А пол в прихожей сверкал так, будто корова языком вылизала. Дворец да и только.

— Вот, примерь, — начальник вынес несколько париков, Тураш подошел к овальному зеркалу.

Один парик не подошел — мал оказался. Второй был рыжий, как у клоуна. Тураш остановился на третьем, черном. Заведующий одобрил его выбор. Усадив Тураша на стул, искусно расчесал парик, сделал пробор, побрызгал одеколоном.

— Ну, гляди, — и подтолкнул Тураша к зеркалу.

Тураш смотрелся и не узнавал себя. Под глазами си-лева, щеки поросли щетиной, воротник рубашки грязный! Но не это главным было, — на него смотрел незнакомый статный джигит с волосами, черными, как смоль. Не веря, глазам, тронул парик рукой — не спадет ли? — нет, крепко держался.

— Жених, а? — подморгнул заведующий.

— Правду говоришь, начальник? Хорошо, да?

— Чудак. Конечно, хорошо.

Тураш, сунув руку за пазуху, извлек оттуда двести рублей.

— Спасибо, аксакал. Лишние деньги за радостное сообщение.

— За что?

— За то, что похвалил, говорю… Весть приятная. Обычай такой…

— Хороший обычай, — заметил заведующий, пересчитывая деньги.

Тураш, не отрываясь, глядел на его ловкие руки, и лишь когда деньги исчезли в бумажнике, сказал:

— Ну, я пошел!

— Удачи тебе, батыр, удачи… Бывай здоров.

По лестнице Тураш не шел, а прыгал, как мальчишка. Вспомнив, что забыл кепку, хотел было вернуться, по раздумал. А когда сел уже в кабину, на балкон вышел его благодетель.

— Эй, кепку держи!

— Возьми ее себе! — крикнул Тураш. И, нажав на педаль сцепления, рывком тронулся с места.

Парикмахер пожал плечами.

Дома у Жанны он раньше не бывал, хотя и знал ее адрес. Сердце его отчаянно колотилось, когда он, поставив машину на углу, шел к воротам по мягкой траве. "Стыд-то какой! — бормотал он. — Явился, скажет, не запылился. Званый гость".

Поправив парик, он распахнул калитку. Двор был пуст. В небо уперся колодезный журавль, около сарая валялись неколотые дрова. Тураш

деликатно постучал в дверь. Тишина. Постучал еще — молчание. Толкнул дверь, — она оказалась запертой. "Что за черт? — подумал он. — Или дома никого нету, или дрыхнут, что ли, средь бела дня?" Постучал сильнее. Без результата. Подойдя к окну, побарабанил костяшками пальцев по стеклам. "Вот тебе и на! Нету!"

Вытерев вспотевший лоб, присел на колодезный сруб. И вдруг осенило: "Эх, дурень ты дурень! Да ведь Жанна нарочно не открывает, капризничает, испытывает тебя!" Вскочив, он снова торкнулся в дверь, и, не выдержав давящей тишины, забухал в дверь кулаком.

Послышалось отдаленное покашливание, шарканье тапочек, и дверь, наконец, отворилась.

— Кого там черт принес?

В проеме стоял молодой поджарый парень в майке, одного, примерно, роста с Турашем. Глаза у него были красные, воспаленные, физиономия помятая — спал. "Небось, с похмелюги", — подумал Тураш. Жанна как-то рассказывала, что у нее есть младший брат. Такой же, говорила, длинный, как ты, но выпивоха — не приведи господь. И еще что-то она про него рассказывала — спортсмен, вроде, или тренер…

— Простите, пожалуйста… — как-никак Тураш

считал себя зятем этого человека, причем зятем, без сговору взявшим в жены его сестру, потому решил держаться. деликатно, тише воды. — Жанна здесь живет?

— Ну, здесь…

— А ты Берик?

— Допустим…

Тураш скорее чувствовал, чем видел злой взгляд парня, устремленный на него, потому что, как это ни глупо, не мог себя заставить прямо смотреть в глаза. Сердце при одном упоминании имени жены вздрогнуло и замерло с щемящей и сладкой болью.

— А мать ваша дома? — спросил Тураш невпопад.

— Эй, ты что, допрашиваешь? Тебе чего надо, короче?

— Я за Жанной приехал. Зовут меня Тураш. Виноват я перед вами, понимаю, но и ты меня пойми…

— Жанну надо, так езжай в Павлодар.

Дверь захлопнулась перед самым носом.

— Берик, — затарабанил Тураш. — Почему в Павлодар, ты что такое говоришь?

"Не верит, что это — я, — подумал он. — Откуда ему меня знать?"

Постучал снова.

— Ты долго здесь будешь околачиваться? — высунулся Берик.

— Быть может, не веришь мне, — забормотал Тураш скороговоркой. — Тураш я. Помнишь, Жанна тебе писала?

— Тураш-мураш, какое мне до этого дело, катись отсюда колбасой! — парень уперся Турашу в грудь, но тот отведя его руку, продолжал умоляюще:

— Помнишь, она тебе писала, что встретилась со мной? Она писала, я сам видел…

— Слушай, ты чего мне заливаешь, а?

— Я тогда без волос был, — и торопливо сдвинул парик на затылок, точно только он, парик, был причиной нелюбезного поведения шурина.

— Плешивый, что ли? — хмуро спросил Берик.

— Плешивый, плешивый, — вспомнил? — радостно закивал Тураш.

— Ну, и что тебе от меня надо?

— Да Тураш ведь я, сказал же. Муж вашей Жанны, моей Жанатай.

Парень переступил порог и вышел на крыльцо. Сузив свои покрасневшие глаза, с холодным любопытством долго вглядывался в Тураша. А тот заискивающе улыбался. Он искренне хотел,

чтобы Берик все-таки признал его.

— Я вам зятем прихожусь. Вернее, мы осенью договорились расписаться, а пока… так, — бормотал он, отводя глаза. — Не познакомился я с вами вовремя, не спросил вашего согласия, виноват…

— Ну, так на тебе, зятек!..

Тураш грохнулся с крыльца, да так, что парик отлетел далеко в сторону.

— Берик, ты что делаешь?

— А вот смотри, что!..

Парень снова бросился на Тураша. Тот оборонялся. А когда наклонился было, чтобы поднять парик, Берик все же достал его снизу. Из носа Тураша брызнула кровь. Он отскочил и выплюнул на землю зуб. И тут его проняло.

— Эй, сопляк, ты что, спятил?

— На тебе за сопляка!..

Кулак Берика в этот раз мазнул мимо, лишь плечо слегка задел.

— Ты что же это, гад, кулаками размахался?! — яростно выкрикнул Тураш, заслоняясь правой рукой и одновременно вытирая рукавом окровавленный рот. Ну, будь, что будет! Не один джигит падал от его удара. Бригадир правильно говорит: "Тураш не бьет. Он лишь размахивается, и готово — оттаскивай…"

Берик, казалось, совсем обезумел. Подпустив его достаточно близко, Тураш пустил в ход свою правую, но парень пригнулся и мощный кулак пролетел мимо. Воспользовавшись моментом, противник ударил в незащищенный висок, и Тураш с коротким стопом упал, как подкошенный.

Очнулся он оттого, что кто-то лил ему на голову холодную воду. Пошатываясь, поднялся. Ныл висок, саднило челюсть.

— Накушался? Вот и ступай, — сказал Берик. — Зятек нашелся!..

— Жанна где? — спросил Тураш, держась обеими руками за голову, которая, казалось, вот-вот расколется пополам.

— Я тебе сказал — в Павлодар уехала, к мужу.

— К какому такому мужу? Я ее муж…

— Слушай, вали отсюда, пока я добрый, — уныло сказал Берик. — Муж — объелся груш. К своему мужу, законному…

— Врешь! — Тураш пошел на Берика. — Врешь! Врешь! Не может так быть. Ты зачем врешь?

— Ну вот, недолго музыка играла, — огорчился Берик. — Еще тебе, что ли, накидать?

— На, убивай меня, убивай! — Тураш рвал рубаху на груди. — На, бей!

— Чокнутый! — отшатнулся парень. — Да у

разлюбезной твоей Жанны, если хочешь, в Павлодаре и сын есть, и дочка. А таких мужей, как ты, у нее, знаешь, сколько? То-то, брат…

Тураш замер.

— Врешь ты, врешь, — шептал он. — Это правда или нет? Ну, скажи, Берик, скажи, прошу тебя.

И плакал, не стеснялся своих слез.

— Правда или нет? Правда или нет?

Берик подошел к нему, обнял, похлопал по спине.

— Правда, брат, правда, — дружески сказал он. — Езжай своей дорогой. И не думай ты ради бога о ней. А на меня не сердись, что подрались. Надоел мне весь этот бардак.

Повернулся и пошел в дом;

Тураш неопределенно махнул рукой и направился к воротам. Он шел, спотыкаясь, едва волоча ноги. Голова гудела от боли. Было больно, невыносимо больно!

Распахнув дверцу кабины, он вдруг заметил в руке парик. Долго смотрел на него, а потом, вытерев им лицо, швырнул на улицу. Планируя, парик мягко упал в густую траву.

Отъехав далеко от города, Тураш посмотрел на себя в зеркало. Нос распух, глаза превратились в узенькие щелочки. Кругом синяки, кровопод-

теки.

— Хорош батыр, — усмехнулся он.

Надо было еще завернуть на базу за углем, и Тураш попытался сосредоточиться на этой мысли.

Солнце жгло немилосердно. Пробегали за окном поля, солончаки, одинокие, точно он в эту минуту, деревья, в жарком мареве колебалась линия горизонта огромной степи.

Тураш подставил лицо струе упругого встречного ветра.

Перевод Е.Попова

ТАДЖИКИСТАН

ДЖУМА ОДИНАЕВ

Литературную деятельность Джума Одинаев начал как переводчик. Он перевел более двадцати книг.

Сегодня же Д. Одинаев известен читателю как автор двух сборников повестей, сборника рассказов и романа "Бег времени".

Член СП СССР.

РЫЖИЙ
Рассказ

Их было шестнадцать. Пятнадцать "инкубаторских" лейтенантиков и длинный, худой, как обгорелая жердь, он, Мерган, старший лейтенант.

В горячие дни лета сорок второго года таких вот лейтенантиков военные училища выпекали тысячами, как блины. Всего за четыре месяца. Потом приказ, кубарь на петлицы — и передовая.

Кадровые офицеры, те, что еще до войны по четыре с лишним года тянули курсантскую лямку, с усмешкой называли тонкошеих, в пуху, лейте-

нантиков будто цыплят — "инкубаторские".

К обеду распределили о ротам. Начальник штаба помедлил минуту, бесцеремонно разглядывая мрачноватое лицо Мергана, нервно дернул заросшей серой щекой и махнул рукой: — К Барчуку…

Землянку ротного Мерган нашел быстро. Шустрый молоденький солдатик, в больших, не по росту, ботинках с обмотками, проводил его через искромсанный артиллерийским налетом лесок и остановился у заросшей черемухи:

— Туточки они!

Мерган отошел в сторонку, надрал под кустом пук прошлогодней травы, сухой и ломкой, тщательно обтер сапоги и, согнувшись в три погибели, кое-как протиснулся в узкий лаз.

Землянку, видимо, строили наспех. Расчистили свежую гаубичную воронку, перекрыли в несколько рядов кривыми жердями и обложили пожухлым дерном. В землянке было темно, пахло свежей землей, тротилом, прелыми портянками и махорочным дымом.

Мерган на ощупь пробрался на середину, доложил в темноту о прибытии и только через минуту, когда глаза попривыкли к полумраку, разглядел Барчука. Тот лежал на низком топчане, составленном из снарядных ящиков, заложив

руки за голову, и смотрел в потолок.

Не поворачивая головы, равнодушно, словно Мергана здесь нет и не было, ротный крикнул старшину, что сидел у входа в землянку, и отрывисто распорядился:

— Проводи к Коваленко…

Натянул на голову шинель и отвернулся к стене.

Мерган смущенно потоптался, кашлянул, выбрался из землянки и с облегчением распрямил спину.

Черный, жукастый, похожий на кавказца, старшина подхватил на локоть короткий автомат с откидным металлическим прикладом и узким рожковым магазином.

Они шли через обглоданный снарядами, редкий и наивно-светлый березовый лесок — из расщепов тихо сочился березовый сок, — обходили частые низинки, где цвела черемуха, отражаясь в темных, настоянных на павшем листе лужах.

Мерган с любопытством поглядывал на автомат старшины — таких ему еще не приходилось видеть — и пытался угадать "фирму". Новая модель? Трофейный? Но спросить постеснялся. С тем и пришли…

Лицом старший сержант Коваленко скорее напоминал красную девицу, чем бывалого солдата. Особенно поражали глаза. Светло-зеленые, с легким желтоватым отливом, они, как глубокие лесные озера, светились ласково и задумчиво.

"Да-а, девушке бы такое лицо и такие глаза", — подумал Мерган и больше никаких выводов делать не стал, потому что достаточно пожил на свете и приходилось встречать людей не только, как говорят на Востоке, "с обликом льва и душой лисицы", но и тихонь с виду, однако с характером жестким и решительным.

Видать, людьми командовать Коваленко умел: взвод Собрал и построил в считанные минуты, солдат и сержантов знал хорошо, характеристики каждому давал короткие и, кажется, точные.

Народ во взводе подобрался опытный, обстрелянный. Всяк хватил лиха по уши и знал, что на фронте от командира во многом зависит его жизнь. И они в целой остались довольны, что их новый взводный не из "инкубаторских". Мужик, видать, тертый и кирпичом, и маслом, но возраст немного смущал.

Под сорок взводному. В его годы полки и дивизии водят. а тут — старший лейтенант, да еще у лейтенанта в подчинении. Непонятно. То ли под

фуражкой пусто, то ли — того хуже — из тех ветеранов, кто на гражданской шашкой научился махать, а потому за многие годы, кроме "Ура!" и "Вперед!", так ничего и не освоил.

Слава богу, они не вчера родились на свет — повидали командиров. Недели две назад назначили одного во второй батальон.

Майор. Когда-то полком командовал, а потом начальником на севере служил. Ну и наворотил дров этот майор. В первой же атаке. Поначалу все нормально шло — оборону прорвали, вперед пошли. Да на беду, как раз у высотки, за перекрестком дорог, на опорный пункт напоролись. Дот, два дзота, танк, по башню в землю врытый, и эсэсовский заградотряд. Не меньше роты.

Комбату бы остановиться, подумать, с флангов, с тылу обойти, артиллерию подтянуть. Так нет. Осатанел, матюгами кроет: — Вперед! Так вашу мать… Вперед!

Два раза поднимались, перли дуром, а фриц сверху сечет. Куда с винтовочкой против пушки и пулеметов? Лежишь будто на блюдечке, а он из крупнокалиберных, как бритвой, народ бреет — головы не поднять. Майор черной кровью налился, глаза, как у таракана бешеного, — в третий раз бойцов поднимает.

Ротный-два отказался было: куда, зачем зря народ губить — преступление это. Пристрелил майор ротного из пистолета — "за невыполнение приказа и паникерство".

Хорошо хоть ротный-три сообразил: связного в штаб полка отправил.

Примчался на мотоцикле капитан-штабист и вывел солдат из-под огня. Потери подсчитали — половины батальона нет, да из второй половины мало кто кровавой юшкой не умылся. Майор понял, что ему теперь только в трибунал дорога. Сунул ствол в рот и курок нажал. А толку? Тех, что полегли, не поднимешь!

Где гарантия, что этот, чернявый, из другого теста?

Мерган на курсах переподготовки слышал и не такие истории. Многие из них были далеки от истины, другие не очень. Война — всякое случается. А задумаешься иной раз: что же, в Белоруссии, да под Киевом летом сорок первого так и не было виноватых? По глазам своих солдат Мерган видел, что их беспокоит, но биографию свою рассказывать не стал. Зачем? Бой покажет "кто есть кто". Проверил оружие, подсумки и приказал разойтись.

До позднего вечера он крутился, как белка в

колесе. Не сегодня-завтра предстояло выходить на передовую и хлопот хватало. Уснул под утро.

Разбудил его Коваленко. Мерган на карачках выбрался из землянки, стянул с плеч гимнастерку и, потягиваясь, захрустел костями: — Хорошо!..

Солнце только что встало за березовым лесом, и первая зелень на деревьях полыхнула свежо и молодо. На дне густо поросшей ивняком и красноталом лощинки дымился ручеек, солдаты его взвода, голые по пояс, плескали друг другу на красные спины пригорошни воды и ржали, как жеребцы.

Мерган постоял, посмотрел, как те, что умылись, в чехарду разыгрались. Одному поддали коленом под тощий зад, солдат кувыркнулся через голову в воду и отчаянно завопил на весь лес. Мерган посмеялся над бедолагой и, чувствуя, как вливается в грудь бодрящая свежесть майского утра, степенно спустился к ручейку.

На полянке у ручья попыхивала трубой походная кухня, и два бойца в белых халатах суетились около закопченного котла. Ужинал Мерган в сухомятку: отхлебнул глоток водки, закусил горбушкой и луковицей, и потому сейчас с удовольствием втянул ноздрями густой аромат распаренной пшенки с салом — мечта для тех,

кто понимает в каше толк.

— Эй ты, жердь чернявая! В армии офицеры обязаны приветствовать друг друга! Или устава не знаешь? А может, считаешь, коль званием выше, имеешь право не замечать своего командира?

Барчук стоял на берегу ручья, широко расставив толстые ноги в добротных яловых сапогах, огненно-рыжий, здоровенный и насмешничал хриплым, будто с перепою, басом.

Три "инкубаторских" лейтенантика и Коваленко с видимым интересом прислушивались к его словам.

Мерган ошарашенно потряс головой: никто и никогда еще на него так не орал, и на мгновенье смутился, но, заметив, как переглядываются "инкубаторские", понял, что это для них устроил спектакль Барчук.

Скулы Моргана налились свинцом, он сжал кулаки и пошел на Барчука. В метре от ротного остановился и, не сдерживаясь более, как кнутом наотмашь, стеганул словами:

— Слушай, лейтенант! Я по званию и по возрасту старше тебя. Впредь будешь обращаться ко мне по уставу. Понял?! Иначе так врежу — как зовут забудешь! Щенок! Ты под стол с голой задницей ползал, когда я кровь за твою жизнь проливал!

Ты понял, лейтенант?

Глаза Мергаеа закаменели, округлились, левое веко задрожало, забилось над глазом: после контузии под Уч-Курганом, когда в тридцатом году гоняли банду Ибрагим-бека, у него в минуты гнева всегда дергалось веко.

Смотреть на это подергивание было жутковато: казалось, этот глаз у человека живет сам по себе…

Барчук такого отпора не ожидал. Ленивая ухмылка медленно сползала с его губ, он набычился, хотел сказать еще что-то, но, встретив режущий взгляд Мергана, увял и проворчал примирительно:

— Ладно, ладно, хватит! Поговорили и… баста! Иди, займись делом. Сегодня выступаем.

Барчук, несмотря на неоспоримые боевые заслуги, слыл в полку грубияном и задирой. Многие его не любили и побаивались, — язык у Барчука был злой, а плечи широкие, и трибунала он не боялся — "дальше фронта не пошлют!". Из всех офицеров подразделения, что начинали войну на рассвете 22-го июня, в живых остались только двое: Барчук и командир полка, майор Алексеев. И первый очень гордился этим, по делу и без дела повторял:

— Алексеев остался жив потому, что штаб свой далеко от передовой держит — в блиндаже отсиживается, а я — потому, что немцев колошматить умею!

По его выходило: те, кому выжить не пришлось, немцев "колошматить" не умели. Защитить память павших было некому, — молодежь связываться с Барчуком не осмеливалась, а людям повоевавшим — их немного было в полку — разбираться, что он там треплет, недосуг: не то время. В бой пойдет — болтать перестанет.

Об утренней стычке сразу стало известно всем. И у всех сложилось общее мнение: "Два медведя в одной берлоге..."

* * *

На передовую их вывели ночью. Обглоданная лупа ошалело металась средь редких облачков, искажала обманчивым светом предметы. Команды ждали долго, тревожились. Попыхивали самокрутками, передавали друг другу обслюнявленные чинарики, редко перебрасывались незначительными словами, ходили мочиться в ближайшие кусты и опять жадно курили, стараясь сбить озноб. Кто-. то подставил к березовому стволу котелок, прокрутил штыком дырку в коре,

и тяжелые капли застучали по дну, словно отсчитывая до атаки секунды: так-тук-, так-тук…

Прибежал запыхавшийся солдат от Барчука и свистящим шепотом передал его приказ: — Выходить!

Тихо, стараясь не звякать касками и оружием, прошли тонким берегом ручейка, миновали заросшую ивняком лощинку, где на все голоса надрывались в любовной истоме лягушки, нестройной толпой вылезли на косогор и долго лежали в мелком овражке, пережидая пулеметный обстрел. Мерган приказал Коваленко тихонько произвести перекличку и облегченно вздохнул, услышав доклад: "Все!". Мергана тоже потряхивал нервный озноб, заставляя тревожно вглядываться в темноту, хвататься при постороннем шуме за кобуру пистолета и беспокоиться за солдат своего взвода.

Над передним краем метались желтые шары ракет, огненные строчки разрезали пунктиром тьму: красные — наши, пожелтее — немецкие. Резко, отрывисто пролаяла, простучала "собака" — немецкая малокалиберная скорострельная пушка. Немцы, похоже, чуяли завтрашнее наступление — и беспокоились. До "своих" траншей удалось добраться только в предрассветной мгле,

за час до артподготовки.

Поначалу вдалеке, из глубины нашей обороны, глухо, с оттяжкой, ударила артиллерия. Снаряды, басовито урча, проплыли над головой, и земля впереди ощутимо вздрогнула —.будто охнула от боли. Потом зачастили дивизионные орудия, помельче, зачавкали минометы, визгливо провыли огненные стрелы эрасов, и только тогда поднялась пехота.

Мерган знал, что именно первый бой раз и навсегда поставит все точки над "и" в его отношениях о солдатами и офицерами, знал, что сегодня за ним будут следить десятки глаз, и знал, что не струсит. Последнее он знал наверняка.

Все это, как ничтожное, мелкое, забылось с началом атаки, Он орал "ура!" так, что звенело в ушах — к концу боя охрип, уже не орал, а сипел, — за спины солдат не прятался, во вражескую траншею ворвался одним из первых, поливая бруствер, а потом и траншею огнем из автомата…

И, когда Барчук накинулся на него с площадной бранью, Мерган только ошалело открывал и закрывал рот. А Барчук ревел рассвирепевшим медведем:

— …одурел? Ты куда бежишь, как паршивый

козел впереди стада?! Куда лезешь, верста коломенская, жердь чертова? Кто за тебя боем руководить будет? Ты кто? Автоматчик? Боец? Ты — командир! Ты чем думать привык? Ты понимаешь своей башкой, что один смелый и хладнокровный фриц — всего один фриц с автоматом — мог твой взвод ополовинить?

Барчук ругался долго и изобретательно. Но, странное дело, Мерган никак не мог заставить себя обидеться на его слова — в них угадывалось грубовато-дружеское участие. Красно-рыжая шевелюра Барчука ярко рдела над развороченной снарядами землей — словно знамя на высоте, — здоровенный, разгоряченный боем ротный был хорош в эту минуту…

Отдохнуть роте не дали, — потерь почти не понесли и в штабе полка сочли, что батальон вполне может продолжать наступление. На этот раз его решили начать без артподготовки — рассчитывая на внезапность. Ночью, бесшумно, взвод за взводом подтянули роты к передовым траншеям противника и приказали тщательно замаскироваться.

Ждали долго.

С рассветом соседи справа после короткой, но мощной артподготовки поднялись в атаку, а на

их участке было тихо, — внимание немцев отвлекали от главного удара. Поднялись и ударили как раз в тот момент, когда фрицы стали оттягиваться вправо. Смяли фланг и быстро пошли вперед.

На этот раз Мерган уже не выпускал из рук управления взводом — шел с вестовым чуть левее и позади взвода, и лишь перед самыми траншеями рванулся вперед.

Он бежал так, точно в молодости — длинными прыжками. Под ногами мелькали какие-то доски, консервные банки, помятые котелки, каски, ржавая проволока, обрывки газет…

Над самой траншеей, слева, уголком глаза он заметил автоматчика в темной каске с рожками. Фашист припал к бугорку бруствера, ствол автомата вздрагивал мелкой частой дрожью, на кончике его хищно трепетал красный огонек.

Мерган видел все это отчетливо, но словно в немом и замедленном кино. Одновременно он видел и облака над лесом, и почерневшие губы вестового, и свежую царапину на щеке у фашиста, — он видел все и не видел ничего, кроме дрожащей красной бабочки на стволе автомата… Ее надо снять, затушить, — эта мысль заполнила его целиком, без остатка. Он — о, господи, как медленно поднимается рука! — занес руку, грана-

та неторопливо закувыркалась в воздухе, немец исчез в коротком, светлом пламени…

Мерган спрыгнул в траншею и поразился наступившей тишине, — слышно, как скользит по стенкам потревоженный песок. Траншея была чистенькая, еще необжитая — видать, немцы заняли ее только накануне, когда их столкнули с первой линии обороны, а эти траншей были подготовлены давно — вон обшивка подгнила, и пахнет здесь только землей и полынью.

Задевая локтями кое-где обвалившиеся стенки и высоко, точно застоявшимся конь, вскидывая ноги, он устремился вдоль по траншее в полной уверенности, что она пуста. И когда столкнулся с фрицем, вернее — тот с разбегу влепился лбом в его грудь, в первое мгновение принял немца за своего. Но запах… запах! От немца так резко и так сразу пахнуло чужим, что в следующее мгновение Мерган ухватился, за чужой автомат и ударил врага коленкой в пах.

Фриц согнулся, утробно замычал, но — здоровый гад! — автомата не выпустил, лишь отлетел на длину ремня и мергановой руки. Мерган рванул его на себя и вновь ударил в то же самое место, но теперь носком кирзового сапога.

Тут ремень оторвался от автомата и фриц — в

животе у него глухо чмокнуло что-то — отлетел шага на четыре, влепился спиной в стенку траншеи. Автомат его остался в руке у Мергана.

Где-то далеко, у села, торопливо застучал наш пулемёт, захлопали ручные гранаты, еще дальше — тоненько закричали "ура-а-а!". А перед Мерганом тяжело дышал фриц.

Хорош детина! На голову ниже, но широкоплеч, кряжист. Иптсрсспо, почему он без каски? А рыжий какой, мама родная! Кудрявый. Волосы у немца жестко курчавились, длинный, белый, с горбинкой нос был чужим на круглом, мясистом, с многочисленными красными прожилками лице.

Серые круглые глаза немца настороженно следили за Мерганом — даже не моргнет бандюга, и страха в глазах нет…

И вдруг лицо немца показалось ему удивительно знакомым. Где совсем недавно видел он эти жесткие рыжие кудри, нос с горбинкой, круглое, мясистое лицо, крепкую шею? Очень знакомое лицо. Чье? Господи, так ведь Барчук! Но час назад, перед атакой, он видел Барчука в нашей, советской форме!

Додумать Мерган не успел. Немец резко, всем телом, качнулся влево, пригнувшись, рванулся

вперед, выхватывая нож. Автоматы выпали из рук — все равно не успеть. Не успеть! Мерган резко попятился по траншее, а нож — уже вот он перед глазами. И тут в сознании, как в полусне, глухо раздался гортанный, сипловатый голос: "Лэвой рукой перехватывай запясть, а правой — чуть выше локтя, и круты разный старана. Если эта рука нэ вылэтит из плэч — плюй мне в лицо, дарагой!"

Господи, как давно это было! Двадцать восьмой год, курд Каримхап... Учеба приемам рукопашной схватки.

Немец прыгнул — и дикий вопль потряс траншею... Нож бессильно упал в песок, немец захрипел, поверженный, а Мерган, вытирая холодный пот, дал себе слово: если останется жив, отыскать могилу Каримхана.

За поворотом в траншее послышался топот множества ног. Мерган торопливо подхватил автомат и рванул на себя рукоятку затвора...

— Свои! Товарищ старший лейтенант! Живы!

Круглое лицо Коваленко сияло улыбкой.

— Товарищ старший лейтенант! Траншея полностью очищена!

— Вольно! Вытащите этого фрица наверх — кажется, живой еще. Одного не оставлять!

Дальше Мерган ничего не сказал, но про себя подумал: "Если не сам Барчук, то, может быть, его брат? Чужие люди не могут быть так похожи".

Он выскочил из траншеи. Через несколько минут взвод собрался. Разглядывали фашиста. Немец приподнялся, сел, поддерживая ладонью левой руки правое предплечье, скривился от боли. Лицо его в этот момент стало настолько похожим на лицо командира роты, что тот самый шустренький солдатик, который три дня назад сопровождал Мергана, не выдержал и закричал:

— Братцы, так ведь это же наш ротный! Точная копия!

Солдатик удивленно пробежал глазами по лицам своих товарищей и вдруг натолкнулся на горящий взгляд настоящего Барчука, а не пленного. Когда тот подошел, никто не заметил. Солдатик ойкнул и живо шмыгнул за спины.

Теперь и немец смотрел только на Барчука. Очевидно, и он был поражен небывалым сходством.

Барчук обвел взглядом солдат.

— Коваленко!..

— Я.

— А ну, спроси: был ли его отец хоть раз в России, а если был, то не заезжал ли в город Челябинск?

Оказывается, Коваленко — плохонько, правда, с заминками, но говорил о-немецки. Немец внимательно выслушал его и, пробормотав что-то, отрицательно мотнул головой.

— Нет, — отец его никогда не был в России.

— А теперь спроси: была ли в России его мать?

Коваленко спросил, и немец вновь мотнул головой. Солдаты заулыбались. А Барчук забасил медленно и сурово:

— Твой отец не бывал в России, мой отец не встречал твою мать и не бывал в Германии… Так почему же мы похожи?

Коваленко перевел, и немец недоуменно пожал плечами.

А Барчук продолжал:

— Слушай, фриц, или как тебя там, Ганс? Если бы мы встретились в мирное время, я бы, наверное, обрадовался такому сходству. Может быть, мы друзьями стали, братьями. Водку бы вместе пили, за девушками ухаживали. А сейчас… Пристрелю я тебя… Собственными руками застрелю. Чтобы моя копия… чтобы фашист с моим лицом по земле ходил?!

Барчук нагнулся, ухватил немца за плечо и заорал: — Вот видишь?! Видишь?! Что твой подлюка Гитлер натворил?..

Он отшвырнул немца и приказал:
— Мерган, веди взвод…

Солдаты шли полем, и прошлогодняя, стерня сухо трещала под ногами. Этой весной поле пахалось только снарядами, и многочисленные воронки делали его похожим на лицо, изрытое оспой. Вдалеке чернело полусгоревшее село. По его окраине проходила вторая линия обороны гитлеровцев и теперь мало что уцелело в этом селе — ветер доносил сладковатый запах гари.

Слева у дороги еще чадил наш Т-70, под гусеницами тапка лежали два немецких автоматчика, вернее — то, что осталось от них…

Мерган обошел танк. Из люка свисал танкист — пальцы почти касались земли. Подошел Барчук, вдвоем они вытащили танкиста и бережно уложили его на сухое место, рядом с гусеницей.

Дальше, у околицы деревни, все пошло вперемежку: наши тапки, немецкие танки, пушки, пятнистые бронетранспортеры, скошенные автоматчики…

— Самое пекло, видать, здесь было, нам еще… — последние слова Барчук не договорил: засвистел низко шальной снаряд, и все дружно нырнули в ближайшую воронку. Снаряд разорвался рядом.

Встали не сразу. Барчук сорвал соломинку и,

покусывая ее крепкими зубами, сказал:

— Ну… Как боец ты сегодня хорошо поработал, — улыбка у Барчука вышла кривая, он все грыз свою соломинку и искоса поглядывал в сторону батальонного КП — оттуда по дороге несся мотоциклист.

— А как командир? — Мерган отобрал у Барчука соломинку и смотрел на него требовательно и сердито. Он я сам знал, что как боец сработал сегодня неплохо: если бы каждый солдат в каждом бою уничтожал хотя бы одного фашиста — Гитлеру давно крышка…

— А как командир? — не дождавшись ответа, прокричал Мерган в конопатое и мясистое лицо Барчука.

Барчук молчал, грыз новую соломинку и вглядывался в приближающегося мотоциклиста.

— Связной. Лейтенант Сидоров…

Узнав связного, Барчук зло сплюнул и повернулся к Мергану:

— Чего разорался? Будешь ты хорошим командиром, будешь! Москва не враз строилась. Будешь! Я тоже вот не сразу… — И невесело добавил: Если доживешь…

Они встали, пошли к селу. Вспоминая первую стычку с Барчуком, Мерган подумал, что он, в,

сущности, не плохой человек. Это война его скрутила и выворотила.

Затарахтел подлетевший мотоцикл, офицеров окутало облако пыли и вонючего дыма:

— Товарищ лейтенант! Командир батальона приказал…

Это связной. Лейтенант Сидоров. Мерган слышал, что он сын какого-то высокопоставленного лица, и командир батальона очень его бережет. И сейчас Мерган с любопытством разглядывал батальонную реликвию.

Вот уж кто отличался красотой! Красотой броской, яркой. Стройный парень этот Сидоров, широкоплечий, холеный. Лицо же худощавое, с правильными чертами, прямым носом, твердым, решительным подбородком и таким Же решительным взглядом — полным энергии, жажды деятельности. Китель сидел на офицере, как влитый, широкие — бутылками — галифе из отличного английского сукна. Такое сукно — "подарок Черчилля" — желтовато-зеленого цвета получали только офицеры высших рангов. Сразу было видно, что и мундир Сидорова пошит у первоклассного портного. И широкий желтый ремень, что тугим обручем охватывал тонкую талию лейтенанта, очевидно, был специально

заказан: он Чуть-чуть шире обыкновенного командирского ремня. Короче, с головы до ног этот человек был новенький и блестящий. Даже кобура пистолета блестела, как только что покрытая лаком.

Мерган и Барчук в стиранных-перестиранных гимнастерках, заляпанные грязью, со следами пороховой гари на руках и лице на этом фоне походили на кого угодно, только не на офицеров. И лица у них были усталые, как у людей, долго без отдыха выполнявших черную, трудную работу.

— Командир батальона приказал… прекратить наступление, закрепиться на западной окраине села и ждать дальнейших приказаний! — как хорошо смазанный пулемет, отчеканил Сидоров. Он стоял вытянутый в струнку, словно не сгоревшее село было перед ним, а парадный дивизионный плац…

— Как? — Барчук уставился на Сидорова. — Да они что, сдурели? Такое наступление прекратить!

Он со злостью пнул подвернувшуюся консервную банку, так, что та отлетела метров на двадцать и долго еще громыхала, переворачиваясь.

— Ну, вылупился! — рявкнул он на красавца

связного. — Идм попробуй — останови роту!

Сидоров, видно, хорошо знал нрав Барчука — отпора не дал. Но и за ротой не помчался. — Прыгнул в седло, злобно рванул стартер и умчался назад.

— Сволочь! Чистоплюй! Штабная крыса! — ругался Барчук. — Бабник сопливый… Четыре иностранных языка знает!.. Мотоциклист! А у меня образование семь классов и коридор. Я с тринадцати лет наравне со взрослыми мужиками вкалывал. Сперва в колхозе, потом на заводе. В армию призвали — на мне по четыре гимнастерки в год прело: все бегом, бегом! За старательность и послали в училище. Только на ноги встал — война! Я, если хочешь знать, еще бабу не видел как следует. А он? Все шутя, все дозволено. Крутится среди штабных и других девиц… Материал для книги о войне собирает. Летописец!

Тут Барчук завернул такой матерок, что Мерган несмог удержаться:

— Ну, даешь! А говоришь — неграмотный!

Барчук криво усмехнулся:

— Это я по-деревенски, в школе такому не обучают.

Шли по сгоревшему селу, где пахло смрадом и пожарищем, где черными были и трава и деревья,

где было уничтожено все живое. И здесь, и вокруг села была омертвевшая земля. Впереди, недалеко гавкала скорострельная немецкая "собака".

— Это был бой, что ли? — гудел басовито Барчук. Это игрушки… Главные бои впереди.

— Ничего, Игнат! — откликнулся Мерган, впервые по-дружески назвав Барчука по имени. У нас в Таджикистане говорят: "Человек нежнее лепестка розы и тверже стали, поэтому ему любое дело по плечу — все выдержит!" Выдержим и то, что впереди.

— Ты кем был до армии, Мерган?

— Директором МТС, а что?

— А я думал — воспитателем в детском саду.

— Почему?

— Потому что лекции читать любишь. На моральные темы.

Они догнали солдат, и Барчук резко приказал:

— Займись своим взводом, тебя ждут!

Это был голос прежнего Барчука, но Мерган и не подумал обидеться. Игнат вдруг стал так дорог ему, что обнять захотелось этого огненно-рыжего, крепконогого медведя…

И они разошлись — рыжий медведь Барчук и худой, как обгорелая жердь, Мерган.

Так иногда расходятся в поле мужики. Не про-

щаясь. Работать пошли.
До пота вкалывать.
До победы.

Перевод В.Тальвика

САТТОР ТУРСУН (ТУРСУНОВ)

Читающим на русском языке Саттор Турсунов известен по повести "Молчание вершин", опубликованной в журнале "Памир". Кроме этой повести на родном языке у С. Турсунова вышли сборники повестей и рассказов "Горячее сердце", "Лук Рустама". Писателем переведены произведения многих зарубежных и советских мастеров слова.

С. Турсунов член СП СССР.

ОТЕЦ
Рассказ

"Тут от стужи камни лопаются, а эта гордячка будто доказать свою самостоятельность хочет. И только себя мучает. Еще и не скажи ведь ничего... Такая нынче молодежь пошла. Грамотные, все знают, ничем их не удивишь. Где уж тут советы давать — рта не дадут раскрыть. Ты им слово, они тебе десять. Можно подумать, умнее их нет никого. А приглядеться — телята они и есть телята... Сколько уже по начальникам бегает, и все без толку: двух мешков угля да вязанку дров достать

не может. Ха, заведующая называется! Кто ей только библиотеку доверил..."

Подстегивая себя ворчанием, с двумя ведрами угля в руках и с поленьями под мышками старик медленно шел по улице. Студеный ветер развевал полы поношенного ситцевого халата, трепал конец чалмы, седую бороду.

Мелкий сухой снег, почти двое суток заметавший землю, сегодня к утру вдруг перестал сыпаться, и сейчас сквозь белесые облака матовым пятном проглядывало солнце. Все вокруг — и просторная улица кишлака, и глиняные заборы, и стоявшие за ними деревья, — все отливало белым. То ли от этой белизны, то ли от чего другого глаза старика слезились, и он щурился, ниже опускал голову. Глядя со стороны на его сгорбленную спину, на нетвердую, осторожную поступь, ему можно было бы дать все восемьдесят.

На самом же деле, как сам он говорил, если учесть девять месяцев и девять дней нахождения в чреве матери, шел ему всего лишь шестьдесят второй, Ничего не поделаешь — ревматизм...

"Ну и зима нынче. Овцы дохнут... Если бы не валенки — спасибо Муроду! — не знать бы моим ногам покоя. Забота детей — отрада в старости. Что может быть отцу дороже подарка сына..."

У неказистого строения, неприметного рядом с сельмагом, старик остановился, поставил ведра. К двери он пошел только с дровами.

Слегка кашлянув, некоторое время смотрел, выжидая, — на стеллажи с книгами, на кумачовый стол с аккуратно разложенными на нем журналами и газетами, на дочь, сидевшую с книгой за низким столиком у окна.

— Что, дрожишь?..

Девушка, оторвавшись от книги, поспешно встала. В ее лице без труда угадывались отцовские черты. На вид ей было лет восемнадцать, и старик не без основания усмехался про себя, называя ее заведующей. Библиотеку она приняла прошлым летом, сразу же после окончания школы. У бывшей заведующей, пожилой, многодетной женщины, хватало своих забот, и библиотека если один день работала, то два-три других была на замке.

— Обещали завтра выписать. Может быть, привезут…

— Может быть, может быть… — пробурчал старик. Сложив дрова у печки, он отправился за углем.

— Ну, зачем вы, папа… Как-нибудь перебьюсь…

— Вот-вот, в молодости все как-нибудь, а потом каемся, да поздно.

Старик присел на корточки, из кармашка поддевки достал коробок спичек, открыл печную дверцу.

— Постойте, папа, я сама.

— Давно бы так. Могла бы и принести все сама.

Старик с трудом поднялся и, не взглянув на дочь, пошел к выходу. Девушка виновато посмотрела ему вслед. Ей представилось, как он о тяжелой ношей тащится по скользкой заснеженной дороге — и сердце ее наполнилось жалостью.

Выйдя на улицу, старик направился было домой, но, сделав с полсотни шагов, вернулся. Вспомнил: жена наказывала купить чаю.

Знай он, что ждет его в магазине, — не заходил бы, будь он неладен, этот чай!.. Собственно, ничего такого не произошло, и все равно — лучше б не заходить.

…Он поздоровался, подойдя к прилавку, и продавец, русоволосый парень, с приятным открытым лицом, вежливо поинтересовался, что ему нужно. Старик уже и расплатился, и увязал в пестрый платок тугие пачки чаю, и даже попрощался, когда парень вдруг спросил:

— Как там Мурод-ака? Жив, здоров, пишет?

Вопрос был обычным — отчего бы не справиться мимоходом об односельчанине, живущем в городе, — и все же старик испытующе посмотрел в глаза парню: нет ли здесь какого подвоха? Но тот стоял, приложив в знак уважения руку к груди, и лицо его было все таким же открытым.

— Пишет, пишет, все в порядке, — торопливо проговорил старик и тут же вышел, чтобы избежать дальнейших расспросов. Он солгал, хотя был уверен, что весь кишлак, и этот парень тоже, хорошо знает: охладел Му-род к отцу, не балует его своим вниманием.

Вот уже три года — с той поры, как окончил институт и стал работать, — не прислал ни одного письмеца. Дважды приезжал сам, но что для отца эти редкие наезды, когда он и раньше не находил себе места, если не видел сына хотя бы раз в два-три месяца.

"Напишет, — принялся утешать себя старик, шагая от магазина. — Только выкроит время и напишет. Работа у него беспокойная. Это не шутка — быть инженером на большом заводе. Под его началом, поди, человек пятьсот, а то и больше. Может, во всем нашем кишлаке столько народу не наберется. И всеми нужно руководить. Он сам

говорил, что порой затылок почесать некогда. Пусть не отвлекается, не думает о постороннем. Вот как образуется у него все, как войдет в колею —.тогда и на отца время найдется. Нет, слава богу, Мурод не такой, чтобы родителей забыть. И разве не он привез валенки — спасение мне От стужи!"

Поглощенный своими думами, старик не заметил, как уже у дома его нагнал "газик". Из машины выглянул председатель колхоза — в полушубке, в каракулевой шапке с опущенными ушами…

— Как здоровье, аксакал?

— Спасибо, живу. Вас вот порой недобром поминаю.

— Чем же я провинился? — улыбнулся председатель.

— Будто не знаете? Библиотека-то наша целую зиму без огня.

— Верно, — оплошали. Сегодня же ваша дочка получит и уголь, и дрова. Я уже распорядился… На сельсовет понадеялся — а они на меня.

— Вот-вот, все по пословице… Ну, ладно. Что хорошего у вас? — уже другим топом спросил старик.

— Э-э, хвалиться нечем. Замучил нас этот снег.

— Еще и мороз. Как нынче животина? Кормить есть чем?

— На исходе. Сена еще кое-как набираем, а комбикормов — ни грамма. Уже с педелю возим жмых на трек машинах, да при наших дорогах больше двух рейсов за день не сделаешь.

— Крепитесь, раис [30],— скоро весна. На ус мотать надо, чтобы впредь заранее о кормах печься, да и о библиотеке, кстати, тоже…

— Даю слово: не забудем, — засмеялся председатель и тут же, будто случайно вспомнил, сообщил скороговоркой: — Вчера к ночи Мурод звонил. Я хотел еще утром заглянуть к вам, да закрутился.

— Мурод звонил?! — встрепенулся старик. — Как он там? Что сказал?

— Просил передать, чтобы вы как можно скорее приехали к нему.

— Уж не случилось ли что, не спросил, а?

— Слышимость была отвратительная. Только и разобрал, что ждет он вас.

— О, господи! К чему ж такая спешка… Лишь бы не несчастье…

— Да не тревожтесь вы. Сам же звонил — значит, жив, здоров. Просто, видать, соскучился.

— Нет, — не успокаивался старик. — Не стал бы он без причины звать меня в такую стужу.

---

[30] Примечания: 30
Раис — председатель.

— Напрасно разволновались. Ничего с ним не случилось — вот увидите.

Председатель попрощался и уехал. А старик, в тревоге и полный смутных предположений, пошел к своему дому.

О чем только ни передумал он, сидя дома на курпаче — узком стеганом одеяле. Такого еще не было, чтобы Мурод сам позвал к себе. Ни писем, ни телеграммы и вдруг — приезжай. В студенческие годы он куда чаще напоминал о себе, особенно когда оставался без денег. Но это было так давно… Может, на работе что? Пли в семье?.. Чем больше думал старик, тем тревожнее становилось у него на душе. Конечно, узнай он раньше о просьбе сы-на, — хотя бы утром, когда еще можно было поспеть на автобус, — не стал бы раздумывать. До станции на машине, а там поездом, и к полудню наверняка уже сидел бы у сына. Но сейчас… Однако не ехать нельзя… Председатель говорил, что машины за жмыхом ходят.

Старик прошел на террасу. Там жена возилась со стиркой. В свой дом он привел ее вдовую, лет двадцать назад, когда Муроду шел уже седьмой год. Своих детей у нее тогда не было, и она сумела заменить мальчику умершую мать.

— Достань, мать, мне чистую одежду. Съезжу-ка

я в Душанбе.

— Что это взбрело в голову? На дворе холодина, плюнешь — слюна на лету замерзает…

— Сын звонил, просил срочно приехать.

— Никак случилось что?. — с беспокойством спросила женщина.

— Не знаю, мать… Ты поторопись, а я в кладовку схожу. Неудобно с пустыми руками ехать.

Женщина, оставив корыто, скрылась в комнате, а он, прихватив на кухне корзину, направился в сарайчик.

Там в двух ящиках из-под чая хранились в песке яблоки, а под самым потолком, на балке, висели аккуратно подвязанные гроздья винограда. Все это припасалось на всякий случай.

Устлав дно корзины сухой травой, старик снял в одном из ящиков верхний слой песка, выбрал из него два ряда крупных плодов, обтирая каждое яблоко, уложил в корзину. Потом нашел пустой ящик, перевернул его вверх дном, взобрался на него и осторожно снял несколько гроздьев винограда. Кажется, все. Пошел на кухню, взял скатерть, накрыл корзину и осторожно, чтобы не подавить ягоды, вправил края непослушной домотканной материи в корзину.

Постоял и, вспомнив что-то, вернулся в кладов-

ку, снова взгромоздился на ящик, снял с балки дыню, перевязанную крест-накрест бечевкой, вынес к свету, и внимательно осмотрел ее. У самой плодоножки темнело пятнышко.

"Ничего, отвезу. Где сейчас, на исходе зимы, найдешь целую дыню!"

Вскоре с корзиной и дыней в своем выходном наряде он стоял за воротами, высматривая машину. Ждать пришлось долго. Потеряв было надежду, он хотел уже вернуться в дом, но как раз в это время вдали показался грузовик. Он двигался медленно, подгребая снег обвязанными цепью колесами.

"Вот все и улаживается", — воспрянув духом, подумал старик. Он поднял руку — машина остановилась. В человеке за рулем старик узнал дальнего родственника.

— Куда путь держишь, Рашид?

— В Хайрабад, за грузом. С утра ремонтировался, вот управился только.

— Возьми меня с собой, сынок. В город еду, Мурод вызывает.

— Рад бы, да я не один. Соседка вот, — Рашид мотнул головой внутрь кабины. — У нее в Хайрабаде сын женится, на свадьбу торопится.

Словно в подтверждение сказанному из-за

спины шофера высунулось лицо старушки. Не хотелось верить, что рухнула последняя надежда. Старик растерялся, не зная, что делать. Затем решительно сказал:

— Поеду в кузове.

Рашид улыбнулся.

— Холодно там, замерзнете.

— Все равно надо ехать.

Видя, что старика не отговорись, Рашид взял у него дыню, сунул ее в кабину, потом полез в кузов, чтобы устроить пассажира. Развернув какой-то ящик, он достал из него брезент.

— Садитесь сюда, здесь не так дует, а будет холодно — вот прикройтесь... Хорошо, что у вас валенки.

Рашид спрыгнул на землю, влез в кабину. Машина тронулась.

На зимних дорогах не разгонишься, а когда начался подъем, на Шеронов холм, машина буквально ползла, переваливаясь на ухабах, с трудом разворачиваясь на крутых поворотах. Старик не находил опоры, и его раскачивало, трясло, подбрасывало. Рев мотора и глухие удары цепей отдавались в ушах сплошным утомительным грохотом-ревом. В глазах рябило от монотонного чередования валунов, откосов, заснеженных

оврагов. Зато с высоты хорошо виден был кишлак, оставшийся у подножия холма.

Старик смотрел на беспорядочно разбросанные дворы, на причудливые очертания садов и огородов, и мысли его переплетались так же беспорядочно и причудливо. Думалось ему о дороге, которую он знал до последнего изгиба, о нелегкой шоферской доле, о том, что будет, если вдруг испортится машина. А потом, он и сам не заметил когда, всплыло из памяти лицо Мурода.

Вспомнился последили приезд сына. Было это позапрошлой осенью. Уже шли дожди, и подступали первые холода. Старика, как всегда в такую пору, донимал ревматизм. Превозмогая боль в ногах, он колол на кухне дрова. Все раздражало его в тот день, и даже неизменные мысли о сыне были желчные, горькие. Он давно убедил себя, что жилось бы ему куда легче, будь Мурод рядом. Вроде бы и умный он, а вот не думает о старых родителях. Отдаст отец богу душу — и попрощаться не сможет, не понесет на плече одну из ручек погребальных носилок. Пока узнает, пока доберется из Душанбе, люди уже засыплют тело землей… Для того ли растил он сына, чтобы выпустить его ветром в поле?! Сам он немногого добился в жизни, и теперь все свои планы связывал с Муродом.

Когда тот еще учился, старик мечтал: вот встанет сын на ноги, вернется под отчий кров, и тогда можно будет хоть на старости отдохнуть, снять с плеч груз житейских забот.

Так думал он, раскалывая дрова, пока не раздался ошалелый крик дочери:

— Брат приехал, брат!

Бросив работу, старик поспешил во двор.

Сын был с невесткой, оба молодые, стройные, нарядные. Лица их светились радостью.

От волнения старик прослезился, суматошно забегал, забыв о боли в ногах, будто ее никогда и не было. И уж совсем он расчувствовался, когда сын, открыв чемодан, стал доставать гостинцы — сладости разные, съестное и эти вот валенки.

В тот вечер многие пришли навестить Мурода. Пока гости сидели за чаем, старик, отозвав в сторону соседского мальчишку, велел ему сбегать к мяснику.

— Приведи его. Скажи, что у меня сын приехал. Барана нужно зарезать.

А сам, прихватив большое алюминиевое блюдо, спустился в сад. Там нашел он прикрытую брезентом виноградную лозу, обнажил ее и тщательно обобрал сухую траву, защищавшую плоды от заморозков. Виноград этот сберегался для сына.

Сорвав гроздь, притаившуюся за пожухлым бурым листом, старик попробовал одну из ягод. Она была упругой и сочной. "Не взял холод. Повезло моему Муроду".

Не без гордости положил он виноград на дастархан.

— Вы просто чародей, — с восхищением отметил старик-сосед. — Надо ж до сих пор удержать на лозе. Даже вкуса не потерял, а сочный какой!

Вскоре пришел мясник, освежевал барана. По двору поплыли запахи супа и плова. А гости все шли и шли, всех их старик встречал на ногах, как и положено гостеприимному хозяину…

Весь следующий день Мурод с женой обходили знакомых. Вернулись они под вечер, на закате солнца, и с первых же слов сын огорошил отца неожиданным решением: мол, друг из района обещал подослать машину, и, если она приедет, они сегодня же отбудут.

Старик изменился в лице.

— Ты, сынок, словно к соседу за спилками забежал. Не обижай отца…

— Не могу, извините. Путевка у меня на курорт, и билет уже заказан — завтра надо лететь.

— Вот, значит, как, — сказал старик упавшим голосом. — А я поговорить с тобой собирался.

— Можно прямо сейчас. У нас еще есть время.

Старик раздумывал — начинать или не стоит, но потом, решившись, тяжело вздохнул.

— Сынок, — начал он, — вот уже почти восемь лет, как ты оставил дом. Пять из них ты учился, и я, как мог, худо ли бедно, помогал тебе. Потом ты еще на три года задержался в городе. Поработал, а теперь, может, хватит?

— Что вы хотите сказать, отец?

— А то, что пора бы и возвратиться. Я уже стар, здоровьем, сам знаешь, не могу похвалиться. Ни сил в руках, ни зренья в глазах…

— Нам трудно понять друг друга, отец. В городе у меня хорошая работа, квартира. Люди годами добиваются того, что у меня есть. Да и что я здесь буду делать?

— В колхозе работы хоть отбавляй. А не хочешь — в районе найдешь занятие. Работа, я так думаю, не бывает хорошая или плохая, она везде работа. Если же заботит крыша над головой, то в нашем доме места хватит.

— Нет, отец, пустой у нас разговор. Здесь же дыра. Как я могу плюнуть на все и переехать. И. во имя чего?

Старик насупился, закусил концы усов. Он и сам теперь видел, что разговор у них пустой.

— Не обижайтесь! — Мурод попытался сгладить свой резкость. — По возможности буду помогать, я уже подумывал об этом. Для начала возьмите вот, — он полез в карман и достал две десятирублевки.

— Что ты!.. — запротестовал старик. — Мы, слава богу, не голодаем, а тебе на курорт ехать. Спасибо, что навестыл — ничего мне больше и не нужно.

И тут жена старика, молча стоявшая до сих пор в дверях, кинулась к сундуку, достала шелковый халат.

— Для тебя шила, — она накинула халат на плечи Мурода. — Пусть с ним для тебя все дни будут добрыми.

Потом невестке, которая беспокойно слушала весь разговор отца с сыном, она поднесла отрез атласа. Все задвигались, заулыбались и были рады, что хоть как-то избавились от нервного напряжения. А тут подошла машина, и Мурод с женой, распрощавшись, уехали.

...Холм Шерона и кишлак под ним остались позади. В ущелье машина пошла быстрее. Учащенно защелкали цепи на колесах, замелькали серые скалы за бортом, но дороге побежали струи снежной пыли.

Старик замерз. Он с тревогой прислушивался, как в пояснице, в суставах оживали невидимые иглы.

"Чем ближе к старости, — думал он, — тем неуютней мир. Надо ж, такие боли, и от чего — от холода! Видать, и вправду, старость не радость. Ждать мне теперь от жизни многого не следует. Да и грех жаловаться, я свое пожил — пора и честь знать. Самому умереть не страшно, страшнее оплакивать своих детей. Не обидно, когда первым уходит тот, кто пришел раньше. Но нет чернее дня, когда траур по сыну надевает дряхлый старик. Верно говорят: смерть родителей — наследство, смерть детей — нож в сердце.

Старик размотал чалму и, опустив ткань на уши, завязал вновь. Дыханьем он пытался согреть застывшие пальцы, растирал их, но это не помогало. Только в йогах еще как-то хранилось тепло.

"Если бы не валенки, было бы совсем худо".

На Мурода он не таил обиды. В глубине души даже гордился, что у него такой деловой, рассудительный и в общем-то заботливый сын. Иное дело — невестка… Черства, скупа, а уж лицемерна — другой такой не сыщешь. Для нее каждый приезд старика — что наказанье: хлопотать надо, готовить, к тому же расходы. Но ведь вида не

подаст, все с улыбкой, с улыбкой… Где только Мурод подцепил ее?! Прости господи, разве человека узнаешь сразу. До прошлого года он думал, правда, что счастье улыбнулось сыну, женился на умной, домовитой женщине, но потом понял, что ошибся…

Миновав очередной поворот, машині остановилась вод нависшими скалами. Рашид выпрыгнул из кабины, полез в мотор. Видимо, что-то у него там случилось, а может, просто решил проверить. Повозившись немного, он захлопнул капот и обошел машину, постукивая носком сапога по колесам. Потом заглянул в кузов.

— Замерзли?

— Совсем замучился.

— Я старался ехать потише, чтоб не так продувало. Потерпите, через часок доберемся. Впрочем… — Рашид снял с себя полушубок. — Надевайте.

— Как же ты?

— В кабине тепло… Раньше нужно было б, — не догадался.

Старик, набросив на себя полушубок, уселся поудобнее. Машина тронулась, и он вернулся к своим мыслям. В прошлом году, изрядно соскучившись, он поехал к сыну. Взял с собой раннего

винограда, четыре дыни.

Гостил уже два дня, обошел магазины и рынки и был всем доволен — и городом, и собой, и сыном, и невесткой, которая, надо сказать, была само внимание: не знала, куда его, свекра, посадить и чем угостить. Старик прямо таял от удовольствия. Каково же было его потрясение, когда он вдруг узнал, что все это — не больше чем маскарад.

Утром третьего дня, одевшись, он стоял в прихожей в ожидании сына с невесткой, которые задержались в дальней комнате. Тут он вспомнил, что забыл на подоконнике в гостиной ножичек, с которым не расставался. Он вернулся, взял ножичек и хотел было уже уходить, как услышал голос невестки. Его поразил раздраженный тон.

— Да, да! — срываясь с шепота, выговаривала она Муроду. — Когда он здесь, я не выхожу из кухни. Язык уже не поворачивается повторять: ешьте, пейте…

— Не забывай, что он мой отец и приехал не к кому-нибудь, а к сыну. А сейча с дай денег и не морочь мне голову, он ждет.

— Вот, вот, опять деньги… Мой бедный отец бегает, хлопочет, договаривается, чтобы на базе еще попридержали гарнитур, потому что ты уже месяц не можешь привезти его. Откуда у нас столько

денег, чтобы швырять их на каждом шагу.

— Ты мне плешь проела своим гарнитуром. Все тебе мало, когда ты только насытишься…

О чем еще они говорили, старик уже не слышал. Ошеломленный, он вышел во двор и стоял, покусывая кончик уса.

Когда показались молодые, ничто не напоминало о недавней перебранке. Мурод, правда, казался рассеянным, но на лице невестки играла улыбка.

Потом, спустя много времени, боль старика улеглась, и он даже пытался оправдать невестку. Конечно, она еще молода, у нее свои заботы, и откуда ей знать, что ему, старику, не нужны ни их деньги, ни их угощенья, — были бы сами здоровы и счастливы.

И все же жалко было Мурода…

Машина, вырвавшись из ущелья, пошла на спуск и вскоре выкатилась на равнину. Приподнявшись в кузове, старик увидел впереди первые строения Хайрабада. Издали полустанок напоминал одинокого путника, затерявшегося в безбрежной степи. Ветер мешал смотреть, застилал слезами глаза. Старик, плотнее завернувшись в полушубок, снова приткнулся к ящику. Впервые он почувствовал боль в висках. Голова слегка кружилась.

...Город уже отходил ко сну, когда, наконец, старик со вздохом облегчения остановился у многоквартирного дома. Еще на подходе он высмотрел на втором этаже знакомые окна и удивился: в них не было света.

"Неужто никого нет дома?"

Утихшая было тревога вспыхнула с новой силой. Не дав себе передохнуть, он вошел в подъезд и, задыхаясь, с трудом переставляя бессильные ноги, стал подниматься по лестнице.

У обитой кожей двери старик поставил корзину, рядом положил дыню и осторожно нажал на перламутровую кнопку звонка. Из глубины квартиры отозвался мелодичный бой колокольчика. Выждав немного, старик снова позвонил, потом еще раз и еще.

"Чудно. Не могли же они в самом деле уйти. Вызвать отца из такой дали, и вот на тебе... Может, соседи что знают".

Он подошел к двери напротив, поднес было палец к кнопке, но передумал.

"Вдруг спят. Неудобно тревожить".

Потом достал из кармана поддевки часы, которые верно служили ему со времен войны. Было около одиннадцати.

"Эх, дети, дети! Дай бог, чтобы все было в по-

рядке".

Он решил спуститься вниз и уже сделал шаг по лестнице, как от соседей донесся женский голос. "Не спят", — обрадовался старик и решительно позвонил. Почти тотчас же резко распахнулась дверь. Вышла рыжеволосая женщина средних лет, с узким нервным лицом. На ней было короткое платье с глубоким вырезом на груди. Маленькими подведенными глазами она бесцеремонно и неприязненно осмотрела старика.

— Что вам нужно?

— Доченька, я отец Мурода…

— Какого Мурода?

— Соседа вашего, — старик показал рукой на противоположную дверь. — Я приехал из района, а дома никого нет. Не скажешь, где они?

— Странный вы человек. — Лицо женщины дернулось, видимо, она. усмехнулась. — Мне они мне докладывают, когда уходят.

— Доченька, а может…

— Да поймите же, я ничего не знаю и ничем не могу помочь.

Дверь захлопнулась, прежде чем старик успел что-либо спросить. Словно ища опору, он ухватился руками за поясной платок и, тихо бормоча "прости, господи, прости, господи", спустился

о лестнице. Недалеко от подъезда нашел низенькую лавочку и, смахнув рукавом снег, сел, поглубже втянул голову в ворот чапана.

Улица еще жила редкими прохожими и машинами. У перекрестка на фасадах домов горели светящиеся буквы. "Мясо-молоко, — шевеля губами, читал старик. — Детская шалость с огнем приводит к пожару. Промышленные то — ры". Ему стоило большого труда угадать, что — такое "то — ры" и, когда, наконец, повял, то потерял к этим надписям всякий интерес. Он забылся, ушел опять в свои мысли, и даже не обратил внимания на такси, остановившееся почти у самого дома. Лишь когда из машины вышли мужчина и женщина и, смеясь чему-то, приблизились к подъезду, старик поднялся навстречу. Увидев его, они приостановились, удивленно переглянулись.

— Мы уже и не ждали вас, — после слов приветствия стал оправдываться Мурод. — Решили, что не приедете, и отправились в гости. Когда же вы приехали?

— Как узнал, что звонил, сразу же и собрался, сынок.

— Да что мы стоим, пойдемте домой. Вы же совсем замерзли.

Но старик не тронулся с места. Он испытующе смотрел на сына.

— Скажи, что случилось. Почему ты так поспешно вызвал меня?

— Ничего не случилось. — От Мурода пахнуло водкой и табаком. — Просто соскучился…

— Он в Москву едет, на три месяца. От завода направляют учиться. Вот и хочет перед отъездом повидаться, — пояснила невестка. Она быстрее мужа уловила необычное состояние старика, но поняла его по-своему и накинулась на Мурода: — Говорила же, незачем беспокоить отца в такую погоду…

— Едешь, значит, учиться… Слава богу, — сказал старик. — А я, грешным делом, о чем только не передумал.

— Ну, идемте же, — взяв отца за локоть, Мурод увлек его в подъезд.

Поднимаясь вторично по лестнице, старик всем своим немощным телом чувствовал, как устал. Невзгоды долгого дня отозвались в нем сплошной болью. Колоколом гудело в голове, разламывалась поясница. На какое-то мгновение у него появилось желание остановить сына и сказать ему: "Ты, сынок, не ведаешь, что делаешь. Если тебе действительно захотелось повидаться

со мной, мог бы выкроить денек и приехать. Этим ты не уронил бы своего достоинства, а для меня встреча была бы праздником, я не устал бы молиться за тебя. Теперь же мне ничто не в радость. Как мог ты забыть, что я стар, немощен и что зимний путь не для моих костей. Как мог забыть ты… Ведь я отец твой…"

Но ничего этого не сказал старик. Он не мог, не хотел признаться себе, что очаг, согревавший его годы, давно уже холоден.

Авторизованный перевод Б.Пшеничного

СОРБОН (ХАМРОЕВ ОБАОКУЛ)

Перу Сорбона (Облокула Хамроева) принадлежат повести "Первый звонок", "Камень-щит", "Джути" и другие.

Многие его произведения переведены на русский и другие языки пародов СССР, Член СП СССР.

БРАЧНАЯ НОЧЬ
Рассказ

...Малыш стоял перед ними и не мог понять, что происходит. Точно так же полтора месяца назад эти люди, собравшись в кружок, справляли поминки. Они сидели тогда под желтеющим тутовником. Сегодня они сидят на ковре, расстеленном на опавших листьях, и едят свадебный плов. Сидят молча. Иногда кто-нибудь вытащит из-под ковра побуревший лист, долго разглядывает и, словно нехотя, отбрасывает.

Неожиданно раздается громкий молодой голос:

— Домулла, это дозволяется, а?

— Да-да, дозволяется. Так учит коран.

— А мог ли старший брат жениться на вдове младшего?

— Нет. Запрещено шариатом. Азим для Азиза стал бы вместо отца. Это запрещено.

— Но почему младший брат может жениться на вдове старшего?

— Не может, а должен. Это его долг. Да простит тебя аллах!

— Эй, чабан, повтори: "Да простит меня аллах!" — цедит слова мужчина, сидящий рядом с муллой.

Ребенок стоял у ковра. Он оглядывал гостей, словно искал кого-то. Люди монотонно бормотали: "Дозволяется", "Не дозволяется", "Сирота", "Бедный малый", "Память брата", "Ему нужен отец". Слова постепенно слились в шершавый ком, и только одно, как эхо, пошло гулять от горы к горе: "Дозволяется... ается... ается!"

...В эту ночь ребенок спит без матери. Ола ушла в комнату к дяде Азизу.

...На противоположных углах постели сидят двое. Они не видят друг друга, не слышат, как стучат их сердца. Постель — словно бесконечная степь, которую они не могут перейти. Женщина не в праздничном свадебном наряде, и лицо её,

измученное, поблекшее, походит на застиранное платье, в которое она одета. Она сидит, не закрывая смущенно лица, как это было когда-то, в ее первую брачную ночь. Она сидит, отвернувшись к окну, и Азиз не видит ее слез.

В освещенном квадрате как будто мелькнула знакомая тень. Женщина вскрикнула и бросилась к окну. Раздался звон стекла. Прислонясь к стене, она сползла на пол.

В окно подул ветер.

В ушах, словно нудный напев, повторялось: "Чтобы не оставить сиротой… уважение к памяти брата".

Она подняла голову. Было тихо, ей почудилось движение. Она сжалась и напряглась. Спрятаться куда-нибудь! И, подняв в слабой защите руки, она отчаянно закричала:

— Нет!

— Ян… Ян… — забормотал мужчина и умолк. Он не мог произнести "янга" [31] и не мог подобрать другого слова. Кровь бросилась ему в лицо. Перед глазами пронеслась картина: мулла и застолье. Зачем? Зачем надо было слушать причитания: "Дозволяется… ается… ается". Кто понимал, что

---

[31] Примечания: 31
Янга — невестка, жена брата.

творилось в его душе? Долг? Так было когда-то в старину. Долг? Разве долг? Главное, что никто, никто не зпает. Даже она…

Затаив дыхание, женщина ловила каждый шорох…

Набежавший ветер зазвенел разбитым стеклом, женщина вздрогнула, неслышно вздохнула.

В сознании вспыхивали и вились, как дым, фразы, услышанные ею в эти дни: "Освящено кораном", "Когда был жив брат, они считались родными. Теперь чужие", "Вдову полагается выдать замуж за брата покойного. Таков обычай", "Чтобы ребенок не остался сиротой, нужда заставляет", "Это обычай".

— Нет! — прошептала Зуфунун. — Раньше были родными, могли смотреть друг другу в глаза, а теперь…

И вдруг вспомнила взгляд исподлобья, затаенный взгляд подростка, почти ее ровесника. Это было в первое время после свадьбы. Тогда она постоянно чувствовала на себе взгляд Азиза. Не может быть!.. Она пришла в этот дом шесть лет назад. Неужели с тех пор?

В тишине загремел коробок спичек.

— Не подходи… Не подходи… — отталкивая от себя темноту, шептала она.

Азиз судорожно чиркнул спичкой. Горящая сера упала на пол. Он чиркнул второй раз. и поджег Фитиль лампы. "Если огонь погас, его можно зажечь, но мертвые не воскресают", — шептала женщина, глядя немигающими глазами на лампу.

Азиз сел на постель и опустил голову. Пильной муж вот так же, склонив голову, сидел на постели в последние дни. Зуфунун невольно сравнила: прямой, как у Азиза нос, та же линия губ, подбородка. И та же молодая наследственная проседь. "Азим", — подумала она и тихо произнесла: "Азим". Сердце ее дрогнуло, она перехватила рукой горло.

Азиз продолжал сидеть с закрытыми глазами.

Огонек в лампе метался, коптил. Надо бы прикрутить фитиль, но она не решалась подняться.

Ветер принес со двора холодный запах осенних листьев. Пламя прыгало, копоть растекалась по комнате.

Зуфунун смотрела на Азиза. Казалось, он заснул. Она встала, привернула фитиль. Азиз открыл глаза и снова закрыл.

Сердце его ныло. Он вспомнил умершего брата, жалел себя, думал о том, что эта женщина недавно была его родственницей, а теперь... Может

быть, Бахтиер, ради которого он здесь мучается, не назовет его больше своим дядей... Мысли мешались, и голова становилась все тяжелее. Ему нестерпимо захотелось лечь, но он не решался сделать это и продолжал сидеть.

Зуфунун зачарованно смотрела на закопченное стекло, погружаясь в сон наяву. Опять послышалось ей: "Чтобы не остался сиротой".

— Нет! — вздрогнув, очнулась она. — Не надо.

Ветер звякнул стеклом, пламя качнулось, и мысли Зуфунун снова вспорхнули, как птицы с дерева.

"...Бахтиер знает своего отца, как же назовет он отцом своего дядю? Так нельзя, так неправильно, плохо, очень плохо!"

Тускло горела лампа. В комнате стояла тишина.

Зуфунун вдруг привиделось — Азим трясет орешник. Парни и девушки собирают орехи. А она очищает их от кожуры и кладет в корзину. Азим трясет ветку, и орехи падают со стуком. Зуфунун защищает голову корзиной, а другие парни и девушки со смехом разбегаются, чтобы тут же вернуться. Орехи стучат по земле, и один попадает в руку Зуфунун. Девушка вскрикивает и смотрит вверх. Азим невинно глядит на нее, а

потом перебирается на другой сук.

— Нет, Бахтиер нн будет сиротой, — упрямо шепчет Зуфунун; и вдруг с потрясающей ясностью понимает, что никто, никто не властен над ее сердцем, над ее судьбой, над ее Бахтиером.

Лампа моргала. Огонь подпрыгивал над сгоревшим фитилем и, наконец, совсем оторвался, погас.

Зуфунун опустила голову. Коснувшись щекой кошмы, она встрепенулась и машинально позвала:

— Бахтиер!

— А? — вздрогнул Азиз.

— Нет, нет!

— Что случилось?

— Нет, ничего.

Азиз снова зажег лампу. Зуфунун ладонью прикрыла глаза, Азиз подошел к окну и лёг грудью на подоконник. Ла улице было темно и тихо. Он задумался: "Азим имел права отца. Хорошо, — имел. А его жена какие права имеет? Какие права имеет моя невестка, пропади все пропадом! Почему же я не сказал! Я сам сирота. Почему я не кричал об этом? Трус. "Дозволяется шариатом, священный обычай, пусть хоть Бахтиер не будет сиротой!" А может, они обо мне заботились? Дескать, для си-

роты и жены не найдется? Нет, Бахтиер никогда не скажет мне "отец", не предаст своего отца... Почему она не выгоняет меня, почему молчит?"...

— Не будет сиротой, не пропадет, — шептала Зуфупун и вдруг вздохнула со стопом:

— Азим, сердце сильнее корана!

— Янга, янга! — забормотал Азиз.

— Мой Азим, Азимджон, — слепо протянув к степе руки, билась в крике вдова-невестка.

Азиз выбежал.

Зуфунун повернулась лицом к свету.

За окном послышались легкие, как шорох шажки...

Перевод И.Машина

СОН
Рассказ

Я сплю чутко, как заяц. Вот и теперь чувствую: тень скользит по моему лицу, нерешительно приближается, исчезает, а через мгновение появляется снова. Наконец ладонь ласково касаетсд моего плеча. Но я поворачиваюсь на другой бок и опять погружаюсь в дремоту. И точно продолжение яви — вижу сон...

— Вставай, сынок, пора… — слышатся мне слова матери, звучащие как за стеной, отдаленно.

Я потягиваюсь, протираю кулаками глаза.

Месяц и яркие звезды блестят, словно роса на цветах, воздух ароматен и свеж.

Под навесом у большого орешника меня ждет отец. Мы седлаем ослов и отправляемся в горы. Дорога ведет через холмы, забирает все круче. Ветер продувает сырые ущелья. Слышатся голоса утренних птиц — скоро рассвет.

Но мы не дожидаемся, восхода солнца. Отец начинает рубить арчу, и удары топора разносятся далеко окрест, рождая ступенчатое эхо.

Приятно лежать под арчой! Журчание родника, пенье птиц, и звуки пастушьего пая[32] сливаются в одну нестройную, но полную необъяснимой прелести мелодию…

— Подавай ослов, сыпок, — говорит отец…

Я берусь обеими руками за вьючное седло, отец пере-' брасывает через спину осла веревку и укладывает вязанку. Чтобы не упасть, я ухватываюсь за арчовые обрубки, Прижимаюсь к ним подбородком. Руки и ноги дрожат от напряжения. Осла начинают донимать оводы. Он бьется,

---

[32] Примечания: 32
Най — музыкальный инструмент.

переступает, и я падаю, увлекая за собой дрова. Отец поднимает меня. Я замечаю на глазах у него слезы.

— Ничего, сынок, ничего!

Закусив дрожащие губы, он, чтобы успокоиться, долго смотрит вдаль, туда, где небо сошлось с землей. Великим терпением и скрытой мудростью светятся его глаза. Потом он отрывает взгляд от горизонта и смотрит в мои глаза, словно хочет передать мне свои мудрость и терпение.

Так стоим мы некоторое время.

Ослы же успевают уйти далеко по тропе. Отец догоняет их, и те, чувствуя, что сейчас им достанется, низко опускают головы, начинают кружиться на месте.

Отец подводит их к упавшей вязанке и, беспрестанно повторяя "ишь, ишь", ставит с моей стороны рогатую подпорку. Мы нагружаем дров так много, что верхней веревки не хватает.

Тогда отец снимает чалму и наращивает веревку. Теперь ее хватает даже на подхвостник, необходимый для того, чтобы на спусках груз не съезжал на шею осла. Для второго вьюка отец связывает два наших пояса. Ослы нагружены так, что, как говорится, могут упасть на ровном месте. Но отец не сбрасывает ни одной палки.

Дома, забыв про голод, я валюсь с ног и едва добираюсь до постели. Развьючивать животных отцу помогает мать…

И снова я ощущаю робкое прикосновение руки. Наверное, отцу жаль будить меня. Но в эту — следующую — ночь мы должны отвезти дрова в город: дома нет хлеба.

Я встаю, освежаю лицо водой, а мать тем временем помогает отцу навьючивать ослов. Теперь животным легче: половина дров остается дома.

Отец усаживает меня между вьюками, привязывает, чтобы я не свалился, и мы трогаемся в путь.

Дорога, словно колыбель убаюкивает меня, и я опять засыпаю. Иногда сползаю на бок, и тогда слышится предупредительный крик отца.

— Проснись!

Я испуганно открываю глаза. Мне кажется, что шагающие рядом ноги отца движутся не вперед, а назад.

Клонятся звездные узоры, дрова трутся, издавая однообразные звуки, подковы животных цокают по камням, высекая искры.

Ближе к городу дорогу окружают сады. На обочинах отдыхают люди, которые ведут на базар скотину. У городских ворот мы останавливаемся.

Отец отвязывает меня и спускает на землю. Ноги у меня затекли, я не могу ступать.

— Походи немного — пройдет, — говорит отец и, придерживая меня за плечи, тихонько толкает вперед. — Так, так… и когда ты только станешь человеком!

Он перетряхивает дрова, чтобы их казалось больше, и по глухому переулку мы едем в знакомую чайхану.

Чайханщик разводит огонь в самоваре. Увидев отца, он говорит:

— Я уже купил три вязанки дров.

Отец тяжело вздыхает, но, еще на что-то надеясь, медленным взглядом обводит законченные степы чайханы.

— Ну, ладно, даю 40 рублей за все, — сочувствуя отцу, соглашается чайханщик.

Отец думает.

— Добавь еще пять рублей.

— Нет. И это — хорошая цепа.

Отец склоняет голову. Он смотрит на меня так, словно просит извинения: тут уж, мол, ничего не поделаешь.

…Звезды гаснут в свете нового дня. Отец выходят из чайханы, походка у него увереннее. Я тоже вышагиваю легко и твердо.

Отец привязывает ослов за чайханой, и мы идем на базар. Там он покупает посылочный ящик, кишмиша и орехов. Видя, что в посылке остаются пустые места, он снимает пояс, складывает его и заталкивает в ящик.

Он тщательно заколачивает гвозди. Потом достает карандашный огрызок, потертый на сгибах треугольник письма с адресом, передает мне и указывает на посылку:

— Перепиши адрес. Да хорошенько смотри номер воинской части, не ошибись…

…И снова приближается тень руки.

— Вставайте, отец. Уже пора на работу.

Я открываю глаза и вижу перед собой улыбающееся лицо своего сына.

Перевод И.Машина

МАРУФ БОБОДЖАНОВ

Участник VI Всесоюзного совещания молодых писателей в Москве, лауреат премии Союза журналистов Таджикистана Маруф Бободжанов издал несколько книг рассказов и повестей. Он известен одновременно и как переводчик.

Член Союза писателей СССР.

ПОЛУШАЛОК ДЛЯ МАТЕРИ
Рассказ

Все было в порядке. "Хок-кей!" — как сказали бы ребята из гаража. И дорога в порядке, и машина — хоккей! Кудрат слышал, как послушно ревет мотор. Аппетит в 150 лошадиных сил — что надо, умница — железка, бензин жрет с удовольствием.

И весна — уже весна, а он любил, когда весна. Кажется — устоялась. А то ведь ждешь ее целую зиму, а она, черт возьми, заявится на денек, и опять, но-новой, глядишь — холод, но-новой — снег, дождь, грязь... Шоколад... Наешься!..

Облака — как из стиральной машины, отбелен-

ные порошком с мылом. Небо голубое-голубое. И вон, но обочинам. ивы и травы — блестят даже, такие новые. И миндаль ла холмах цветет. Листьев еще нет, а миндаль цветет, так ему не терпится. И прохладно, — ветер сдается, снежком пахнет. Утром Кудрат не сразу завел машину, до того мотор промерз за ночь. По ущельям кое-где снег. Но это уже. не страшно, нет. Вон солнце как поддает!

Обо всем этом Кудрат думал с некоторым усилием, с иголкой в сердце, которую — он понимал это — уже не вытянуть. Она вонзалась всякий раз, как только Кудрат вспоминал мать. То есть, о матери Кудрат помнил постоянно (это обо всем остальном он заставлял себя думать), это, и даже когда удавалось отвлечься, ощущение тупой иглы в сердце не проходило.

Вчера мать почувствовала себя плохо. "Пустяки! Простыла. Цветет миндаль — простудиться нетрудно". Если бы только простыла, — о своих болезнях мать не очень распространяется! Если даже простыла — в ее годы это уже не шутка! Надо ей полежать, полечиться. Хотя бы день, два. Тетушка Бахри обещала присмотреть за ней на ферме. Да разве мать уговоришь! Одно в ответ: "Твоя забота, сынок, лучшее для меня лекарство…

За работой хворь скорее пройдет..."

И вот теперь Кудрат костерил себя: не сумел настоять на своем, внимания к матери не хватает, и вообще не хватает характера.

Сзади, из-за поворота, прозвучала, точно ударила, неожиданная сирена. Кудрат прижался к обочине. Промчалась, не переставая тревожно сигналить, "Скорая помощь".

"Вернусь из поездки — и отвезу мать в поликлинику, — решил Кудрат. — В ее годы со здоровьем, в самом деле, не шутят".

Кудрату стало легче, веселее. Дорога бросала с холма на холм — иной раз все внутри обрывалось, как на качелях. Кудрат снова принялся думать о дороге, о горах, о миндале. Горы здесь еще не памирские, но вот так, с налета, не каждую перескочишь. Вон перевал впереди — 1245 метров над уровнем моря! Накрутит тебя баранка, все плечи на серпантинах вывернешь.

В кишлаке возле перевала Кудрата остановила старушка... Потертое плюшевое пальто, белый платок с кистями, лицо коричневое, в морщинах... У Кудрата заныло сердце.

— Здравствуйте, бабушка! — Кудрат открыл дверцу кабины.

— Сто лет тебе жизни, сыпок! — ответила ста-

рушка и этим традиционным приветствием еще больше напомнила Кудрату мать. — Не в Гулистан едешь?

Кудрат вышел из кабины, помог старушке поднять тяжелую сумку. "Да стану я за тебя жертвой, сынок!" — снова общепринято поблагодарила старушка. Кудрат запахнул пиджак, — ветер, точно — снежком пахнет. Он не спеша обошел свою "Техпомощь", постучал привычно сапогом по баллонам. Гудят глухо, будто рычат лениво, недовольные, потревоженные. Тоже умницы, напитались, есть не скоро запросят.

Из кишлака к машине бежали, размахивая руками и крича что-то, парни и девчата. Были они в одинаковых оранжевых куртках, в сапогах, куртки горели на фоне зелени придорожья. "Восемь человек, — насчитал Кудрат. — Студенты-практиканты из Гулистана, не иначе".

Ребята, и правда, ехали в Гулистан. Отсюда до Гулистана шофера брали за проезд по три рубля с брата.

"Трижды восемь — двадцать четыре!" — весело подсчитал Кудрат, а вслух сказал:

— Хок-кей!

— Что вы сказали? — не поняли ребята.

— Я сказал: деньги на бочку — и полезайте в

будку!

Теперь Кудрат вел машину осторожнее. Слева — скала, справа — почти под колесами, — пропасть. Дорога, конечно, знакомая. Вполне приличная дорога: в последние годы ее расширили — шоссе да и только, хоть по нему гонки устраивай. И все же на поворотах уши держи топориком — глазомер, расчет нужен, не то улетишь в пропасть, запросто!

И на перевале — весна. Снега на перевале больше, но рядом с ним — желто от подснежников. Солнце яркое, словно приблизилось. Снег ноздреватый, льдистый, но долго на него не посмотришь — блестит, слепит.

Кудрат вспомнил, как в детстве выносил с мальчиками к дороге букеты подснежников. Время тогда было еще нелегкое, недавно война кончилась, да и машин — раз, два и обчелся. Но цветы покупали. На конфеты перепадало.

"Куплю матери полушалок", — подумал Кудрат. Он давно присмотрел в Гулистане полушалок для матери — не дорогой, но теплый. Да все покупка не получалась: то денег нет, то, глядишь, растранжиришь деньги с дружками-приятелями, а то просто некогда забежать в магазин. Только один-единственный раз и порадовал Кудрат мать

подарком: с первой получки. Сколько живой шоферской копейки с тех пор утекло, сквозь пальцы! Иногда Кудрату казалось, что он никогда уже так и не потешит мать. Внимательный сын называется, заботливый. "Двадцать четыре плюс три рубля старушки, — прикинул Кудрат. — Плюс мелочишка, припасенная на обед и на прочие непредвиденные расходы..."

У Кудрата поднялось настроение. Даже тоска, казалось, прошла. Серые жаворонки, еще не улетевшие на север, срывались с пригретого асфальта, возбужденно и коротко вскрикивали. В будке смеялись, пели студенты, били ладонями по деревянной скамейке, как в бубен. Старушка, сидевшая в кабине, молчала, смотрела в стекло перед собою, лицо ее было печально, даже скорбно. Иногда, на крутых поворотах Кудрат невольно придвигался к ней, клонился, и пытался тогда посмотреть в стекло как бы ее глазами, но видел все то же: снег, подснежники...

— В гости, бабушка, едете? — не выдержав наконец, спросил Кудрат.

— Сына проведать, — медленно обернулась старушка.

— Хо-рошее дело! — У Кудрата чуть не вырвалось привычное "хок-кей", но он вовремя

сдержался.

— Мой сын в Гулистане в тюрьме сидит.

Заскрежетало сцепление. Это, снимая перед встречной машиной скорость, Кудрат не выжал педаль. "Трепач!" — Кудрат суетливо дергал рычаг скоростей, выжимая педаль.

— Уже полгода сидит, — вздохнула старушка. — Три года моему Мухамеджану дали.

— Провинился парень, — невнятно пробормотал Кудрат. — За здорово живешь не посадят.

— Он не виноват, — покачала головой старушка. — Мой сын тоже шофером работал, — добавила она, надеясь, что это все объяснит Кудрату. — Выпили с товарищами в дороге, поссорились, товарищи на Мухамеджана с кулаками набросились. У Мухамеджана под рукой пож оказался. Он только постращать хотел.

— Значит, все-таки провинился. — Кудрат по-прежнему чувствовал себя неловко.

— Он не виноват, — упрямо повторила старушка. — Мухамеджан добрый, только вспыльчивый, горячий. А виной всему — водка.

— Раньше ваш сын судился?

— Условно. Все из-за водки.

"А я матери полушалок никак не куплю", — вдруг подумал Кудрат.

Они уже спускались с перевала, снега становилось меньше, но Кудрату казалось, что в кабине все еще прохладно, он даже поднял боковое стекло. Опять пошли ивы, миндаль. Вдали меж холмов ползали трактора — выравнивали землю под хлопок. Земля уже подсыхать начала: вон пыль за тракторами.

А старушка рассказывала о Мухамеджане. Ей, видно, горько было, что Кудрат может подумать о нем плохо. Мухамеджан был у нее последним, шестым ребенком. Все дети у нее прежде почему-то умирали. Мухамеджан родился за три месяца до начала войны. Отец ушел на фронт и не вернулся.

"И меня с сестрой мать одна воспитывала", — подумал Кудрат. Правда, родился после войны. Его отец с фронта вернулся: грудь в орденах, а здоровья — никакого. Отца Кудрат почти не помнил — он вскоре умер.

— Когда дети растут, тяжело рукам, а вырастут — тяжело сердцу, — говорила старушка. — Окончил Мухамеджан школу, дальше учиться не захотел, и работать не пошел. "Пусть, думаю, отдохнет. Его век большой — работы хватит". Недолго. Мухамеджан без дела слонялся. Потом поступил в мелькомбинат. Но работа ему не

понравилась, устроился на другую, и та не по душе пришлась. Так и гулял, пока на шофера не выучился. А тут женился. Ну, думаю, теперь внучат понянчу. Трое их сейчас у меня, внучат, четвертый вот-вот должен родиться, сноха в школе работает. Три года, — легко сказать!

Тюрьма в Гулистане — при въезде. Приземистые постройки едва видны из-за кирпичного забора с колючей проволокой поверху. Железные ворота выкрашены в ярко-зеленый весенний цвет.

У ворот тюрьмы Кудрат остановился. Старушка достала из сумки четыре вареных яйца, гранат, два пирожка, — протянула Кудрату:

— Проголодался, наверное. Пирожки сама пекла. Вкусные, с тыквой.

Кудрат отказался:

— Такие пирожки ваш сын ни за какие деньги не купит.

Старушка поняла это по-своему. Торопливо вынула из кармана носовой платок, завязанный узелком. В узелке несколько рублевых бумажек.

— На обратную дорогу хватит. И на подарки внукам останется. Скажу: отец прислал.

Кудрат взял деньги, помог старушке донести до ворот тяжелую сумку, по дороге незаметно для

старушки сунул в сумку все деньги, которые у него скопились.

"Плакал полушалок для матери", — возвращаясь к машине, с тоской подумал Кудрат.

Студенты тоже вышли. Их Кудрат увидел уже за перекрестком. На него они не обратили внимания.

А весна в городе была еще заметнее. Листья уже блестели — набрались зелени. Тепло. Скверы расцвели яркими, шумными клумбами нарядно одетых ребятишек.

"Может быть, мама без полушалка пока обойдется? — старался ободрить себя Кудрат. — Теперь тепло. Весна. Вон солнце как поддает... Хок-кей!"

Перевод Г.Бободжановой

КТО-ТО ЗВОНИТ
Рассказ

Дочка угомонилась, сладко засопела, оттопырив пухлые губки. Саври подоткнула одеяльце и вышла в гостиную, где стоял телевизор, приглушенно светил торшер и мерцало лакированное дерево.

— Включить? — спросила она мужа.

— Включи, — сказал Хабибулло. Он лежал на диване и шелестел газетой. — Вовремя, — добавил он. — Как раз ансамбль "Гульшан" выступает.

Она сидела на диване, ощущая спиной уютное тепло мужнина тела. С удовольствием смотрели они, как танцует Длинноносая красавица.

Зазвонил телефон. Саври пошла в коридор. Тут же вернулась и тихо прикрыла за собой дверь. На вопросительный взгляд мужа сказала:

— Молчат. Наверное, мой голос не поправился.

— Не огорчайся, он нравится мне.

Муж ласково погладил ее мягкое плечо. Тут снова раздался звонок.

— Сиди, — сказал Хабибулло.

Он резко поднялся, при этом у него булькнуло в животе. Нащупал ногами шлепанцы и неспеша вышел в коридор. Через минуту вернулся, хмыкнул:

— И я не понравился, — и повалился на диван.

Саври засмеялась.

— Не расстраивайся, ты ведь мне…

Она не успела договорить, в коридоре зазвонило.

— Что за черт, — заворчал муж, шлепая к дверям. — Слушаю…

Молчание.

— Послушайте, перестаньте баловаться! Вам что, делать нечего?

Брякнул трубкой. Вернулся, заскрипел диваном.

— Что за шутки?

— Не понимаю, — сказала Саври.

Она по-прежнему следила за происходящим на экране, но взгляд ее стал несколько рассеянным. Хабибулло удобно лежал на спине, глядел в потолок и размышлял... Кому понадобилось так вот издеваться? Он как будто никого не обижал, да и его тоже. Он — обыкновенный человек. Учился, как все, теперь вкалывает, как все. На обыкно-венной шелкоткацкой фабрике. Только вот родители не давали покоя насчет женитьбы. Непременно хотелось ни видеть сына остепенившимся. И невесту подыскали — племянницу дядиной жены. Познакомили Хабибулло с Саври, а тетка каждый раз нахваливала племянницу. Да, симпатичная девушка, — он согласен. Как только Саври сдала последний в институте госэкзамен, сыграли свадьбу. Потом дочка родилась. Ну, еще что? Квартиру дали от комбината, обыкновенную. Говорил вчера с Ниной. Проходил по цеху, подошел и спросил: "Как дела?" — "Хорошо, спасибо. Дочка, говорят, у вас родилась.

Поздравляю". — "Спасибо". — "А еще слышала — квартиру получили? С новосельем!" — "Сколько комнат?" — "Две". — "И телефон будто есть?" — "Есть". — "Хорошо". И отошла к станку. Может, это ее штучки? А ведь наверняка ее. Злится. Ну, а он причем? Сердцу не прикажешь.

Смешно познакомились они. В первый свой рабочий день он в самую рань отправился на комбинат. Автобус был переполнен, еле втиснулся. Ехать пришлось долго. Машина подпрыгивала на неровной дороге, а вместе с нею колыхались пассажиры, как студень.

— Вы не можете немного продвинуться? — послышался позади девичий голос.

— Куда двигаться — стой, где стоишь, — огрызнулся взмокший Хабибулло.

— Ну, тогда я сама.

И, сильно потеснив его упругим бедром, девушка стала продвигаться вперед. Он увидел золотистые кудри и вздернутый нос. И взвыл от боли.

— Ох, чтоб этот каблук сегодня же отвалился!

— Извините, пожалуйста!

— Не поможет, все равно отвалится.

Она улыбнулась ему ясными, чистыми глазами и двинулась к выходу под душераздирающий

скрип тормозов.

Директор шелкоткацкой фабрики перед началом смены представил ткачихам нового поммастера, и через минуту цех наполнился обычным рабочим гулом. Мастер Иван Иванович повел Хабибулло по рядам. Возле одного станка прилежно трудилась златоволосая девушка. Знакомый носик. Хабибулло подошел и сказал: "Привет!" Она не расслышала, но поняла, удивилась и вдруг узнала его. Заулыбалась, потом с озабоченным выражением что-то сказала, указывая на его ногу. В грохоте он тоже не расслышал и, засмеявшись, отрицательно покачал головой. Так они познакомились.

...Взгляд Саври устремлен на экран, но она ничего не видит. Кто балуется телефоном? Может, знакомые? Ну, один, два раза пошутили и довольно. А вдруг кто-нибудь из шестиклассников? Адаш такой озорник. Сегодня отругала его — не приготовил уроки. Хотя вряд ли. — вечером мальчишке не позволят этого, все дома. Так кто же? Взрослые? Неужели Ибрагим?

Вчера после школы она шла к троллейбусной остановке и, о господи, повстречала Ибрагима. Он поздоровался. Она кивнула в ответ, но не остановилась. Он пошел следом.

— Как дела, Саврихон?

— Спасибо, неплохо.

— Как семейная жизнь?

— Хорошо.

— Ты счастлива?

— Очень.

— Что такое "очень"?

Саври приостановилась.

— Тебе нужны подробности?

— Да нет, зачем же.

— Если человек здоров и у него спокойно на душе — он счастлив, Ибрагим.

— Для полноты счастья…

— Спокойно на душе — это когда получаешь удовлетворение от работы, от самой жизни.

— Я понимаю: ты любишь мужа. А он?

— Ты говоришь глупости. Если бы не любил, то не женился бы. И вообще, разве у нас было бы все хорошо, если б мы не любили друг друга?

— Да, пожалуй.

Помолчали.

— Ну, а ты как живешь?

— Я?.. Как-то мне все не верилось, что ты замужем. На что-то надеялся… Два месяца назад покорился родителям — женился. Она меня любит, я вижу. Она хорошая хозяйка, я уважаю ее,

но поверь...

— Не надо, Ибрагим. Не всегда детская дружба переходит во что-то большее. Ты ведь давно вырос, должен понять.

— Я понимаю, но сердцу не прикажешь.

— Глупости, — замотала головой Саври. — Человек владеет своим сердцем. На то он и человек.

Они подошли к остановке.

— Прости, — сказал Ибрагим, — но любить — не позор.

— Выбрось из головы, — сказала Саври и направилась к подъезжающему троллейбусу. — У тебя жена, люби ее, дай ей счастье...

Опять звонок! Саври порывисто встает и идет к трубке. Молчание. Но слышно: кто-то дышит. Ей хочется обругать, сказать что-нибудь обидное этому человеку, но она осторожно опускает трубку — на рычаг. На вопросительный и раздраженный взгляд мужа пожимает плечами.

Концерт продолжается. Молодой певец исполнял старинную песню на стихи Хафиза.

— Нравится? — спросила Саври.

— Да, неплохой голос, — ответил Хабибулло, мельком взглянув на экран. "А может, Малика?" — подумал он, переводя взгляд на потолок. И мучительно сморщился.

…Дружба с Ниной постепенно угасала. Воскресенье, Хабибулло собрался на футбол. Времени еще много, и он решил прогуляться. Дошел до студенческого общежития. На балконе второго этажа увидел девушку в атласном платье. Облокотившись на перила, она бездумно наблюдала за прохожими. Возле нее в стеклянной банке стояла красная роза. Хабибулло с привычной наглостью холостого парня, знающего себе цену, некоторое время откровенно разглядывал девушку, и только шагнул дальше, с балкона полетела выплеснутая вода. Он успел отскочить. На тротуар грохнулась банка и разлетелась на мелкие осколки. Подобрав цветок, он нежно расправил его и вопросительно поглядел на балкон. Девушка, бледная, залепетала:

— Ой, извините, я нечаянно…

— Ничего, ничего, — помахал ей розой. — Как вам передать это?

— Направо дверь. Я сейчас…

Хабибулло отпихнул ногой стекло в сторону и направился к дверям общежития. Перешагнув порог, увидел взволнованную девушку.

— Еще раз прошу извинения. Я так перепугалась.

— Ничего страшного не произошло.

Ее звали Малика. В тот вечер, позабыв о футболе, ок отправился с ней в кино. И будто стена отделила его от Нины.

Малика была красивая, большеглазая, тоненькая. Ах, Малика!

...Зазвонил телефон, и Хабибулло даже застонал. Рука, его соскользнула с плеча вскочившей жены и ударилась о диван.

"Ах, Малика!.." Ему нравилось встречать ее, правилось ждать. Он был рад видеть ее. Пролетела беспечная весна.

Как-то в выходной день, выбритый и нарядный, Хабибулло, купив на улице букет цветов, направился к Малике. Он решил сказать ей, что любит ее... что... ну и так далее. Поднялся на второй этаж, прошел по длинному коридору. Чем ближе знакомая дверь, тем сильнее билось сердце. Постоял у двери, передохнул, вытер пот со лба и тихонько постучал. Никакого ответа. Дверь внезапно открылась, и выглянула незнакомая девушка, низенькая, коротко стриженная. Поздоровались.

— Вы к Малике? А я вас знаю, я учусь с ней. В полдень за ней зашел какой-то парень в военной форме, солдат, и они ушли. Я видела их в саду за общежитием.

Хабибулло похолодел. Он что-то сказал стриженной, она ответила. "Какой еще солдат, откуда солдат?" — звенело в сразу ставшей пустой голове. Облизнув пересохшие губы, с трудом проговорил:

— Передайте, пожалуйста, ей цветы, когда вернется. До свидания.

— До свидания, — сказала коротышка, и проводила его ревнивым взглядом.

Спускаясь по лестнице, он боялся поднять голову. Ему чудилось, что снующие по коридору студенты понимающе подмигивают друг другу, насмехаются над ним. Он доплелся до остановки, и тут в нем заговорила гордость. Он повернул в сад. Стриженная сказала правду. Там на скамейке, оживленно разговаривая, сидели рядышком Малика и солдат. Тут гордость перешла в ревность, и Хабибулло, притаившись за кустами, почти целый час наблюдал за парочкой. Наконец они встали и направились в столовую в глубине сада. Тогда ушел и Хабибулло.

На следующий день он бесцельно и долго бродил по городу. Малику и солдата он повстречал у универмага. Подойти не решился. Так все и кончилось.

Как это было давно, словно тысячу лет назад.

Но на прошлой неделе он был в "Детском мире". Накупив игрушек для дочери, уже выходил из магазина и вдруг столкнулся с ней. Впервые с тех пор. Он подошел. Малика, бледная, как тогда на балконе, тысячу лет назад, смотрела на него с жалкой улыбкой и не отвечала на приветствие. Опустила глаза и увидела в авоське куклу, погремушки, еще что-то яркое, чудесное. И сказала негромко, глуховато, самой себе:

— О, кому-то подарки…

— Да. Дочке.

— У тебя уже дочь? — невнятно произнесла она. — Сколько ей?

Она справилась с лицом, но не могла оторвать глаз от игрушек.

— Три месяца и четыре дня.

— Как много… Как же вы ее назвали?

— Маликой… Ее зовут Малика.

Она быстро взглянула на него, повернулась и пошла прочь. Он остолбенел. Наконец, гремя погремушками, бросился за ней. Несколько минут шли молча. Затем сказал первое, что пришло на ум:

— Ты ужо закончила?

— Да. Оставили на кафедре химии.

— Хорошо, поздравляю.

— Спасибо.

— А… где теперь живешь?

— Там же, в общежитии.

Перед входом в здание, в тени деревьев, они остановились. Наконец он решился:

— Тот парень… он отслужил? Вы поженились?

— О чем ты? — нахмурилась она.

— Зачем притворяться?

— Ничего не понимаю.

— Сейчас объясню, — сказал Хабибулло и трях-нул своими погремушками. — Ты помнишь, когда я в последний раз был здесь?

— Да, помню. Мы смотрели фильм "Мужчина и женщина".

— А теперь дальше. В воскресенье я принес тебе цветы, помнишь?

— Погоди, погоди… Так это ты приносил?

— А разве стриженая не сказала тебе?

— Боже мой!.. Когда я вернулась, Ниссо сказала, что какой-то парень принес цветы. В то время со мной все заговаривал один дурак, вон из того магазина. А по воскресеньям приносил цветы.

Я их отдавала вахтерше, тете Марусе. Я поду-мала, что этот букет тоже… ты ведь никогда не дарил мне цветы.

— А все же, с кем ты была в тот вечер в саду?

— Солдат, что ли? Да это же мой брат Махмуд, он приезжал в отпуск.

— Как твой брат?!

— Боже мой, конечно же, брат.

Она закрыла лицо руками и уткнулась в пыльную степу.

Ее худенькое тело вздрагивало в беззвучном плаче. А он переминался с ноги на ногу и гремел погремушками. Она бросилась к дверям и исчезла. Он постоял еще немного и пошел, изредка встряхивая свою гремящую авоську.

…Экран уже давно беззвучно и слепо мерцал. Из коридора донесся короткий звонок. Оба разом поднялись и напряженно замерли. Тишина. И тут родился новый звук — слабый, беспомощный и родной плач из другой комнаты.

Перевод Г.Бободжановой

КУРБАН АЛИ

Свой путь в литературу Курбан Али (Урманов Курбанали) начал как очеркист. В 1975 году у него вышла книга очерков "Инициатива". А в 1977 году он выступил как рассказчик, издав сборник рассказов "Звезда".

— Член Союза писателей СССР.

НА ПЕРЕВАЛЕ
Рассказ

— Хуршеда!.. Хуршеда-а-а!.. Хурше-да!.. Где ты?..

Голос матери летел над бахчами. Каких-то полчаса назад обе они — мать и дочь — были заняты по дому. Дочь подбрасывала в очаг дрова и все поглядывала на перевал. Мать студила кипяченое молоко и, перехватывая взгляд дочери, переживала...

Какая-то она странная стала в последние дни, ее Хуршеда. Вчера вдруг заявила: "Мамочка, я собираюсь на демонстрацию!.." Мать — порадовалась даже: в самом деле, пусть идет — людей повидает... А сегодня с утра буркнула: "На празд-

ник я не пойду!.." Мать не решалась спросить — что у дочери на сердце.

Честно сказать, мать побаивалась тайп своей взрослой дочери. Вон у нее глаза-то как блестят! А щечки! Бутоны роз — сказал бы поэт. Плечи округляются… Ой-ой, убереги ее господь от дурного глаза!..

Но сегодня, когда дочь отказалась поехать на демонстрацию, мать сказала:

— Если ты будешь людей сторониться, то станешь затворницей. Замкнешься сама и меня изведешь. Почему бы тебе не повеселиться со всеми вместе? Праздник ведь, а тебя со двора не выгонишь!.. Машина уже приезжала, всех забрала. А ты вон новое платье даже не примерила…

— Можно мне на перевал подняться?.. — произнесла девушка.

— А что там такое, на перевале?

— Солнышко там…

— Ты вот лучше сними с очага котел с молоком, да закваску добавь туда, как остынет…

Мать накинула на голову выцветший шерстяной платок и пошла проведать соседку, одинокую старушку, которую обещала навестить. Пошла и незаметно забыла про дочь… И вот солнце уже в зените, а на дворе — пусто…

— Хуршеда-а!..

— Ура-а-а!.. Ура-а-а!.. — точно в ответ доносится из репродуктора, — идет передача из Москвы, с Красной площади, где сейчас тоже демонстрация.

Может быть, к геологам пошла?.. Мать выключила радио…

Прошлой осенью появилась на левой горе палатка. Какие-то люди в зеленых куртках с капюшонами. Темные очки, тяжелые ботинки, загорелые, обветренные лица. Они лазили по окрестным горам…

Случилось, что в один из дней мать поднялась туда, к палатке. Расспросила людей, — кто они, чем занимаются. А на обратном пути случилось несчастье, — оступилась, и вывихнула ногу. Кое-как до дому добралась.

Конечно же, это дело рук дьявола! Нужно бы костоправа пригласить. Она попросила об этом Хуршеду. Та, не мешкая, собралась, села на коня.

Вскоре послышался рокот мотоцикла. Дочь, запыхавшись, вбежала в дом.

— Вот, мамочка, докторша приехала…

Мать поняла, но переспросила:

— Кого ты там привела — доктора или костоправа?

Хуршеда улыбнулась.

— Доктора!

…Беспокойство снова овладело матерью. Она пошла в гостиную, — не оставила ли дочь записку? На стене портрет бородатого Менделеева. На окне разнообразные камешки. Хуршеда с недавних пор зачем-то собирает. Мать, конечно, не знает этих камней. Хуршеда что-то говорила… А знал ли Менделеев о недрах горы Мевагуль?! Ведь, говорят, в этих краях нашли золото…

Записки не было. Мать машинально раскрыла какую-то книгу. И сразу попалась заложенная меж страниц открытка. На ней — роза. Мать прочла надпись на обороте. Подумать только: парень, не стесняясь, поздравляет ее дочь!.. Ну, конечно, повод есть — Первое мая… Но он еще и ждет ее! Интересно, где же это он ее ждет, негодник!.. Не потому ли она не хочет учиться дальше?..

Тяжелое чувство охватило ее, сдавило сердце. Она отложила книгу… На глаза попался альбом. Не так давно мать увидела в нем фотографию незнакомого парня. Рослый, видный, важный… Конечно, вто все напускное в нем.

Голова чуть-чуть наклонена, на лбу залегла складка. И глядит-то не прямо, а искоса. И взгляд такой лукавый.

— Кто это?.. — спросила она тогда Хуршеду.

— Ты его не знаешь, мама. Это бурильщик. В школе у нас была встреча. Он рассказывал нам о работе… Ты знаешь, мама, я изменила свое решение. Буду работать на руднике…

Да, понимать родную дочь стало трудно.

То покоряет сердце, то ранит…

Одноклассницы решили после окончания школы ехать в город. Их мечта — институт. Институт, как магнит, тянет их из родного кишлака. И вот уже вчерашние робкие девчонки поучают взрослых. Надевают туфли на высоких каблуках, носят короткие платья, прически — как корова на голове. Хотя это ей и не нравится, но она видит, что некоторые привыкают и сами начинают носить. Значит, есть тут что-то. Вот идут они с дочкой по улице. Соседка справа — учительница. Соседка слева — врач. Бухгалтер — тоже землячка. И не зря, наверное, считают их уважаемыми людьми в кишлаке.

В их ряду мать мысленно хотела видеть и свою дочь. Она ждала, что однажды Хуршеда скажет ей: "Мама, дай мне денег на дорогу, я поеду в институт!.." Для этого случая мать отложила уже немного денег… Но что сделала Хуршеда? Пошли на базар, и она настояла, чтобы купить ей, мате-

ри, новое платье…

Неугомонные воробьи чирикали за окном на ветвях ивы… Мать прошла в сад и, подняв голову, взглянула на перевал, из-за которого каждый день всходит солнце…

Перевал… Вершина стремлений и помыслов матери. Тридцать пять лет тому назад она сама часто всходила на него. А с другой его стороны поднималось, раскинувшись по склону, стадо Рахмона — отца Хуршеды. Две отары — ее и его, — не слыша окриков, паслись вместе. Под предлогом отделить их одну от другой и встречались Рахмон и она, Мохигуль. А когда рано утром выходила она за калитку, чтобы подмести, обнаруживала под самой дверью россыпь алых тюльпанов… Уходил, оставляя тюльпаны, обнаруживая тем свои намерения… Но спросить ее о самом важном не решался. Потом наступило время, когда подножие этой горы превратилось в стрельбище. Придя с работы, мужчины шли туда, — долетали военная команда, металлический лязг, слышалась стрельба. А потом мужчины один за другим стали покидать кишлак. В эти дни он вовсе не замечал ее. Ох-ох, как только она вспоминает эти дни, у нее мурашки по телу… Вот он с вещмешком за плечом, с узелком в руке уходит в далекий

путь. Настал его черед. Вот, выстроившись вдоль улицы, стоят женщины, дети, старики. Будто тоже собрались идти с ними вместе… Его рука ласково, прощально машет ей. Конечно же, он не может всем пожать руку, улыбнуться каждому. А пес его Альпар забегает наперед, ложится на дорогу, катается по земле, тянет за полу халата, скулит, — понимает… Ветроногий конь Рахмонджона фыркает, ржет у привязи, грызет уздечку… А Мохигуль словно немая. Она мечется там, за спинами людей. "Почему ты не возьмешь меня с собой? Ведь если я — существо, ты — душа моя… Стать бы солнышком — бежала бы за тобой, светила бы над твоей головой…"

Потом наступили страшные ночи, нависли над кишлаком грозовые тучи. Мохигуль каждый день поднималась на перевал с отарой. Все высматривала. Нет — ни тени, ни звука… Он вернется, обязательно вернется, в орденах и медалях вернется… Заметит ли он тогда ее, Мохигуль? Годы проходят — один, другой, третий… Вот уже и на ее лицо ложатся морщинки. Девушек сейчас много… Вернется — да женится на другой. Сердце Мохигуль страдало. Всю печаль, гнев и досаду однажды она выразила в двух словах, выведя на скале: "Долой фашизм!" Не раз поднималась

она с отарой на этот перевал и спускалась с него. Поредело ее стадо, осталось всего несколько коз и козлят…

Но Рахмонджон вернулся. Вернулся, оставив одну руку на фронте. И Мохигуль, смущаясь своих недавних мыслей, снова подбирала под своей калиткой рассыпанные по утрам тюльпаны. Говорят, настоящий мужчина не отступит от своего намерения. Видимо, это верно…

Она устало выпрямила ноги, спрятав их в зеленой траве, и снова пристально поглядела на перевал. Хуршеду надо найти. Вернется с пастбища Рахмон и спросит, где Хуршеда. Что она ему ответит?.. Где эта девчонка?..

И она решила подняться туда — к палатке.

Мать поднялась к зарослям фисташки. Вот ягнята резвятся, бегают по склону. Под ногами колышется зеленая трава. Ветерок… Тюльпаны склоняются друг к другу… Где же Хуршеда? Мать, прислонясь к стволу фисташки, глядят в ущелье. Смотрит и не верит глазам. Раньше здесь по весне вырастала густая трава. А сейчас стоит вышка, обросшая отвалами земли. Вокруг вышки — четыре степы, но ни крыши, ни дверей. В центре ее — металлический столб, который вращается и сверлит землю. В домике, рядом с вышкой, рабо-

тает какой-то человек. Аллах милосердный, — а вот и она, ее Хуршеда. Рукава засучены, косы уложены венчиком… И запах цветов, воздух нагорья сразу забылись матерью. Пальцы невольно сжимались в кулаки. Ее дитя — ее мучитель…

— Хуршеда!.. — вскрикнула она.

Но голоса ее никто не слышит у вышки. И мать сама устремляется вниз…

Дочь замечает ее, бежит навстречу и останавливает.

— Ну, куда ты так спешишь!.. — на губах ласковая виноватая улыбка.

— Типун тебе на язык!.. — жестокая складка возникает между бровей матери.

— Ну, не кричи так, мама! Мастер ведь здесь!..

— А, чтоб твоего мастера!..

— Мамочка!.. Да погоди же ты…

Из домика мужчина выносит тяжелый ящик, ставит его на землю и, улыбаясь, направляется к ним.

— Познакомься, это Кодирджон… Мастер… — говорит дочь.

— Мастер?! Этот?.. — она оглядывает юношу, а тот продолжает смущенно улыбаться. "Да ведь ты его бурильщиком называла!" — хочется сказать ей, чтобы знать все досконально, но она молчит.

— Здравствуйте, тетушка!.. Как ваше здоровье?.. Вы уж извините Хуршеду. Она мне помогала. Машину чистили…

— Да неужели?!

Девушка и юноша переглянулись.

Тут мать замечает мотоцикл. Красный трехколесный мотоцикл. Да, она его запомнила, — докторшу привозили… Человек ведь только две вещи и помнит — добро и зло… Юноша отводит взгляд. Да и мать не хочет смотреть ему в глаза, чтобы не выказать своего подобревшего взгляда.

В душе матери, как бы наперекор ее воле, поднималась волна нежного чувства, которое свойственно только матерям, имеющим дочерей. И будто она уже слышит свадебную песню, а перед глазами полыхает свадебный костер. А чуть в сторонке, склонив голову, стоят молодые…

Возможно, так оно и будет, а возможно, и нет.

Кодирджон вытаскивает из домика очередной ящик и ставит его рядом с первым.

— Чего же ты? — говорит мать дочери. — Сбегай домой да принеси лепешек и сметаны!.. Сегодня ведь праздник, а мастер твой работает!

Хуршеда недоверчиво взглянула на мать.

— Ступай, ступай, тебе говорят!.. — прикрикнула мать.

Хуршеда убежала…

Мать решила подмести и прибрать в конторке мастера. На глаза ей попался транзистор. Она включила приемник. И в тишину тотчас ворвались марш, гул и голоса праздничной демонстрации. Где-то там люди торжественными колоннами проходят сейчас по площади. В глубоком небе плывут разноцветные шары. Взлетают стаи голубей… Праздничное настроение передастся и ей…

Перевод Э.Карпухина

ЕДИНСТВЕННЫЙ СЫН
Рассказ

Мерзлое дерево было, как камень. От него отделялись не щепки, а какие-то крошки. Мать в который раз установила чурбан, вздохнула, занесла топор. Застыла на миг, прицеливаясь. И тут ее позвали.

— Шоиста! Эй, Шоиста!..

Мать покорно пошла на голос. Навстречу ей пробирался между деревьев старик-почтальон в чалме и полушубке.

— Жива-здорова, дочка?..

Не понравился ей сочувственный тон. Она даже не взглянула на старика. А он, прикрыв ладонью рот, прокашлял:

— Сын-то твой где?..

Мать ждала этого вопроса. Сын ее уехал в Сангпул за хворостом. На телеге.

— Не знаю… — произнесла она, заикаясь. — Утром еще ушел…

Брови почтальона взметнулись вверх. Он рылся в своей сумке.

— Не скрывай… Говори прямо, дочка!..

Предчувствия не могли обмануть ее. Старик принес недобрую весть. Неужто нет спасения? Ведь это он и уводит юношей по одному. А потом кто возвращается искалеченным, кто пропадает без вести, а кто и вовсе погибает…

Почтальон вытащил листок и протянул его матери.

— Что это? — вырвалось у нее.

Старик прокашлялся, протер глаза:

— Ох-ох-хох!.. Повестка…

— Не-е-е! Ты мне ее не показывай! Не надо…

Старик сунул бумажку ей в руки и попятился. Но мать преградила ему путь и накинулась было с ругательствами. Но опомнилась, принялась причитать:

— Ставьте моего сына! Ведь я с ума сойду!.. Сделайте что-нибудь!.. Да стать мне пылью у ваших ног!..

— Да что ты!.. Это не в моих силах, дочка… Да разве ж одному твоему сыну выпало?..

Бумажка осталась у нее в руке. И все дела отступили. Вода в вёдрах мерзла и дымилась как будто. В стороне остался таз, полный хлопковой шелухи. Она уговаривала себя: "Будь мужественной, Шопста. Распрями плечи и благослови сына, как полагается!.."

И шептала, словно обезумевшая: "Нет, нет, Аминджон! Ты не уйдешь, сынок, не уйдешь!.."

Вчера они вместе с Аминджоном очищали хлопок и допоздна беседовали. А когда он уснул, она заметила, что одеяло сыну коротко: натянет на грудь — ноги высовываются. Утром Аминджон полез на крышу с лопатой, чтобы сбросить снег. Крыша скрипела, стены ходили ходуном. Он скидывал снег на землю, и земля вздрагивала… Он, ее единственный, её жемчужина, завтра будет брошен в горнило войны?! Нет-нет, она не пустит его!..

"С тобой в подоле я прореживала хлопок. Посадив тебя на закорки, я собирала хлопок… Теперь, значит, останусь одна, как ворона?.. Сейчас же

пойду в правление. Там должны меня понять..."

По дороге она задержалась у фермы. "Как там скотина? Не дай бог, падет хоть одна — кто отвечать будет?.. Аминджон! Ведь он работает на ферме. Кормит, поит, убирает там за скотиной. Конечно, он у меня большой. Уже восемнадцать!.."

Мать заглянула в темноту хлева — в нос ударило кислятиной и стылой сыростью. Ничего нельзя было разглядеть. Столбы казались похожими на людей, слышалось хриплое дыхание. Мать подошла к привязи, где сын обычно оставлял коня. Бывало, Саманд только заслышит шаги Аминджона, начинает ржать и жевать удила. Саманд — конь умный, и он спасет Аминджона, вынесет из любой беды. Если приходится заночевать в горах, Саманд до утра простоит над хозяином... Где же сейчас ее сын со своим верным конем?.. Коровы лижут руки, тычутся в подол матери. Она подбросила им немного корма и заспешила к правлению колхоза...

Она пожалела о том, что пришла сюда. Казалось, здесь все были в печали. Старухи, спрятав руки в рукава, сидели на корточках, а старики молча стояли, прислонившись к стенам. И тут явился почтальон. Он покашлял, обвел всех грустным взглядом и промолвил:

— Не ждите рапса. Надломились у него крылья. Его дочь в трауре…

Старухи завыли, стали колотить себя кулаками по коленям. Старики насупили брови.

Обратно мать брела, не разбирая дороги. Обледенелые ветки задевали лицо, снег падал на голову, за шиворот…

"Что делать будешь, Шоиста? Кто теперь твоей беде поможет?.. Военкомат?! Да, завтра утром рано ты поспешишь туда. Выложишь повестку на стол. Пусть, пусть презирают! Ведь я — мать… Я не могу иначе… Дадут отсрочку на месяц, хотя бы на недельку. И одна педеля срок немалый. Может, и война кончится…"

Она облизывает пересохшие губы, шепчет: "Не возвращайся, сынок… Лучше будет, если ты сегодня не вернешься. Лучше, если ты побудешь в горах, сыночек… Задержишься на час — на недельку останешься. И, может, повезет тебе, — за это время отпустят всех солдат домой. Может ведь и так случиться?.. Хорошо, что тебя сейчас нет. И о повестке ты ничего не знаешь… Ты, конечно, обидишься, узнав, что я утаила от тебя повестку…"

Дома мать не находила себе места. Несколько раз вы-. ходила во. двор. Со двора был виден хауз,

обсаженный карагачами. Хауз замерз, и там сейчас резвилась детвора, доносились голоса ребят. Шли женщины с ведрами. Но мать не решилась отправиться к хаузу. "Лучше будет, если я не пойду туда. Начнутся расспросы. Не хочу..."

К вечеру крупными хлопьями повалил снег. Аминджон должен был уже вернуться. Но его не было.

Дорога на Сангпул тянется, извиваясь вдоль реки. Над дорогой устрашающе громоздятся скалы. По вечерам верхушки тополей раскачивают вороны. Внизу шумит вода. Вся эта дорога — от начала до конца — само несчастье.

В прошлом году здесь копь сбросил седока прямо в обрыв. Если дорога еще обледенеет, то не пройти по ней, не проехать...

Промокшие ичиги и отсыревшие онучи мать сунула в сандал посушить. И сама прикорнула...

Разбудило ее ржание. Вышла во двор.

— Аминджон, где ты, сынок?

По снегу ходили вороны. Колья под виноградником покосились, а заснеженные холмики земли под гранатовыми кустами казались горками хлопка. Поверху шнырял ветер...

Под навесом фыркнул конь. Саманд! Мать не узнала его — одни кожа да кости, подпруга повис-

ла, уздечка закинута на шею.

— Где хозяин твой, отвечай?.. Где ты оставил Аминджона? Ты бросил его? Отвечай! Гляди мне в глаза! Убил сына моего?..

А конь посмотрел своими кроткими немигающими глазами, как всегда, и отвернулся к сухой траве…

Мать, накинув на голову выцветший халат покойного мужа, вышла на улицу. На ногах у нее были старые ичиги и большие, не по размеру, калоши, которые то и дело слетали. Подставив ветру лицо, мать шла и плакала в голос. Сейчас ей хотелось, чтобы сбежались соседи. Но никто не выходил. Будто все отвернулись от нее…

"Кому теперь вручу повестку?" — причитала она. Дошла до конца улицы, и тут перед ней снова предстал старик-почтальон. Он посторонился, уступая дорогу.

— Что случилось, дочка?..

— Сын пропал… — произнесла она дрожащим голосом. — Конь вернулся, а сам он… Худо мне!..

— Да не убивайся ты зря!.. Не для того у него голова на плечах… Иди в поле, вон туда…

На заснеженном поле друг за дружкой носились мальчишки. Среди них был и ее Аминджон. Он держал в руках моток ниток, — большой бу-

мажный змей парил высоко в небе.

Мать остановилась у края поля. Ноги подкосились, и она опустилась на колени. Глотая слезы, тихо позвала.

— Сыночек, душа моя!..

Аминджон обернулся, увидел мать. Не глядя, передал моток ниток кому-то из ребят. Озябший, в тонком халате, с открытой грудью, подошел смущенно к матери, потирая свои уши.

— Извини меня, мама…

Мать не скрывала слез.

— Ты жив? Заставил меня поволноваться… А тебя ищут…

Он произнес виновато:

— Знаю… Я был в военкомате… Завтра нас отправляют… И дома я был. Ты спала, я не стал будить тебя… Мальчишки попросили, чтобы я им змея запустил…

Он оглянулся, посмотрел туда, где в зимних сумерках парил змей…

Перевод Э.Карпухина

БАХРОМ ФИРУЗ

Бахром Фируз (Бабаев) стал печататься в периодических изданиях с 1960 года. Первый поэтический сборник "Тайны лунных ночей" вышел в 1967 году. В последнее время активно работает как прозаик. Лучшие его рассказы вошли в книгу "Следы от звезд" (1975 г.). Его стихи переведены на многие языки пародов СССР. Сам он тоже часто выступает как переводчик.

Член СП СССР.

ПО ДОРОГЕ В КИШЛАК
Рассказ

Мы с дедушкой едем на ослах в кишлак.

С тех пор, как отец перевез нас в город и ушел на фронт, не было, кажется, дня, чтобы я не вспоминал наше селение. Там осталось много такого, чего не могла заменить жизнь в городе. Я скучал и потому, наверное, сильно привирал, рассказывая мальчишкам, как здорово у нас в кишлаке. Все представлялось в моих рассказах необыкновенным — и родник, и речка, и остро-

верхие тополя, и цветы на горных склонах. Даже надоевшие отары бестолковых овец казались теперь чем-то необыкновенным. Люди в селе для меня тоже были другие — приветливые, добрые, не как в городе. Меня тянуло к ним… Мама говорила: вот вернется папа, и мы снова переберемся в кишлак. Отец писал о том же. Ему приснились на фронте наше селение, родник. "Если останусь в живых, — читала мама, — первым делом заеду в кишлак, зачерпну ладонями воды из родника".

И все же мама удивилась, почему он, вернувшись, не приехал за нами сам, а прислал в город деда.

— К некоторым здешним друзьям охладел, — пояснил дед. Потом он стал извиняться, что третьего осла не нашлось, поэтому прийдется пока поехать кому-нибудь одному. Мама сразу сказала, что лучше поехать мне, а она тут соберет пожитки к переезду.

Плоская, голая степь, с её унылым однообразием, осталась позади. Миновав предгорье, неожиданно очутились в узком ущелье. Громче заговорила речка, отпрянуло высоко вверх небо. Со всех сторон подступали страшные глыбы. В первые минуты я ничего не слышал, кроме речного шума. И лишь постепенно стал различать

птичьи голоса.

Птиц здесь было множество, и каждая щебетала по-своему. Онп беспрестанно щебетали, перелетая с ветки на ветку, с камня на камень. Мне показалось — они что-то все объясняли мне, объясняли... И еще — похожи они были на многоголосую ватагу мальчишек: так же суетились, шумели, собирались стайками, разлетевшись, перекликались... А когда над ущельем, широко распластав крылья, неслышно появлялся орел, гомон разом обрывался и становилось тихо-тихо. Так замирает шумный класс с приходом строгого учителя.

Мы с дедушкой едем все дальше, дальше.

Я был совсем маленьким, когда мы перебирались в город, — еще в школу не ходил. И хотя в кишлаке у нас много родственников, я их почти не помню, разве что вот дядю Хушвахта и тетю Назакат. Родство у нас с ними не близкое, но, по словам мамы, она и отец в большом дружбе с этой семьей. Дядя Хушвахт немало возился со мной, учил ловить форель, а я качал люльку его дочурки, когда тетя Назакат была занята, и в награду получал конфеты в ярких цветных бумажках. Помню, я пристал как-то к матери, требуя, чтобы она сделала мне бумажного змея — такого, каких

пускали за кишлаком старшие мальчишки. Мама отмахивалась от меня, а я не унимался. Но вот пришел дядя Хушвахт и смастерил змея всем на зависть. Я тут же запустил его в небо… В те времена дядя Хушвахт работал завмагом. Сейчас, говорят, он стал большим человеком.

Значит, мы теперь не соседи.

Извилистая тропа уводит нас в глубь ущелья. Каменные стены сдвигаются все теснее. Они так высоко уходят вверх, что, кажется, держат небо. Неуютно здесь. Хочется побыстрее выбраться, доехать до какого-нибудь селения или чабанской кибитки. Я вглядываюсь и вижу — дедушка далеко отстал от меня. Поджидая, я пытаюсь представить себе встречу с отцом. Взрослые после долгой разлуки обычно обнимаются, бесконечно тискают друг друга. А как быть мне?

Отца я помню смутно. В день его отъезда на фронт все заслонила суета городского вокзала. Я сидел на отцовских руках, а он все говорил и говорил что-то матери и приехавшим проводить его родственникам. Потом мы ждали писем и писали сами. Четыре года. В одном из писем папа прислал фотокарточку. Я смотрел и не узнавал, — лицо было чужое. Такое со мной уже случалось. Я много раз видел фотографию отца своего дружка,

но когда однажды по дороге в школу встретил его с чемоданом в руке, то не узнал и потом очень жалел об этом. Если б узнал и первым сообщил тете Саодат — получил бы хорошую награду. У нас для тех, кто принесет такую весть, в каждой семье держат что-нибудь: тюбетейку, шелковый халат или даже барана… Мне не терпелось увидеть папины награды. Он сообщал нам всякий раз, когда получал орден, — их было много. Будь мы в городе, я вышел бы с папой на улицу. Вот бы иззавидовались мальчишки!

— Дедушка, сколько у папы орденов? — спрашиваю я, дождавшись деда.

— Да в тот день, когда приехал, вся грудь была в орденах. Потом снял.

— Как снял?

— Ну, спрятал куда-то.

— Ордена носить надо.

— Это чтобы звенели, как колокольчики на верблюде, да?

Я не обращаю внимания на иронию деда, — он же старый.

— Не заметили, а орден Ленина тоже есть?

— У него все есть.

— Всех никто не имеет. Золотой звезды у него нет.

— Может, и есть. Приходили учителя, говорили, что в кишлаке больше всех орденов у твоего папы.

Но я знаю, что золотой нет. Ее только Героям дают. Один городской знакомый стал Героем, так потом его семье жить легче стало. Новый дом построили, корову им дали — все, все.

Дедушкин осел снова отстал. Он сразу сбавляет шаг, как только седок начинает клевать носом. Все старики сонливые, как кошки, — рано встают, а потом весь день дремлют. Хорошо, что мой осел не пытается обмануть меня, я бы его проучил… Вообще-то ослов мне жалко. Всю жизнь, бедные, мучаются: ездят на них, лупят их, заставляют тяжести таскать — да еще держат на привязи. Тяжело ослам. Понимают ли они это?.. Дед едет на ленивом и хитром. Только тогда идет, когда его бьют… Дедушка говорит, что от ударов кожа у осла стала такой толстой, что он не чувствует боли. Сейчас, нехотя переставляя ноги, осел объедает придорожные кусты. Предоставив ему свободу, дедушка не то дремлет, не то думает о чем-то. Временами же, чуть приоткрыв глаза, начинает петь.

Интересный у меня дед. Своими причудами он и злит, и смешит. Жизнь, как говорила мама,

измолотила его, одряхлел он. Но и в старости продолжает работать. На селе, хоть мал ты, хоть стар, не стесняются нагружать работой. И дедушка, кто бы о чем не попросил, не отказывается сделать. Слова "нет" он не знает, говорит мама. Мол, зачем обижать человека, пусть лучше тебя обижают.

— Ну, быстрей, дедушка! — кричу я, потеряв терпение.

Дед ткнул осла пятками, спросил:

— Что ты сказал?

Плохо стал слышать дед. Слышит голос, но не разбирает, что ему говорят, и потому заглядывает в глава, пытаясь угадать, о чем идет речь.

Из овражка, промытого селевыми потоками, выскочила лиса. Она посмотрела на нас и, определив, что ей ничто не угрожает, медленно пошла в гору.

— Смотри — лиса! — вскрикнул дед, хотя я первым заметил ее.

— Дедушка, а волки в этих горах есть? — Я давно уже порывался спросить о волках, да боялся выдать свои страхи.

— Волки, говоришь? Почему бы им здесь и не быть… Ты не приметил могилку в самом начале ущелья? Прошлой зимой солдата загрызли. Совсем еще, говорят, молодой был… — Дед вздох-

нул и поморщился, словно заныло у него что-то внутри.

— Солдата волк не. может загрызть, — решительно возразил я.

— Что солдат — меченый он, что ли? Такой же раб божий…

— Солдат стрелял бы, он бы всех волков поубивал.

— Если была бы винтовка… Этот с одним ножом шел.

Но я не. унимался.

— Какой он солдат без винтовки; инвалид, наверное.

— Ну, хорошо, не солдат, так не солдат, — примирительно сказал дед. — Все одно — из армии возвращался, с фронта.

Некоторое время мы едем молча. Я теперь уже не удаляюсь от деда. Волки целиком завладели моим воображением.

— Дедушка, почему он был один?

— Кто? А, солдат… Спешил, домой торопился. В районе лошади не раздобыл, а машины случаются не часто — раз в два — три дня, и то не всегда. Белая машина ходит, я ее видел. Говорят, — американская…

— Причем тут машина?

— Вот я и говорю: домой, значит, торопился. Лошади не было, пу и отправился пешим. Ему еще по пути Исмат-почтальон встретился. Стал уговаривать: не испытывай, мол, судьбу, сам едва от волков ушел — спасибо, лошадь вынесла. Но солдат упрямствовал. Мне ли, говорит, после фронта волков бояться… Смелый, видать, был. Три года отшагал! Пуля его не взяла. А вот здесь пришел смертный час… Э-хе-хе, — с болью вздохнул дед и, сунув черешок плетки за ворот рубахи, почесал спину.

— Как же это случилось?

— Съели его волки, и все тут. Одни кости остались, даже чемодан, твари, распотрошили.

— Почему же он ножом не дрался?

— Дрался, видать. Дня через два, на закате люди на машине мимо того места ехали. Смотрят — волк сидит и воет. Когда подъехали, зверь убежал, а там, где он сидел, — человеческие кости, чемодан и рядом волк мертвый. Парень в кость ему угодил, и не успел нож высвободить. Тут другой, видимо, наскочил… Собрали люди кости да там же и похоронили…

Если б можно было превратиться в птицу и улететь отсюда, я бы не стал раздумывать. Недаром это ущелье показалось мне таким зловещим.

Попробуй, угадай, что вон там, за кустом, или там, в расщелине… Знать бы — осмелятся волки напасть на нас двоих?

— По этой дороге вы хоть раз ночью ходили? — спрашиваю и боюсь, что дедушка расскажет что-нибудь еще более страшное.

— Хоть раз, говоришь? — Это у деда такая привычка: переспросить. — Было время, когда тут не то что ночью — днем боялись ходить. Разбойничье было место. До революции, двумя или тремя годами раньше — не помню точно, моего дядю здесь убили. Убили и сбросили в речку. И всего-то из-за полпуда зерна… Эх, вспоминать не хочется… Один год я работал в низине. Собрал немного хлеба для семьи. Да вот как перевезти его в кишлак? Посоветовались и решили не зерно везти, а всей семьей перебраться туда, в чужой кишлак. Перезимовали, а в начале весны вернулись домой.

Разговор наш — будто горная тропа: и страшно, и никуда не денешься; а молчать — все равно что на место стоять.

— Видишь вон ту дыру? — Дед кнутом показывает на черную точку в дальней скале. — Это пещера. Если зайти отсюда, то выйдешь как раз над нашим селением. Кишлак за горой — мы обходим гору.

Темное пятно у самой вершины и вблизи казалось не больше блюда.

— Вход в пещеру узкий, а внутри просторно.

— Вы там были?

— Нет, мне не приходилось, другие ходили. В годы басмачества она выручала весь кишлак. Я весной и лотом, как обычно, в горах жил — пахал, сеял, косил, молотил. До самой поздней осени не спускался. Если замечал басмачей, зажигал солому. Увидев дым, сельчане собирали пожитки и прятали в пещеру. Туда же уводили дочерей.

— Разве басмачи не могли обнаружить пещеру?

— Не до того им было. Да и дорога туда опасная.

— А если они приходили ночью?

— Случалось и ночью… У нашего соседа Назима была дочь. Красавица, каких я не видел. Встретишь ее средь бела дня и, клянусь аллахом, не веришь, что земная она. Бедняжке бог дал небесную красоту, да обделил земным счастьем. Такая красота ничего хорошего не приносит…

— Ну, а дальше, дальше что было?

— Погоди, ты не знаешь еще, что такое красота. Скольких она с пути сбила, скольких лишила семьи и крова, несчастными сделала… Красота и

золото — одно и то же.

— Золото — драгоценный металл…

— Ничего доброго оно не дает, одни несчастья. Во сне увидишь — и то не к добру.

— Ты же про басмачей начал…

Всегда он так — станет рассказывать, а потом уцепится за что-нибудь и тянет, тянет… Ну, была девушка красивой — нужно ли об этом столько говорить.

— Прослышали басмачи о дочери Назима, прискакали ночью и, не слезая с лошадей, просят жену Назима его самого дома не было) вынести воды. Та принесла, а они ей: "Мы приехали напиться из рук Санам. (Так звали девушку). Пусть она выйдет". Взяли они из рук Санам чашу с водой, напились, а затем втащили в седло и увезли.

— И что же с ней стало?

— Никто о том не знает. Басмачи ушли неизвестно куда.

Дедушка любит вспоминать свое прошлое, хотя светлого там, насколько мне известно, было мало. Ему нравится, что я внимательно слушаю, а если задаю иногда глупые вопросы и не соглашаюсь с ним, спорю, — он не обижается.

За разговорами мы и не заметили, как выбрались из ущелья, выехали в долину. Начались

поливные участки колхоза, показались сады.

— Ишш! Ишш! — дед остановил осла и, спрыгнув, погнал его быстрее — чтобы не отставал.

— Мне тоже слезть?

Идти пешком не хочется, и дедушка пожалел меня.

— Можешь сидеть. Только не отставай.

Он, казалось, нисколько не устал и чувствовал даже облегчение, когда выдалась возможность размять ноги.

— Было время — я пешком из города по два пуда зерна на спине приносил… Мои кости отвердели на работе. Если не двигаюсь, не хожу — чувствую себя хуже больного: дыхания нет, грудь болит, голова наливается тяжестью — хоть ложись и помирай.

Мы проходили мимо коровника, когда рассуждения деда прервал оглушительный лай. Два огромных пса, похожие на медведей, бросились в нашу сторону. Дедушка сердито затопал ногами: "Прочь! Пошли отсюда!" То ли испугавшись, то ли по другой какой причине, собаки остановились, не добежав до нас.

Путешествие наше заканчивалось. Людей мы еще не видели, но все напоминало о близости селения. На лугу, у родника, паслись стреноженные

лошади. Остро пахло навозом и конским потом.

— Дедушка, сколько коров у вас? — спросил я.

— Нет у нас коровы, внучек, — невесело признался дед. — Позапрошлой зимой, когда остались совсем без хлеба, пришлось сдать корову в колхоз. Взамен получили немного ячменя да картошки. Да нам и кормить ее было нечем.

— Почему же летом не запаслись сеном?

— Долго это объяснять. Весной и летом был занят колхозными делами, работал далеко от кишлака.

— Могли бы у колхоза взять…

— Ай да молодец! — засмеялся дед. — У колхоза тоже в обрез.

Он остановил своего осла, поправил поклажу, потом, осмотрев моего, сказал:

— С правой стороны подтяни.

Некоторое время мы молчали. Я представляю себе дедушку, как он далеко в горах пашет на крутом склоне землю, разбрасывает семена, а потом в знойный полдень молотит и веет ячмень. Мне обидно, что в это время другие скашивают на лугу всю траву и для дедушкиной коровы ничего не остается.

— Дедушка, а теленка у коровы не было?

— Колхоз вместе с коровой взял. Взвесили на

больших весах и рассчитали по весу. Заведующий амбаром принимал: как взвешивал, как платил — одному ему и богу известно. Мудрый человек.

— Вы бы корову сперва накормили, а потом взвешивали…

Дед рассмеялся.

— Некоторые так и делали. Кто отруби имел, те по два-три котла скормили… Нам не пристало такими делами заниматься. Пусть аллах каждого вознаграждает по справедливости.

Теперь и я, последовав деду, слез с осла. Мы идем рядом.

Солнце уже совсем низко. С гор потянуло вечерним холодком. Земля, еще не прогревшаяся после зимы, только-только выпустила первую зелень. Местами проглядывают подснежники. Но что это? В плоских придорожных камнях — крохотные озерца. В отполированных временем лунках собралась вода, и в них, как в волшебных зеркалах, голубеет небо, плывут облака… Я жадно смотрю на маленькое чудо, и мне впервые за весь долгий путь, становится радостно. Радость удваивается мыслями об отце.

Мама уверяла, что вот вернется папа с фронта, начнет работать, и мы снова заживём хорошо… На какую работу пойдет отец? Может, он тоже

будет большим человеком; он же грамотный — школу закончил. Хорошо бы — председателем колхоза. Все ребята, я помню, боялись сына председателя, с ним даже старшие были почтительны. Интересно, в какой школе надо учиться, чтобы стать председателем?..

— Дедушка, мой папа может стать председателем?

Дед усмехнулся, ничего не ответил.

— Ну, скажите, кто становится председателем?

— Кому улыбнется.

Дедушка не хочет говорить. Когда у него нет желания буркнет что-нибудь непонятное и не разъяснит… Если я стану председателем, буду таким — как в пригородном колхозе "Рассвет". Все его почитают, говорят: душа-человек. Справедливый, для всех у него одна мерка. Говорят еще, что он сам создал колхоз…

— Дедушка, а арбузы и дыни колхозникам у вас дают?

— Догонят и еще дают…

— Мы с мальчишками, — начинаю я рассказывать, — однажды с колхозной бахчи дыню стащили.

— Ай-я-я! — с удивлением посмотрел на меня дед. — В нашем кишлаке воры не водятся. Тех,

кто ворует, в тюрьму сажают.

— За дыню не посадят.

— Кто в юности яйца таскает, тот к старости верблюда украдет…

— А сами вы никогда не крали?

— Скажешь такое…

— Можете поклясться?

— Ну, мальчишкой, возможно, яблоко где и сорвал.

— А из колхозного огорода?

— Нет, такого не припомню. — Дед смотрит на меня подозрительно.

— Вот и не верю. Дыни воровали. Ну, признайтесь, дедушка!

— Оставим эти разговоры.

— Нет, вы сознайтесь. Я ведь никому не расскажу, честное пионерское.

Дед морщится в улыбке, он явно смущен.

— Ладно, исповедуюсь. Все одно: на этом свете утаю, так на том придется признаваться… В год, когда мы корову сдали, почти два месяца не видели хлеба. И вот подошло новое зерно. Намолотили мы с напарником девять мешков с гаком, мешки в амбар отправили, а остаток между собой поделили, но два кило вышло. Потом кто-то председателю доложил. Вызвал он меня в

контору, распекать стал. Говорит, люди на войне кровь проливают, жизнь за страну отдают, а мы тут, мол, вредительством занимаемся… Никто его самого не спрашивал, за чей счет все четыре года, когда в кишлаке куска холста не найти было, его жена и дочь в новое одевались…

Дед говорил спокойно, без всякой злобы, будто случилось все это очень давно и не с ним.

Мы вышли на большую дорогу — здесь арба могла проехать. Кишлак, значит, совсем близко. Дорога огибала сады — жалкие участки плодородной земли. Уже цвел миндаль, и в наступающих сумерках деревья, казалось, плыли в дыму.

— Лет пятнадцать назад тут вот, — дедушка показал на участок справа, — были одни камни. Я здесь все руки посбивал. Пока выровняешь да очистишь — имя свое забудешь. Видишь стенку-забор? — Участок был окружен полуразвалившейся оградой, сложенной из камней. — Землю я на осле привозил. А сколько навоза перетаскал! Где можно, рыл ямы и заполнял сеном.

— Это зачем?

— Перепреет — вот и удобрение… Эх, где то упорство? Нет теперь у молодежи прежней любви к земле. — Дед смотрит на участок, словно разглядывает на фотографии себя, молодого, и, бог

знает, о чем он думает… — На самой каменистой половине посеял клевер, он только и дает земле плодородие. А на другой половине рос ячмень. Какой урожай получил!.. Теперь все заброшено, ни черта здесь не вырастает. Сколько труда пропало… Чтобы воду привести, я в скале арык бил, тутовник сажал…

Дедушка, если заговорит о земле, о заботах крестьянских, его не остановишь, слова не вставишь. Мне становится скучно, и я не слушаю, думаю о встрече с отцом.

Неожиданно из-за поворота показались двое всадников.

— Посторонись! — приказывает мне дед. — Сверни с дороги!

Мы поспешно сошли на обочину.

— Здравствуйте! — почтительно склонился дедушка.

Один из всадников, ехавший на красивом белом скакуне, придержал коня и спросил:

— Откуда едете? Чей это хлам? — Он говорил неразборчиво, будто его оса в язык ужалила. Шапка и воротник из коричневого каракуля отдавали в вечерних сумерках густым блеском. Можно было предположить, что всадник в этих краях лицо значительное. Второй всадник проехал дальше и

поджидал спутника.

— Из города семью Негмана перевозим. Будут вам новые подданные, — дед употребил старинное слово. — Это сынок его, — и указал на меня.

Я хотел было поздороваться, но всадник не удостоил меня вниманием.

— Почему же он сам не поехал, а оторвал от работы тебя?

— Да какая мне сейчас работа, пахать вроде бы еще рановато… — Дед старался не смотреть в лицо всаднику. Мне было жалко его, таким я его еще не видел. Он стоял, как ученик, сбежавший с уроков и встретившийся с учителем. Совсем растерялся.

— Ишь, ты, пахать рановато… Шел бы помогать кузнецу. Плуги еще не готовы, сохи, бороны… Семена не очищены…

Дедушка, приложив руки к груди, кланялся:

— Сделаем, раис, сделаем. Все сделаем.

Он вел себя недостойно, унижался. Я едва выдерживал все это.

— Вот что, — отъехавший было всадник снова повернул коня. — Увидев офицерские сапоги Негмана, наш Джурабек тоже захотел такие. Ну, молодой, что поделаешь… Зачем теперь твоему сыну хромовые сапоги? И, понизив голос, доба-

вил: — Отблагодарю…

— Сами ему об этом скажите, — как-то неопределенно ответил дед.

Всадник исчез, затих цокот копыт его белоснежного скакуна.

— Дедушка, ведь это дядя Хушвахт! — пораженный, воскликнул я. — Он не узнал меня?

— Прошли те времена, когда он был дядей Хушвахтом. Теперь он раис — голова… Ну, ничего. Пусть он попробует поговорить так с твоим отцом. Тот ему ответит… — дедушка еще что-то ворчал себе под нос.

Мы погнали ослов и вскоре вошли в кишлак.

Я узнавал памятные мне места: сады за низкими оградами, тополя вдоль улочек, прячущиеся за деревьями кибитки и горы, подступившие к самому кишлаку. А вот родник… Все мне было знакомо, ничто здесь не изменилось. Но не было прежнего величия и той необыкновенности, о которых я не уставал рассказывать городским мальчишкам. И вершины гор казались теперь ниже, и тополя не такими стройными. Кажется, и люди, с которыми я потом встретился, чуточку стали другими.

Может быть, сказывались последствия трудных военных лет, а может, я повзрослел и научился

видеть по-другому.

Авторизованный перевод Б.Пшеничного

МУХИДДИН ХОДЖАЕВ

Мухиддин Ходжаев известен в Таджикистане и за его пределами не только как автор многих рассказов и повестей, но и как кинодраматург. Вехами его творческого пути являются книги прозы "Вместо извинения", "Честный хлеб", "Знак любви", сценарии кинофильмов "Под пеплом огонь", Тайна предков" и другие произведения.

М. Ходжаев член СП СССР.

НЕ ТЕРЯЙ ЗВЕЗДУ
Рассказ

Прошел год, как Латофатбону выдала замуж свою третью дочь, и сейчас жила с мужем и младшим сыном. Ей повезло: все три зятя попались хорошие. Она относилась к ним как к сыновьям. Теперь Латофатбону подумывала женить младшего. Тогда она успокоилась бы: все исполнила…

И вдруг домой пришла Мехриджон — с чемоданом. Все удивились, потом решили, что она куда-то уезжает и зашла прощаться. Но оказалось, что поссорилась с мужем, забрала все необходи-

мое и вернулась к родителям.

Первые два дня все молчали о происшедшем, на третий вечер мать с дочерью поговорили по душам.

— Разведусь, — сказала дочь.

— Так сразу?

— Я не буду больше с ним жить.

— Почему? Ты же вышла за него по любви.

— Слишком уж мать его сварлива. Вечно поучает: делай так, а не эдак.

— Ну и что же? Ты — молодая, она же прожила долгую жизнь. Терпи. Так делай, а эдак не делай.

— Терпи… Сколько можно? Надоели бесконечные наставления.

— А что говорит зять? — спросила Латофатбону.

— То же, что и вы. Говорит: ты образованная, она темная, неграмотная женщина. Постарайся ужиться с ней.

Он прав.

— А еще говорит, — продолжала Мехриджон, — запомни: мать меня растила, оберегала, поила, кормила… Из-за тебя я не брошу ее. Тогда, говорю в ответ, я разведусь с тобой. Как хочешь, ответил он. Я взяла чемодан и пришла к вам.

Латофатбону молчала. Почему, удивлялась

она, молодежь так легко, беспечно относится к жизни? Наконец спросила:

— И что ты хочешь делать дальше?

Мехриджон не стала глубоко задумываться над вопросом матери.

— Что буду делать? Днем, как всегда, буду работать, на ночь приду сюда. Надеюсь, свою младшенькую не выгоните из дома.

— До каких пор? — Латофатбону хотела заставить дочь призадуматься. — Так и будешь одна?

— Почему? — так же легко ответила Мехриджон. — Как и вы, вторично выйду замуж.

Эти слова больно отозвались в сердце матери.

Латофатбону встала и вышла во двор. Муж спал на диване. Она прошлась по двору, затем потихоньку улеглась на топчане. Слезы душили ее. Она смотрела в бездонное ночное небо, усыпанное звездами. А думала не о том. что стояло перед глазами…

Шла война. Латофатбону преподавала в кишлачной школе, муж работал врачом. Как ни просился на фронт, не взяли: без врача кишлаку нельзя. Тяжелые голодные годы. Она делилась с соседями и своими учениками всем, чем могла.

Война кончилась. Люди воспряли духом, повеселели. У каждого появилась мечта, цель в жизни.

Латофат родила еще ребенка. Она ждала сына, но появилась опять девочка. Муж, любящий, всегда внимательный, в последние годы — заметила она — становился другим. И когда с рождением третьей дочери, он бросил семью, женился вновь и переехал в город, Латофат не слишком поразилась, — он мечтал о сыне.

Прошло несколько лет. Утешение и радость она находила в работе, в любви к своим ученикам. Особенно же замечала она среди них сына мельника. Отец мальчика приехал с фронта, когда его жена, потеряв надежду, вышла за другого. Раненный в ногу мельник не. знал, кого винить в этом. Тех ли, кто прислал извещение о его гибели; тех ли, кто, не желая губить ее молодость, настоял на втором браке; или эту проклятую войну… Он взял к себе сына и поселился в комнатушке на мельнице.

Видать, мальчику жилось не легко. Одевался он хуже других детей, сторонился ребячьих игр, на уроках был рассеян, часто отвечал невпопад. Все это заметила Латофат, стала внимательней относиться к парнишке, частенько спрашивая его о домашних делах, об отце, о взаимоотношениях отца и сына. Из этих разговоров она поняла — нелегко приходится мельнику.

Такое внимание учительницы к ученику не осталось не замеченным отцом парнишки. Она увидела, что он чаще стал попадаться ей навстречу. До сих пор ходил на костылях — теперь же отбросил их прочь. Стал опрятно одеваться. Не трудно было догадаться: хотелось ему заинтересовать, привлечь ее внимание к себе.

"Мне хочется, чтобы вы стали матерью моему сыну, а я — отцом вашим дочерям". Эти слова может оценить лишь тот, кто в течение нескольких лет пережил голод, холод и одиночество. Трое детей на руках, а за плечами сорок лет. У нее не явилось раздумий над тем, что она — учительница, а он — мельник, она — здоровая, а он — калека, — вышла за него замуж. Так он стал отцом для ее дочерей, а она — матерью его сыну. Скоро исполнится двадцать лет, как они вместе. Прожили счастливо и в согласии. Что и говорить — все зависит от самого человека…

Латофатбону услышала шаги и притворилась спящей. На цыпочках к топчану подошла Мехриджон.

Дочь улеглась рядом. Раньше она всегда спала на этом месте. Ей вспомнилось, как мать говорила раньше:

— На небе столько звезд, сколько людей на

земле. У каждого человека есть своя звезда.

Мехриджон спрашивала:

— А какая моя?

— Которая тебя нравится.

— Мне нравится вон та, маленькая, но яркая.

— Хорошо запомни и не теряй ее.

— А если ее облюбовал кто-нибудь другой?

— Небеса справедливы. То, что должно принадлежать тебе, другому не отдадут.

Мехриджон любила такие разговоры. Она еще крепче прижималась к матери. Затем перебиралась на свою постель, всматривалась в небо, находила свою звездочку и засыпала.

С той поры прошло несколько лет — Мехриджон сейчас не найти эту звездочку.

Латофатбону чуть приоткрыла глаза и опять смежила веки.

— Мама, — тихонько позвала ее Мехриджон.

— Что, доченька?

Голос матери ласковый, спокойный. Как будто и не было между ними неприятного разговора.

— Я хочу здесь спать.

— Хорошо, доченька.

Этот родной голос пробудил в Мехриджон такую нежность, что она невольно придвинулась к матери, чтобы поцеловать ее.

Девушка всматривалась в черты дорогого лица. Мать открыла глаза, посмотрела на Дочь. Взгляд тот был прежним: полный ласки, любви, заботы.

Мехриджон, подобно дитенышу, потерявшему и нашедшему родителей, крепко припала к матери, стала осыпать ее лицо поцелуями. Наконец успокоилась.

— Мама…

— Что, доченька?

— Почему вы не приласкаете меня?

Трудно было ответить на этот вопрос. Сама Латофатбону не понимала, откуда этот холодок к дочери, которую вырастила с таким трудом. Но сказала:

— Ты уже большая, доченька… У тебя муж…

И руки ее сами по себе стали гладить Мехриджон.

Дочь поправилась, раздалась в талии, мать ощутила запах молока, исходивший от молодой груди. А что это значит, знают все матери. Она обхватила голову дочери, приподняла, заглянула в глаза и нежно сказала:

— Поздравляю тебя.

Мехриджон стыдливо прикрыла веки, уронила голову на грудь матери. А Латофатбону вдруг поняла: вот, оказывается, почему не могла она

ласкать и гладить дочь, — это была уже не та капризная и шаловливая девочка. Это была женщина. Мать!

Латофатбону облегченно вздохнула и спросила:

— Ну, как? Не забыла свою звездочку?

— А где она? — обрадовалась Мехриджон.

Мать взглянула недоброжелательно.

— Да вон же. Маленькая, яркая звездочка. А рядом — совсем крохотная появилась. Видишь?

— Да, да… Вижу, вижу, мамочка! — вскрикнула Мехриджон.

— Не теряй свою звезду, доченька. Иначе та новая маленькая звездочка останется сиротой.

Мехриджон хорошо поняла, на что намекала мать.

— Постараюсь, мамочка, — ответила она.

На сердце Латофатбону стало полегче.

Перевод С.Ховари

ТУРКМЕНИЯ

АГАГЕЛЬДЫ АЛЛАНАЗАР

"Семь зерен" — первая проба Агагельды Алланазара (Алланазарова) как прозаика. Учась в Литературном институте им. А. М. Горького, он выступал в печати со стихами и поэмами. Поэтическая книга Агагельды Алланазара "Дом солнца" вышла в 1977 году.

СЕМЬ ЗЕРЕН
(маленькая повесть)

Весенний день. Миновав контрольный пост нашей воинской части, я повернул к югу и пошел по тропинке, ведущей в город, — первое увольнение! Чем ближе подходил я к городу, тем легче становился шаг.

Первым делом сфотографироваться. Мои мать и жена просили об этом в каждом письме: "Пришли свое фото. Хочется поглядеть, каким ты стал". Получат и обрадуются. Я улыбнулся. Говоря откровенно, мне самому хотелось иметь фотографию, на которой я буду в десантной форме.

Пока сидел в фотоателье, стал накрапывать

дождь. Прозрачные и чистые капельки ударялись о полуоголенные деревья сада, а с них скользили на землю.

Затем в потоке горожан я через часок-другой оказался на вымощенной улице. Эта узкая улочка вела на восточные окраины города, дома поредели, а скоро и вовсе исчезли. Я и раньше знал, что там речка, которая огибает город, будто пугливая лошадь, сторонясь опасности. И хотя мне ни разу не пришлось сидеть на ее берегу, я уже давно успел подружиться с нею. Мы часто проезжали здесь на машинах. И всегда, будто желая увидеть близкого человека, я вытягивал шею и разглядывал ее.

Сейчас берега потеряли летний вид: не было здесь шумного веселья, и взору не попадались веселые девушки в купальниках, не сновали лодки, бороздящие спокойную гладь ее поверхности. Но и скромный этот пейзаж при внимательном взгляде был броским и интересным.

Привязанные к каменным столбам рыбацкие лодки, суетливые старики с удочками, звонкоголосая, живо снующая ребятня и подходящие за водой женщины, — все это придавало берегам речки своеобразную прелесть. Елки на противоположном берегу напоминали девушек,

подобравших подолы и намеревавшихся перейти речку вброд…

Хорошо!

Однако этот мой идиллический покой продлился недолго. Машинально опустив руку в карман с увольнительной, я похолодел… Потом меня бросило в жар. Не веря, — я вывернул карманы, но — увы! — увольнительной нигде не было.

И снова, не веря в случившееся, я тщательно перерыл всю одежду. Тщетно.

Оставалось одно — сматываться, и как можно скорее. Я нарочно выбрал улицу, начинающуюся у реки, — она мне показалась укромной, куда вряд ли ступает нога патруля. Улица действительно была тиха, безлюдна, и вскоре я успокоился, забыв об увольнительной, и о том даже — откуда и куда иду…

— Гвардеец, десантник, остановитесь! — окрик был резким, и я с опозданием понял, что потерял бдительность. Легко ступая, ко мне шел офицер в сопровождении двух солдат. Сейчас они потребуют мою увольнительную. Что делать?

Сердце мое сильно заколотилось. Я на мгновение прислушался к нему и вдруг явственно услышал, что оно выстукивает: "Кто стоит — попадется, кто убежит — спасется".

Я пулей бросился в боковую улицу. Патрульные от неожиданности растерялись, и я выиграл кое-какое время, но радоваться было рано: лейтенант уже настигал меня.

"Что-то нужно предпринять, иначе — позор, поведут под конвоем!" Все сильнее стучало сердце. И, как на зло, на моем пути вырос многоэтажный дом.

Я ворвался в первый попавшийся подъезд и, не зная куда деть себя, стал метаться из стороны в сторону, толкаясь в двери. Наконец, одна из них поддалась, и я ввалился в комнату. За столом сидели трое и обедали. Увидев незванного гостя, в недоумении они уставились друг на друга. Человек, сидевший посередине, опираясь руками о край стола, воинственно приподнялся с места. Его лицо мне показалось знакомым. Но сколько я ни вглядывался — вспомнить не мог, к тому же по правую руку от него сидела девушка, и удивление, с каким она разглядывала меня, не давало сосредоточиться.

Под взглядом ее глаз я угасал, точно лед, попавший в тепло. На лбу моем и вправду выступила испарина.

— Простите меня… если позволите, я задержусь здесь на несколько минут… — тяжело переводя

дыхание и продолжая стоять возле двери, вымолвил я наконец.

И решительный этот человек, словно поняв, от кого я убегаю, вдруг, с места в карьер, стал "чесать" меня как свояка:

— Поумнеете ли вы когда-нибудь! Сами-то понимаете, как ведете себя?..

Но тут женщина, видно, его жена, заступилась:

— Коля! Не нужно… оставь.

Человек замолчал, заходил по комнате, заложив руки за спину. И вот за дверью забухали сапоги, послышались голоса. По очереди стуча в двери, патруль спрашивал меня. Извинялись, и шли к следующим дверям. Очередь дошла и до этой. Я все еще стоял возле нее и рассматривал пол, а иногда, украдкой, — сидевших за столом.

Девушка, быстро обменявшись взглядом с матерью, с легкостью встала и толкнула дверь смежной комнаты:

— Войдите!

Я не заставил ее повторять дважды и юркнул в соседнюю комнату. Девушка указала на стул и положила передо мной кучу газет и журналов, а сама, взяв "Огонек", села напротив.

В этой прохладной комнате мое "таянье" прекратилось — крупицы пота подсыхали. Струя

свежего воздуха, идущая от форточки, шевелила волосы девушки, доносила до меня запах духов.

Однако я не забыл о своем положении и чутко, одним ухом прислушивался. Но мешал дождь, опять начавший накрапывать, но теперь капли были крупнее, увесистей.

И тут мои глаза натолкнулись на вещь, от которой снова бросило в жар: на вешалке, слева от двери, висел новенький офицерский мундир. Только теперь я понял, что сижу в квартире одного из командиров нашего полка, подполковника Тарасова. Меня подвел его гражданский вид. Если бы Тарасов был в форме, я узнал бы его сразу — в нашем полку нет таких, которые его не знают.

...Мы слышали, что в годы войны, будучи в чине старшего лейтенанта, он командовал батальоном. И командир дивизии, часто посещавший наш полк, в те годы был одним из сержантов его батальона.

Ошарашенный таким открытием, я боялся даже взглянуть на девушку, но тут вошла жена подполковника и, как ни в чем не бывало, стала рассказывать о своем племяннике, сыне сестры, проходящем военную службу в Москве. Она говорила и говорила, а я сидел не шелохнувшись.

Потом она показала его фотографию: у красной

стены Кремля стоял ефрейтор.

Все это было по отношению ко мне так просто, точно разговаривали со старым знакомым, что на мгновение я забыл, где нахожусь. Мать поинтересовалась, почему мне сегодня пришлось стать "зайцем", и я все вспомнил и застыдился. Потом вдруг понял, что от этих людей не надо скрывать, и рассказал им все подробно.

Мать и дочь попросили зачем-то мой военный билет и ушли с ним. Это подействовало на меня удручающе. Вытянув шею, я глянул в окно, увидел патрульных, ожидающих моего появления.

Женщины вернулись (и — о чудо!) с моим увольнительным билетом.

И я молниеносно вспомнил, где "потерял" его: под обложкой военного билета. Спрятал туда для надежности.

Разговор стал еще оживленнее. Выяснилось, что мы почти "земляки": когда Тарасов был лейтенантом, он прожил с семьей в моем родном крае целых два года.

Вспоминая о Бадхызе, его холмах, покрытых алыми тюльпанами, мы становились все ближе друг другу. Я узнал, что женщину зовут Ниной Евстигнеевной, а девушку — Таня. Нина Евстигнеевна, вдруг вспомнив о домашних делах, ушла

на кухню.

Татьяна оказалась книголюбкой, как и я. Мало-помалу мы разговорились. Правда, я чувствовал себя скованно, смущался девушки.

Пора было возвращаться в часть.

Поблагодарив хозяев за гостеприимство, за хлеб-соль, я отправился своей дорогой. Таня, в спешке даже не надев на себя плащ, а лишь перекинув его через руку, догнала меня.

— Мне по пути с вами…

— Идемте. Вдвоем веселее.

— Моя подруга живет поблизости от вас. Мы пойдем с ней в кино.

— Да?

Дождик перестал барабанить по шиферным крышам. Приходилось то и дело обходить возникшие в улице многочисленные озерца.

— Знаете, а я решила попробовать писать сама, — сказала Таня, продолжая наш разговор о литературе.

— Да? Что же вы пишите? Дайте почитать, — сказал я шутливо.

— Нет, нет же, я просто написала несколько рассказов о происхождении знакомых городов и сел. А большую часть в моей тетради занимает происхождение имен. По-вашему, какое из деви-

чьих имен самое лучшее?

— Язбегенч, — невольно ответил я, назвав имя своей жены.

Таня наклонила голову, загадочно улыбнулась...

Но вот и знакомые зеленые ворота. Мы остановились. Стояли и прислушивались к песне, доносившейся со стороны полка.

— Получите следующую увольнительную, заходите к нам.

— Если судьба приведет, — сказал я неуверенно.

— Но учтите: не придете — мы обидимся. Или напишите вот по этому адресу.

Взяв адрес, я попрощался с Таней и сразу, будто и не был в увольнении, оказался захлестнутым грохотом сапог, — мимо пробегали солдаты.

— Рота-а-а, подъем!.. Тревога!

Эта команда раздалась между тремя и четырьмя часами ночи, когда сон особенно сладок, и повторилась три раза. Раздирая душу, скрежетали пружины коек. Парни вскакивали, спешно занавешивали одеялами окна, и, одеваясь на ходу, торопились в оружейную комнату.

Построились. Командир приказал: " К парашютному складу!"

Грузовые машины раздвигали своим светом темноту, иыхтя, следовали за нами.

Доставка парашютов к машинам выполнялась только бегом. Сон улетучился. На глаза набегали теплые капельки пота.

Нагруженные машины, не мешкая, отправлялись в путь.

...Перед самым рассветом мы уже были далеко от своего полка. Сидя на низкой, влажной траве, мы ждали своей очереди на посадку в самолет. Парни, не любившие долго молчать, собрались вокруг балагура Аноприенко, который обыкновенно начинал так: "А знаете ли вы, что случилось потом?". И затем принимался читать очередное "письмо Миши".

"Маменька, твой Мишуля, отсыревший насквозь в этом дождевом краю, посылает тебе большой привет. Мама, прежде всего хочется сказать тебе о том, чтобы ты каждую получку посылала мне десять — пятнадцать рублей, а хлопотать с посылкой тебе не надо, если пришлешь деньги, этого будет вполне достаточно.

А со службой я теперь свыкся окончательно. Являюсь одним из гвардейцев десантной части. То и дело прыгаем — бросаемся вниз из самого чрева самолета. А внизу выстраиваются деревья

и направляют в нашу сторону свои острые пики. При каждом прыжке мы теряем 3 кг. 48 г. собственного веса. Приступая к службе, я весил 78 кг. До сегодняшнего дня я совершил одиннадцать прыжков; вычти, мамочка, потерянные в воздухе килограммы и узнаешь, сколько во мне осталось живого веса. Мама, ты за меня не переживай. Теперь я один из важных командиров нашей части. Недавно мне присвоили чин ефрейтора. Гордись, маменька, гордись своим отпрыском. Вполне вероятно, что твоего Мишулю могут назначить командиром орудия… Мне предложили стать генералом, но я сам не захотел этого".

Хотя ефрейтор Аноприенко не смеялся, все ребята, уставившись на Мишу, покатывались со смеху.

Да и Миша не отставал от них. Когда его круглое лицо напрягалось, то немного сплюснутый нос исчезал в толстых щеках.

Миша — известный парень не только в нашей роте, но и во всем полку. Он не похож на тех, которые не понимают шуток и действуют по принципу "чем дать растоптать свою честь, лучше предать огню душу свою". Никто не помнил, чтобы он вспылил, напротив, от каждой шутки получал удовольствие.

И неспроста ефрейтор Аноприенко выбрал для себя "боксерской грушей" именно его. Эти два солдата отличались друг от друга и внешностью, и характерами. Если Мише было лень говорить, то Аноприенко слыл болтуном, был длинным и худым — полной противоположностью Миши, походившего на арбуз с ножками.

Приземлившийся огромный самолет поглотил нас и снова поднялся в воздух.

Крюки парашютов мы нацепили на кольца, одетые в чехольчики. Через иллюминатор была видна белая облачная равнина. А мысли уносили меня в родительский дом, к родному очагу.

Я подумал об Ильясыке. Вот братишка проснулся и трет кулаками глаза. Каждое его потешное движение вызывало когда-то радостный смех. Я вспомнил, как он неловко гонялся за курами, лепеча: "Ложись, ложись, моя курочка-ряба, и снеси мне яичко...". Захотелось поиграть с ним в "кто победит".

Самолет раскачивался с боку на бок и было ясно, что приближается время прыжков. Как только раздалась команда: "Приготовиться!" — наш ряд, которому предстояло прыгать первым, поднялся на ноги.

Я, как и остальные, встал, чуть согнувшись,

ухватился правой рукой за кольцо, левую положил на запасной парашют и ждал команды.

— Пошел…

В облака посыпались ребята, Словно горстями брошенная жареная кукуруза. Падая, я почувствовал, как меня пронизывает холод. Облако, в которое я угодил, окружило мой парашют, проникло в его нутро, как в шатер, словно пыталось увлечь меня куда-то в неизвестность.

Наконец я очутился на земле. Внизу настоящая суматоха: высвобождая себя из парашютов, ребята спешно собирались вокруг командира.

Когда вступили в "бой", пришлось долго ползти по-пластунски. Время от времени доставали лопаты и окапывались. Место, называемое "логовом противника", забросали гранатами. Путь преградили дымовые пояса, мы натянули противогазы и погрузились в дым.

Потом был перекур.

И тут мое внимание привлек Миша, сидевший напротив меня, его будто знобило, он дрожал всем телом. На одной его ноге не было сапога.

— Миша, где твой сапог?

— Сам не знаю. Когда я прыгал, он соскользнул с ноги, я найти не успел.

— Дела-а…

— Думал, будет теплее, вот и взял сапоги на размер больше, будь они прокляты, — выругался Миша.

— Вот и достань теперь сапоги! — хмыкнул Аноприенко.

Это задело Мишу, — он с обидой сказал:

— Лучше погрызи сухарики, твоему желудку будет впрок.

Я достал из вещевого мешка портянки. Аноприенко с улыбочкой принес древесную кору, сплел из нее подобие лаптя. Приладил его к ноге Миши и обмотал портянками — сделал по пословице: "Покуда доставят палки, пускай в ход кулаки".

— Ребята, — обратился ко всем Аноприенко. — Про сапог Миша будет писать в очередном письме, а пока я прочту другое, с которым он ознакомил меня вчера.

И начал:

"Здравствуй, милая Катя. Увидев в газете твой портрет, я влюбился в тебя с первого взгляда, как говорится, с бухты-барахты. С тех пор стремлюсь я успокоиться, усиленно курю, грызу сухари, но ничего не получается. Я влюбился в тебя так глубоко — до самых почек, как Ромео в Джульетту. Каждый час я гляжу на твой портрет и поглаживаю его почти так же, как свой противогаз,

только еще нежнее. А давеча перед боем ты даже приснилась мне. Твои жесткие волосы я гладил ладонью, и не один раз. Но, увы, мне помешал проказник, влепил изрядный щелбан, от которого я проснулся. Оказывается, за твои волосы я принял усы Аноприенко..."

Миша сидел, прислонившись к стволу дерева, затягивался папиросным дымом, прищуривал глаза на Аноприенко, улыбался. А я снова мысленно очутился в родных краях, около круглолицей моей жены. Она вглядывалась в меня своими теплыми, ласковыми глазами и была такой же, как в последний раз на вокзале. В цветастом платке, с немного печальными глазами, она что-то шептала, и я догадался:

"Со дня разлуки с тобой прошло 397 дней..."

Так она писала мне в письме...

Раздался протяжный вопль. Наш взвод, пробиравшийся лесом на стрельбище, остановился и прислушался.

Вопль доносился откуда-то справа, из-за дубовых деревьев. Временами он прекращался, и тогда слышалось чье-то тяжелое дыхание.

За деревьями мы увидели корову, которую засасывало болото. Ее глаза, застывшие от ужаса, были круглы и огромны. Мы без слов приступили

к делу. Наложили веток. Приволокли бревно. Аноприенко, измазанный черной глиной, отыскал коровий хвост, а Миша ухватился за рога.

Корова подалась. Теперь можно было просунуть бревно под ее живот. Наконец мы вытянули ее на твердую почву. Лейтенант, глянув на часы, заторопился:

— Задержались на тридцать пять минут. На стрельбище уже давно ждут нас, живее ребята…

Но мы и без того торопились. Аноприенко и тут нашел повод позубоскалить:

— Товарищ лейтенант, если вы на сей раз не накажете Мишу, я обижусь. Вы сами видели, как он, будто теленок, присосался к вымени коровы. Товарищ командир, накажите его. Накажите за то, что он высосал чужую долю молока. Он, товарищ лейтенант, теленка обидел. Если не верите, посмотрите на его губы и убедитесь.

Мы взглянули на Мишу.

В самом деле его губы были измазаны глиной. Ребята заулыбались.

Корова, заметившая, что мы уходим, посмотрела нам вслед и протяжно замычала: "Мо-о-о". Ребята просияли.

Торопливый солдатский шаг быстро уводил нас к стрельбищу.

…Сегодня мы развернули парашюты, приготовленные полмесяца назад, и тщательно осмотрели их (так делается перед прыжками).

На следующий день ГАЗ-69 повел за собой караван автомашин с сидящими на них десантниками-парашютистами. На земле и деревьях лежал снег.

Ветер мел этот снег, слепил глаза, а мороз покусывал уши, заставляя плотнее натягивать шапку.

Только в самолете по телу разлилось тепло, нарумяненные морозом щеки поблекли.

Моя рука на запасном парашюте. На нее падают капли. Это тают снежинки на моих усах…

Самолет набрал высоту, открылся люк. Ветер, ворвавшийся внутрь, расшевелил солдат, разомлевших от тепла.

Тут же команда: "Приготовиться!" — и следующая: "Пошли!" Падая, я закрутился, как волчок. И почему-то растерялся. Дернул, кольцо раскрывателя парашюта значительно раньше положенного времени и почувствовал, что лечу вверх тормашками, ноги выше головы — запутался в веревках парашюта. Я несколько раз подтянулся на руках, держась за ремни. Удалось освободить одну ногу. Но для второй уже не оставалось ни

сил, ни решительности.

Земля летела мне навстречу, а я, словно парализованный, бездействовал и знал — после падения никакой мастер-хирург меня не соберет.

И тут с земли донесся глуховатый голос:

— Не паникуй, гвардеец… Достань нож и перережь стропы. Спокойно. Не паникуй. Нож твой на поясном ремне… Спокойно…

Солдатскому оружию спасибо! Нажал кнопку — со щелчком открылось лезвие ножа. Ветер подхватил концы перерезанных строп, на душе полегчало. Я взглянул на свой надутый парашют, напоминавший камышевую цыновку, на белые купола других парашютов, готовых уже приземлиться, и рассмеялся: хорошо все-таки жить!

Теперь до земли оставалось совсем пустяк. Тот, поддерживающий меня глуховатый голос раздался снова. На сей раз он доносился еще глуше:

— Не торопись… Сведи ноги, носки и пятки вместе… задние лямки подтяни еще немного, ветер восточный, ветер восточный… Не забывай приземляться по ходу ветра, в направлении ветра…

Глянув вниз и заметив толпу людей, глазевших на меня, я смутился. Расстояние между нами сокращалось быстро… 50 метров… 30… 10 метров… Земля!

Ребята подбежали ко мне и окружили. Помогли подтянуть парашют, который поволок меня по снегу. Увидев торопливо идущего подполковника Тарасова с рупором в руке и седого полковника рядом с ним, я быстро сообразил: "На худой конец дадут десять суток гауптвахты, правда, зимой холодновато, но придется потерпеть".

Вытянувшись по стойке "смирно", я отрапортовал:

— Гвардии ефрейтор Назаров выполнил тринадцатый прыжок.

Полковник обвел окружающих взглядом и скомандовал:

— Баталь-о-он!.. Смирно! За проявление настойчивости и умелое действие в воздухе гвардии ефрейтор Назаров награждается значком "Парашютист-отличник"!

— Служу Советскому Союзу!

Произнеся эти слова, я ощутил, как голова моя вскинулась, а грудь выпятилась далеко вперед.

...Прошло десять-пятнадцать дней. Однажды я был дежурным по кухне. Вошел сияющий почтальон. Раскрыл одну из газет, и ткнул пальцем на статью под заголовком: "Тринадцатый для десантников — не опасен". Один из наших командиров написал эту статью про меня.

Последнее письмо, полученное от Тани, заставило меня задуматься.

"...Иногда хочется повидаться с вами. Выхожу из дома к вашим зеленым воротам..."

Я сделал вывод — это слова любви. Но, спустя время, заколебался: нет, Нуры, ошибаешься. Погляди чуть дальше носа, может, это все и не так. Они видели твой военный билет. А в нем — все, вплоть до дня рождения твоей жены.

В ближайшее увольнение решил встретиться с Таней.

Но увольнение не так-то легко получить. Если я обращусь к ротному, он, несомненно, ответит: "Товарищ ефрейтор, вы были в увольнении недавно. В роте вы не один, подождите, дойдет до вас очередь".

И тогда я решил обратиться к комбату. Стал придумывать причину встречи с ним. Однажды я увидел его среди солдат, поливавших газоны.

Я подошел строевым:

— Товарищ майор, разрешите обратиться?

— А ну-ка валяй, послушаем, что ты нам скажешь, — пошутил он.

— Товарищ майор, мне необходимо в город в предстоящий выходной день! — выпалил я неожиданно, для себя.

Однако, не ответив на мою просьбу, комбат удивил меня гораздо больше, чем я его:

— Товарищ ефрейтор, я собираюсь направить вас на кратковременные курсы сержантов. После окончания курсов вернетесь в свою роту и вместо сержанта Коритко будете командовать отделением.

Это неожиданное решение застало меня врасплох, и я немного растерялся, даже не знал, что ответить.

— Говорят, что молчание — знак согласия. Короче, вам, товарищ ефрейтор, придется поехать. А послезавтра утром зайдите в штаб, там выпишут увольнительную.

Мне оставалось поднести руку к кромке берета:

— Слушаюсь, товарищ майор.

В воскресенье я вышел в город, и очень кстати: мое письмо, срочно отправленное Тане, дошло до адресата.

В городском парке я ее нашел очень быстро. Она сидела на зеленой скамейке невдалеке от фонтана и листала книжку.

Решили начать прогулку с леса. Безлюдная тропинка, извивавшаяся между деревьев, повела нас в молчаливую его глубину. Лес был полон

неожиданностей: то, волоча за собой пушистый хвост, пробежит белочка, то с треском шагнет между деревьев пугливый олень. Тропиночка, наконец, привела нас к широкой пойме реки.

Сновали рыбачьи лодки. Мальчишки и девчонки с радостными криками играли в какую-то водную игру.

А те, что оставались на берегу, загорали на стеганых одеялах.

— Десант, неплохо бы искупаться, гляди какой погожий день, будто по заказу, — предложила Таня.

Да, жаркий день в этом пасмурном краю — событие довольно редкое. Я даже улыбнулся: не заблудилось ли Каракумское солнце, не пришло ли сюда по ошибке?

Но мое молчание Таня рассудила по-своему:

— Не хочешь купаться — не надо. Ты можешь сидеть и наблюдать. Мне же известно, что в вашем краю воды мало... Я окунусь пару раз и выйду.

Все ясно: решила, что я не умею плавать.

— Танюша, если я вдруг начну тонуть, — спасешь? — почти трагически сказал я, но Таня не заметила подвоха и упросила купаться, где мелко.

Я нырнул под воду и, вынырнув далеко от Тани и шумно плескаясь, поплыл к другому берегу.

Когда же вернулся, она обиделась:

— Шутник, даже не мог сказать... Страдай тут из-за него, бойся: как бы не утонул...

После этого мы плавали вместе.

Потом вышли на берег и стали загорать. Я забыл, что это такое удовольствие — лежать под теплым солнцем. Разомлел, то и дело втягивал в себя воздух, наслаждался.

И тут Таня вскочила и, сорвав с моей головы берет, которым я прикрылся от солнца, с озорством поглядывая назад, закричала: "Ну, если быстрый, — догоняй!" — сорвалась с места и побежала. Я рванулся за нею.

Она бежала и смеялась, а мне же казалось, что гонится она за собственным своим смехом. Ее распущенные волосы обвивали тело. Её смех был завораживающим, и мне хотелось без конца слушать его. И потому, наверное, я бежал не особенно быстро. Но в конце концов догнал ее и взял за руку. Тяжело дыша, она закрыла глаза и припала ко мне. Засмеялась:

— Хорошо здесь, правда?

Мое сердце учащенно заколотилось.

Нас рассматривали лесные деревья, задумчиво

покачивали вершинами… Мы повернули к реке.

На берегу народ прибавлялся. Солнце клонилось уже к западу. А мне хотелось сидеть здесь и наблюдать за волнами. Эту реку я видел часто, но любоваться ею не надоедало, напротив, грусть улетучивалась, поднималось настроение. Отчего мы с этой рекой так сблизились? Была у меня на этот счет одна несложная догадочка: она похожа на мою Мургаб, что протекала неподалеку от дома.

— Ах, побольше бы таких дней…

Таня сидела рядом и держала меня за руку.

— Ты научишь меня плавать.

Глядя друг на друга, мы улыбались, и я окончательно забыл о том серьезном разговоре с Таней, ради которого шел на эту встречу.

Наша рота первой поднялась в воздух и раньше всех совершила прыжки.

Но на сей раз мы должны были остаться на поляне и собрать парашюты тех, кто прыгает после нас. Ребята, недовольные, обратились к замполиту:

— Товарищ капитан, с какой стати мы должны собирать чужие парашюты? Неужели мы не заслужили чего-нибудь посерьезнее?

Замполит улыбнулся и тут же отрезал:

— Выполняйте приказ.

Роты, приземлившись, поспешно освобождались от парашютов и исчезали в лесу, откуда доносилась автоматная трескотня и артиллерийская канонада.

А мы, собирая и подтаскивая парашюты, злились: что, мы хуже других?

Через три часа наш ротный командир пересчитал собранные парашюты и сделал отметку в своем блокноте. Ребята сели перекусить, а командир поручил мне построить свое отделение.

Я подумал, что нас сейчас отправят в гущу событий и оживился. Однако радость была преждевременной.

— Вы останетесь здесь, около парашютов!

Приказ, есть приказ, его надо выполнять.

От нечего делать ребята разбрелись собирать грибы, и только Миша и еще несколько ребят предпочли отдохнуть на траве.

Лес стоял перед нами — словно поднявшийся по тревоге лиственный полк; глядел куда-то вдаль, поверх простиравшихся рядом пшеничных полей. С полей этих, готовых уже к жатве, доносились запахи спелого хлеба.

Сорвав колосок, я раздавил его в ладони, сдул шелуху и увидел крупные зерна. Их было семь.

Подумалось: "прямо как в притче: семь пророков — один бог". И бог этот в моих руках — колосок. Вспомнилось мне, как ел когда-то из чашки солоноватую вареную сытную пшеницу. На душе было радостно...

Зашло солнце, ребята, вернувшись из леса, нанизывали на палочки грибы и жарили их над углями. Запах жареных грибов нестерпимо разжигал аппетит.

Перекусив, мы стали ждать машины. Но их все не было.

Глубокой ночью встревоженный дежурный растолкал меня:

— Товарищ сержант, машины, кажется, идут. Будить ребят?

И в самом деле доносился гул, однако он не был похож на гул машин. Свет бороздил пшеничное море.

"Наверное, трактора", — подумал я.

И тут же услышал, как кто-то из ребят, проснувшихся от наших разговоров, крикнул:

— Идут танки, эй, эй!

Я невольно вскочил на ноги:

Танки двигались в сторону хлебных полей. Вслед за мной в пшеничное поле кинулся Аноприенко. Стараясь перекрыть грохот ползущих

прямо на нас танков, орали во все горло:

— Стой, сто-ой!

Нас заметили. Передний танк остановился. Вслед за ним остановились и остальные.

Открылся люк, и офицер, вышедший из танка, не разобравшись, что к чему, набросился на нас.

— С ума посходили, что ли? Жить надоело, да?

— Надо глядеть в оба, коль сел в танк, а не спать!

И если бы он взял меня за грудки, я мог, позабыв разницу в чине, дать отпор.

Командиры других танков поняли в чем дело. И поддержали нас. Один из них, не удержавшись, пошутил:

— Ну, десантники, — значит, пшеницу караулим?

— Защищать хлеб — долг не только десантников, товарищ командир, — сказал Аноприенко, и впервые его слова не вызвали улыбки.

Сначала я любил глядеть в окно госпиталя на деревья. Потом и это надоело. Я тосковал.

Вспоминались ребята из нашей роты. Я их видел то за укладкой парашютов, то перед полковым знаменем. Про себя давно решил: как только снимут повязку с глаза, долго здесь не задержусь, ну, а если вдруг не отпустят, все равно придумаю

что-нибудь, ребята помогут. Единственным утешением для меня были два письма, оставшиеся в кармане. Одно из них было от Язбегенч. Его мне дал курносый почтальон, задолго до госпиталя. Хотя я знал содержание письма наизусть, все равно читать его еще и еще доставляло мне большую радость.

"...Сажусь писать тебе письмо и чувствую: ты стоишь где-то рядом со мной.

Все мы здесь живы и здоровы, такие, какими ты оставил нас.

Отец все возится со своим трактором.

А твои младшие братишки да сестренки в эти дни помогают колхозу собирать хлопок. А я занята школьными делами.

Ты можешь спросить — есть ли время на то, чтобы вспомнить тебя? А я отвечу — ты все время со мной, стоишь перед глазами. Когда приходит почтальон, я первой беру твое письмо.

Со дня разлуки с тобой прошло 524 дня, с сегодняшним. Скоро, скоро ты возвратишься назад.

До свидания. Живи и здравствуй, где ты пребываешь. Пищи почаще. Хоть писем не жалей для нас... Твоя жена, проглядевшая все глаза в ожидании".

Второе письмо — последнее Танино письмо.

"...Ты думаешь — "она пропала без вести". И действительно, я далеко от вас нахожусь, боюсь, не сумею найти обратную дорогу. Судьба забросила меня из Прибалтики на Дальний Восток.

Ты помнишь случай, когда мы ходили к старой крепости? Ты открывал мою сумочку, чтобы достать спички, увидел в ней фотографию курсанта. Теперь он артиллерийский лейтенант. Тогда он приехал домой на каникулы, и мы познакомились с ним у моей подружки. Но ты решил не заметить этой фотографии. Ни о чем меня не спросил. Может быть, ты был прав...

Недавно мы справили свадьбу. Ты можешь поздравить меня. Устроились хорошо, имеем двухкомнатную квартиру. Привыкаю к городу, читаю книги. В нашем городе морозно и снежно, но когда в доме есть человек, согревающий твое сердце, холод нипочем!

Служи в здравии, Нуры! Желаю закончить службу и встретиться с женой. С глубоким уважением к тебе — Татьяна".

Я шагал, следя за разводящим. Место назначения — склад нашего полка, где хранился картофель. Склад располагался на окраине. Этот пост у нас считался последним. Его окружала свободная поляна, где с первых дней весны и до

самой осени зеленела буйная трава.

Стоя на посту днем, я обычно встречал здесь старого лесника. Он появлялся среди деревьев, и уходил по тропинке, бегущей меж заграждений из колючей проволоки.

Сегодняшний наряд начинался с ночи. Луна, поднявшаяся из-за леса, заглядывала на свое отражение в зеркальной глади реки, и освещала ветки деревьев, похожие на распущенные волосы, и в них — силуэт девушки…

Временами девушка нагибалась и присматривалась к тропинке. Вскоре я заметил: кто-то мчится по берегу. Не добежав до девушки, остановился, и, присев на корточки, стал пить. Затем они поравнялись.

— Лайма, ты знаешь, мама просила навестить сестру в соседнем колхозе, сама она больна. А я пришел, — тётушка не отпускает, пока не посидел со всеми за столом, — сказал он и взял девушку за руку.

— Я и до рассвета бы ждала, — откликнулась девушка.

Я плохо понимал язык, на котором они говорили. Но кое-что разобрал. Но, может быть, это мне только показалось. Просто — я догадался, что говорили они о попятном каждому человеку.

Парень некоторое время глядел на освещенное лицо-девушки. Потом опустил глаза:

— Лайма, ты мне будешь писать или…

— Конечно, напишу. А что значит это "или"?

— Если ты можешь поступить, как Януте, скажи мне об этом сейчас, чтобы у меня не было никаких надежд.

Лайма обиделась:

— Не все девушки похожи на Януте. У меня в мыслях такого нет. Давно известно: женщина — не солнце, ей нечего стараться согреть своим теплом всех мужчин.

Она отвернулась.

— Лайма, прости меня, ты же знаешь, завтра я уезжаю служить. Пришлось немного выпить… ты прости… давай немного пройдемся.

Девушка молча согласилась и пошла рядом с парнем.

Луна все светила. Парень говорил:

— Эта ночь не исчезнет из моей памяти и в поезде, и в части.

— А… меня, меня будешь вспоминать?

— А зачем же тогда мне эта ночь?

Девушка взяла его руку, прижала к своей груди.

Они сидели на берегу реки, слушая звуки бур-

лящей воды и шелест листьев. И ночь эта была длинной для меня, для них — короткой.

На рассвете пришло время прощаться. Глядя друг на друга, они стояли несколько минут. Девушка ждала, что первым заговорит парень. Но он, ничего не сказав, привлек ее к себе и стал целовать в лоб, в щеки, в глаза. Девушка растерялась.

— Ты меня жди, Лайма!

— А ты почаще пиши, ладно?

Парень кивнул головой, улыбнулся.

Она отвернулась — видимо, не хотела, чтобы он увидел ее слезы… Ветерок вдруг донес солдатскую песню со стороны нашего полка:

Не плачьте вы, меня провожая,

Уходит в запас солдат…

И девушка что-то зашептала парню. Мне показалось, будто она, отвечая на эту песню, сказала ему:

— Я не плачу, отчего же мне плакать… Ведь отслужишь срок и вернешься.

Но я тут же понял, что это просто припомнились мне прощальные слова моей жены.

Девушка долго стояла, глядя в ту сторону, куда ушел парень.

Перевод С.Залевского

ОРАЗГУЛЫ АННАЕВ

Первая книга Оразгулы Аннаева выходит в 1978 году. А до этого стихи и рассказы молодого писателя публиковались на страницах республиканской периодической печати и в коллективных сборниках.

О. Аннаев участвовал в VI совещании молодых писателей, проходившем в Москве.

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Рассказ

Она заглянула в календарь. Восемнадцатое августа…

"Прошло уже четыре года. И сегодня вновь твой день рождения. А ты вернешься только через неделю. 26 лет… Я приготовлю плов. Куплю бутылку шампанского… Но пить придется одной…

…Восемнадцатое августа… Помнишь, и ступенек в общежитии было восемнадцать. Если подняться по ним вверх, то окажешься у меня, если вниз — то у тебя. Как я хочу, чтобы все повторилось. Но этого никогда не вернешь, а так

хочется. И я не стесняюсь признаться в этом самой себе.

Все мне нравилось в тебе — твоя горячность… обидчивость… Даже твоя одежда была мне родной, твой свитер, похожий на тигриную шкуру, особенно нравился. И в тот вечер, ты был в том свитере. Помнишь, из кинотеатра мы шли пешком. Не доходя до общежития, остановились под чинарами. Мы стояли рядом и я боялась, что ты обнимешь меня, и в тоже время ждала этого. От волнения затуманилась голова… Но ты не обнял. Видимо, побоялся. И я стала другой. Ты это почувствовал, и часто спрашивал, не устала ли я. Я утвердительно кивнула головой. Я не могла разобраться в своих чувствах.

А через несколько дней, когда ты наконец решился обнять меня, я оттолкнула тебя. Может, это было выражение моей обиды за тот вечер.

Странный ты был. Помнишь, когда мы отмечали мой день рождения… Мы вышли из комнаты на воздух. И ты вдруг, крепко обняв меня, поцеловал. У меня перехватило дыхание, как будто из груди моей вырвали сердце. Я никогда не думала, что у тебя такие сильные руки. Я так билась, чтобы освободиться из твоих рук — или мне это просто казалось… И вдруг начала плакать, уронив

голову тебе на грудь. Я слышала биение твоего сердца. Ты стоял, как провинившийся ребенок, и все спрашивал меня, почему я плачу. А я и сама не понимала. В этих слезах были и радость, и горе, и гордость… Да, да… даже гордость. Слезы как бы очищали мою душу. И долго потом я ощущала следы твоих поцелуев, и казалось, что об этом знает весь мир.

Сколько лет мы встречались, и ты ни разу не сказал мне: "Я люблю тебя". Ты правильно делал, — слова эти были лишними. Нам и так было хорошо. Ведь мы с полуслова, с первого взгляда, каждого вздоха понимали друг друга. А сколько нежности было в твоих поцелуях, когда мы прощались. Каждый раз ты целовал меня в глаза и весь мир для меня становился иным.

Во время учебы в институте я так хотела, чтобы ты заболел. Нет, нет, не серьезно, а просто так… на несколько дней. И я бы ходила к тебе в больницу по два, нет, по четыре раза в день. Сидела бы рядом с тобой, не отлучалась ни на минутку, разве лишь для того, чтобы приготовить тебе поесть. Ты и не подозревал, что я умею вкусно готовить. И опять — я хотела этого, и в то же время гнала бредовые мысли из головы. Не знаю, может, мне нужна была твоя благодарность, а, возможно,

собственная вера, что я нужна тебе…

Ты был ревнив… И это было твоим недостатком. Мне приходилось трудно, да и тебе нелегче. И в то же время я ощущала радость: я не безразлична тебе, значит — нужна. Ты немало дарил и слез, но они меня не огорчали. Для меня это было счастьем… Возможно, я ошибаюсь, но понятие счастья слишком абстрактно. Каждый по-своему бывает счастливым.

Многие считают тебя человеком с тяжелым характером, надменным. Возможно, они чуточку и правы. Но я-то знаю тебя лучше и люблю сильнее.

Почему я вспоминаю все это? Как будто расстаюсь с тобой навсегда? Но со мной бывает так всякий раз, когда ты уезжаешь куда-нибудь. А помнишь, как-то раз ты должен был ехать на курсы в Ленинград. День отъезда подошел незаметно. Собрались твои друзья. И мне казалось, что они никогда не уйдут. Мне так хотелось побыть с тобой. И так всякий раз — день отъезда приходит быстро, а день приезда…

И сегодня тебя нет со мной, но я чувствую твое присутствие. Может, это и есть любовь?! Чувствовать твое присутствие, ощущать тебя рядом с Собой, делиться самыми сокровенными

мыслями только с тобой… Словом, вера в тебя и доверие тебе.

Говорят, что когда у тебя есть семья, то живешь не любовью, а воспоминаниями о любви. Возможно, это и так, но я думаю иначе.

В семье забот достаточно. Побыстрее хоть квартирудали бы… Ты защитишь диссертацию… Мы поедем куда-нибудь на курорт. Правда, некоторые предпочитают ездить без жен. Если ты желаешь этого, то можешь поехать один. Все равно никто не сможет полюбить тебя так, Как я. Никто. В этом году мы не сможем поехать. А на следующий год отправимся втроем…

Почему все считают обязательным выйти замуж Или жениться? А я сама?.. Если бы не было тебя, то я никогда бы не вышла замуж".

И вдруг опять биение сердца… Она взяла фотографию мужа и на минуту закрыла глаза. "Слышишь, родной?! Слышишь?! Как ты уехал, и он забеспокоился. А может, она? Ты же сказал, что будет она, а я — он… Или ты просто ради меня сказал… Нет… Многое из того, что куплено тобой, только для девочки. Но кто же, кто?.. Для девочки много красивой одежды, а для мальчика ее труднее найти.

Ребенок… Сколько хлопот и забот впереди, а по-

ка что он заставил меня расширить мои платья, а потом, возможно, заставит изменить всю нашу жизнь… Дорогая-девочка…"

И опять ощутила она в себе новую жизнь, человека, пока еще только отдельными толчками напоминавшего о себе. И она вновь закрыла свои глаза, отдаваясь воспоминаниям.

Перевод С.Степановой

АГАГЕЛЬДЫ КАРАЕВ

Атагельды Караев свой первый рассказ опубликовал в 1965 году. А в настоящее время он автор двух книг — "Красота" и "Сын лесника".

КРАСОТА
Повесть

Приложив ладонь козырьком ко лбу, Довлет смотрел в чистое, бездонное небо. Высоко-высоко над степью парил, медленно описывая огромные круги, одинокий беркут. Временами он тонул в ярких лучах полуденного солнца и на какое-то время исчезал из глаз, но проходила минута-другая и миниатюрный крестик вновь возникал в лазури и плыл дальше.

Солнце, словно сказочная чаша, переполненная золотом, заливало мир обильным светом. И все вокруг — голубое, безоблачное небо, дрожащие в зыбком мареве барханы и дальние заросли саксаула — казалось каким-то особенным, родным, несказанно близким.

"Вот что такое солнце! — подумал Довлет. — Все

прекрасное на земле — от него". На душе у парня стало так светло и радостно, что ему захотелось обнять весь мир. И он позавидовал беркуту. Как хорошо, наверное, смотреть из поднебесья на эту по-весеннему щедро, ярко убранную землю. Эх, почему природа не наделила крыльями и человека!..

Направляясь к работавшему у чабанского домика движку, Довлет услышал вдруг нежный перезвон колокольчиков: "дзинь-дзинь, дзинь-дзинь". Вначале он подумал, что это у него в ушах от пьянящей красоты простора, но звуки слышались все явственнее, четче. Довлет обернулся и... остолбенел.

Он увидел вышедшую из-за бархана молоденькую, хрупкую, как стебелек тюльпана, девушку и не поверил собственным глазам. В этой глуши, в центре Каракумов она показалась ему привидением, так как живой, реальной девушке взяться здесь было решительно неоткуда.

Незнакомка вела в поводу двугорбого верблюда. Шла она твердо, с высоко поднятой головой и, кажется, не заметила даже остолбеневшего Довлета.

Рядом с верблюдом неуклюже ступал своими непомерно длинными и худенькими ножками

верблюжонок. Был он, несмотря на неуклюжесть и несуразность, нежным, приятным, таким, что его хотелось потрогать. На шее у верблюжонка болтался медный колокольчик, звон которого рассыпался мелкими горошинами, но степи.

Девушка, одетая в простенькое красного штапеля платье, черные туфли и тюбетейку, выглядела удивительно нарядной, праздничной. А может быть, Довлету это показалось.

Ему шел восемнадцатый год, но любви, о которой много слышал и читал в книжках, он еще не испытывал. Нельзя сказать, что он был равнодушен к девушкам, — нет, некоторые из них нравились ему, и даже очень, — но так страдать, маяться, как страдали и маялись почти все его одноклассники, Довлету не приходилось.

Однажды приключилась история… Под Новый год, на бал-маскараде в круговороте невероятных масок и костюмов, когда весь зал включился играть в "почту", к Довлету подошел его одноклассник Аллаяр:

— Карандаш не найдется у тебя? И помоги написать письмецо Дурсун.

— Какой Дурсун?

— Сегодня познакомлю…

— О какой Дурсун ты толкуешь, Аллаяр?

— Во-он о той… Об индианке, что с паранджой на лице.

— А как ты узнал, что это именно она, Дурсун? Лицо-то закрыто?..

— Эх, верблюжонок ты, несмышленыш. Мы еще вчера договорились. Она сама сказала мне, в каком костюме будет.

Письмо, которое сочинили Довлет и Аллаяр, начиналось с новогодних поздравлений, а заканчивалось предложением встретиться сейчас же, для "неотложного и очень важного разговора" где-нибудь наедине, в одном из пустых классов, например.

Через минуту друзья получили ответ: "Бессовестный… Как ты смеешь об этом думать?". "Сама ведь просила, говорила, что любишь… — написали на это Довлет и Аллаяр. — Чего же теперь фокусничаешь. Я люблю тебя, Дурсун".

"Хорошо. Я согласна. Приходи в 9 "б", — ответила индианка.

— Идем, — сказал засиявший Аллаяр. — Понял, как надо с ними разговаривать? Пошли.

— Да-а… Зачем же я пойду?

— Как зачем? Увидишь Дурсун. Ты же хотел познакомиться с нею.

— Нет, не пойду. Я только помешаю вам.

— А кто тебе сказал, чтобы ты торчал там колом. Взглянешь на Дурсун, познакомишься и катись себе.

— Что ж, пойдем, — согласился Довлет и покорно последовал за Аллаяром.

Друзья вошли в тёмную комнату девятого "б" класса в, затаив дыхание, стали ждать. Смех, голоса и музыка бал-маскарада слышались здесь приглушенно. Слабый синеватый свет в окнах придавал классной комнате таинственность.

В коридоре послышались чьи-то шаги, дверь распахнулась, и в комнату вошла "индианка". Она сбросила паранджу.

Друзья опешили: перед ними стояла молоденькая учительница истории Шекер Бердыевна Ниязова. Стояли с раскрытыми ртами и не могли вымолвить ни слова.

— Аллаяр, Довлет, что же вы? Пригласить пригласили, а теперь молчите, как…

В этот момент в комнату вошел муж Шекер Бсрдыевны, учитель математики Чары Ниязович.

— Что случилось, Шекер?

— Да вот… Влюбились парни.

— В кого?

— В меня. Неужели я красивая?

— Во-он как?

— Да! Только имя перепутали. Аллаяр, Довлет, а кто такая Дурсун?

Друзья молчали.

Спасибо Чары Ниязовичу, — он, взяв под руку жену, направился к двери.

— Ладно, Шекер, оставим ребят в покое. Молодость... Мы ведь тоже были молодыми.

Шекер Бердыевна остановилась в двери, улыбнулась:

— Запомните, мальчики: лучшая красота человека — это его человечность.

Учителя ушли. Довлет чувствовал себя так, будто его догола раздели на улице, не мог поднять глаз. Он готов был провалиться сквозь пол, убежать куда-нибудь в степь. Убежать навсегда, чтобы никогда и никого не видеть.

С тех пор и без того застенчивый Довлет со страхом смотрел на девчонок. И вдруг это видение в Каракумах!

Довлет стоял в сладком оцепенении, ковыряя носком ботинка песок, и ему казалось, что вот так стоит он здесь уже очень-очень давно и неизвестно, сколько простоит еще. Очарованный, он впервые испытывал чувства, о которых раньше лишь смутно догадывался, слушая разговоры сверстников. Он понимал, конечно, что в разго-

ворах этих было больше бравады, хвастовства, чем правды, но... Что-то таинственное, нежное тревожило его о ночам, когда оставался он один на один с собою. Ему казалось, что девушка, сказочно-красивая, обнимает его, ласкает и говорит, говорит нежные слова...

— Эй-ей, парень! Закрой рот, а то ведь, чего доброго, суслики подумают, что это нора! Ха-ха-ха!..

Довлет вздрогнул, обернулся и увидел... колхозного шофера Курта, который величаво прошел — нет, проплыл мимо, — приблизился к незнакомке и заговорил с нею о чем-то. Заговорил так, что Довлет решил: они — родственники. Близкие родственники!

* * *

Голос Курбана-чайчи[33] звучал призывно, властно:

— Парни! Джигиты! Подъем!

Довлет с трудом продрал глаза, увидел, что в приоткрытую дверь струился предрассветный полумрак, натянул на голову одеяло, сжался калачиком и полусонно пробубнил:

— Еще петухи не кричали, а он "Подъём"...

---

[33] Примечания: 33
Чайчи — человек, занятый приготовлением чая.

Но тут же вспомнил, что это Каракумы, что петухов здесь нет и впомине, — приподнялся, сел, протер кулаками глаза, сладко поежившись, зевнул и, услышав голоса, понял, что наступает новый день. Долгий, трудовой день.

Довлет вышел из кибитки, постоял с минуту, любуясь розовато-сиреневой дымкой, что окутала дальние барханы. У рукомойника пофыркивали и громко смеялись парни. Курбан-чайчи, судя по всему, встал давным-давно, — титан с кипятком для чая уже пыхтел и сипел, над казаном с шурпой плавал аппетитный парок. Довлет направился к колодцу.

— Ты куда? — крикнул Курбан.

— Умываться, — ответил Довлет.

— Там вода, как лед, а я специально для умывания согрел… Целый бидон…

Но Довлет его уже не слышал. Он чувствовал себя легко и бодро. Чистый воздух и прохладный песок, так приятно щекочущий подошвы, придавали энергии, человек чувствовал себя сильным и крепким.

Он подошел к колодце, из которой обычно поили овец, и хотел зачерпнуть пригоршней воды, но, увидев там отражение последней утренней звезды, на минуту залюбовался этим отражением.

Громко фыркая и вскрикивая от обжигающего холода, Довлет стал умываться. И всякий раз, когда черпал воду из колоды, он видел, как озорно пляшет в ней звездочка.

* * *

Среди прибывших стригалей Довлет был, пожалуй, физически крепче остальных. Именно поэтому ему поручили вязать овцам ноги. А эта работа требует от человека не только силы, но и особой сноровки, ловкости, — овцу нужно поймать, не причинив ей боли, положить на бок и двумя-тремя быстрыми движениями связать задние ноги с передними.

К полудню, когда солнце жгло уже по всем правилам, Довлет порядком устал. Он старался не подать виду, но чувствовал, что вот-вот споткнется или, ухватив очередного барана, не сможет удержать его и плюхнется на землю. А стригали, не замечая его усталости, кричали и кричали:

— Довлет, поторапливайся!

— Тащи поскорее!

— Это тебе не каурму есть, или чай пить!

Случилось то, чего так опасался Довлет, — ухватившись за ногу крупного, рослого барана он потерял равновесие и растянулся во весь свой

рост на земле. До боли в висках сжав челюсти, решил во что бы то ни стало удержать барана. Но баран попался сильный. Он шарахнулся в сторону и поволок за собой парня.

— Держи покрепче!

— Каурма убегает!

— Чем пахнет курдюк, Довлет?! — кричали ему со всех сторон, и чувства беспомощности, горькой обиды и злости переполнили его.

Довлет изо всех сил старался удержать барана. Он мертвой хваткой зацепился за тонкую жилистую ногу.

— Отпусти сейчас же! — крикнул кто-то из пожилых.

Пальцы разжались сами собой. Баран легко, вприпрыжку, убежал, а Довлет остался лежать.

— Вставай! — продолжал тот же голос. — И никогда больше так не делай. Упал — отпусти барана. Мог ведь напороться на кость, на стекло.

Довлет поднялся, отряхнулся и взглянул на говорившего человека, — Нурберды-ага поглаживал свою жиденькую бороденку.

— Я договорюсь с заведующим фермой, чтобы ты стриг овец. Пусть вяжет кто-нибудь другой. А ты стриги. Не знаю, как сейчас, а на следующий год из тебя может получиться неплохой

стригаль.

Довлет хотел что-то возразить, сказать, что упал он совершенно случайно, что… Но тут раздался голос Курбана-чайчи:

— Эх-хе-хей! Чай готов! Свежий зеленый чай! Ароматный, вкусный!..

Довлет усталой походкой медленно направился к трем кирпичным домикам, что одиноко стояли на холме. У кипящих титанов, из труб которых вился дымок, собирался народ. Курбан вытащил из-под крайнего титана горящее полено и швырнул его в огромный казан. В казано зашипело, забулькало, клубы пара и дыма повалили из него.

И вдруг слух Довлета уловил едва различимый, знакомый звон. Мелодичный, нежный, казалось — он доносится откуда-то из глубины веков, сквозь толщу лет, эпох. Он узнал бы его через многие годы, различил бы среди сотен других звуков.

В следующее мгновение он увидел девушку, верблюдицу с клочьями свалявшейся бурой шерсти на боках, нежного неуклюжего несмышленыша-верблюжонка, и на душе у него потеплело. Довлет ощутил прилив сил, усталость будто рукой сняло. Он взглянул на верблюжонка и

улыбнулся, — тот похож был на фотоаппарат на длинных ножках.

Девушка, прошмыгнувшая с присущей кочевникам проворностью мимо, через несколько шагов обернулась. У Довлета екнуло сердце: "Она взглянула на меня!.. А может быть, на верблюжонка? Нет, на меня".

"Ну, хорошо, — размышлял он, — допустим даже — на тебя. И что из этого? Мало ли кто на кого может посмотреть".

Девушка между тем подошла к колодцу, заставила верблюдицу встать на колени и принялась готовить бочонки. Работа эта для нее была явно тяжеловатой, и незнакомка взглянула в сторону Довлета. Взгляд ее красноречиво говорил: "Чего стоишь, как вкопанный? Помочь не можешь?" И он решительно зашагал к колодцу.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте.

— Вы за водой, да?

— Да.

— Наверное, далеко отсюда живете?

— Да.

— Доставать воду трудно?

— Да.

О чем говорить дальше, Довлет не знал и по-

этому замолчал. Молчала и девушка. С минуту они стояли и смущенно переминались с ноги на ногу, потом девушка занялась своим делом: она достала из колодца ведро воды и вылила в бочонок. Затем достала еще одно и еще. А Довлет продолжал стоять. Он понимал, что выглядит очень глупо, но поделать с собою ничего не мог. Ему казалось, что уходить сейчас еще глупее.

Подошел верблюжонок. Постоял, посмотрел чуть-чуть удивленным взглядом на Довлета и стал нехотя чесаться о край бочонка. Бочонок стоял кособоко и поэтому повалился. Девушка, доставшая очередное ведро воды, с досадой вскрикнула.

— Ах, чтоб тебя!..

Но Довлет успел подхватить бочонок, вода не пролилась.

— Спасибо, — сказала девушка и улыбнулась.

Улыбка эта придала парню уверенности.

— Давайте я помогу, — протянул он руку к ведру.

— Спасибо, — ответила девушка, но ведра не дала.

— Вы же устали, — продолжал наступать Довлет. — Вон у вас лицо раскраснелось.

— Это не от усталости. А вы идите своей до-

рогой.

— Вы меня прогоняете?

— Да... нет, я не прогоняю... Только тут много народу... А во-он, кажется, даже сюда идет кто-то.

Довлет обернулся. Так и есть, к ним приближался Курт. Опять этот Курт! Поняв, что попал в неловкое положение, Довлет сделал вид, что моет руки. И какого черта торчал он здесь? Какой от этого прок?

Приблизившись, Курт сходу атаковал его:

— Что, думаешь все на свете каурма? Бери и ешь? Не-ет, браток...

И он протер полусогнутым указательным пальцем свои закисшие глаза.

Тон, которым говорил Курт, взбесил Довлета. "Какого черта, в самом деле, — подумал он. — Курт придирается ко мне! Ничего плохого я ему не делал". Но тут вспомнился случай, что произошел в пути, когда ехали они сюда из дому.

Где-то на полпути машина остановилась у огромного саксаула на склоне бархана. Курт, обращаясь ко всем, кто сидел в кузове, громко сказал:

— Слезайте! Мы приехали к святой могиле. Отдадим ей дань своего почтения.

Он спрыгнул на песок, пригладил свои жиденькие

кие брови, облизнул толстые, жирные губы и продолжал:

— О, святой дух! Благослави наш путь, — и завертелся у саксаула, бормоча что-то невнятное. Кое-кто, поддавшись его призыву, стал тоже ходить вокруг дерева, шепча какие-то молитвы и заклинания. Те, кто не знал ни молитв, ни заклинаний, просто шевелили губами.

У саксаула валялись кости то ли лошади, то ли коровы. Их наполовину занесло песком. Курт наклонился к продолговатому сахарной белизны черепу и сунул в темное отверстие глазницы мятую-перемятую пятерку.

— Раскошеливайтесь, раскошеливайтесь, — сказал он попутчикам. — Не скупитесь. Там, — он ткнул грязным пальцем в небо, — жадных не любят.

И как это ни странно, призыв Курта возымел свое. Люди, поддавшись какому-то непонятному чувству — то ли страха, то ли почтения к памяти старших, уже ушедших из этой жизни, — торопливо шарили в карманах, извлекали деньги, кто рубль, кто трешку, а кто и пятерку, совали их в череп и смущенно отходили к машине.

Курт стоял в сторонке и с жадностью беркута, завидевшего вдали зайчишку, наблюдал за про-

исходящим. Губы его шевелились. Со стороны трудно было сказать, читал ли он в эти минуты молитву или считал, сколько рублей скопилось в черепе.

Курт и на самом деле подсчитывал деньги, только не эти помятые рубли и трешки, а ту выручку, которую будет иметь потом, когда на эти деньги в Караметниязе он купит ящик, а может быть, и два водки, завезет далеко в Каракумы, где любители выпить платят за это зелье втридорога.

Он достал из нагрудного кармана куртки замусоленную пачку "Памира", размял сигарету и с жадностью закурил.

Уже все забрались в кузов грузовика, готовые продолжать путь, а Курт все стоял и улыбался, показывая желтые от табачного дыма зубы.

— Я помолюсь еще, — сказал он и опустился на колени перед черепом, да так, что прикрыл его собою от глаз спутников. "Интересно, — думал он, — сколько тут рублей?" Незаметно перевернул череп, но что это? Пусто! Лишь какой-то блестящий жучок карабкался по гладкой, словно отполированной кости. "О! — чуть не вскрикнул было Курт, — кто-то из них опередил меня. Ну и ловкач!.."

Он поднялся, стряхнул с брюк песок и полез в

кабину. Взревел мотор, затряслась, затарахтела машина и за бортом вновь поплыли поросшие селином, яндаком и тамариском барханы.

— Вы и в самом деле верите, что там святое место? — спросил одни из парней, когда машина отъехала на почтительное расстояние от места остановки.

— Да нет, — ответил ему кто-то.

— Откуда здесь, в такой глуши святая могила… — добавил второй.

— Святые знали, где жить и умирать, — сказал третий, — они любят большие, красивые города: Багдад, Мешхед, Бейрут…

— Тогда зачем же вы там оставили деньги? — продолжал тот, что затеял разговор. — Вот ты, например.

— Ну, все оставляли, и я оставил. А может быть, и на самом деле…

— Что "на самом деле"?

— Ну, что есть аллах, шайтан и остальные…

Все дружно рассмеялись. А парень, начавший разговор, сказал:

— Вот что, ребята, Курт, по-моему, тоже раскошелился. В Караметниязе на его пятерку мы купим несколько книжек. Там, куда едем, библиотеки нет…

Машина тем временем довольно быстро мчалась вперед. Курт чутьем кумли — человека песков — угадывал дорогу. Лишь кое-где в низинах, поросших скудной травкой, видны были следы машин. Временами и они исчезали.

Частенько грузовик зарывался в песок. Мотор надсадно ревел, но машина не двигалась, постепенно оседая все глубже и глубже. И тогда взъерошенный и злой Курт высовывался из кабины, вставал на подножку и кричал:

— Слезайте! Слишком засиделись! Помогите.

Парни прыгали в песок, дружно налегали плечами и машина медленно, тяжело ползла вперед. Метр, второй, третий… Грузовик освобождался из песчаного плена, налегке выкатывался на более или менее твердый грунт. Курт тормозил, и ребята с шутками и прибаутками вновь усаживались на свои места.

Но вот случилось непредвиденное: машина выскочила на поляну, сплошь изрытую сусликами. На этот раз даже коллективная помощь оказалась бесполезной, — грузовик коснулся задним мостом земли и, несмотря на бешеное вращение, колеса работали вхолостую.

— Черт возьми, — Курт выключил зажигание. — Этим проклятым сусликам не нашлось в

Каракумах другого места для нор.

Он вышел из кабины, обошел машину, почесав в затылке, присел на корточки у заднего колеса:

— Да-а… Не пришлось бы нам зимовать здесь.

Курт поднял кусок корневища черкеза и запустил его в суслика, который вынырнул неподалеку и, потешно подняв передние лапки, с любопытством смотрел на грузовик и копошащихся вокруг него людей.

— Это вам за то, что не поверили святому мазару, — сказал Курт.

— А причем тут мазар, если ты сам заехал в эти норы.

— "Сам, сам…" Я вижу — ты слишком языкастый. Это не папин дом, а Каракумы. Нечего языки чесать, давайте собирать хворост. Как-то выбираться надо.

Парни мигом рассыпались по окрестным низинам и через полчаса у грузовика высилась приличных размеров копна веток сазака и черкеза, охапки селина.

Курт пытался выгрести из-под заднего моста песок, а затем подсунуть под колеса хворост, но песок — как вода. Отгребал горсть — притекало две. Через несколько минут вспотевший Курт понял, что занимается пустым делом. Он извлек

из кузова две доски, вручил их парням покрепче и приказал подложить под задние колеса в тот момент, когда он включит передачу.

— Только не зевайте, — предупредил он парней, а всем остальным приказал: — А вы тоже ворон не считайте, хворосту побольше под колеса. Хворосту!

И работа закипела: кто-то швыряет хворост, кто-то толкает машину, кто-то сует под колеса доски. Мокрый от пота Курт дал полный газ. Мотор взревел, колеса взвизгнули, и машина медленно, но довольно уверенно поползла вперед.

Убедившись, что опасный участок пройден, Курт неожиданно включил задний ход. Парней, которые в этот момент держали доски, отшвырнуло в сторону. Один из них тотчас же, как ни в чем не бывало, вскочил на ноги, а вот второй поднялся было, но тут же присел, лицо его исказила гримаса.

Правда, ничего страшного не случилось, но ушиб он получил чувствительный.

— Вот так — не верить в святые места, — перебрасывая из одного угла рта в другой замусоленный окурок, процедил Курт и спрыгнул с подножки. — Ну-ка, что там у тебя?

— Ничего, — сухо ответил паренек и полез в

кузов.

— Ты что, с ума спятил? — неожиданно для всех набросился на Курта Довлет. — Убить человека мог...

— А я виновен, что они осторожности не знают. Лезут под колеса... — Курт захлопнул дверцу кабины и, кажется, вовремя это сделал, так как Довлет весьма решительно двинулся к борту и хотел уже было спрыгнуть.

— Оставь его, — придержали Довлета ребята, — разве он поймет?

Курт тем временем включил передачу и машина двинулась.

...И вот опять этот Курт. Скользнув по Довлету злым взглядом, он сказал:

— Убирайся отсюда!

— Почему?.. Что, запрещено?

— Да! Для тебя. Слышишь?!. Лучше не доводи меня.

— А если доведу, то что?

— Чего это вы? — вступилась девушка. — Вы что не поделили?

— Уходи, — продолжал свое Курт.

И Довлет растерялся. Курт был так решителен и смел, что Довлет подумал: "Значит, она его родственница". И, не сказав больше ни слова, пошел

к полевому стану.

— Айгуль, давай я помогу, — услышал он за спиною и на душе у него полегчало. "Хоть имя ее теперь знаю", — подумал он.

— Айгуль… Айгуль, — шептал он. — Небесный цветок. Нет, не небесный… Ты цветок Каракумов, Айгуль…

* * *

Теперь Довлет стриг овец. Но работа эта оказалась ничуть не легче прежней. Электромашина тряслась как в лихорадке, казалось, она вот-вот оторвет руки. Держать ее приходилось изо всех сил, а когда постоянно напрягаешься, то быстро устаешь.

Однако Довлет новой работой был доволен. Что трудно, то трудно, конечно, но теперь уже никто не мог прикрикнуть на него. Он — как все. Стрижет не хуже других. Теперь и с Куртом поговорить можно. Кто он? Здесь он сейчас не шофер даже, а такой же стригаль.

Довлет приступил к очередной овце. Запустив машину, он повел ею вдоль хребта животного.

— Ты начинай с ног, — посоветовал ему один из старых стригалей, работавший рядом. Сам он стриг очень ловко, как-то играючи. Каждое его

движение было предельно осторожным, рассчитанным. На стрижку одной овцы у него уходило не более пяти — шести минут. А главное — овца не получала ни одной царапинки, а значит, и лежала все время, пока ее стригли, тихонечко, спокойно. Руно тоже получалось аккуратное, целое.

"Эх, мне бы так наловчиться", — позавидовал соседу Довлет. И опять вспомнил Курта. Курт — лучший в колхозе стригаль. Он работает еще аккуратнее и быстрее. Ему вяжет, готовит овец для стрижки специальный человек.

Машина в руках Довлета то и дело взвизгивала, натикалась на густые, загрязненные участки. Довлет нервничал, изо всех сил старался пробиться сквозь спутавшуюся, грязную шерсть. От постоянных перегрузок машина нагревалась. Он попробовал ослабить верхний винт, но толку никакого, мотор стал работать вхолостую. "Что-то с агрегатом", — решил Довлет и пошел к точильщику лезвий. Тот посмотрел машину и сказал:

— Да нет, агрегат в порядке. Просто ты еще не приловчился как следует.

Рубашка Довлета мокрая, хоть выжимай, пот крупными каплями стекает по груди и спине, руки гудят, А стрижет он всего-навсего третью

овцу. Не стрижет, а мучает. Бедное бессловесное животное с тоскою смотрит на Довлета, тяжело, устало дышит и как бы говорит взглядом: "Да, милок. Тяжело… И тебе, и мне. Я готова тебе помочь, но не знаю, чем и как".

Довлет закончил стричь и отпустил очередную овцу. Та, обрадовавшись свободе, проворно вскочила, заблеяла и метнулась к отаре. На шее у бедняжки болталось два или три клочка шерсти, под брюхом тоже. Овца напоминала наполовину общипанную курицу.

Медленно, с трудом, но дело все-таки двигалось. Рядом с Довлетом выросла куча шерсти. Конечно, не такая большая как у других, но все же. А главное, что она твоя, трудовая. И вечером Довлет вместе со всеми положит ее на весы. Против его фамилии возникнет цифра. Завтра —. вторая, послезавтра — третья… Эх, посмотрела бы Айгуль на эти цифры.

"Молодчина, — сказала бы она. — Смотри, ты — почти настоящий стригаль!" "Пустяки, — ответил бы Довлет. — Чего особенного? В этом деле нужна сноровка". "Эх, научился бы ты стричь, как Курт". "Курт? Подумаешь, рекордсмен нашелся…"

А вдруг после этих слов она с недоверием посмотрит на него и скажет: "Рекордсмен не

рекордсмен, а во всем колхозе такого стригаля нет".

— Нет, так будет, — вслух произнес Довлет и, смутившись своего же голоса, продолжал говорить мысленно: "Я обойду его. Обязательно обойду! Вот увидишь, Айгуль!.."

Следующую овцу он решил остричь побыстрее, стал было действовать попроворнее, но из этого ничего хорошего не получилось. Работа подвигалась так же медленно, а на боку овцы появилось несколько порезов. Довлет смазал ранки креолином и решил не торопиться: "Тише едешь, — дальше будешь".

* * *

Ночью Довлет почти не спал, — ныло запястие правой руки. К утру оно даже чуть-чуть припухло. Довлет туго перевязал руку тряпицей, сделал что-то вроде жгута, — стало полегче. Когда спросили у него, что с рукой, отмахнулся.

— Пустяки! От нечего делать перевязал.

Работа кипела, дело постепенно налаживалось, — порезов на теле овец стало меньше, спокойнее, без вчерашней тряски работала машина. Довлет иногда поглядывал на соседей: старые опытные стригали работали, конечно, по-

проворнее, а вот такие же новички копошились еще о первой овцой, когда он почти наполовину остриг вторую. Это прибавило бодрости, хотелось работать и работать, казалось, что усталость никогда к нему даже не подступится.

"Хорошо здесь, — подумал Довлет, бросив в кучу руно, — работа интересная, люди добрые, простые..." И тут он вспомнил Курта. Опять этот Курт. Он даже в мыслях докучает ему. Да и ему ли только? Этого наглеца и выскочку недолюбливают все. Ничего не говорят, правда, но не любят. За мастерство и сноровку его хвалят, но дружбу водить с ним не хотят.

В перерыв, за чаем зашел разговор о пирах и тоях. Курбан-чайчи возьми да и ляпни:

— Курт, а не засиделся ли ты в женихах?

— Да-а, — подхватили сразу же, — вот тебе и той!

— Борода у парня растет, — добавил еще кто-то. — Конечно, женить надо.

— Зря стараетесь, ребята. Даже если Курт и женится, тоя вы не увидите.

— Как? Почему?

— А потому...

Курт опустил на кошму пиалу с чаем и дрогнувшим голосом сказал:

— Такое даже в шутку болтать не надо. Бычок-трехлетка ждет своего времени. Тонну вытянет. Не меньше…

— Ого-го!

— Ничего себе!

— Для такого случая, — сказал Курбан-чайчи, — нужен сорокаушковый казан. Не меньше.

— Сорокаушковый? — у Курта расширились глаза от удивления. — Разве такие казаны бывают?

— Если есть бычки тонну весом, то почему же не быть такому казану?

Все расхохотались. Лицо Курта залила густая краска досады.

— Любите вы чесать языки, — сказал он. — А. когда дело касается работы, то каждый ищет работенку "не бей лежачего". Кто чайханщиком норовит заделаться, кто складом заведовать не прочь.

Теперь настал черед Курбана сердиться. Чайчи хотел было что-то сказать, но только промычал невнятно. Возникла неприятная пауза в разговоре. Парни, конечно, не согласны были с упреком Курта, но спорить никто не решился. Курт, поняв, что добился какого-то, пусть даже временного, успеха, ехидно улыбался.

— Несколько лет назад ты мне этого сказать не смог бы, — заговорил наконец Курбан-чайчи. — Когда глаза у меня не болели и сила в руках была. Заболел я позапрошлой зимой. Помнишь, какие тогда морозы стояли и сколько снегу лежало? Во-от, а меня пурга в песках застала с отарой. Трое суток блуждали по Каракумам. Как только овцы не погибли, не знаю. Но все-таки пробился к кошарам. А вот здоровье с тех пор уже не то…

Все стали молча расходиться. Курт зря, конечно, обидел чайханщика. Весь колхоз знал историю Курбана, в ту зиму он совершил подвиг, но подорвал здоровье, с тех пор ему поручают легкую работу, и ни у кого, никогда не возникало вопроса "почему?" И Курт знал это прекрасно.

* * *

Сегодня в полдень прибыла нежданно-негаданно кинопередвижка. Шофер-киномеханик, юркий, худощавый паренек лет двадцати — двадцати двух, извлек из-за спинки сидения свернутые в трубку огромные листы бумаги и ловкими привычными движениями наклеил их на все четыре степы чабанского домика. "Шукур-бахши", — большими синими буквами было написано на афишах.

Вторую половину дня только и разговоров было о кинофильме. Кое-кто видел уже его, но большинство парней о Шукуре-бахши лишь читали и поэтому ждали вечера с нетерпением.

На закате подъехали еще три машины, — это узнали о кинопередвижке на соседних кошарах. Завтра, послезавтра она пожалует и к ним, но это не беда — хороший фильм можно смотреть несколько раз подряд.

Зрители уселись, вернее улеглись прямо на песке, на покатом склоне бархана. На склоне противоположного бархана киномеханик воткнул два металлических шеста и натянул белое полотнище. Это — экран.

— Ну, что, начнем? — крикнул механик после долгой возни у аппарата.

— Давай!

— Чего тянуть-то?!

— Журнал показывать или сразу фильм?

— Без журнала — как обед без чая…

— Давай журнал!

— Хорошо, журнал так журнал. Поехали, — и киномеханик включил аппарат.

На экране возник яркий прямоугольник, на котором мельтешили какие-то неясные силуэты. Киномеханик что-то подкрутил, подвернул в

аппаратуре, и видимость стала прекрасной: у подножья огромного зелёного холма мирно паслась отара. Дело, видимо, происходило ранней весной холм покрывала мелкая, изумрудного цвета травка, а по склону резвились совсем еще крошечные ягнята.

Диктор говорил о той огромной роли, которую играли в современном овцеводстве искусственное осеменение.

— Обманываем природу, — громко, так что все услышали, сказал один из зрителей, пожилой чабан. — Аллах не даст, осеменяй не осеменяй — ничего не получишь…

— Ты что-то набожным стал, Оде, — возразил ему сидевший рядом тоже преклонных лет человек. — Уж не считаешь ли ты, что нас с тобою кормит и одевает аллах?

— Ты, Нурберды, погоди. Как говорится, имей терпение и выслушай заику…

— Заику слушать, — время терять. Ты лучше прямо скажи, куда клонишь.

— А туда клоню, что в последние годы падеж скота все больше и больше. Почему? Да потому, что хотите получить от овцы больший приплод. Но овца не кошка, четырех ягнят ей трудно принести. А если и окотит, так ягнята не больше

моего кулака. Ну, а какая из такого ягненка овца вырастет, ты знаешь. Ее ветер с ног валит.

— Кормить нужно получше…

— Корми не корми, — от такой овцы проку не получишь. Ни шерсти, ни мяса.

— Вали, ровесник, с больной головы на здоровую.

— А что, — вступил третий в разговор, — Оде прав. В последние годы и в самом деле скота гибнет слишком много.

— Зимы стали холоднее.

— И это, может быть.

— Да ладно вам, на экран смотрите! — сказал кто-то. Но его не послушались.

— А что, до войны, помнишь, какие морозы бывали?

— Зимы тут непричем, — вновь заговорил Нурберды. — Мы вот кричим: "Больший падеж, больший падеж", — а забываем, что раньше во всем районе было каких-нибудь пять тысяч овец, а теперь только в нашем колхозе больше двадцати. Раньше гибло пятьсот голов, а сейчас тысяча. А что такое тысяча голов для нашего района? Капля в море. Но если вдуматься: погибла тысяча овец… Много, конечно.

— И еще гибнут от скрещивания, — послышал-

ся голос. — Перевели нашу туркменскую породу овец.

— Вот, вот, — подхватил Оде, — тоже... Аллаха обмануть решили.

— К зиме не готовимся как следует, а потом валим на аллаха.

— Это точно, — поддержал говорившего Курбан-чайчи. — С осени не шевелимся, а когда снег и морозы прикрутят, начинаем завозить корма. Пока соберемся, раскачаемся, а корма эти, можно сказать, уже ни к чему. Овцы-то погибли.

— Вот на днях, — сказал Нурберды, — привезли сюда несколько машин рисовой соломы. "Зачем? — спрашиваю у завфермой. — Ее ж овцы не едят". "А это не для корма", — говорит. "А для чего ж?" "Для подстилки. Зимою овцы от холода гибнут". "Не от холода, а от голода", — говорю. "Завезем и фураж". Только знаю я, как он завезет.

— Может быть, и завезет одну — две машины, — сказал Оде. — Только что это для отары?

— А теперь "Шукур-бахши"! — положил конец разговору голос киномеханика. — Журнал кончился.

И вот в этот момент Довлет увидел Айгуль. Она с матерью и младшим братишкой прошла совсем рядом. Прошла и опустилась на землю

в двух шагах от него. "Интересно, заметила она меня? — подумал Довлет. — Если заметила, то она обязательно обернется". Но Айгуль, затаив дыхание, ждала начала фильма. Киномеханик, бормоча что-то невнятное, долго возился с аппаратурой, несколько раз включал было, но тотчас же выключал, перематывал пленку, включал снова.

Айгуль сидела неподвижно, приподняв голову, и ждала. Довлет тихонько кашлянул, стараясь обратить на себя ее внимание, но из этого ничего не вышло. Он кашлянул громче, — тот же результат. Что бы сделать такое?.. Но тут начался фильм.

Айгуль не сводила глаз с экрана, а Довлет, как ни старался, не мог оторвать взгляда от сидевшей в каких-то двух шагах, но такой далекой для него девушки…

* * *

Этой ночью Довлету приснился сон.

На лужайке у реки собрался, кажется, весь колхоз. Еще бы, — праздник урожая! Его люди ждут целый год.

Берега Аму-Дарьи обильно поросли тальником, кое-где на прибрежных отмелях стоит густой стеной камыш.

Совсем по-летнему греет солнце, но по тому, как роняет пожелтевший лист тальник, как тоскливо прокурлыкал высоко-высоко в чистом небе журавлиный клин, угадывается осень.

На праздник собрались и стар, и мал. Там и здесь сидят на кошмах небольшими группами почтенные люди, снуют, наполняя поляну веселым гомоном, сорванцы-мальчишки. Чуть в сторойке парни готовятся к предстоящим состязаниям в борьбе. Поодаль, на склоне холма, несколько жокеев в ярких кепи прогуливали лошадей: какой же праздник без скачек!

В самый центр лужайки выходит вдруг чабан Оде с двумя дутарами в руках. Сам он никогда в жизни, кажется, не играл и не пел, и все с любопытством глядят на него, что он собирается делать?

— Люди! Не говорите потом, что вы не слышали, — громко произносит он. — Два парня — Курт и Довлет — влюбились в одну девушку. В Айгуль. Айгуль, иди-ка, милая, сюда.

Из нарядной девичьей толпы вышла Айгуль.

— Вот тебе дутары, доченька, — сказал Оде, — иди и отдай их один Курту, другой Довлету. Пусть они состязаются. Кто победит, тот и будет твоим.

Айгуль взяла дутары, и не успела сделать шага,

как, откуда ни возьмись, подбежал к ней незнакомый парень и выхватил оба дутара…

В этот момент Довлет проснулся.

— Фу, — сказал он вслух, — пригрезится же такое.

Чуть в сторонке, слегка прикрывшись пиджаком, спал на белом полотне-экране киномеханик. Широко раскинув руки и ноги, он сладко посапывал и улыбался во сне.

Довлету показалось, что на груди у пария что-то лежит. Привстав на локте, он присмотрелся, — это "что-то" шевельнулось. Довлет вздрогнул. Он смотрел широко раскрытыми глазами и чувствовал как за каких-нибудь две-три секунды все тело его покрыл холодный липкий пот.

Что делать? Крикнуть бы, разбудить всех, но Довлет, ни то что крикнуть, рта открыть не мог. Он понял, что на груди у киномеханика змея и что убрать ее оттуда нужно сейчас же, пока парень не проснулся или не перевернулся во сне. Но как?

Взгляд Довлета упал на кочергу, что лежала возле титана. Взять ее? Но кочергой можно только разозлить змею, — ударить-то ее не ударишь. Надо что-то найти. Он встал и осторожно, по-кошачьи, двинулся к чабанскому домику. Но не выдержал — оглянулся, и увидел, что никакой

змеи уже не было. Он посмотрел по сторонам и увидел только змеиный хвост, уползающий в заросли верблюжьей колючки.

Довлет схватил кочергу, во тут из домика вышел Курбан с чайником в руках.

— Что случилось, Довлет? — с удивлением спросил он.

— Змея!

— Ну и что?

— Она лежала вон у него на груди…

— Не тронула?

— Да, кажется, нет.

— Ну, тогда и ты ее не трогай.

— Сейчас не укусила, укусит в следующий раз.

— Не-ет. Если змею не трогать, сама она человека никогда не тронет. Есть в народе такая притча, милок. Старая, немощная уже змея явилась к богу и говорит:

"Я стара и слаба. Дай мне силы, всемогущий аллах".

"Возьми у человека", — сказал ей аллах.

"Если я подойду к нему, он убьет меня".

"Не убьет, человека я наделил не только силой. Я подарил ему то, чего не дал никому, — сказал аллах, — наделил его умом".

"Нет, я боюсь человека".

"Ну, если так, подходи к нему в такое время, когда он спит".

Вот с тех пор, говорят, змеи подползают к спящим, набираются сил, впитывая тепло человеческого тела. Сказка сказкой, но змея и в самом деле не трогает спящего.

Утром забарахлил дизель, питавший током стригальные агрегаты. Подтекало горючее, стучали клапана…

Курт, нервно потирая руки, носился из стороны в сторону и бурчал:

— Зарплату колхоз им плати, а вот дизель держать в исправности не могут. Нет ума — не берись. Это ведь техника!..

— Если такой грамотный — помоги, — говорили ему.

— Кто-то получает денежки, а я должен ремонтировать?

— Не нужна твоя помощь, — с раздражением сказал моторист, возившийся с дизелем. — Замолчи только. На мозги не капай. Отдыхай иди.

— Отдыхай… Я не отдыхать сюда приехал, а работать. Я соревнуюсь. Мой-то соперник наверняка сейчас работает. И премию получит…

— Ребята! — не слушая его, сказал моторист. — Часа два придется повозиться. Отдохните ма-

лость.

Все разошлись. Кто к домику, кто к колодцу. Довлет решил просто пойти за ближайший бархан и побыть часок наедине.

Он лёг, подложив под голову кулаки, и стал смотреть в чистое, без единой тучки небо. Остывший за ночь песок приятно холодил руки и икры ног. Хорошо!..

За кустом кандыма, в пяти — шести шагах ему послышался вдруг какой-то шорох. Довлет вытянул шею и увидел семенившего меж стеблей селина остромордого ежика. Вокруг него, виляя пушистым, богатым хвостом, вертелась рыжая плутовка. Лиса и подпрыгивала, и распластывалась на песке, и трогала лапой колючую шубку, норовя ухватить ежа за голову. Но не тут-то было: еж искусно подставлял свои иголки, рыжая, уколовшись, отпрыгивала в сторону, и все начинала вновь.

В конце концов она осмелилась все-таки раскрыть пасть, но еж моментально свернулся в клубочек, фыркнул, и лиса подпрыгнула, как ужаленная. Пасть ее обагрилась кровью. Она облизала ее, тоненько заскулив, и, метнув в сторону колючего клубка ненавистный взгляд, убежала.

Еж, довольный исходом поединка, протрусил

совсем рядом с Довлетом, — мол, победившему лису, человек не страшен. Довлет улыбнулся и стал опять смотреть в небо.

Многие считают Каракумы зловещей пустыней, где нет ничего живого, — одни черные пески. Ничего подобного: Каракумы, особенно по веспе, красивы необыкновенно. Здесь все цветет, благоухает. А какое весной над Каракумами бывает высокое и чистое небо!

А какие изумительно прохладные здесь ночи. Довлету вспомнилась проведенная им в песках первая ночь. Он долго не мог уснуть, все озирался и прислушивался к таинственным шорохам, незнакомым звукам: пропищал какой-то зверек, где-то совсем рядом, со свистом рассекая воздух, пролетела какая-то довольно крупная птица…

А потом вдалеке показались два маленьких желтеньких огонька. Огоньки эти не стояли на месте. Они то исчезали, то возникали вновь, постепенно приближаясь. "Идут двое и курят, — решил Довлет. — Чабаны, наверное". Но чабаны эти почему-то не подошли к кошаре, где были люди, а, покружившись у колодца, бесследно исчезли. И почти тотчас же Довлет увидел два красных огонька покрупнее.

Утром он сказал Курбану:

— Ночью кто-то приходил к колодцу.

— Да нет, кажется, чужих нет, — ответил тот.

— Как, если я своими глазами видел. Шли и курили ещё. Сигарету-то можно заметить, какая бы не была темнота.

— А-а-а, — улыбнулся Курбан-чайчи, — если ты видел огоньки сигарет, то все понятно. И они были разные? Желтоватые, красные, белые?

— Да.

— И курильщики эти ходили парами?

— Да-а…

— Это, дорогой мой, никакие не курильщики, а обитатели Каракумов. Красные огоньки, например, — лисьи глаза, голубые — джейраньи. У змей в темноте глаза светятся белым светом.

Вспомнив все это, Довлет улыбнулся: как мало, оказывается, знал он пустыню, хотя родился и вырос на границе больших песков. Сейчас, воспользовавшись свободным часом, он решил побыть наедине, полюбоваться красотой Каракумов.

Во-он на склоне бархана, похожего на лежащего двугорбого верблюда, растет могучий старый саксаул. Обычно такой величины дерево это бывает высохшим, и стоит его слегка толкнуть, как оно тут же рухнет, рассыпавшись на причудливые

угловатые поленья. Но это, судя по зеленеющим веткам, было еще полно жизненных соков.

На верхушке саксаула Довлет заметил гнездо. Гнездо было огромное, раза в два больше любой, даже самой крупной туркменской папахи. "Наверное, беркуты", — ре-. шил он и пошел к саксаулу.

В гнезде слышался писк. Довлету захотелось взглянуть на птенцов.

Говорят, беркуты, когда птенцы оперяются, начинают закалять и обучать их бесстрашию. Они берут птенца в когти, поднимают высоко-высоко в поднебесье и отпускают. Неумеющий летать малыш, конечно, камнем летит вниз, во у самой земли его ловит отец или мать.

Вокруг старого саксаула валялись лоскуты сусличьих и заячьих шкурок, кости мелких зверьков и птиц. Тут уже без ошибки можно сказать, что это жилье беркутов. Ну, как упускать случай посмотреть, подержать в руках такую птицу!

Довлет с трудом, изрядно оцарапавшись, взобрался на дерево, дотянулся до гнезда. Но стоило ему лишь запустить туда руку, как два желтоватых, крючкообразных клюва стали дружно клевать невиданного врага. Посмотрев на руку со следами ударов неокрепших еще орлиных

клювов, Довлет улыбнулся. Хотел было снова потянуться к гнезду, но тут услышал вдруг нарастающий шум крыльев. Он глянул вверх, — прямо на него камнем летел беркут. Взмыв вверх, птица описала в воздухе полукруг и вновь ринулась на человека. Довлет успел спрятаться от удара.

При втором заходе беркут задел несколько тонких веток, которые с треском обломились и упали на песок. Вслед за ними медленно опустились два пера. И тут Довлет увидел второго беркута, который уже сложил крылья и камнем летел на него.

Дело приняло серьезный оборот. Довлет знал, что удар этой птицы, если он достигнет цели, может оказаться роковым: когти и клюв у беркута крепкие, настолько крепкие, что без особого труда он может пробить голову. Довлет хотел укрыться за большой веткой, но слишком резко повернулся, — под ним что-то хрустнуло и он с шумом рухнул на песок.

— Беги! Беги сюда! — услышал он вдруг чей-то голос.

"Черт возьми, — выругался мысленно Довлет. — Кто-то все это видел..."

Он торопливо вскочил, — в десяти шагах от него в заросли кандыма и гребенщика мелькнуло девичье платье. Теперь-то и голос узнал

Довлет, — это кричала Айгуль.

— Ты родился в рубашке, — сказала она, осторожно раздвигая ветки. — Беркуты обычно не прощают нападений на их гнезда. Когтями и клювами они в два счета растерзают кого хочешь.

— Это мы еще посмотрим, кто кого…

— Идем отсюда поскорее. Вон посмотри, их собралось уже целая стая.

Стая не стая, но в небе кружилось ужо пять или шесть птиц, и, судя по всему, каждая из них в любую минуту готова была ринуться в атаку. Разумнее, конечно, было уйти поскорее от опасного места.

— Зачем ты их тронул? — спросила Айгуль, когда опасность уже совсем миновала.

— Трогать их я не собирался. Просто, хотел посмотреть птенцов.

— С беркутами шутки плохи…

— Да уж теперь знаю.

— Тебе повезло.

— Конечно, вовремя подоспела помощь.

— Не в помощи дело. Беркутам помешали ветки.

— Большое спасибо, Айгуль. Помогла мне ты, а не ветки.

Лицо девушки на какое-то мгновение сде-

лалось пунцовым, отчего, кажется, стало еще прекраснее. Но уже в следующее мгновение она справилась со смущением и, вскинув тонкую, как крыло ласточки, бровь, улыбнулась Довлету. Губы Айгуль, тонкие и нежные, напоминали чем-то лепестки цветущего мака. Даже старенькое уже платье девушки показалось Довлету красивым.

Он взглянул в глаза Айгуль и… потерял дар речи. Огромные, темные, как безлунная ночь, они излучали какой-то особенный чудодейственный блеск, от которого перестало, кажется, биться сердце, ноги стали ватными.

— Да что ты так уставился на меня? Нехорошо…

Довлет очнулся. Смутившись, он почувствовал, как всего обдало жаром. Нужно было что-то сказать Айгуль, как-то выбраться из неловкого положения, он это понимал, но по-прежнему не мог вымолвить ни слова.

— Я пойду к своим козам, — сказала Айгуль и тихонько пошла прочь.

Шагах в двадцати она обернулась, еще раз улыбнулась и скрылась за гребнем бархана.

Была ли она? Может, все это привиделось Довлету? Нет, не привиделось, — на песке остались четкие следы ее ног.

— Айгуль! Айгуль! — закричал вдруг Довлет и выбежал на бархан. Увидев вдали развевающееся на ветру, как алый стяг, ее платье, он остановился.

Крика Айгуль, кажется, не услышала, а может быть, сделала вид, что не слышала, во всяком случае она медленно удалялась, подгоняя коз и овец…

* * *

Довлет поспешил на стан. Казалось, что прошла целая вечность, как он ушел оттуда. Но торопился он напрасно, — механик все еще возился с мотором, а стригали сидели в холодке и пили чай.

— Ты куда запропастился?

— Да так, прогулялся, Курбан-ага.

— А здешние места, я вижу, тебе по душе. Ты здесь посвежел, поправился.

Курбан-чайчи видел, что Довлет за эти несколько дней похудел, осунулся, и надо поддержать, ободрить паренька.

— Ну, конечно, если есть каурму большой ложкой, а за весь день остричь пять овец, поправиться можно, — сказал Курт.

— Я не больше твоего ем, — с гневом ответил Довлет. — Чего пристал?..

— Здесь, браток, Каракумы. Ни Ялта и ни Сочи. Это туда люди едут отдыхать. А тут работать надо.

Говорил Курт зло, так, что расплескал из пиалы горячий чай и ожег себе руку.

— Черт бы тебя побрал, — процедил он сквозь зубы и посмотрел исподлобья на Довлета.

— Ты чего бросаешься на всех, как цепная собака? — Спросил Курта Курбан-ага. — Когда начинал, стриг не лучше. Вспомни.

Курт ничего не сказал, а лишь потер дрожащей рукой нижпее веко правого глаза и неопределенно хмыкнул.

...Наконец-то застрекотал движок, — все дружно встали и пошли по своим местам. Довлет, даже чаю не попив, приступил к работе. То ли — сказывалось испорченное Куртом настроение, то ли барахлил агрегат, но Довлет чувствовал, что работа подвигается очень медленно. "Может быть, лезвия притупились?" — решил он.

Остановив агрегат, он побежал к точильщику.

— Замени лезвия на новые, — попросил Довлет.

— Ты думаешь, новые лучше? — откликнулся тот.

— А как же?

— Новое всегда лучше старого — это верно. И только о новых лезвиях для стригальных машин этого сказать никак нельзя.

— Я вполне серьезно.

— А я и не шучу. Мне не жалко новых лезвий, только ты с ними замучаешься. Лучше я тебе дам старых, уже притертых. Бери, — и он подал сразу четыре штуки. — Менять можем в любое время. Только ты с этим делом не торопись. Любое лезвие, если оно притрется, отточится, будет служить тебе о-е-ей. Нужно, браток, терпение.

Весь этот день Довлет трудился, как говорится, в поте лица. Он остриг не пять и даже не десять овец. Около его рабочего места высилась довольно внушительных размеров горка шерсти. И она продолжала расти, радуя глаз.

Время от времени Довлет поглядывал в сторону Курта. Не хотел смотреть, но взгляд помимо воли останавливался на куче шерсти, которую настриг Курт. "Э-э, дорогой, — говорил он сам себе, — за ним тебе не угнаться".

Довлет торопился. Пот заливал лицо, руки от долгого напряжения дрожали, но ему хотелось не отстать от Курта.

Тыльной стороной левой ладони Довлет смахнул со лба пот, на какое-то мгновение аппарат

выскользнул и порезал шею овцы. Брызнула фонтаном густая, липкая кровь. Довлет отбросил аппарат, позабыв отключить его, и, оцепенев, уставился на бедное животное. Подбежал Нурберды-ага.

— Что случилось?

— Да. вот… Кажется — вена…

— Ну, теперь ничем не поможешь…

Все с сочувствием смотрели на незадачливого стригаля. Все, кроме Курта. Тот, самодовольно вскинув голову, изрек:

— Из такого стригаль не выйдет. Это уж точно. Посадить его на машину и отправить назад. Он же здесь пол-отары перепортит.

— Никуда я не поеду, — сказал Довлет.

— Еще как поедешь. Стричь не можешь, подавать овец — тоже, так зачем ты здесь? Лопать каурму?

Довлета словно наградили оплеухой, — челюсти сжались сами собой, а лицо запылало огнем.

— Курт, — сказал кто-то из старших, — уж это ты слишком. Парень старается. А ошибся, так с кем этого во случается?

— Хорошенькая ошибка, — усмехнулся Курт. — Интересно, за ущерб колхозу он заплатит?

— Каждый день заведующий фермой выделяет

на стригалей одного барана. Пусть этот будет на завтра. Если же завфермой заартачится, — уплатить придется. Но ты, Довлет, не отчаивайся, если что, поможем, — сказал Нурберды-ага и, доставая нож, направился к овце.

* * *

Курт опустил на пол мешок, который до этого не без труда нёс на плече. В мешке звякнуло и загремело, но никто из присутствующих в комнате не обратил внимания ни на вошедшего, ни на его мешок, — все увлечены были шахматной партией. Кто против кого играл, понять было невозможно. Играли все. Каждый против всех, все против каждого.

— Ходи королем!

— Нет, королем ходить рано. Надо двигать пешку.

— Верно, — двигать пешку. Причем, на два хода!

— Не-ет, на один.

— Не трогай пешку, — слон улетит.

"У них даже слоны летают! Доигрались... — подумал Курт. — Ох и пустой же народ. Над чем они ломают головы? Чудаки! Шахматами сыт не будешь. Игра она и есть игра. А играть должны

дети. Бездельники! Кучка бездельников!.."

Он вышел из комнаты. Ступив во мрак, увидел у колодца блуждающие голубые огоньки. Курт смотрел на них как завороженный. Джейран...

— Ах, ты миленький мой, не уходи, подожди минутку... — шептал он.

Огоньки вдруг исчезли, затем появились вновь, чуть-чуть в сторонке, но появились на одно лишь мгновение. А когда их Курт увидел снова, они были уже далеко.

— Убегаете? — проговорил он вслух. — Ну бегите, бегите. Все равно далеко не уйдете...

Курт вернулся в комнату, взял мешок, с трудом взвалил его на плечо и вышел. Осторожно ступая в темноте, он направился к колодцу.

Взошла луна. Огромная, модно-желтая, похожая на свежеиспеченный чурек, она почти тотчас же скрылась за облаками. Через минуту вынырнула снова и снова исчезла.

Кошара, чабанский домик, навес, под которым днем идет стрижка, то отчетливо видны, то пропадают во мраке.

* * *

Накинув на плечи старенький пиджак, Курбан-чайчи направился к колодцу — налить в

умывальники. Прохладный, чистый воздух и тихий, ласковый ветерок бодрили, наливали все тело свежестью. Дышалось легко, глубоко, Чайчи вполголоса напевал.

Он подошел к колодцу, стал было расправлять стальной трос, к которому крепилась небольшая (чтобы можно было достать воду вручную) бадья, как услышал шорох. Подняв голову, Курбан-ага увидел на склоне небольшого бархана попавшего в капкан джейрана. Бедняжка изо всех сил старался вырваться на волю, но с каждым новым рывком силы его таяли. Рванувшись, он, тяжело дыша, падал вновь.

— Какой же это подлец додумался до такого? — спросил сам себя Курбан-ага и, бросив бадью и трос, пошел к джейрану. — Кроме Курта никто, пожалуй, на такое не способен… Это его грязных рук дело.

На капкане запеклась густая темно-красная кровь. Следы крови видны были и на песке.

Полные боли и страдания глаза джейрана были широко открыты. Казалось, животное вот-вот заговорит, станет просить помощи, пощады… Встретившись с джейраном взглядом, Курбан-ага почувствовал во всем теле какую-то слабость, вялость, ноги подкосились и он медленно опустился

на песок. Этот взгляд бессловесного существа напомнил человеку многое.

…Уже больше полугода бушевала война. Жизнь села была полна тревог, каждый новый день приносил новые горести: кто-то из сельчан погиб, кого-то тяжело ранило.

— Все! Больше не могу, — сказал Курбан своим домашним. — Я должен быть там, на фронте…

И мартовским ранним утром, перекинув через плечо котомку, пошел в районный центр, в военкомат. Собралось их таких несколько человек.

…Накануне прошел сильный дождь, дороги развезло. Люди шли, но щиколотку утопая в грязи. Шли молча, — говорить было не о чем, каждый думал о своем. Думы у всех были разные, конечно, но все нелегкие: мужчины покидали домашний очаг, шли туда, где смерть косит людей, как хороший острый серп густой камыш.

За околицей села Курбан не выдержал и обернулся, хотелось еще раз взглянуть на родной дом. А вдруг больше не доведется увидеть!.. Обернулся и замер от неожиданности: разбрызгивая грязь, промочив и загрязнив подол платья, их догоняла Новрузгуль. На руках у. нее был годовалый Азад, их сын. Вид у Новрузгуль был так жалок и печален, что у Курбана кольнуло в груди, а к горлу

подкатился комок.

— Вот... — задыхаясь сказала она. — Он только что сказал "Па-па". Первый раз... Вот послушай...

Курбан взял на руки сына, нежно потрепал его по щекам.

— А ну-ка улыбнись, джигит.

Тот мило улыбнувшись, уцепился пухленькими мальчиками за верхнюю губу отца и сказал:

И тут же взглянул в глаза Новрузгуль. Потом три с лишним года, пока шла война, постоянно, стоило прикрыть веки, ему виделись эти. полные слез и неизбывной печали глаза. Сейчас, взглянув в глаза несчастному джейрану. Курбан-ага вновь вспомнил их.

Вернувшись с войны Курбан не застал Новрузгуль в живых: от тяжелой работы, от переживаний ли за жизнь и здоровье мужа она в самый канун победы умерла...

Курбан-ага разжал створки капкана и осторожно освободил окровавленную ногу джейрана. С минуту животное лежало неподвижно у ног человека, не решаясь пошевелиться.

— Ну иди, иди, глупыш, — сказал Курбан-ага и слегка подтолкнул его рукой.

Джейран встрепенулся, вскочил на ноги и, словно стрела, выпущенная из лука, метнулся

прочь. Отбежав, на почтительное расстояние, он остановился, посмотрел на своего спасителя долгим, благодарным взглядом и медленно пошел в степь, припадая на больную ногу.

Капкан вместе с цепью, которой он крепился, Курбан-ага отшвырнул в сторону:

— Не перевелись еще на свете негодяи…

* * *

Проверив капканы, Курт остался недоволен, кто-то побывал здесь до него. В обеденный перерыв, когда под навесом собрались все стригали, он, нервно потирая указательным пальцем нижнее веко правого глаза, спросил вдруг:

— Кто украл мою добычу? Сознавайтесь!

— Какую добычу?

— Тот, кто украл, знает.

Все молчали.

— Значит, не сознаетесь? А я, между прочим, знаю чьих это рук дело.

— Ну, если знаешь, какого ж дьявола морочишь голову? — спросил Довлет.

— А ты сиди и помалкивай, — оборвал его Курт. — Тот, кто взял моего джейрана, забыл, что его чарыки оставляют на песке хорошие следы. У вора подошва правого чарыка имеет точно такую

же заплатку, как на чарыке нашего чайчи.

Курбан-ага, присев на корточки, подкладывал в топку титана мелкие ветки и все, о чем говорили под навесом, слышал, но никакого вида не подавал, но когда Курт прямо указал на него, спокойно сказал:

— Я не воровал никакого джейрана, дорогой…

— Он у тебя, в хурджуне! — почти крикнул Курт. — Больше ему некуда деться!

— О каком он джейране толкует?.

— И почему джейран Курта оказался в хурджуне Курбана? — заговорили стригали.

— Джейран не иголка, — сказал с достоинством Курбан-ага, — его в кармане не утаишь и за пазуху не спрячешь. Хурджун мой вон висит, — можешь проверить. Только зря не старайся, хурджун пуст. А следы у капкана ты действительно видел мои. Но ты ошибаешься, что я присвоил твою добычу…

— Нет, вы послушайте, что он поет, — с ехидной улыбкой прервал его Курт. — Следы его, джейран в капкане был, но он его не трогал. А куда же тогда он девался? Улетел? Но это только у шахматистов слоны летают.

— Я отпустил его.

— Отпустил?

— Да, отпустил.

— Поищи-ка, Курбан-ага, дураков в другом месте. Так я и поверил тебе.

— Что ж… Если не веришь…

— Ты — вор! — вскричал Курт. Я знать ничего не хочу!

— Курбан-ага не вор, — снова вступил в разговор Довлет, — а кто вор, это еще нужно разобраться.

— Довлет, дорогой, — прервал его Курбан-чайчи, — не ввязывайся. Скандалы и ссоры еще никому и никогда не приносили доброй славы. А Курту я постараюсь объяснить, что убивать джейранов, да еще таким способом…

— Курбан-ага, — сказал кто-то из парней, — лишнее все это, Курт ничего не поймет. Он знает свое дело.

— Легче волку внушить, чем ему, что джейранов трогать нельзя…

Стригали выплескивали из пиал остатки чая, вытирали потные лица и шеи платками и, не торопясь, уходили к месту работы, — время обеденного перерыва подходило к концу.

Последним поднялся Курт. Понурив голову, он медленно шел к навесу и вполголоса зло бормотал:

— Погодите… Будет и на моей улице праздник.

Я еще устрою вам такое!.. Нет, к черту всех вас. Вот поднакоплю деньжат, женюсь на Айгуль и уеду отсюда. Нечего мне делать среди этих...

* * *

Остаток дня Довлет трудился не разгибая спины. К вечеру, подсчитав, сколько же он остриг овец, он не поверил самому себе. Пересчитал, — точно: пятьдесят! Конечно, опытные стригали стригут побольше, но для новичка — это большой успех.

Закончив работу, Довлет отправился к колодцу, — захотелось напиться свежей, холодной воды.

— Салам, Айгуль, — поприветствовал он девушку, которая в это время наполняла бурдюк водой.

— Салам!

— Айгуль, — Довлет даже удивился своей храбрости, — я хочу спросить тебя об одной вещи.

— Что ж, — улыбнулась девушка, — об одной можно. Но только об одной. Договорились?

— Договорились. Ты выходишь замуж, да?

— Да.

— За кого?

— Но мы же условились, — один вопрос.

— Послушай, Айгуль... Что я тебе скажу...

— Только не сейчас и не здесь, — спокойно сказала Айгуль. — Нас могут увидеть… Некрасиво.

— Хорошо, — согласился Довлет, — но когда и где я смогу тебя увидеть?

— Приходи ночью к тому саксаулу, где беркуты. Только попозже.

От колодца к чабанскому домику Довлет не шел, не бежал, — летел. Казалось, у него выросли невидимые крылья. Он позабыл даже, зачем шел к колодцу, не стал пить воду, — жажда прошла сама собой.

…Поздним вечером, когда уставшие за день стригали уснули, Довлет тенью скользнул в темноту и направился к знакомому бархану. Он почти бежал, не разбирая дороги. Казалось, его несла какая-то неведомая сила, как бурный сель может нести бревно или обломок доски.

* * *

Он смотрел в усеянное яркими звездами небо и слушал таинственную тишину Каракумов. Млечный Путь… Он разрезает небосвод пополам и похож на зыбкую караванную тропу.

"А куда ведет эта тропа? В Индию? В Китай? Может быть, в Египет? Было время — груженые дорогими товарами караваны шли с запада на

восток, с востока на запад... Между прочим, один из главных путей пролегал в наших местах. Может быть, вот здесь, где лежу сейчас я, когда-то делили привал Изнуренные долгой дорогой погонщики верблюдов. И кто-то из них вот так же, как я, любовался этими звездами..."

Мечты унесли Довлета в глубь веков. Ему даже почудилось, что слышен звон колокольцов — "бом-бом, дзинь-дзинь"...

Он закрыл глаза и стал слушать, мысленно представляя, как идут вереницей уставшие верблюды, как понукают их не менее уставшие погонщики. Далек и труден их путь, но идущему покоряется даже самая дальняя и тяжелая дорога. Какие города и страны уже прошел этот караван? А какие еще предстоит ему увидеть...

"Бом-бом, дзинь-дзинь..." Колокольчик звучал уже где-то совсем рядом. Довлет открыл глаза и чуть не вскрикнул от неожиданности: освещенная сзади восходящей луной, в трех шагах от него стояла Айгуль, рядом с нею темнела громада — верблюд.

— Ты пришла?

— Да.

Голос ее дрогнул, она заплакала.

— Что с тобой?

— Меня… меня, — рыдания не давали девушке выговорить слова, — выдают за Курта…

— Замуж?

— Да.

— Неужели ты любишь его, Айгуль?

— Нет… Я ненавижу его, но…

Довлет почувствовал облегчение:

— Если не любишь, не иди, да и все.

— Легко сказать. Но Курт уже внес калым. Наши согласны… Уже назначили и день помолвки. Я не знаю, что мне делать. Провалиться бы сквозь землю, — и она стала рыдать еще сильнее.

— Не плачь… Не плачь, Айгуль, — Довлет подошел к девушке и ласково погладил по плечу. — Надо что-то придумать. Давай-ка, Айгуль… Вот закончится стрижка… давай убежим.

— Нет. Бежать из дому я не могу. Не-ет… Ты лучше помоги мне. Если ты хочешь мне добра, — помоги.

— Я готов, Айгуль. На любую жертву пойду…

— Если так, то слушай. В Караметниязе работает бульдозеристом парень один… Его зовут Ягмуром. Передай ему вот это письмо.

Айгуль извлекла откуда-то из-за ворота платья сложенный вчетверо тетрадный листок.

— Передай ему. Садись на этого верблюда. К

утру ты будешь в Караметниязе. Верблюд туда дорогу знает хорошо. И если все благополучно, завтра ты сможешь вернуться. Если же ты не передашь... Я пропала, Довлет, пропала...

Ему показалось, что на плечи ему взвалили страшный груз. Ноги Довлета противно дрожали, и он чувствовал, что если ничего решительного не предпримет сейчас же, — рухнет на песок.

"Ягмур... Значит не я... Если не Курт, то Ягмур..." — мелькали в его мозгу отрывки мыслей.

— Ну, чего ты стоишь?

— Я... я...

— Не теряй драгоценного времени, Довлет.

— Я не могу ехать, — вымолвил наконец он.

— Не можешь? Почему?

— Я не могу отдавать в чужие руки... свое счастье. Не могу!.. — и он, резко повернувшись, зашагал прочь, оставляя на песке глубокий след.

Отойдя шагов на десять, он остановился, обернулся и вдруг побежал обратно.

— Айгуль! Подожди!..

У него шумело и гудело в голове, звенело в ушах. Почему-то вспомнились вдруг слова учительницы истории Шекер Бердыевны: "Лучшая красота человека — это его человечность!"

— Давай, давай письмо, — сказал, тяжело дыша,

Довлет. — Я поеду в Караметнияз…

Перевод Н.Золотарева

ТУРА КУРБАНОВА

Выпускница Литературного института им. А. М. Горького Тура Курбанова — автор двух сборников рассказов и повестей. Некоторые ее произведения переводились на русский язык и знакомы большому кругу читателей.

СОВА
Рассказ-легенда

— Как ты думаешь: что там в горах?

— Много чего.

— Ну, например, люди там есть?

— Конечно. Во-первых, пограничники… Охотники сейчас вряд ли.

— Почему?

— У джейранов окот, в это время на них не охотятся.

— Почему?

…Так болтали Айджерен с Аркадагом, следуя за верблюжьим стадом.

Они недавно окончили седьмой класс, только Аркадаг учился в селе, где родился и жил, а девоч-

ка, его двоюродная сестра, была горожанкой. Она приехала погостить, на каникулы.

Дядя Айджерен, брат ее матери и отец Аркадага, был пастухом. Пас верблюдов, дышал вольным воздухом пустыни, любовался сменой времен года — и был счастлив, В каникулы к нему являлся сын, а теперь вот и она приехала.

Для Аркадага пески были родным домом, все здесь ему понятно, знакомо, а для Айджерен — все в диковинку. Она задавала тысячи вопросов, причем иногда такую ерунду спрашивала, что Аркадаг, отвечая, невольно выказывал тоном свое превосходство. Айджерен не обижалась и продолжала расспросы, но раза два он приметил в глазах сестрицы лукавинку и стал осторожнее: дурака валяет девчонка, морочит голову. Ему захотелось что-нибудь такое ей рассказать или показать, чтобы она рот разинула.

Когда они отошли от села на порядочное расстояние, Айджерен заявила, что устала. Аркадаг велел самому смирному верблюду опуститься на колени и усадил на него сестру.

Девочка вертела головой, вскрикивала тихонько: "Ах! Ой!". И косицы с белыми бантами прыгали у неё на спине.

— Слушай, Аркадаг, — оказывается, это очень

интересно — на верблюде кататься. Почти так же, как на самолете. Далеко видно, и качает, и барханы мимо плывут, будто волны в море… В школе обязательно зададут сочинение "Как вы провели летние каникулы?". Я напишу о том, что каталась на верблюде. В вашем классе никто не видел живых верблюдов, а чтоб кататься на них!.. И пустыню знают только по карте.

Тем временем показались развалины какой-то постройки и огромная узловатая шелковица над ними, черная, почти без листьев.

— Вот и двор Сакара, — сказал Аркадаг.

— Двор Сакара? Какого Сакара?

— Если хочешь, осмотрим его. Слезай. А потом я расскажу тебе одну историю. Ее надо днем рассказывать, ночью ты до смерти перепугаешься. Вот про Сакара написать бы сочинение. Поинтересней будет, чем про верблюдов.

Айджерен потянула веревку на шее своего горбатого иноходца, тот послушно опустился на колени. Девочка соскользнула с его спины, не забыв ласково погладить тугой коричневый горб.

Обвалившиеся, оплывшие глинобитные стены с проемами дверей и окон, затянутые паутиной пиши, остатки дувала вокруг большого двора.

— Давно уж здесь никто не живёт, да?

— Давно.

— А когда был построен этот дом?

— Лет пятьдесят.

— А когда тутовник посажен?

— Считается, что после смерти Сакара, но один дед уверяет, что сам Сакар его посадил.

— Да кто такой этот Сакар?

— Скоро, узнаешь. Помнишь, вчера бабушка говорила, что сова может накликать несчастье? Поверишь — когда услышишь про Сакара и про его отца…

— Ах, я заранее дрожу от страха!

— Опять хихикаешь? Ничего не стану рассказывать.

— Ну, Аркадаг, это нечестно. Сейчас же расскажи!

— Сначала костер разожгу — чай вскипятить…

* * *

Сову у нас не любят и боятся. А почему? Что плохого сделала людям эта птица? Может быть, причиной — жутковатый вид или таинственная ночная жизнь совы?

Вот что говорит старинная легенда:

"В давние, очень давние времена один богатый человек овдовел и женился снова. У него

была дочь, красавица, и у новой жены тоже была дочь от первого брака, вполне заурядная девица. Понимая, что присутствие прекрасной падчерицы пагубно скажется на судьбе ее невзрачной дочки, женщина решила поскорей выдать свое чадо замуж, а падчерицу на время сватовства спрятать от людских глаз. И для этого сделала вот что: набила огромный мешок пшеницей с пылью и мусором, поставила в самую дальнюю юрту, куда никому из гостей в голову не придет заглянуть, и посадила там падчерицу, велев ей по зернышку перебрать пшеницу. Да приказывала поторопиться. И обещала наказать, если в зерне окажется хоть соринка.

Много дней и ночей (благо ночи стояли лунные) перебирала девушка пшеницу, в кровь истерла пальцы, глаза от постоянного напряжения отказывались видеть, поясницу она уж разогнуть не могла, а ветер в. продырявленной юрте, как в степи, — снова и снова сводил на нет ее труд, смешивая уже очищенное зерно с пылью. А издалека доносятся звуки музыки, дразнящие запахи еды — там пышно справляли свадьбу.

Бедная девушка отчаялась когда-нибудь закончить нудную и тяжелую работу, изнуряющую тело и дух, и прокляла свою красоту, догадываясь

о причине наказания. Проливая над пшеницей горючие слезы, стала она просить аллаха, чтобы он лишил ее не только красоты, но и вообще человеческого облика. Кем угодно согласна она стать, лишь бы избавиться от муки. Подняла глаза, увидела дыры в кошме и подумала: "Пусть я стану птицей, чтоб вырваться отсюда! Самой безобразной, всем ненавистной, но свободной". И она прокричала эту мольбу над пшеницей. Хлеб священен, и аллах не мог не исполнить просьбу несчастной. Более того — должен был исполнить ее в точности. И он обратил прелестную девушку в сову. Другие птицы радуют взор милым обличьем, а на сову и глянуть страшно. Кроме того, аллах велел сове предвещать своим криком несчастье. Вот она и стала ненавистна людям".

Старые бабки до сих пор верят в эту примету. Услышат крик совы — начинают плевать за ворота: чур не меня! И говорят, обращаясь к сове со всем возможным подобострастьем: "Байэне, дай немножко твоего богатства". Ведь когда-то сова была дочерью богатого человека. Считается, что так можно отвести несчастье, даже, наоборот, расположить к себе удачу.

— Лучшим охотником здесь и Таллымерджане, был Сахы, — начал мальчик. — Не помнят случая,

чтобы он промахнулся. Его так и звали Сахы-мерген, Сахы-меткач. И до сей поры, если речь заходит об охоте, вспоминают Сахы, хотя не только его самого, но и сына уже нет давным-давно на свете.

Жизнь Сахы сложилась непросто. Сам он был из текинского рода Гурджаклар, а полюбил эрсаринку Огульбек из рода Бает. В те времена жениться на девушке из другого племени было трудно, почти невозможно, но Сахы ночью выкрал любимую. Эрсаринцы пытались до него добраться, но не смогли, а потом муллы кое-как уладили дело. Родителям Сахы пришлось заплатить за девушку немалый выкуп.

Огульбек вскоре родила сына. Мальчику дали имя Сакар — то есть, с белой отметиной, потому что в черных волосах его была белая прядка.

Однажды Сахы еле приполз домой с охоты. Он был тяжело ранен и долго после этого болел. Как, при каких обстоятельствах получил рапу — он никому не сказал. Но, говорят, перед тем, как идти ему на охоту, Огульбек слышала крик совы.

Больше у них детей не было, видно, рана и болезнь лишили Сахы возможности иметь потомство. Единственного сына он сверх меры баловал и лелеял, но старался обучить его всему, что умел

сам. Сакар тоже стал охотником, были у него справный конь, дорогое ружье. Но самое главное — отец обещал высватать ему в жены ту, которую он пожелает.

И надо же такому случиться, — Сакар влюбился в девушку из племени своей матери, в эрсарийку Джемиле (текинцы произносят это имя иначе — Джеиал). Сахы призадумался крепко, но потом решил, что богатый калым поможет выполнить обещание, данное сыну. Он собрал много дорогих шкур, редкостных и ценных вещей и отправил родителям девушки. Те не устояли, но неожиданно воспротивился этому браку родич Джемиле. Кстати, он и Сакару был родным — доводился дядей его матери. Он потребовал, чтобы Джемиле отдали за его сына. "Скорее мой труп вынесут из дома текинца, чем внесут в него эрсаринскую девушку".

Но Сакар был упрям, весь в отца, — убедил родителей невесты. Сахы-мерген начал подготовку к тою. Созвал гостей со всей округи. Для свадебного поезда было снаряжено сорок верблюдов. Рано утром паланкин с невестой тронулся в путь, к дому будущего мужа. Но едва выехали из эрсаринского села — напали на них вооруженные всадники, поранили людей, верблюдов, а невесту

Сакара вытащили из паланкина, увезли и ночью обручили с другим.

Говорят, в ночь накануне сова снова кричала над домом Сахы-мергена. Сакар выскочил и пристрелил зловещую птицу, но беды не отвратил. Избранницей его завладел другой, а горячо любимый отец, главная опора в жизни, вскоре покинул этот мир. Тогда ушла из дому и мать, безутешная Огульбек, поселилась у муллы и ночи проводила в молитвах.

Сакар же словно обезумел: рыскал по старым кладбищам и развалинам, стрелял сов. Но однажды он застрелил не птицу… а мужа Джемиле. А ее привез в свой дом. Однако жизни у них так и не получилось. Джемиле родила сына, но мальчик вскоре куда-то исчез. Исчезла и сама Джемиле, а спустя некоторое время нашли труп Сакара. Одни уверяли, что Сакара убили эрсаринцы, другие — что сам он погиб, охотясь ночью за очередной совой, третьи — что ребенок Джемиле был не от Сакара, а от первого мужа. Сакар, узнав, мол, об этом, убил жену, мальчонку отдал эрсаринцам, а сам пал жертвой кровной мести.

Вода закипела и, выплеснувшись, залила огонь. Айджерен вздрогнула, посмотрела на потухший костерчик, потом на Аркадага. Взгляд ее постепен-

но обрел обычное пытливо-лукавое выражение.

— Какая странная история, почище всякой сказки… Неужели так было?

— Спроси кого хочешь в Таллымерджане, — все подтвердят. А ты еще не верила, что сова — плохая птица.

— Да причем тут сова? Люди какие-то непонятные… Как сказал этот дяденька? "Скорее мой труп вынесут из дома текинца, чем внесут в него эрсаринскую девушку"? Да?

Аркадаг усмехнулся: эту девчонку с толку не собьешь.

— Вот ты из какого племени?

— Я? Понятия не имею. Я туркменка и все. А ты? Ты из какого?

— Мой отец ахал, а мама из племени иомутов. Твоя мама тоже ахалка, а отец эрсаринец.

— Смотри-ка, он кое-что знает. Ну так из какого же племени мы с тобой?

— Теперь не определишь. У моего старшего брата жена вон и вовсе русская.

— Значит, никто никого не зарежет, не украдет, можно любить кого хочешь и не бояться, да?

— Молодец, Айджерен, все правильно сообразила.

— Эй, пастух, а где твои верблюды?

Аркадаг вскочил и огляделся.

— В яндаке пасутся.

Айджерен закинула голову, посмотрела в небо. Там собирались тучки.

— Вон та туча похожа на верблюда, который привез меня сюда. Ой, дождик! — она вытянула руки ладонями кверху и запела тоненьким голоском; "Дождик, дождик, кап-кап-кап, мокрые дорожки..."

Перевод Н.Желниной

ШАДУРДЫ ЧАРЫЕВ

Популярность Шадурды Чарыеву принесли прозаические произведения, вошедшие в книги "Свирель", "Свежие цветы", сборник стихотворений и поэм "Чабанений камень" и другие издания.

Член Союза писателей СССР, кандидат философских наук Ш. Чарыев ведет у себя на родине большую работу по изданию художественной литературы, являясь главным редактором издательства "Туркменистан".

СКАЖИ, КТО ТВОЙ ДРУГ
Повесть

Мало ли сочинений приходилось писать? Но вот Мерген сидит — ломая голову... Не вывел еще в тетради даже названия темы — "Мой друг". В классе тишина. Только слышен скрип перьев по бумаге. Сидящая перед Мергеном Джерен то и дело шепчет что-то и продолжает писать. И опять поднимает голову, и опять пишет. Это у нее привычка такая. Рядом с Джерен сидит Атали.

Он пишет, не поднимая головы. Только не забывает наматывать на указательный палец левой руки кончик чуба. Тоже закоренелая привычка, которую он уже не замечает. Поэтому не очень обижается на ребят за прозвище "Прилиза".

Рядой с Мергеном — Хатыджа. Часто шмыгает носом. Сколько ее знает Мерген, она после каждого предложения — "шмыг"! От этого постепенно можно, конечно, избавиться. Плохо только, что Хатыджа тупица. Еле-еле переходит из класса в класс. Поэтому ее и насадили рядом с Мергеном, который считается хорошим учеником. Когда пишут сочинения, то она, не заметишь как, обязательно у Мергена спишет. А что сейчас? Сейчас Хатыджа, вовсю пошмыгивая, корпит. Время от времени заглядывает в тетрадь Мергена. А что там?.. Чистехонько! Рада, наверное, Хатыджа. Еще бы, — сдаст сочинение раньше Мергена! Она ведь еще и завистливая. Ну, ну, спеши, дорогая Хатыджа.

Кроме этих трех учеников Мерген никого не видит. В тетради, лежащей перед ним, все еще чисто…

— Хайдаров, ты почему не пишешь? Или у тебя нет друзей?

Это учительница — Акгуль Искандеровна.

Мерген хотя и взял ручку и написал на чистом листе "Мои друг", дальше, однако, дело не продвинулось. Неужели не сможет? Разве мало друзей? В классе вон сколько ребят и на улице, где он живет, много. О родителях можно рассказать. Собака у него очень хорошая по кличке Акбилек... Другие-то, наверно, о таком вот и пишут.

Мерген тоже мог бы, конечно, быстренько что-нибудь в этом роде начеркать. Но тема сочинения заставила его задуматься. Вспомнился Базар-ага, сторож магазина. Он инвалид. Живет в низенькой хибаре рядом с магазином. Базар-ага как будто специально создан сторожем. Он всегда около магазина, редкий раз не встретишь его здесь, — значит, уехал в город на рынок. У него нет ни жены, ни — детей. Были они, есть ли — раньше Мерген этим не интересовался.

Но вчера он узнал Базар-ага гораздо ближе...

Мерген пришел в магазин за покупками. Базар-ага толстой метлой из полыни подметал вокруг магазина. За сложенными штабелем пустыми ящиками распивали водку Бегмет и Реджеп. Базар-ага сердито поглядывал на них, но ничего не говорил — занимался своим делом. Однако резкие движения его были выразительны: "вот если бы вас замести, как эти бумажки, да на свалку!"

Когда Мерген, купив что надо было, вышел из магазина, Бегмет и Реджеп, опорожнив бутылку, стояли, поддерживая друг друга.

— Реджеп, ты настоящий друг. Если не ты, я бы давно помер.

— Нет, Бегмет! Это без тебя весь мир для меня ломанного гроша бы не стоил…

Так распинались они друг перед другом. Потом обнялись, поцеловались и, поддерживая друг друга, пошли. Мергену было смешно смотреть на них. Но когда у Бегмета подвернулась нога, и он упал на асфальт, Мергену стало жалко его. Реджеп хотел поднять товарища, свалился сам, но тут же поднялся. А Бегмет лежал, из рассеченного лба шла кровь. Мерген подбежал и поднял беднягу.

— Ах, спасибо, братишка. Ты истинный друг.

Наблюдавший за всем этим Базар-ага сказал, когда Мерген проходил мимо него:

— Оказывается, ты хороший парень. Только Бегмет не может оценить это. Они и друг другу-то не друзья. Ах, эта отрава, заставляющая болтать что попало, в том числе и о дружбе.

Мергену стало не по себе. Захотелось побыстрей уйти. Но Базар-ага сказал:

— Если хочешь, зайдем ко мне, я кое-что расскажу тебе.

Морген, конечно, согласился. Как можно отказать старику?

В тесной, единственной составлявшей дом Базар-ага комнате внимание Мергена привлекла фотография, висевшая на степе. На фотографии была женщина с ребенком на руках. Вся в украшениях. Кто она?

Поначалу было неловко: молчал Базар-ага, молчал и Мерген.

— Ах, сынок, не знаю, отчего, но мне вдруг захотелось рассказать тебе, — сказал наконец Базар-ага и у него дрогнули губы, а глаза часто заморгали. — Ты не торопишься, а, сынок?

— Нет, Базар-ага.

Старик несколько раз вздохнул, прежде чем начать.

— Мне, сынок, не нравится, как Бегмет и Реджеп ведут себя. Но мне понравилось, что ты сегодня помог подняться Бегмету, хотя он и пьяница. Поднять упавшего — дело мужчины. У меня был такой хороший друг. Его звали Керимом. Он жил в соседнем селе. Зато я не был тогда верным ему.

Базар-ага, обдумывая, должно быть, порядок своего рассказа, умолк на минуту.

— Э-эх, — начал он со вздоха. — Оказывается, человек, и предав друга, все равно может ходить

по земле. Интересно устроен мир. Никто не хочет умирать.

Говорят, хороший друг нужен в трудный час. Но хороший друг нужен всегда. Никогда не бывает он лишним. Я это на себе познал. Если бы не было Керима, давно бы гнило мое тело в земле. Ох, друг Керим…

Война была очень страшной, сынок. Когда она началась, я только-только женился. Всего-навсего восемнадцать дней со дня свадьбы прошло. Жаль было срываться от очага, но тем больше гнева рождалось в таких, как я. Словом, никуда не деться — надо брать в руки винтовку. Это понимали и я, и жена Садап, и моя мать. Отца давно не было — умер от тифа. И вот я вместе с другими поехал на фронт. Позади остались родное село, мать, молодая жена…

Приехали на фронт. Никогда, наверное, не испытать уже мне такого страха, как в первые дни этой войны. Все натерпелись его. Только что разговаривал с человеком — и вот он упал замертво. На то, что останешься живым, никакой надежды. Пушки, танки, самолеты — со всех сторон огонь, грохот, скрежет. Смерть повсюду. Но человек всегда надеется. Со мной рядом был Керим. Он прогонял грустные думы. То начинал напевать,

то шутить, подражая. лучшим сказочным острословам, то просто видом своим бодрым приводил нас в лучшее настроение.

Однажды бой был, на равнине. Как сейчас вижу — трава до пояса доходит, куда не посмотришь — зеленое море колышется. И от этой травы такой приятный аромат исходит, что надышаться нельзя. Вспомнилось родное село, родные травы, поля с пшеницей.

Лежу в траве и смотрю в небо. Синее-синее оно. Редкие белые облака точно приклеились — не двигаются. И небо, думаю, как в родном селе. И чего бы, мол, размышляю — не шуршать мирно траве, не петь голосисто птицам, небу не оставаться всегда таким чистым. Так, наверное, думали все мои товарищи, лежавшие рядом на этом лугу. Наверно, так же думал и Керим.

Но тишина длилась недолго. Враг пошел в атаку. Никто не пожалел зеленую траву, никто не подумал в тот миг о синем-пресинем небе, — заволокли его гарью.

Вдруг я почувствовал, как левую ногу обожгло ниже колена. Бежал еще с автоматом, стрелял, пока не упал, пока не потерял сознание…

А тогда открыл глаза, увидел доктора в белом халате. Первое, о чем я спросил его, — как попал

сюда?

— Друга своего благодари, — ответил врач. — Он тебя на себе притащил. И кровь свою дал, чтобы ты воскреснуть смог. Керим, кажется, — так его зовут?..

Базар-ага перевел дух, кашлянул несколько раз, поднялся, прихрамывая, вышел на кухню за чаем.

— А теперь слушай, что было дальше… После поправки перевели меня в трудовой батальон. Мы прокладывали железную дорогу. С Керимом я переписывался. Он писал, как били врага под Курском. Вдруг от него перестали приходить письма. Я не знал, что и думать. Если убит — не оплаченным, значит, остался мой долг, ведь благодаря его крови выжил. И тут пришло письмо от Садап. "Вчера пришел к нам твой фронтовой товарищ — Керим. Бедняге правую руку отрезали. И глаза одного нет. Утешил нас. Говорит: не беспокойтесь, война теперь скоро кончится. Приедет Базар. Хороший, видать, он человек: других утешает, а сам — калека — наверное, не меньше нуждается в утешенье…"

Так написала жена.

Прочитал я письмо и заплакал. Вроде мужчине плакать стыдно, но не мог я удержаться. Каза-

лось, вся горечь, накопившаяся за время войны, хлынула наружу слезами.

И так, мы строили железную дорогу. И на войне не только разрушают, но и строят. Наш командир говорил: "И продовольствие, и оружие, и боеприпасы доставляются в основном по железной дороге. На ней держится все". И мы работали, не жалели себя.

На фронте, когда получишь письмо — большой праздник. Узнаешь новости о доме и как будто побываешь там. Потом перечитываешь еще и еще… Несколько дней даже меньше устаешь.

Но очередное письмо Садап не обрадовало меня. Украли нашего серого ослика. Украли ночью из загона. Написала, что слышали шум, но выйти побоялись. Я тогда думал: эх, выколоть бы глаза тому, кто украл у беспомощных их единственную опору, попался бы мне этот прохвост, я бы ему показал, чтобы в другой раз не повадно было.

На осле женщины возили дрова, тяжелые кувшины с водой, осел — нужен был для того, чтобы на нем ездить на работу. Нужен он был и для молотьбы. В то время в хозяйстве без него не обойтись было. Я написал в письме: "Тогда продайте корову и купите осла. Он вам нужнее".

Корову продавать не пришлось. Керим услы-

шал про все и привел своего осла. Сколько его не убеждали: "Керим, ведь у тебя большая семья, он тебе самому пригодится", — не послушал. "Если вернете, обижусь", — сказал он. Подарок возвращать нельзя. Этот обычай, сам знаешь, у нас испокон веков. Так мать и Садап снова приобрели осла.

Письма Садап... Я их берег, как большое сокровище. Эти письма я не мог рвать. В этих письмах была Садап, была мать, было село, был Керим... В одном письме я прочитал о добром поступке Садап.

...Садап вместе с другими в Кяле, где всегда сеется хлопчатник, разравнивала землю. Почва там бугристая, жесткая. Когда поливаешь, вода к хлопчатнику идет неравномерно. Поэтому каждый год возят землю с высоких мест в низкие. Но все равно Кяль никак нельзя выровнять. Вот Садап там и работала. Был зимний день и сыпал снег. Вдруг со стороны песков показались две девушки. Одна впереди идет, другая сзади, и передняя ведет вторую. Увидев в таком пустынном месте двух незнакомых девушек, сначала все растерялись.

Оказывается, одна из них была слепая. Они подошли к колхозникам, сели на корточки и начали

петь. Садап запомнила их куплеты и прислала мне. Все я не удержал в памяти, по некоторые запали. Вот, к примеру:

У дверей наших навален саксаул, как минара,

Твой стан похож на стройную чинару,

На поясе у тебя кушак с узорчатыми концами,

Если уйдешь, возвращайся здоровым, брат мой — цветок красный.

Три брата моих улетели, как три журавля,—

Сев на гнедых коней, сабли взяв с собой,

Извергу-Гитлеру оторвать голову.

Если уедешь, возвращайся здоровым, брат мой — цветок красный...

Ты не удивляйся, сынок, что я прослезился. В этих куплетах столько беды, столько борьбы. Это были выстрелы во врага, женщины и девушки кроме того, что очищали оросительную сеть и выравнивали поля, кроме жатвы, кроме сбора хлопка, кроме того, что по ночам при свете керосиновой лампы вязали для воинов носки и перчатки — боролись против врага и своими

песнями…

У этих двух девушек, оказывается, все три брата погибли на фронте. Старшая от горя, от слез ослепла.

Зима вокруг, а одеты они были совсем легко. Дрожат от холода, будто голуби, потерявшие голубятню. Моя Садап не утерпела: сняла с себя халат и надела на слепую девушку. Молодчина!

Какой бы тяжелой ни была война, а все-таки мы победили. И я вернулся домой.

Таить нечего — в те времена, если покушаешь постную болтушку, радости — точно плова наелся. Трудно было. Одно хорошо — нет больше войны.

Отдохнуть после войны не пришлось. У нашей старой лачуги обвалилась вся штукатурка, одна солома торчала. Не было дров. Мать, копаясь в руслах заброшенных арыков, измучавшись, приносила старые коряги. У нас когда-то был хороший загон из березы. За войну его весь пожгли. Теперь и загон, какой ни на есть, нужен. Да всех забот не перечислить: куда ни посмотришь, все требовало труда, рук.

На другой день я занялся поиском дров. После этого — заштукатурили лачугу, соорудили новый загон. Наблюдая за мной, мать и Садап не могли

нарадоваться.

Но что я тогда упустил — не навестил сразу Керима. Не выбрал времени съездить в его село. А надо было пойти к Кериму и сказать: "Приехал живым и здоровым, друг. Спасибо за всю твою помощь. Я тоже постараюсь отплатить добром". Даже мать и Садап стали напоминать мне, но я все откладывал, — дел было много. Эх, после всего этого мало меня убить.

Через четыре дня Керим пришел сам. У Керима не было правой руки, не было одного глаза. Я хотя и знал об этом, но, увидев, очень расстроился. Керим улыбнулся, как бывало раньше:

— Все прошло, друг. Тяжелые дни остались позади. Вернулся живой. Поздравляю. Извини, друг, что не смог заглянуть в день твоего приезда. Только сегодня вернулся от отары.

Мне было жарко. Керим был солнцем, а я тающим снегом. Оказывается, хуже нет кары на свете, чем быть виновным перед другом.

— Благодарю, Керим. Спасибо за всю твою помощь, — сказал я через некоторое время, с трудом произнося слова.

Керим опять улыбнулся, как невинное дитя.

— Скажешь ты тоже, Базар, что я такое сделал, чтобы об этом говорить? Жаль, я сейчас не целый

человек, а то, конечно, помог бы тебе лачугу заштукатурить и с дровами управиться…

Ах, Керим, — каким он был другом!

После того, как он побывал у нас, мне как будто жить легче стало. У матери и Садап лица тоже посветлели.

Наведя в домашнем хозяйстве порядок, я устроился работать на железнодорожную станцию в ремонтную бригаду путевиков. Убирали старые шпалы — укладывали новые.

Через год Садап родила сына. Оказывается, ребенок — лучшее украшение дома. Жаль только, что за радостью беда ходит, — вскоре все у меня пошло кувырком. Самое большое несчастье ко мне после войны пришло…

Работал вместе с нами человек по имени Каджар. Его не любили, я никогда не видел, чтобы с ним кто-нибудь по душам говорил. Шел слух, будто он во время войны скрывался в пустыне и не пошел на фронт, а потом вот пристроился на железную дорогу. Не знаю, правда это или нет, но только его не любили. А работал он хорошо, в работе был сильным, неутомимым, — костью широкий, лицо так и дышало здоровьем. С ним легко было выполнить любое порученное дело.

Я даже почувствовал влечение к нему. У него

на станции была комнатка. Каждый раз утром, когда я шел на работу, он поджидал меня у своего жилища, около одиноко стоявшего здесь тутовника, и мы шли вместе.

Однажды он пригласил меня к себе домой. Все, что было в комнате, — кровать и тумбочка. Он открыл бутылку водки. Наполнил стаканы, посмотрел на меня, глубоко вздохнул и сказал:

— Брат, я тебя люблю. Жизнь — штука короткая. А у меня, к тому же, нет ни семьи, ни родных. Хоть ты будь мне близким.

Мне стало так жалко Каджара. За водкой мы поклялись друг другу в дружбе, прослезились, целовались, обнимались… Когда я увидел Реджепа и Бегмета, вспомнил как раз об этом, сынок.

Да, мы стали друзьями. Каждый день распивали бутылку водки. По-прежнему поджидал он меня утром у своего домика. Так пошли мы в одной упряжке.

Дома я стал почему-то раздражительным, придирчивым. Если заваренный Садап чай чуток остыл, я называл его холодным, если сынок Ениш расплачется, я говорил, что его специально доводят, — чтобы при мне дома был крик. И сразу вспоминал Каджара. Его чай был хотя и холодный, а казался вкуснее, в его еде хоть и

недоставало соли, а я ел и не мог наесться. И речи у него, стервятника, были сладкими… Дома, если мне хоть в чем-то отказывали, стал грозиться уйти, зная, что у Каджара и для моей кровати есть место…

Однажды мы с ним выпили не одну бутылку. Дома я разбуянился. Еду, которую принесла Садап, опрокинул на кошму, сказав, что она пресна. За недостаточную почтительность швырнул в Садап чайник. Она увернулась, и чайник, попав в дверь, разбился вдребезги. Я сопел, как разъяренный бык. Впервые в глазах Садап увидел я слезы. Нет, она не плакала, но слезы стояли в ее глазах, и сквозь них она как будто пыталась разглядеть меня, смотрела так — точно не узнавала, и губы ее дрожали. Но сказать она ничего не сказала. Мать же, сжавшись в комочек, сидела, опустив лицо, и время от времени со страхом взглядывала на меня. Маленький Ениш заходился в плаче…

Назавтра, открыв глаза, я увидел стоявшую у моей постели мать.

— Сынок, умоляю, больше не терзай нас так. Разве можно пинать соль, разве можно обижать такую жену, как Садап? Лишь только-только достигли мы спокойной жизни, сынок. Одумайся. Брось пить эту погань… Брось, молю тебя…

Мать заплакала, ее ссохшееся, ставшее бесплотным тельце содрогалось. Плакала моя мать! Родившая и воспитавшая меня!

Как дальше поступил я? Не сказав ни "да", ни "нет", оделся и пошел на работу. Как хорошо, что у меня есть она, есть куда пойти. Там ждет Каджар и заветная выпивка. Больше для меня уже не было ничего…

Вечером, вернувшись, я увидел, что у нас Керим. Видимо, ему успели рассказать о том, как я вчера отличился. После ужина и чая Керим, меняясь в лице — то покрываясь бледностью, то краснея, — сказал:

— Базар, друг, берегись водки. А таких прохиндеев, как Каджар, остерегайся, как чумы. Ты, видать, не знаешь, что он за человек. Он тебя до добра не доведет…

Как, при мне поносят Каджара? Да он мой самый близкий и задушевный друг, перед которым у меня нет ни одной тайны. Каждый день встречает меня с радушной улыбкой. Я не замечаю, как пролетает время рядом с ним. Его дом — мой дом. Не раз твердил он: "Если обидят, сразу уходи, и ко мне".

Меня обуял гнев.

— Керим, я пью сам. Тебе не предлагаю. А Кад-

жара не трожь. Говори, да знай меру.

Да, так и выкрикнул в лицо своему другу. Он хотел что-то сказать, но лишь заглотнул ртом воздух, сник лицом и покачал головой. И попробовал бы только возразить! Тогда бы услышал он от меня хорошую отповедь. Уж кого-кого, а Каджара в обиду я не дал бы…

Очень огорчен был Керим. Но не вспылил, не выказал обиды, не покинул дом. Повременив, спокойно сказал:

— Нет, я отниму тебя у Каджара.

— Попробуй только!

— Увидим;

— Жив буду, — от Каджара не отрекусь…

Нет, я не собирался считаться ни с Керимом, ни с матерью, ни даже с Садап. Они собирались отнять у меня радость моей жизни…

Назавтра я возненавидел Керима еще больше. С нами работала пожилая русская женщина по имени Даша. Родом из Брянска. Потеряв на войне сына и двух дочерей, приехала сюда работать. Во время передышки, она подошла ко мне, и, посмотрев огромными голубыми глазами, строго сказала:

— Ой, Базар, Базар, как ты ошибаешься. Не водясь ты с Каджаром. Плохо кончишь…

Я ничего не ответил. Ни звука не проронил. Но на Керима с тех пор смотреть без ненависти не мог. Решил, что это он подослал Дашу сказать мне такое. Тогда я верил только своему собственному мнению, другого для меня не существовало. Теперь, с расстояния лет, вижу, как ошибался и что сделали со мной Каджар и водка… Да!.. Так вот, слушай дальше. После того, как Керим в очередной раз пришел меня увещевать, я прогнал его.

— Ты уходи с железной дороги, — говорил он. — Иди ко мне в напарники, возчиком. Пастухам подвозить все необходимое станем.

А я ему:

— Сам езди на своих телегах. Я с железной дороги не уйду. Не расстанусь с Каджаром. А ты отсюда выметайся.

Керим побагровел:

— Ты не видишь, не хочешь понять, что я тебе добра хочу! Ты же прошел все тяготы жизни, почему не хочешь увидеть ее и с хорошей стороны?

— Не учи меня. Я хочу пожить так, как мне нравится, — с пеной у рта выкрикнул я.

А назавтра, когда я пошел на работу, Каджар почему-то не встретил меня около своего тутовника. Почему-то не оказалось его и на работе. Вижу люди из нашей бригады так и едят меня

глазами. Неужели, думаю, он тут без меня учинил что-нибудь? А спросить не решаюсь. За работу взялся без настроения. Прошло немного времени, подошел бригадир и говорит:

— Отправляйся в контору. Зовут.

Лицо у бригадира пасмурное, мрачное. Вижу — Даша, закусив губу, с осуждением качает головой.

В помещении конторы меня встречает какой-то лысый в очках и милиционер. Я тут же холодным потом покрылся, в голове мелькнуло: "Видимо, что-то с Каджаром, а свалить собираются на меня... Ах, пропащая моя душа!.."

Начался допрос. Лысый задавал вопросы, милиционер записывал.

— Ты знаешь Каджара?

— Знаю.

— Вы дружите?

— Да, он мой друг.

— В каком смысле?

— В обычном. Друг и есть друг. Работаем вместе.

— Пьете вместе?

— Пьем.

— Почему продали бревна, сложенные возле старого тутовника?

Я опешил.

— Чего-о-о?

— Не притворяйся.

У меня подкосились ноги.

Словом, оказалось, что Каджар продавал сложенные штабелями возле его дома бревна, каждый день по штуке, кому попало, а на вырученные деньги покупал водку. Ах, дьявол!.. И оказалось еще, что на допросе он показал, будто мы продавали вместе и пропивали тоже вместе вырученные деньги. Доказательств в свою пользу я не смог привести.

...В Сибири мы валили вместе деревья. Около полугода не разговаривал я с Каджаром. Постепенно стал понимать и свою вину: какая разница — кто продавал бревна, деньги-то тратили вместе... Значит, я был соучастником, невольным, конечно, и тут простить Каджару нельзя. Но я прикинул тоже: а что, если бы Каджар посвятил меня в свои махинации и сказал бы, к примеру, что больше денег на выпивку нет, — согласился бы я тогда продавать с ним бревна? Пожалуй, согласился бы.

Придя к такому выводу я мало-помалу помирился с Каджаром. Он поведал, сколько ему пришлось претерпеть, вынести невзгод. И глав-

ное, что я заметил, — во всем старался угодить мне.

Однажды, когда отношения наши уже выровнялись, Каджар разоткровенничался:

— Знаешь, я как-то у вас в селе провернул дельце…

Он улыбнулся и его металлические зубы хищно сверкнули. Сказал:

— Отпусти мне грех…

— А скажи, Каджар, это…

— Если сказать все как на духу, без утайки, то нелегко было проникнуть в тот хлев, обнесенный колючкой…

— Хлев, обнесенный колючкой?

Перед моим мысленным взором возник наш хлев, обнесенный колючкой.

— Что ты подумал, браток?

— Да ничего, продолжай, Каджар. Вспомнил свое село.

— Так вот, дверца была на замке, я перерезал колючку. Прислушался, — вроде тихо, спокойно, никто меня не услышал. Только луна спряталась за тучу, взгромоздился я на серого ишака и был таков…

Как только он это произнес, я, размахнувшись, изо всех сил ударил его по лицу.

— Ты что, ты что, браток?

— Пошел негодяй!

— Да он твой, что ли, был — ишак?

— Пошел вон, я тебе сказал!

Я смотреть больше не хотел на него.

После этого передо мной постоянно стояло лицо Керима. Днем и ночью. В ушах моих раздавались его слова: "...таких прохиндеев, как Каджар, остерегайся... Ты, видать, не знаешь, что он за человек... Я отниму тебя у Каджара..."

"Ах, Керим, до чего ты был прав, и как я глуп!.."

Говорят, беда в одиночку не ходит. Я отбывал еще наказание, когда умерла мать, затем от кори умер мой маленький сын Ениш. Бедная моя мама, несчастный мой ребенок! Они видели от меня только зло!..

...Вернулся в село, — на двери нашей висел тронутый ржавчиной замок. У меня голова кругом пошла. Где Садап? Сердце мое содрогнулось. Стою оглушенный. Не похоже, что эта дверь открывалась недавно. Порог источен жуками, на замке паутина. В хлеву пусто... Неужели Садап бросила меня?... Все умерло во мне.

Таким и увидела меня соседка — тетушка Арзыгуль.

— Здравствуй, Базар. С прибытием. Вернулся,

значит. А мать и Енишджан так и не увидели тебя...

Тетушка Арзыгуль зарыдала. Плечи ее вздрагивали точь-в-точь, как у мамы. И на голове такая же старенькая, выцветшая накидка, и всхлипывала тетушка Арзыгуль. точно так же, как моя матушка. До чего же матери похожи друг на друга! У меня в горле застрял комок, и глаза заволокло слезами.

Тетушка Арзыгуль увела меня к себе. Расстелила передо мной скатерть. Такая родная, домотканная, из верблюжьей шерсти скатерть! Моя мама тоже когда-то соткала такую скатерть — и приговаривала: "Даст бог и пшеничным хлебом ее заставим".

— Съешь хлеба, помяни. свою мать и сыночка, — сказала тетушка Арзыгуль, и, сложив молитвенно руки, стала ждать, что я произнесу в их память. Но что я мог такого придумать, когда ничего обрядного не знаю. Тетушка Арзыгуль, поняв мое затруднение, посетовала:

— Да разве у тебя была возможность узнавать обычаи? Тебе бы только водки этой проклятой выпить! А мать твоя так и угасла с мечтой: "Хоть бы увидеть, что мой Базарджан человеком стал; таким же чутким и жалостливым, как Керим!".

Сгорела бедная от горя. Если не знаешь, что надо говорить в этом случае, то отведай соли, а я за тебя скажу, что полагается.

Я отломил кусочек хлеба и положил в рот. Благословенный пшеничный хлеб! Как много мечтали о нем в годы войны и до нее, и после. Но в тот миг я не почувствовал его вкуса, он мне становился поперек горла. Тетушка Арзыгуль опустила лицо, пробормотала поминальную молитву, затем обратилась ко мне:

— Пусть молитва наша ублаготворит их. Пусть намять их будет светлой, — и молитвенно провела руками по лицу.

Я повторил ее жест.

Стены этой хибарки давили и жгли меня. Хоть вовсе и не хотелось, я все же попил вместе с тетушкой Арзыгуль чаю. Затем глубоко вздохнул. Хозяйка сказала:

— Садап-то, бедняжка, горя хлебнула с излишком, бедняжке даже дом ее стал тесным. Иной раз выскочит она и принимается голосить вовсю. Все ей напоминало о сыне, о свекрови, да о тебе вот...

Тетушка Арзыгуль всхлипнула и замолкла. Ничего больше не добавила. Или Садап моя отказалась от меня совсем и не вспоминает меня?

Чем дальше длилось молчание, тем большую тяжесть я чувствовал на своих плечах. А спросить не решался.

— Садап одной-то не выдержать было бы. Потом друг твой, которого Керимом зовут, увез ее к себе домой. Говорит: "Поживет среди детей, развеется немного". Ну, и человек, — прямо золотой.

Эти слова кипятком ошпарили меня. Хотя... разве она не права? Права тетушка Арзыгуль, очень права!..

Керим принял меня приветливо. Он простудился и лежал в постели. В честь моего приезда велел заколоть барашка, как выяснилось потом — единственного. И Садап ничего плохого не сказала. Моя Садап! Благородная душа, бесценное мое сокровище! Видимо, решила она про себя: "Он и так немало натерпелся, — не буду хоть я его терзать". Это угадывалось по ее глазам.

Погостив у Керима, я взял Садап и вернулся в свою хибарку.

...Раз поехал я в районный центр, чтобы получить паспорт. И дернул же меня черт отправиться при деньгах. Зима была — холодно. Зайдя в столовую, дай, думаю, выпью стаканчик для "сугреву". Потом захотелось мне еще, потом еще и еще. Под конец сидел уже и досадовал, что столько лет

потерял без выпивки.

Домой отправился я уже в более чем приподнятом настроении. Стояла зима, а на душе у меня была весна. Дорога вела через соседнее село. Уже стемнело, когда я поравнялся с домом Керима. Я хотел было напиться из бегущей неподалеку речки, склонился к воде, но рука, на которую оперся, поскользнулась, и оказался я в глубокой воде. Дух захватило от холода. Вода потащила меня, бурно захлестывая волнами, норовя потопить.

— Кери-им! Кери-им-м! Спаси!

Я кричал что есть силы. На мое счастье, Керим услышал. Он прибежал и, в чем был, бросился в воду. А у него-то всего одна рука... Однако и это не остановило. Поймал он меня в воде, потащил к берегу. Я ухватился за прибрежные камыши, падая и спотыкаясь, выкарабкался на берег.

После этого Керим слег. Бредил все время. Разное, видать, выхватывала его воспалившаяся память. То войну вспоминал, то меня, то односельчан своих, о Каджаре однажды что-то бормотал... Иной раз он открывал глаза, но, похоже, ничего не понимал, сознание его было затуманено. Затем веки снова смыкались; и опять начинался бред. Так и не пришел он в себя. Не помогли никакие лекарства. Беспрерывный

жар, на протяжении двух суток не отпускавший больного, так и унес его…

Так погубил я своего лучшего, истинного друга. Крылья мои обломились. А может ли птица с обломанными крыльями летать?

Когда прошли поминки Керима, я словно оглушенный пошел к одинокому тутовнику около избушки Каджара. Что-то меня туда потянуло. Стоит тутовник, старый, могучий богатырь. Подошел я, поглядел на него. "Тутовник, зачем ты не помог мне, не открыл мои глаза? Ведь видел ты, как возле тебя Каджар обманывал меня каждодневно. Ведь он мне не был другом. Знай, что теперь я убедился в своих ошибках. Но — поздно".

Так мысленно обращался я к дереву. Оно, понятно, ничего не могло сказать мне, только ветер гудел в его зимних ветвях.

Станция была совсем рядом, неподалеку рабочие укладывали новые шпалы. Возможно, это были мои товарищи, возможно, среди них еще находилась добрая Даша. Я увидел, что одна из женщин, в белом платке, очень похожа на нее. Показалось даже, что она смотрит сюда. Нет, я не могу подойти к ним. Когда-то я не посчитался с ними, они меня не простят…

На сердце у меня невыносимая тяжесть. Я знал, откуда она. Это моя вина перед Керимом, перед моей матушкой, перед моим сынишкой и женой Садап, перед всеми добрыми людьми. Теперь я никогда не увижу Керима, теперь он мне никогда не даст своего совета, не укажет мне на мои заблуждения, не скажет ни теплого, Ни холодного слова.

От этой боли, от этих грустных мыслей я опять выпил в тот вечер.

Не следовало было мне в таком виде заходить в дом покойного друга. Не должен был я делать этого, если уважаю его память. Конечно, все бывшие там люди догадались, что я выпил. Снова заходилась в горьких рыданиях жена Керима. Старшие дочки хлопотали вокруг нее. "Не плачь, перестань, мама! Перестань, мама. Вдруг дядя Базар обидится. Не надо, мама! Не плачь!"

Как мне было не стыдно!.. Вечером я сидел окруженный стеной молчания, в одиночестве. Ко мне подошла Садап, на ней лица не было.

— Базар, я вижу ты не прекратишь позорить нас. Этот бедняга умер, опекая тебя. Ты явился причиной его смерти. Когда ты поймешь это?

Я ничего не ответил.

Садап распалилась пуще прежнего.

— Да прекратишь ты пить или нет?

Вяло реагируя на ее слова, я сказал:

— Когда мы пойдем к себе домой?

— Если не прекратишь, Садап для тебя больше не существует! Я не уйду отсюда. Если ты мужчина, то должен встать на место Керима, поднять его детей. Но где сделать это такому ничтожеству, как ты! Вон отсюда! Глаза бы мои тебя не видели! Я сама выращу детишек Керима!

Я ушел. Все сказанное женой было справедливо. Я должен был заменить отца детишкам Керима.

Но дела мои по-прежнему не обретали единства с мыслями. Я опять не мог оторваться от спиртного. Находил собутыльников среди знакомых и незнакомых людей — без разбору. По всякому обращались ко мне люди. И "друг Базарджан" называли, и "облезлый Базар-пьяница"... На улице, бывало, ночевал. На чужих пирах опохмелялся незваным гостем. Даже образ Керима стал все реже и реже являться мне... Водкой поминал и Керима...

Конечно, ни на грош не осталось у меня доброго имени. Завидев меня, люди старались пройти неузнанными, незамеченными, да и меня не хотели признавать. Я понимал все это, и вот однажды вечером снова пришел к одинокому ту-

товнику. Осушил бутылку водки, закусив куском хлеба и луком, снова мысленно я открывал душу этому дереву. "Я не смог никому на этом свете ответить верностью. Я никому не нужен и не имею права жить. Я пришел проститься с тобой, дерево. Прощай, одинокий тутовник!"

С этими словами я встал и пошел к железнодорожному полотну. Улегшись поперек пути, тут же заснул, и вдруг чувствую, будто трясет меня кто-то. Поднял голову, смотрю и вижу яркий свет фар приближающегося поезда. Вспомнил, где я и что я. Но вставать не собираюсь. Прощай, Садап! Прощайте все. Закрыл глаза, и вдруг мощный рывок свалил меня с железнодорожного полотна, отчего я полетел под откос. Поезд с грохотом пронесся мимо.

— Ах, ты сволочь! Жить надоело, значит!

Ничего не видя в темноте, я чувствовал только на своем лице прикосновение бороды навалившегося на меня человека.

— Если так хочется умереть, повесься вон на том дереве. А подводить машиниста — стыдно, парень.

Конечно, стыдно. Все стыдно. И не стыд ли привел меня в отчаяние? Ах, побольше бы его, побольше бы чистой совести, силы воли, умения

знать цену добру, семейному очагу, и разве так бы все у меня было!

— Ну, чего развалился? Вставай! Пошли!

Я, как захваченный в плен, пошел впереди. Он привел меня к себе, обмыл, переодел. Между делом расспрашивал о моей жизни. Явно, он был сердит на меня, ругал на чем свет стоит. Но словами казнил, а поступками жалел. Несколько дней я жил у него и кормился. Потом устроил он меня сторожем вот в этот самый магазин, причем накрепко наказал: "Услышу, что опять запил, добра от меня не жди".

После этого я обрел какое-то равновесие. Бросил пить. Но стеснялся появляться на людях, боялся, что пальцем все на меня будут указывать. Да и сейчас без особой надобности никуда не выхожу…

Базар-ага остановился, отхлебнул горячего чая из пиалы и хитровато взглянул на Мергена.

— Меня же из-под поезда вытащил твой дед Хайдар-ага, сынок. Может, когда рассказывал?.. Нет? Вот это был настоящий человек, жаль, умер он рано…

— Да, ну, уж начал раз, дорасскажу до конца. Так вот что было дальше. Хотя и перестал я пить, Садап все же не простила и не приняла меня.

Велела передать: "Не могу, мол, простить его". Она и домой даже не вернулась. Осталась в доме Керима жить. Говорят, они там очень ладно живут. Дай-то бог. А я вот, как старый филин на развалинах, живу один в своей хибаре. А на стене вон фотография Садап и сынишки. Как затоскую, беседую с ними…

А у тебя, сынок, еще все впереди. Не досадуй на меня, что вот разболтался старик, только время отнимает. Но захотелось мне душу облегчить… Поступок твой с Бегметом понравился. А еще подумал: может, рассказ мой чем-нибудь и полезен для тебя будет. А сам я давно во всем разобрался: если подлый друг — Каджар, то образец неверного друга — я, а настоящий друг — это, конечно, Корим. Я, если говорить по справедливости, и права жить не имею. Но бесстыжие, оказывается, долго живут.

…Урок продолжался. Перед Мергеном по-прежнему лежала чистая тетрадь. Он думал о Базар-ага, о том, что как бы ни поносил себя старик, презрения к нему не появилось. Отчего? Оттого ли, что он убелен сединой? Или за счет горького его одиночества? Или же причиной тому откровенная его исповедь?

Нынешнее свое бобыльство и одиночество

старик считает достойным для себя наказанием и смиренно принимает свою печальную участь. Этого достаточно, — куда больше…

Мерген ушел от Базар-ага с тяжелыми думами. Перед мысленным взором его стоял Керим. Стояла Садап, стоял маленький Ениш… Ухмыляющийся Каджар… Мерген размышлял: были на пути Базар-ага и такие, что сбивали с дороги, и такие, что стремились вывести на верный путь. И те и другие оставили в нем свой след. И следы эти таковы, что никакие ветра и дожди, никакие жара и мороз — ничто не в силах стереть их. Никаким сожалением Базар-ага не исправит своей жизни.

Мергену слышится голос Керима: "Не пей. Переходи работать ко мне. Сторонись Каджара". Представилось: вот Керим бросается в ледяную воду и вытаскивает на берег своего друга. Другое видение: освещенная лампой комната, лежанка в углу, на ней умирающий Керим, вокруг — притихшие ребятишки…

И Мерген задумался: а есть ли у меня такой близкий и верный друг, как Керим? Да, это Аталы, — он постоянно называет Мергена другом. Но чем доказана их дружба? Когда Мерген заболел и лёг в больницу, тот ни разу не пришел

его навестить. Порой, попросишь ручку или тетрадь, не даст, даже если есть… А когда Мерген напишет контрольную работу, Аталы становится любезнее… И Мерген в знак отрицания покачал головой.

А Назар? Назар — неплохой парень. Не мельтешит перед Мергеном, не спешит назвать его другом. На лице у Назара шрам. Остался он после того, как Назар в прошлом году летом тушил пожар, возникший на Колхозном складе. О проявленной им в тот раз храбрости сам ни разу не заговорил. Но и все же Мерген однажды почувствовал к нему неприязнь. Это когда тот обижал и довел до слез одного беззащитного, слабосильного мальчишку из соседнего класса.

А каков Берды? Нет, у Мергена вовсе не лежит к нему сердце. Чтобы дружить с ним, надо, подражая ему, сквернословить, курить, после уроков сразу бежать на берег с удочками. Ни одно из этих занятий не по душе Мергену.

Вот одноклассница Гытджа очень симпатична как человек. Она серьезная, прямодушная девочка. Когда Берды на уборке хлопка положил в свой мешок арбуз, чтобы приписать себе лишнее количество хлопка, об этом возле весов громкоголосо, во всеуслышание сказала Гытджа, вывела

хитреца на чистую воду. Тогда бригадир сказал ей: "Молодец, дочка. Ты такая же честная и прямодушная, как твой уважаемый всеми отец. А у честных людей всегда много друзей". Да, именно так, несколько напыщенно, правда, и сказал. Берды же не знал, куда деваться от стыда. Молодец, Гытджа. Когда Мерген лежал в больнице, она однажды пришла к нему. Уже начало темнеть. "Прости, Мерген. Целый день занималась с Хатыджей. Когда тебя нет, она отстает еще больше. Не могла не помочь ей".

Такая Гытджа. С виду она не такая уж красавица. Смуглая, большеротая. Она, скорее, похожа на мальчишку. И не но-девичьи смелая, принципиальная. Потому Мергену она очень нравится.

...Мысли Мергена вернулись к Базар-ага, и сердце опять заныло от жалости. Тяжкое горе у старика. Но чем ему можно помочь? Чем я могу его утешить?

Мерген представил себе жизнь Базар-ага. Он сторожит. Его пестрая собачка на протяжении всей ночи бродит вдоль протянутой около магазина проволоки. А днем сторожить нет необходимости, и собачка спит под деревцем за магазином в будке, сколоченной из ящиков.

Хоть живет Базар-ага в одиночестве, но хло-

пот по хозяйству не меньше, чем у семейных. Стряпать надо, стирать одежду, убирать в своем жилище — какое оно ни на есть. Может, хоть в таких делах помогать ему?

...Класс пишет сочинение, а Мерген все так же погружен в свои мысли. От них тесно в голове. "Мой друг" называется сегодняшнее сочинение. Слово друг состоит всего лишь из четырех букв. И выговаривается легко. Но с ним связаны глубочайшие человеческие чувства, и люди, руководимые этими чувствами, способны пойти на смерть.

Мергену хотелось теперь писать сочинение. Хотелось высказать свое понимание дружбы, свое отношение к ней.

Но едва приступил он к обдумыванию первой фразы, как раздался голос Акгуль Искандеровны:

— Товарищи, заканчивайте. В вашем распоряжении осталось десять минут.

Мерген отложил ручку, закрыл тетрадь.

...На другой день по селу разнеслась весть о скоропостижной кончине Базар-ага.

Когда это известие донеслось до Мергена, он побежал к жилищу старика, — здесь было скопление народа. Оповещенная, прибыла и бывшая жена покойного, Садап — высокая седая женщи-

на. Мерген сразу определил ее. Он увидел, как Садап наклонилась над телом Базар-ага и что-то произнесла. Она плакала, но не громко, беззвучно, содрогаясь от сдерживаемых рыданий.

У Мергена на глазах тоже появились слезы. Видя перед собой вздрагивающую спину Садап, он подумал, что беззвучный плач, может быть, куда тяжелее и глубже громких рыданий.

По настоянию многих похоронили Базар-ага рядом с Керимом.

Перевод О.Чарыяровой

1 р. 50 к.

